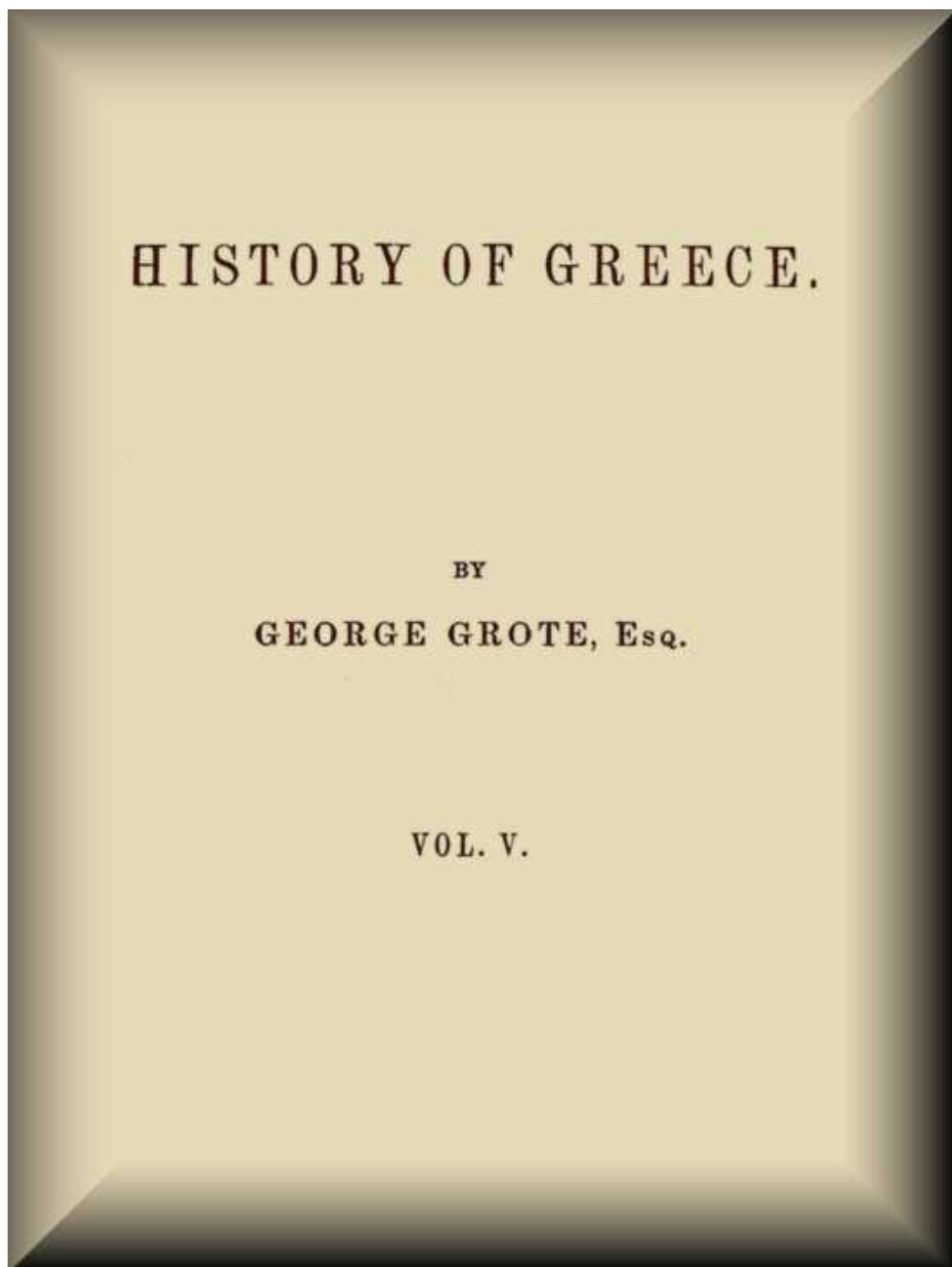


История Греции, том 05 (из 12)

Джордж Гроут



The Project Gutenberg eBook of История Греции, том 05 (из 12).

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: История Греции, том 05 (из 12)

Автор: Джордж Гроут

Дата выхода: 11 мая 2020 [eBook #62098]

Последнее обновление: 18 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Генри Флауэром, Рамоном Пахаресом Боксом и командой Online Groupa распределенной корректуры на сайте <https://www.pgdp.net> (Этот файл подготовлен на основе изображений, щедро предоставленных файл подготовлен на основе изображений, щедро предоставленных Internet Archive/Canadian Libraries)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK HISTORY OF GREECE, VOLUME 05 (OF 12) ***

[Примечание транскриптора](#)

[Оглавление](#)

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ.

BY GEORGE GROTE, Esq.

VOL. V.

ПЕРЕПЕЧАТАНО С ЛОНДОНСКОГО ИЗДАНИЯ.

NEW YORK:

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХАРПЕР И БРАТЬЯ".

329 И 331 PEARL STREET.

1857.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТОМУ. V.

ТОМА V И VI.

ОТ БИТВЫ ПРИ МАРАФОНЕ ДО НИКИЙСКОГО МИРА.

В. С. 490-421.

Я рассчитывал в этих двух томах довести читателя до начала великой афинской экспедиции против Сиракуз.

Но рассказ о событиях, теперь, когда мы находимся под позитивным руководством Фукидида, - в сочетании с изложением некоторых моментов, по которым я расхожусь со взглядами, обычно принятыми моими предшественниками, - занял больше места, чем я предполагал: и я был вынужден расширить мой шестой том сверх обычного размера, чтобы добраться даже до мира Никиаса.

Таким образом, период беспорядков и частичной вражды, наступивший между этим миром и афинской экспедицией, будет отведен для начала моего седьмого тома, публикация которого не заставит себя долго ждать.

Г. Г.

Дек. 1848.

СОДЕРЖАНИЕ. VOL. V.

ЧАСТЬ II.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ.

ГЛАВА XXXVIII.

ОТ БИТВЫ ПРИ МАРАФОНЕ ДО ПОХОДА КСЕРКСА НА ГРЕЦИЮ.

Решимость Дария вторгнуться в Грецию во второй раз. Его смерть. - Преемник - его сын Ксеркс. - Восстание и повторное завоевание Египта персами. - Равнодушие Ксеркса к вторжению в Грецию - лица, советовавшие и подстрекавшие его - уговоры, которые они применяли - пророчества, сделанные Ономакритом. - Ксеркс решает вторгнуться в Грецию. - Историческая манера и концепция Геродота. - Ксеркс объявляет о своем проекте собранию персидских советников - Мардонию и Артабану, злому и доброму гению. - Артабан склоняет Ксеркса к отказу от своего проекта - его повторяющиеся сны - божественное повеление вторгнуться в Грецию. - Религиозная концепция последовательности истории - общая как для персов, так и для греков. - Обширные приготовления Ксеркса - поход Ксеркса из глубины Азии - сбор армии в Сардах - его многочисленный флот и большие запасы провизии. - Он наводит мост из лодок через Геллеспонт. - Мост разрушен бурей - Гнев Ксеркса - он предаёт смерти инженеров и наказывает Геллеспонт. - Замечания по поводу этой истории о

наказании, постигшем Геллеспонт: нет достаточных оснований не верить в ее реальность. - Реконструкция моста - его подробное описание. - Ксеркс прорубает корабельный канал через перешеек Афонской горы. - Превосходный интеллект феникийцев. - Применение плети над рабочими, занятыми на канале, - впечатление, произведенное таким образом на греков. - Мост из лодок, переброшенных через Стримон. - Марш Ксеркса из Сард - диспозиция его армии. - История богатого каппадокийца Пифия - его сын предан смерти по приказу Ксеркса. - Марш в Абидос - уважение, проявленное Ксерксом к Илиуму. - Ксеркс и его армия переходят через Геллеспонтские мосты. - Марш к Дорискусу во Фракии, недалеко от устья Гебра - здесь к нему присоединяется флот. - Смотр и сбор на равнине Дорискуса - огромное разнообразие собранных народов. - Численность армии - используемый метод. - Огромные и невероятные цифры, приведенные Геродотом. - Комментарии к показаниям Геродота и к нему самому как свидетелю и судье. - Другие свидетельства о численности персов. - Ксеркс проводит смотр сухопутных войск и флота в Дориске - его разговор со спартанским царем Демаратом. - Поход Ксеркса из Дориска на запад по Фракии. - Взимание контрибуции с греческих городов на побережье Фракии - в частности, с Фасуса и Абдеры. - Ксеркс переправляется через Стримон - поход на Акант - ревность акантийцев в отношении Афонского канала. - Марш Ксеркса к Термам - его флот присоединяется к нему в Термическом заливе. - Благоприятные перспективы вторжения - рвение македонского принца помочь Ксерксу.

1-44

ГЛАВА XXXIX.

СОБЫТИЯ В ГРЕЦИИ ОТ БИТВЫ ПРИ МАРАФОНЕ ДО БИТВЫ ПРИ ТЕРМОПИЛАХ.

Насильственные действия и смерть Клеоменеса, царя Спарты. - Жалоба эгинетян в Спарте на Клеоменеса и Леотихида по поводу заложников, которых эти два царя увели из Эгины. - Спартанцы выдают Леотихида эгинетянам, которые требуют, чтобы он отправился с ними в Афины, чтобы вернуть заложников. - Отказ афинян от заложников - репрессии эгинетян. - Эгинец Никодром разрабатывает план демократической революции в Эгине совместно с Афинами - движение проваливается. - Обращение с побежденными заговорщиками - святотатство. - Афиняне высаживают войска в Эгине - война, которая продолжается. - Эффект этой войны, побудивший афинян увеличить свои военные силы. - Фемистокл и Аристеидес, главные люди в Афинах - сильное соперничество между ними. - Изгнание последнего путем ostracism. - Превращение Афин из сухопутной державы в морскую, к которому призывал Фемистокл. - Взгляды и дальновидные расчеты Фемистокла - в это время он был более важен для своей страны, чем Аристеидес. - Афинский флот - спасение не только Греции, но и ее самой. - Ценный фонд, впервые поступивший в распоряжение Афин из серебряных рудников Лаврии в Аттике. - Фемистокл уговаривает афинский народ отказаться от распределения этого фонда и направить его на строительство большего количества кораблей. - Приготовления Ксеркса - заранее известны в Греции. - Вестники из Персии требуют землю и воду у греческих городов - многие из них подчиняются и уступают. - Общегреческий конгресс, созванный совместно Афинами и Спартой на Коринфском перешейке. - Важное влияние на умы греков. - Влияние конгресса на устранение вражды между различными греками - особенно между Афинами и Эгиной. - Тревога и недоверие, царившие во всей Греции. - Ужас, переданный в ответе дельфийского оракула афинским посланникам. - Страшный, но неясный приговор оракула: попытки афинян растолковать его : изобретательность и успех Фемистокла. - Великий и подлинный панэллинский патриотизм афинян - убедительно засвидетельствован Геродотом, как его собственное суждение. - Нежелание или неспособность значительной части греков противостоять персам. -

Неоднозначный нейтралитет Аргоса. - Различные истории, бытовавшие в Греции об Аргосе - мнение Геродота. - Отказ или двусмысленность критян и коркирян. - Миссия к Гелону в Сиракузах - его ответ. - Греческая армия отправляется в Фессалию, чтобы защитить дефиле Темпе от Ксеркса. - Прибыв на место, они обнаруживают, что его невозможно успешно удержать, и отступают. - Последствия этого отступления - фессалийцы и почти вся Эллада к северу от Китерона либо подчиняются Ксерксу, либо колеблются.

45-70

ГЛАВА XL.

БИТВЫ ПРИ ТЕРМОПИЛЕ И АРТЕМИСИИ.

Конфедеративные греки вступают в бой с теми греками, которые присоединились к персам. - Решение защищать Фермопилы, а также прилегающий пролив Эвбея. - Перевал Фермопилы и его окрестности. - Греки занимают пост в Фермопилах - Леонид, царь Спарты, ведет туда войска - объединенный флот под командованием Эврибиадеса занимает Эвбейский пролив. - Численность и состав войска Леонида. - Фокийцы и локрийцы. - Олимпийские и карнейские праздники - греки не могли заставить себя отложить их даже при такой грозящей опасности. - Путь через гору Умита, по которому можно обойти Фермопилы - Леонид впервые узнал о нем, когда добрался до места - фокийцы обязуются защищать его. - Численность и состав греческого флота при Артемизиуме. - Три триремы греческого флота, высланные вперед в качестве разведчиков - их первая встреча с персидским флотом. - Захват этих трех трирем - паника всего греческого флота, который покидает Артемизиум и отходит к Халкису. - Неотвратимая опасность греческого плана обороны - их спасает страшная буря. - Движение Ксеркса из Терм. - Он прибывает со своей армией на территорию Малии, недалеко от Фермопильского прохода. - Продвижение персидского флота - он настигнут разрушительной бурей и ураганом на побережье Магнесии. - Огромный ущерб, нанесенный ему бурей. - Ободрение греческого флота - они возвращаются из Халкиса в Артемизиум. - Задержка Ксеркса с сухопутными войсками у Трахиса. - Впечатления Ксеркса о защитниках при Фермопилах - разговор с Демаратом, которому он не верит. - Сомнения в мотивах, которые Геродот приписывает Ксерксу. - Первая атака на Фермопилы, предпринятая мидийскими войсками, отбита. - Повторные нападения, совершенные лучшими войсками персидской армии, все они были отбиты с резней. - Смушение Ксеркса - он избавляется от него, услышав о пути через гору. - Персидский отряд под командованием Гидарнеса идет по горной тропе, прогоняя фокийскую стражу. - Они прибывают в тыл Леониду. - Споры среди защитников Фермопил, когда стало известно, что персы приближаются к их тылу. - Решение Леонида остаться и умереть на перевале. - Триста спартанцев вместе с феспийцами остаются с Леонидом: остальной отряд отходит. - Сомнения относительно фиванского контингента. - Последние подвиги и гибель Леонида и его отряда. - Отдельные лица среди них - презрение к Аристодеку, который не сражался. - Судьба фиванского контингента. - Впечатления Ксеркса после боя - совет, данный ему Демаратом, он отвергает. - Действия двух флотов в Артемизиуме и Афете - тревога среди греческого флота - Фемистокл по настоятельной просьбе эвбейцев заставляет их остаться и сражаться. - Важная услуга, оказанная Фемистоклесом. - Уверенные надежды персидского флота - они выделяют эскадру, чтобы обойти Эвбею и зайти грекам в тыл. - Морской бой при Артемизиуме - преимущество на стороне греков. - Второй шторм - увеличение ущерба персидскому флоту и гибель отряда, отправленного вокруг Эвбеи. - Возобновление морского боя у Артемизиума - безрезультатно, но греческий флот решает отступить. - Они отступают сразу же после известия о катастрофе при Фермопилах - идут к Саламину. - Продвижение персидского флота к Эвбее - маневры,

приписываемые Ксерксу в связи с трупами при Фермопилах - число погибших с обеих сторон. - Последующие памятные надписи. - Впечатляющая эпитафия Симонида.

70-104

ГЛАВА ХLI.

БИТВА ПРИ САЛАМИНЕ. - ОТСТУПЛЕНИЕ КСЕРКСА.

Удивление и ужас греков сразу после битвы при Фермопилах. - Никакого плана обороны не выработано - не найдено новой позиции, способной защитить Аттику - пелопоннесцы толпой укрепляют Коринфский перешеек. - Бездна надежное положение афинян - никаких мер по вывозу их семей из Аттики пока не принято. - Афиняне покидают Аттику, увозя свои семьи и имущество в Саламин, Гигину, Трезен и т. д. - Неизбежная спешка и страдания эмигрантов. - Энергия афинян и единодушие вождей - Фемистокл предлагает восстановить Аристеидеса из ссылки. - Численность и состав объединенного греческого флота при Саламине. - Ксеркс занимает Афины и Аттику - персидский флот выходит на Фалерумскую дорогу. - Персидская армия разоряет фокийские города на пути из Фермопил в Аттику - разграбление храма в Абзе. - Персидский отряд выступает против храма в Дельфах. - Неудача, бегство и гибель отряда. - Ксеркс с Писистратидами в Афинах - акрополь устоял - взят и разграблен. - Искупительный визит Писистратидов в разрушенный акрополь. - Ксеркс осматривает свой флот в Фалере - дебаты о том, стоит ли вести морское сражение при Саламине - благоразумный совет царицы Артемисии. - Ксеркс принимает решение о сражении при Саламине. - Разногласия среди греков на флоте в Саламине. Решение об отводе флота к перешейку. - Губительные последствия, если бы это решение было выполнено. - Фемистокл выступает против решения, убеждает Эврибиадеса и добивается от него возобновления дебатов. - Синод греческих вождей вновь созван - Фемистокл пытается добиться отмены прежнего постановления - пелопоннесцы придерживаются его - гневные слова. - Фемистокл угрожает Фемистоклу удалиться с афинской эскадрой, если не произойдет сражения при Саламине - Эврибиадес заставляет его принять эту меру. - Пелопоннесские вожди, притихшие на мгновение, впоследствии отказываются повиноваться. Созыв третьего синода - возобновление споров; большинство выступает против Фемистокла и решает отступить к перешейку. - Отчаянная хитрость Фемистокла - он отправляет личное послание Ксерксу, убеждая его окружить греческий флот ночью и тем самым сделать отступление невозможным. - Нетерпеливый Ксеркс торопится, чтобы никто из греков не смог спастись - его флот окружает греков ночью. - Аристеидес ночью приходит к греческому флоту из Эгины - сообщает вождям, что они окружены персами и что бегство стало невозможным. - Позиция Ксеркса - порядок расположения флотов и план галса. - Битва при Саламине - замешательство и полное поражение персов. - Отличительная галантность царицы Артемисии. - Ожидание греками возобновления конфликта - опасения Ксеркса за свою личную безопасность - он отправляет свой флот в Азию. - Ксеркс решает сам вернуться в Азию - совет и рекомендация Мардония, который остается в качестве генерала, чтобы завершить завоевание Греции. - Греки преследуют персидский флот до Андроса - вторая стратагема Фемистокла в тайном послании Ксерксу. - Фемистокл с флотом - сбор денег на Кикладах. - Ксеркс эвакуирует Аттику и возвращается домой по суше с большей частью своей армии. - Отступающий марш Ксеркса к Геллеспонту - страдания его войска. Он обнаруживает, что мост разрушен, и переправляется через пролив на корабле в Азию. - Радость греков - распределение почестей и наград. - Почести, оказанные Фемистоклу.

104-147

ГЛАВА ХLII.

БИТВЫ ПРИ ПЛАТЕЕ И МИКАЛЕ. - ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТПОР ПЕРСАМ.

Персидский флот, уйдя из Греции, зимует в Киме, а весной собирается на Самосе. - Греческий флот собирается весной в Эгине. - Всеобщая приверженность *медитирующих* греков Мардонию - восстание Потидеи, которую тщетно осаждает Артабаз. - Мардоний, перезимовав в Фессалии, весной возобновляет свои действия в Беотии. Он обращается к беотийским оракулам. - Мардоний посылает Александра Македонского в Афины, чтобы предложить самые почетные условия мира. - Искушение Афин принять это предложение - страх лакедемонян, что она примет его - лакедемонские посланники отправляются в Афины, чтобы предотвратить это. - Решительный ответ афинян и решимость продолжать войну, несмотря на большие нынешние страдания. - Эгоистичное равнодушие Спарты и пелопоннесцев к Афинам. - Спартанцы, укрепив перешеек, оставляют Аттику без защиты: Мардоний второй раз захватывает Афины. - Второе переселение афинян в Саламин - их горькое разочарование и гнев на Спарту за то, что она их бросила. - Второе предложение Мардония афинянам - снова отказ - напряженная решимость, которую они демонстрируют. - Афиняне посылают в Спарту реванш - неблагоприятная медлительность спартанцев. - Крупные силы спартанцев собраны под командованием Павсания на перешейке. - Мардоний, опустошив Аттику, отступает в Беотию. - Уныние в армии Мардония в целом: Терсандр из Орхомена на пиру: ревность между Мардонием и Артабазом, вторым командующим - рвение и готовность фиванцев. - Численность греков, собранных под командованием Павсания. - Поход Павсания через Китерон в Беотию. - На него нападает персидская конница под командованием Масистия и сильно его преследует - превосходство афинян в эффективности против конницы - Масистий убит. - Греки уходят под защиту горных массивов и занимают позицию ближе к Платее, вдоль Асопа. - Мардоний меняет позицию и располагается почти напротив греков, по другую сторону Асопа. - Нежелание обеих армий начинать атаку - пророки с обеих сторон отговаривают от первой агрессии. - Мардоний раздражает греков своей конницей и отрезает их от снабжения в тылу. - Нетерпение Мардония - несмотря на нежелание Артабаза и других офицеров, он решается на генеральную атаку: он пытается показать, что пророчества благоприятствуют ему. - О его намерении афинянам ночью сообщает Александр Македонский. - Павсаний меняет место в ряду между спартанцами и афинянами. - Мардоний снова нападает на них со своей конницей. - Вследствие раздражения персидской конницы Павсаний решает ночью двинуться на остров. - Замешательство греческой армии при осуществлении ночного движения. - Отказ спартанского лохага Амомфарета подчиниться приказу о ночном походе. - Недоверие афинян к Павсанию и спартанцам. - Павсаний отправляется в путь без Амомфарета, который быстро следует за ним. - Удивление Мардония, обнаружившего, что греки отступили ночью, - он преследует и нападает на них с беспорядочным нетерпением. - Битва при Платее. - Большая личная храбрость персов - они полностью разбиты, а Мардоний убит. - Афиняне на левом фланге побеждают фиванцев. - Артабаз с большим персидским корпусом отказывается от борьбы и отступает из Греции - остатки персидской армии занимают позиции в укрепленном лагере. - Небольшая доля армий с каждой стороны, которые действительно сражались. - Греки атакуют и берут укрепленный лагерь. - Потери с обеих сторон. - Похороны греков - памятники - труп Мардония - распределение добычи. - Павсаний вызывает Фивы, требуя от вождей сдачи - те сдаются и предаются смерти. - Почести и отличия среди греческих воинов. - Почитание Платеи, как места победы, и платейцев: постановление о периодическом проведении торжественных мероприятий в честь убитых. - Постоянная греческая конфедерация, которой победители предписали проводить собрания в Платее. - Действия греческого флота: он движется на спасение Самоса от персов. - Персидский флот покидает Самос и отходит к Микале в Ионии. - Недоверие персидских генералов к верности ионийцев. - Греки высаживаются на берег, чтобы атаковать персов -

перед битвой в их сознании всплывает воспоминание о победе при Платее, одержанной их соотечественниками в то же утро. - Битва при Микале - восстание ионийцев в персидском лагере - полное поражение персов. - Отступление разбитой персидской армии в Сарды. - Нежелание спартанцев принять в свой союз континентальных ионийцев - предложение переправить их через Эгейское море в Западную Грецию - отвергнуто афинянами. - Греческий флот отплывает в Геллеспонт: спартанцы возвращаются домой, а афиняне остаются, чтобы напасть на Херсонес. - Осада Сестоса - антипатия херсонеситов к Артайктесу. - Взятие Сестоса - распятие Артайтека. - Возвращение флота в Афины.

147-203

ГЛАВА XLIII.

СОБЫТИЯ НА СИЦИЛИИ ВПЛОТЬ ДО ИЗГНАНИЯ ДИНАСТИИ ГЕЛОНОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ НА ВСЕМ ОСТРОВЕ.

Агригентум и Гела, превосходящие Сиракузы до 500 г. до н. э. - Фаларис, деспот Агригентума. - Сиракузы в 500 г. до н. э. - олигархическое правительство под управлением гамори, или привилегированных потомков первоначальных колонистов-собственников - демоса - киллийцев, или крепостных. - Ранние правительства греческих городов на Сицилии - первоначальные олигархии, во многих местах низвергнутые деспотами - попытка колонизации спартанским князем Дориеем. - Клеандр, деспот Гелы, около 500 г. до н. э. - Первое возвышение Гело и Энесидокма на его службе. Телинес, первый заметный предок Гело. - Гело - главный командир среди наемников Гиппократы, деспота Гелы. - Судьба ионического города Занкла, впоследствии Мессины - он захвачен саамийцами - поведение Гиппократеса. - Гиппократес одерживает победу над сиракузянами - берет Камарину - умирает. - Гело становится вместо него деспотом Гелы. - Величие Гело - он овладевает Сиракузами и переносит резиденцию своей власти из Гелы в Сиракузы. - Завоевание Гелой различных сицилийских городов - он перевозит олигархию в Сиракузы и продает демос в рабство. - Рост могущества и населения Сиракуз при Гелоне - они становятся первым городом Сицилии. - Власть Гелона, когда посланники из Спарты и Афин пришли просить его о помощи, 481 г. до н. э. - Планы Гело по укреплению сицилийского эллинизма против варварских интересов на островах. - Спартанские и афинские посланники обращаются к Гелону - его ответ. - Карфагенское вторжение в Сицилию, одновременное с вторжением Ксеркса в Грецию. - Карфагенская армия под командованием Гамилькара осаждает Гимеру - битва при Гимере - полная победа Гело над ними. - Господство Гело на Сицилии - он заключает мир с карфагенянами. - Поведение Гелона по отношению к грекам-конфедератам, выступавшим против Ксеркса. - Количество пленных, взятых в битве при Гимере и распределенных между карфагенскими городами - их процветание, особенно Агригентума. - Смерть и похороны Гелона. - Число новых граждан, которых Гело ввел в Сиракузы. - Иеро, брат и преемник Гело в Сиракузах - завидует своему брату Полизеку - суров как правитель - ссора между Иеро из Сиракуз и Феро из Агригентума - умиротворен поэтом Симонидом. - Жестокое обращение Тиро с жителями Гимеры. - Власть и подвиги Иеро - против карфагенян и тирренцев - против Анаксилы - он основывает город Этна - новое массовое переселение жителей - комплименты Пиндара. - Смерть Анаксилы из Ригиума и Феро из Агригентума. Фрасидей, сын Феро, правит Агригентумом и Гимерой. Его жестокое правление - он терпит поражение от Гиеро и изгоняется. - Великая власть Иеро, после поражения Фрасидея - его смерть. - Фрасибул, брат и преемник Иеро - споры между членами гелонского рода. - Жестокости и непопулярность Фрасибула - мятеж против него в Сиракузах. - Изгнание Фрасибула и прекращение династии Гелонов. - Народные правительства, учрежденные во всех сицилийских городах - смятение и споры, вызванные количеством новых граждан и

наемников, поселенных гелонскими князьями. - Внутренние раздоры и борьба в Сиракузах. - Поражение гелонцев - Сиракузы превращаются в единое народное правительство, единый город, единое укрепление. - Беспорядки в других сицилийских городах, вызванные возвращением изгнанников, лишенных собственности при династии Гелонов. Катана и Итна. - Общий съезд и компромисс - изгнанники обеспечены - Камарина вновь восстановлена как отдельный автономный город. - Реакционные настроения против прежнего деспотизма и в пользу народного правительства в Сиракузах и других городах. - Италиотские греки - уничтожающее поражение жителей Тарентума и Регия.

204-239

ГЛАВА XLIV.

ОТ БИТВЫ ПРИ ПЛАТЕЕ И МИКАЛЕ ДО ГИБЕЛИ ФЕМИСТОКЛА И АРИСТЕИДЫ.

Причины позорного отпора Ксеркса из Греции - его собственные недостатки - низкое качество и расхлябанность большей части его армии. - Склонность преувеличивать героизм греков. - Сравнение вторжения Ксеркса в Грецию с последующим вторжением Александра Македонского в Персию. - Никакого улучшения в военном деле у персов за этот промежуток времени в сто пятьдесят лет - большое улучшение у греков. - Прогрессивный дух в Греции - действует благодаря инициативе афинян. - Поведение Афин при отражении персов - ее положение, нравы и влияние после этого события. - Действия афинян по восстановлению своего города - ревностные препятствия, чинимые пелопоннесцами. - Уловка Фемистокла, чтобы обеспечить афинянам возможность укрепить свой город. - Афины укреплены - смятение спартанцев - разочарование союзников. - Влияние этого намеченного, но сорвавшегося вмешательства на чувства афинян. - Расширение стен Афин. - Крупные планы Фемистокла по военно-морскому расширению города - укрепленный город и гавань в Пейреусе - огромная высота и толщина стен. - Преимущества расширенной и укрепленной гавани - рост метеорологии и торговли в Афинах. - Постановление о ежегодной постройке двадцати новых трирем. - Экспедиция объединенного греческого флота против Азии под командованием спартанца Павсания - взятие Византии. - Проступок Павсания - отказ союзников повиноваться ему - его изменническая переписка с Ксерксом. - Получив заверения в помощи от Ксеркса, Павсаний становится все более невыносимым в своем поведении. Его отзывают в Спарту. - Союзники переносят главенство из Спарты в Афины. - Значение этой перемены в отношениях греческих государств. - Склонность спартанских царей к развращению на чужой службе - Леотихид. - Мгновенный панэллинский союз под властью Спарты, сразу после поражения Ксеркса - теперь распался и перешел в раскол, с двумя различными партиями и вождями, Спартой и Афинами. - Действия Афин в качестве лидера - хорошее поведение Аристеидес. - Образование Делосской конфедерации под председательством Афин - общие собрания союзников на этом острове. - Оценка конфедерации и всех ее членов, произведенная Аристеидесом - определенное обязательство в кораблях и деньгах - общая сумма денег - *Hellênotamiæ*. - Быстрый рост, ранний размах Делосской конфедерации: добровольное присоединение членов. - Состояние и могущество Персии в то время, когда Делосская конфедерация только образовалась. - Поведение Павсания после отстранения от командования - он продолжает осуществлять свои изменнические замыслы совместно с Персией. - Его отзывают в Спарту - заключают в тюрьму - отдают под суд - пытаются спровоцировать гелиотов на восстание. - Его обнаруживают по откровению раба - недоверие или страх эфоров. - Его арест и смерть - искупление вины за оскорбленное святилище. - Фемистокл скомпрометирован в связи с обнаруженной изменой Павсания. - Положение Фемистоклеса в Афинах - тенденции афинских партий и политики. - Влияние событий персидской войны на политические

настроения афинян - стимул к демократии. - Изменение Клейстенской конституции - все граждане без исключения становятся политически приемлемыми для занятия должностей: сначала всеобщее избрание магистратов - затем сортировка, или жеребьевка. - Увеличение власти стратегов - изменение функций и уменьшение значения архонтов. - Расширение афинской администрации - назначение новых чиновников - распределение между Афинами и Пейреем. - Политическая карьера и шаткость положения Фемистоклеса - ожесточенные соперники против него - Кимон, Алкмеон и т. д. - его ответственность за обвинения в коррупции. - Фемистоклеса обвиняют в получении взяток из Персии - оправдывают в Афинах. - После оправдания усиливается вражда между ним и его политическими соперниками. Он подвергается остракизму. - Пока он находился в изгнании под остракизмом, лакедемоняне выдвигают против него обвинение в государственной измене. - Бегство и приключения Фемистокла. - Фемистокл перебирается в Азию и ищет убежища у персидского царя. - Рассказы об отношениях между персидским царем и Фемистоклесом. - Реальное обращение с Фемистоклесом в Персии. - Влияние, которое он приобретает у персидского царя. - Большая награда, которую он получает - Его смерть в Магнесии. - Смерть Аристеидеса - его бедность.

239-289

ГЛАВА XLV.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРИ АФИНАХ КАК ГЛАВЕ. - ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БЫСТРОЕ РАСШИРЕНИЕ АФИНСКОЙ ИМПЕРИИ.

Последствия образования Делосской конфедерации. - Раздвоение греческой политики между Спартой и Афинами. - Различие между Делосской конфедерацией с Афинами в качестве президента - и выросшей из нее Афинской империей. - Тенденция путать эти два понятия и приписывать Афинам дальновидные честолюбивые планы. - Первые годы после образования Делосской конфедерации были годами активных действий со стороны Афин. - Наше несовершенное знание о них. - Необходимость продолжения действий против персов даже после битв при Платее и Микале. Эта необходимость была причиной как добровольной организации Делосской конфедерации, так и морского совершенствования Афин. - Делосская конфедерация - клятва всех членов - вечная и непреложная - не допускающая ни отставки, ни уклонения. - Принудительная санкция Афин, строго исполняемая, в согласии с общим синодом. - Постепенное изменение в отношениях союзников - замена денежной оплаты на личную службу, требуемую самими союзниками, отвечающую интересам и чувствам Афин. - Изменения как в положении, так и в чувствах Афин. - Растущая непопулярность Афин во всей Греции - причины этого. - Делосский синод - постепенно снижает свое значение и исчезает. - Превосходные качества и заслуги афинян по сравнению с делосскими единомышленниками в целом. - Дань, впервые собранная Делосским синодом - оценка Аристеидеса. - События между 476-466 гг. до н. э. - Эйон - Скирос - Карыстус. - Афины как страж Эгейского моря от пиратства. - Герой Тесей. - Первое восстание членов Делосской конфедерации - Наксос восстает и вновь завоевывается. - Операции Афин и конфедерации против Персии. - Поражение персов от Кимона у реки Эвримедон. - Восстание Тасоса против Делосской конфедерации. - Осада Тасоса афинянами под командованием Кимона. - Рудники во Фракии. - Первая попытка Афин основать город в Эннеа Ходои на реке Стримон выше Эйона. Попытка проваливается, а поселенцы погибают. - Отступление Тасоса после двухлетней блокады - он разоружен и разобран. - Обращение тасийцев к Спарте с просьбой о помощи - просьба удовлетворена, но не приведена в исполнение - начало военных действий между Спартой и Афинами. - Суд и оправдание Кимона в Афинах. - Большой рост афинского могущества. - События в Центральной Греции в

470-464 гг. до н. э. Фивы и беотийские города. Дискредитация Фив. - Спарта восстанавливает и поддерживает главенство Фив над мелкими беотийскими городами. - События в Пелопоннесе - Аркадия - Элида и т. д. - Страшное землетрясение в Спарте, 464 г. до н. э. - Восстание гелотов. - Лакедемоняне обращаются за помощью к своим союзникам против восставших гелотов. - Поход афинян под командованием Кимона в Лаконию, чтобы помочь им. - Недоверие лакедемонян к своим афинским помощникам, которых они увольняют из Лаконии. Недовольство и перемены в политике Афин. - Афиняне отказываются от союза со Спартой и заключают союз с Аргосом. Положение Аргоса - завоевание Микен и других городов. - Мегара вступает в союз с Афинами. Растущая ненависть Коринфа и соседних пелопоннесских государств к Афинам. - Энергичные одновременные действия афинян - на Кипре, в Феникии, Египте и Греции - они строят первую "Длинную стену" от Мегары до Ниссеи. - Война Афин против Коринфа, Эгины и др. Полное поражение эгинетян на море. - Афиняне осаждают Эгину - коринфяне, эпидавры и т. д. разбиты афинянами под командованием Миронида. - Проект длинной стены между Афинами и Пиреем - за нее выступает Периклес, против - Кимон - политические разногласия в Афинах - важность длинной стены. - Экспедиция лакедемонян в Беотию - они восстанавливают господство Фив. - Намерение спартанской армии в Беотии угрожать Афинам и поддержать афинскую олигархическую партию, выступающую против Длинной стены. - Битва при Танagre - поражение афинян. - Последствия битвы - великодушное поведение Кимона - его отзывают из остракизма. - Компромисс и примирение между враждующими лидерами и партиями в Афинах. - Победа афинян над Ctenophyta - они получают господство над всей Беотией, Фокисом и Локрисом. - Завершение строительства Длинных стен. - Завоевание Эгины, которая разоружена, разобрана и превращена в данника. - Первое плавание афинян вокруг Пелопоннеса - их действия в Коринфском заливе. - Поражение и потери афинян в Египте. - Восставшие гелоты в Лаконии капитулируют и покидают страну. - Перемирие на пять лет между Афинами и лакедемонянами, заключенное благодаря влиянию Кимона. - Новые походы Кимона против Персии. - Смерть Кимона на Кипре - победы афинского флота - он возвращается домой. - Афиняне больше не выступают против Персии - между ними заключен договор. - Ошибки и преувеличения в отношении этой конвенции - сомнения в ее исторической реальности. Обсуждение этих сомнений - подтверждающие намеки Фукидида. - Фукидид, сын Мелесия, сменяет Кимона на посту главного противника Периклеса. - Перевод общего фонда конфедерации с Делоса в Афины. - Постепенное превращение конфедерации в афинскую империю. - Перенос фонда был предложен саамийцами. - Положение Афин с многочисленным союзом как внутренних, так и морских государств. - Начало поражений и упадок сил Афин. - Восстание Беотии против Афин - поражение афинян при Коронее - эвакуация Беотии. - Восстание Фокиса, Локриды, Эвбеи и Мегары: вторжение в Аттику пелопоннессцев под предводительством лакедемонского царя Плейстоанакса. - Эвбея отвоевана Периклесом. - Унижение и уныние Афин. - Заключение Тридцатилетнего перемирия. - Уменьшение афинского могущества. - Вражда между Афинами и Мегарой.

290-352

ГЛАВА XLVI.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ И СУДЕБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АФИНАХ ПРИ ПЕРИКЛЕ.

Первое установление демократической судебной системы в Афинах. - Объединение в одних руках административных и судебных функций в ранних Афинах - большие полномочия магистратов, а также сената Ареопага. - Магистраты, как правило, состоятельные люди - олигархические тенденции Ареопагского сената - рост демократических настроений среди

основной массы граждан. - Политические партии в Афинах. - Периклес и Эфиальт демократические: Кимон - олигархическая или консервативная. - Демократические дикастерии, или суды присяжных, учрежденные Периклесом и Эфиальтесом. - Как были устроены эти дикастерии. - Плата дикастерам, введенная и ставшая регулярной. - Магистраты лишены судебных и ограничены административными функциями. - Ареопагский сенат - его древность - полурелигиозный характер - большая и неопределенная контрольная власть. - Большие полномочия сената Ареопага, которыми отчасти злоупотребляли, стали несовместимы с чувствами народа после персидского вторжения. - В Афинах тогда зарождались новые интересы и тенденции. - Ареопагский сенат - центр действий консервативной партии и Кимона. - Противостояние между Кимоном и Периклесом, унаследованное от их отцов. - Характер и деятельность Перикла. - Сдержанные, философские и деловые привычки Перикла - его небольшие усилия по завоеванию популярности - меньше демагог, чем Кимон. - Эфиальтес, принадлежавший к демократической партии и первоначально равный Периклесу по влиянию. - Усилия Эфиальтеса против злоупотреблений магистратуры. - Кимон и его партия, более влиятельная, чем Эфиальтес и Периклес, до того момента, когда афинские войска были выведены из Лаконии. - Остракизм Кимона. - Меры, предпринятые Эфиальтесом и Периклесом для ограничения власти Ареопагского сената и отдельных магистратов. - Учреждение платных дикастерий. - Отделение судебных функций от административных. - Убийство Эфиальта консервативной партией. - Начало великого восхождения Периклеса после смерти Эфиальтеса. Компромисс между ним и Кимоном. - Блестящий успех Афин и эпоха максимума их могущества. - Другие конституционные изменения. - Номофилаки. - Номотеты - различие между законами и псефизмами, или специальными постановлениями - процесс, посредством которого законы принимались и отменялись. - Процедура принятия или отмены законов была приравнена к процедуре судебного разбирательства. - *Graphê Paranomôn* - обвинительный акт против инициатора незаконных или неконституционных предложений. - Работа *Graphê Paranomôn*. - Консервативный дух, в котором он сформулирован. - Сдерживание новых предложений и неограниченной инициативы, принадлежащей каждому гражданину. - Злоупотребление расширением Графика Параномона впоследствии. - Он часто использовался как простой способ добиться отмены существующего закона - без личной цели против автора закона. - Численность и жалование дикастов, как это было предусмотрено Периклесом. - Афинская демократия в том виде, в каком она была установлена Периклесом, оставалась практически неизменной впоследствии вплоть до потери афинской независимости - за исключением временных перерывов в Четыреста и Тридцать лет. - Работа многочисленных дикастерий - их большое количество необходимо для исключения коррупции или запугивания - ответственность отдельных магистратов за коррупцию. - Афинские дикастерии - это суд присяжных в самом широком масштабе, демонстрирующий в преувеличенном виде как свои достоинства, так и недостатки. - Похвалы, которые обычно произносятся в адрес теории суда присяжных, в еще большей степени относятся к афинским дикастериям. - Недостатки суда присяжных - преувеличены в процедуре дикастерий. - Мощное воздействие дикастерий на интеллект и чувства отдельных граждан. - Необходимость учиться говорить - рост профессиональных учителей риторики - профессиональных составителей речей для других. - Риторы и софисты. - Полемика Сократеса, который сам был софистом, против софистов вообще. - Софисты и риторы были естественным продуктом эпохи и демократии. - Дикастерии состояли не только из бедняков, но и из граждан среднего и низшего достатка.

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ.

ЧАСТЬ II.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГРЕЦИИ.

ГЛАВА XXXVIII.

ОТ БИТВЫ ПРИ МАРАФОНЕ ДО ПОХОДА КСЕРКСА НА ГРЕЦИЮ.

В предпоследней главе предыдущего тома я описал победу афинян при Марафоне, поражение персидского полководца Датиса и возвращение его армии через Эгейское море к азиатскому побережью. Ему было приказано завоевать Эретрию и Афины: приказ, который он действительно частично выполнил с успехом, о чем свидетельствует вереница эретрийских пленников, доставленных в Сузы, - но который оставался невыполненным в отношении города, наиболее неприятного для Дария. Далеко не удовлетворившись местью Афинам, персидский монарх был вынужден выслушать рассказ о позорном поражении. Его гнев против афинян возрос как никогда, и он начал энергичные приготовления к новому нападению на них, а также на Грецию в целом. Решив собрать все силы своей империи, он приказал сатрапам и субгубернаторам по всей Азии предоставить войска, лошадей и корабли, как военные, так и грузовые. Не менее трех лет империя была взбудоражена этим огромным сбором, который Дарий решил лично направить против Греции.^[1] Не его решимости помешало и восстание египтян, вспыхнувшее примерно в то время, когда его приготовления были завершены. Он был на грани того, чтобы одновременно осуществить эти два предприятия - завоевание Греции и повторное завоевание Египта, - когда его застала смерть, после тридцатишестилетнего царствования. В качестве меры предосторожности перед намеченным походом он назначил преемником Ксеркса, своего сына от Атоссы, так как возвышение этой царицы гарантировало Ксерксу предпочтение перед его старшим братом Артабазаном, сыном Дария от прежней жены, родившимся до того, как последний стал царем. Выбор царствующего монарха не вызывал сомнений, и Ксеркс стал преемником без сопротивления.^[2] Следует отметить, что, хотя мы встретимся с несколькими актами жестокости и зверства, совершенными в персидской царской семье, здесь нет ничего подобного систематическому братоубийству, которое считается необходимым для гарантии престолонаследия в Турции и других восточных империях.

Сильный гнев против Афин, который стал преобладающим чувством в сознании Дария, все еще не был утолен к моменту его смерти, и для афинян было счастьем, что его корона перешла к принцу, менее упрямо враждебному, а также во всех отношениях уступающему. Ксеркс, лично самый красивый^[3] и статный мужчина среди огромной толпы, которую он вел против Греции, по характеру был робок и слабохарактерен, помимо тех недостатков тщеславия, детского самомнения и слепоты оценки, которые он в большей или меньшей степени разделял со всеми персидскими царями. И все же мы увидим, что даже при его поведении вторжение в Грецию было очень близко к успеху: оно вполне могло бы удалиться, если бы он был наделен мужественным темпераментом или воспламенен яростной враждебностью своего отца.

Вступив на престол, Ксеркс застал все силы империи в активной подготовке, согласно приказам Дария, за исключением Египта, который находился в состоянии восстания. Его первой необходимостью было вновь завоевать эту страну, для чего огромная военная мощь, находившаяся наготове, была признана вполне достаточной. Египет был покорен и приведен в состояние гораздо более жесткой зависимости, чем прежде: можно предположить, что дань была увеличена, как и численность персидских оккупационных сил, за счет взносов, взимаемых с туземцев. Сатрапом там был назначен Ахемен, брат Ксеркса.

Но Ксеркс поначалу не был готов в равной степени претворять в жизнь планы своего покойного отца против Греции. По крайней мере, так утверждает Геродот, который представляет Мардония главным зачинщиком вторжения, отчасти из-за жажды воинственного предприятия, отчасти из-за желания получить намеченное завоевание в качестве сатрапии для себя. Не было недостатка и в греческих советниках, которые подкрепляли его рекомендации как обещанием помощи, так и религиозной окраской. Великий род Алеуадов из Лариссы, а возможно, и других городов Фессалии, был настолько заинтересован в этом деле, что их главные члены прибыли в Сузы, чтобы предложить легкую оккупацию этой пограничной территории Эллады; в то время как изгнанные из Афин Писистратиды все еще упорно пытались добиться своего восстановления в хвосте персидской армии. По этому случаю они привезли с собой в Сузы новый инструмент - святого мистика Ономакрита, человека, который приобрел большую известность, не пророчествуя сам, а собирая, упорядочивая, толкуя и выдавая пророческие стихи, проходившие под именем древнего провидца или поэта Мусея. За тридцать лет до этого, в дни расцвета Писистратидов, он жил в Афинах, пользовался доверием Гиппарха и обращался к нему как к толкователю этих почитаемых документов. Но когда поэт Ласус из Гермियोны уличил его в том, что он интерполировал их, добавляя новые материалы, Гиппарх с негодованием изгнал его. Однако Писистратиды, которые сами находились в изгнании, забыли или простили этот проступок и привезли Ономакрита с его пророчествами в Сузы, объявив его человеком с прорицательским авторитетом, чтобы он помог воздействовать на разум Ксеркса. Именно с этой целью и были направлены его интерполяции или пропуски: когда его представили персидскому монарху, он с выражением пересказал различные обнадеживающие предсказания, в которых преодоление Геллеспонта и триумфальное шествие варварского войска в Грецию выглядели как predetermined; при этом он тщательно скрывал все противоположные, предвещающие беды и позор. Так, по крайней мере, уверяет нас Геродот,[4] упорно отстаивающий авторитет Бакиса, Мусея и других греческих пророков, чьи стихи были в ходу. Религиозное поощрение Ономакрита и политическое сотрудничество, предложенное Алеуадами, позволили Мардонию эффективно преодолеть нежелание своего господина. Да и не так уж трудно было показать, согласно распространенным в то время чувствам, что новый царь Персии по чести обязан расширить границы империи.[5] Завоевательный импульс, исходивший от первого основателя, был еще не исчерпан; оскорбления, нанесенные афинянами, оставались все еще неизжитыми: и в дополнение к этому двойному стимулу к действию Мардоний нарисовал пленительную картину Европы как приобретения; "это была прекраснейшая земля в мире, она производила все виды плодоносящих деревьев и была слишком хорошим владением для любого смертного человека, кроме персидских царей".[6] За пятнадцать лет до этого милезиец Аристагор,[7] убеждая спартанцев помочь ионийскому восстанию, преувеличивал богатство и продуктивность Азии по сравнению с бедностью Греции, - контраст, который в то время был не так далек от истины, как картина, представленная Мардонием.

Убедившись таким образом в необходимости изменить свои первоначальные взгляды, Ксеркс созвал совещание главных персидских советников и объявил им о своем решении

вторгнуться в Грецию, изложив смешанные мотивы мести и возвеличивания, которые побуждали его, и представляя завоевание Греции как влекущее за собой завоевание всей Европы, так что персидская империя станет соразмерной с эфиром Зевса и пределами солнечного пути. В связи с этим вторжением, которое сейчас объявлено и вот-вот произойдет, мы должны обратить особое внимание на историческую манеру и концепцию нашего главного информатора - Геродота. Вторжение Ксеркса в Грецию и окончательный отпор его войскам составляют всю тему его трех последних книг и главную цель всей его истории, к которой направлено все предыдущее. Среди этих предшествующих обстоятельств, несомненно, есть много таких, которые имеют существенное значение и интерес сами по себе, пересказанных так подробно, что они кажутся связующими и главными, так что нить истории на некоторое время теряется из виду. И все же, если мы соберем воедино более крупные части его истории, опустив отдельные детали, мы обнаружим, что эта нить никогда не теряется в сознании самого историка: внимательный читатель может проследить ее от предисловия и непосредственно следующего за ним изложения о Крёзе как первом варварском завоевателе ионийских греков до полного раскрытия его темы *"Græcia Barbariæ lento collisa duello"* в экспедиции Ксеркса. Эта экспедиция, как завершение его исторической схемы, не только описывается более подробно и непрерывно, чем все предшествующие ей события, но и сопровождается необычной торжественностью религиозного и поэтического аккомпанеента, так что седьмой книги Геродота во многом напоминает нам вторую книгу *"Илиады"*: вероятно, если бы до нас дошли утраченные греческие эпосы, мы бы проследили множество других случаев, когда воображение историка бессознательно уподобляло себя им. Сон, посланный богами, чтобы напугать Ксеркса, когда он собирался отступить от своего проекта, - как и обширный каталог наций и выдающихся личностей, воплощенных в персидском войске, - оба имеют заметные параллели в Илиаде: и Геродот, кажется, с удовольствием представляет себе предприятие против Греции как антитезу Атрейдесу против Трои. Он вникает во внутренние чувства Ксеркса с таким же пониманием, как Гомер в чувства Агамемнона, и представляет *"совет Зевса"* как не менее прямой, особый и главенствующий, чем в Илиаде и Одиссее:[8] хотя божество у Геродота, по сравнению с Гомером, имеет тенденцию становиться средним родом, а не мужским или женским, и сохраняет только ревнивые инстинкты правителя, помимо appetitов, похоти и капризов человека: действуя, кроме того, главным образом как централизованная или, по крайней мере, как однородная сила, вместо несогласованного множества агентов, заметных в гомеровской теологии. Религиозная идея, столь часто встречающаяся у Геродота, - о том, что божество ревниво и враждебно к чрезмерной удаче или неумеренным желаниям человека, - вошла в историю Ксеркса как постоянно присутствующая мораль и как главная причина ее бесславного конца: Ибо по ходу дела мы обнаружим, что историк с той благородной откровенностью, которую Плутарх называет его *"злостью"*, не приписывает своим соотечественникам заслуг, превышающих их личную доблесть, и не пытается скрыть многочисленные шансы на поражение, которые открывала их бесхозяйственность.[9]

Я уже упоминал, что Ксеркс описывается как человек, который изначально был против этого предприятия и только под влиянием уговоров Мардония решился на него: вероятно, это было истинно персидское убеждение, поскольку вина за столь великое бедствие, естественно, должна была быть переложена с монарха на какого-то злого советника.[10] Как только Ксеркс, поддавшись на уговоры, объявил созванным им персидским вождям о своем решении перекинуть мост через Геллеспонт и отправиться на завоевание Греции и Европы, Мардоний выражает горячее согласие с этим проектом, превознося огромную силу Персии [11] и обещивая ионийцев в Европе - так он их называл - настолько бедных и разбросанных, что успех был не только несомненным, но и легким. Против безрассудства

этого полководца - злого гения Ксеркса - мы видим благоразумие и многолетний опыт Артабана, брата умершего Дария, а значит, дяди монарха. Возраст и родственные связи этого перса Нестора позволяют ему взять на себя опасную задачу - подвергнуть сомнению решение, которое Ксеркс, хотя он и пытался узнать мнение других, провозгласил уже решенным в своем собственном уме. Речь, которую Геродот вкладывает в уста Артабана, - это речь вдумчивого и религиозного грека: она открывается греческой концепцией необходимости выслушать и сравнить противоположные мнения до принятия окончательного решения, - порицает Мардония за ложное превозношение греков и соблазнение своего господина на личную опасность, - указывает на вероятность того, что греки, в случае победы на море, придут и разрушат мост, по которому Ксеркс переправился через Геллеспонт, - напоминает последнему о неминуемой опасности, которой подвергся Дарий со своим войском в Скифии из-за разрушения моста через Дунай, предотвращенного только Гистиеем и его влиянием: такие благоразумные предложения еще более усиливаются, если вспомнить о ревнивом отвращении божества к разросшейся человеческой власти.^[12]

Нетерпеливый монарх заставляет своего дядю замолчать в тоне оскорбления и угрозы: однако, несмотря на это, уговоры действуют на него так сильно, что до ночи они постепенно меняют его решение и заставляют отказаться от затеи. В таком настроении он засыпает, и тут ему снится сон: высокий статный мужчина стоит над ним, осуждает его перемену мнения и императивно приказывает продолжать задуманное. Несмотря на этот сон, Ксеркс продолжает придерживаться своего измененного замысла, на следующее утро собирает совет и, извинившись за свои гневные слова в адрес Артабана, к их великой радости сообщает, что принимает рекомендации последнего и отказывается от своего проекта против Греции. Но не успел Ксеркс заснуть, как ему снова явился тот же сон и та же фигура, повторившая предыдущее повеление в страшных угрожающих выражениях. В состоянии сильной тревоги монарх вскакивает с постели и посылает за Артабаном, которому сообщает о дважды повторенном видении и божественном повелении, запрещающем ему менять решение. "Если (говорит он) воля Божья в том, чтобы эта экспедиция против Греции была осуществлена, то то же самое видение явится и тебе, если ты облачишься в мое одеяние, сядешь на мой трон и уснешь в моей постели".^[13] Не без неохоты Артабан подчиняется этому приказу (ведь для любого перса сидеть на царском троне было государственной изменой^[14]), но в конце концов он подчиняется, рассчитывая доказать Ксерксу, что сон не заслуживает внимания. "Многие сны (говорит он) не имеют божественного происхождения и не лучше блуждающих предметов, о которых мы думаем в течение дня: этот сон, какой бы природы он ни был, не будет настолько глуп, чтобы принять меня за царя, даже если я буду в царском одеянии и на ложе; если же он будет продолжать являться тебе, я сам признаю его божественным".^[15] Артабана усаживают на царский трон и ложе, и, как только он засыпает, та же самая фигура показывается и ему, говоря: "Ты тот, кто отговаривает Ксеркса, заботясь о его безопасности, от похода на Грецию? Ксеркс уже предупрежден о том, что его постигнет, если он ослушается, и ты тоже не избежишь наказания ни сейчас, ни в будущем, если попытаешься предотвратить то, что должно быть и будет". При этих словах видение принимает угрожающий вид, словно готовясь выжечь глаза Артабану раскаленным железом, когда спящий в ужасе проснется и побежит общаться с Ксерксом. "До сих пор, о царь, я советовал тебе довольствоваться той обширной империей, благодаря которой все люди считают тебя счастливым; но поскольку божественный импульс теперь очевиден и грекам уготована гибель свыше, я тоже меняю свое мнение и советую тебе командовать персами так, как велит Бог; чтобы ничего не оказалось недостаточным для того, что Бог вложил в твои руки"^[16].

Именно так Геродот представляет себе начало великой экспедиции Ксеркса: отчасти из-за безрассудства Мардония, который пожинает свою горькую награду на поле битвы при Платее, - но еще больше из-за влияния "озорного Онейроса", который послан богами - как во второй книге "Илиады" - чтобы обмануть Ксеркса и даже террором побороть как его угрызания совести, так и угрызания совести Артабана. Боги, определив, как в случаях с Астиагесом, Поликратом и другими, что Персидская империя подвергнется серьезному унижению и поражению от рук греков, заставляют персидского монарха участвовать в губительном предприятии вопреки его собственному здравому смыслу. Такое религиозное воображение не следует рассматривать как свойственное Геродоту, но как общее с его современниками, как греками, так и персами, хотя у греков оно особенно стимулируется обилием эпической или квазиисторической поэзии: измененное в большей или меньшей степени у каждого отдельного рассказчика, оно обеспечивает связующие звенья, а также иницирующие причины для великих событий истории. В качестве причины этой экспедиции, несравненно величайшего факта и самого плодотворного по последствиям, на протяжении всей политической карьеры как греков, так и персов, ничто иное, как особое вмешательство богов, не удовлетворило бы чувства ни одного, ни другого народа. История этого сна, как рассказывает Геродот, возникла в персидской фантазии[17] и является в некотором роде утешением для национального тщеславия; но она перевернута и окрашена греческим историком, который упоминает также третий сон, который явился Ксерксу после того, как его решение о походе было окончательно принято, и который ошибка магических толкователей ложно истолковала[18] как поощрение, хотя он действительно угрожал гибелью. Насколько это религиозное представление о последовательности событий относится к эпохе, показывает тот факт, что оно не только встречается у Пиндара и аттических трагиков в целом, но и пронизывает особенно "Персы" Эсхила, написанные через семь лет после битвы при Саламине, - в которых мы находим предвещающие сны, а также ревнивую враждебность богов к огромной власти и чрезмерным стремлениям человека,[19] хотя и без той склонности, которую Геродот, похоже, почерпнул от персидских информаторов, оправдывать Ксеркса, представляя его расположенным к трезвым советам, но ведомым в противоположном направлении непреодолимой волей богов.[20]

Принимая во внимание религиозные представления, которыми и поэт, и историк окружают этот масштабный конфликт греков и варваров, мы не должны искать истинные мотивы вторжения дальше честолюбия и мести: учитывая, что этот проект был провозглашен в сознании Дария за три года до его смерти, не было никакой вероятности, что его сын и преемник безвозмездно откажется от него. Вскоре после повторного завоевания Египта он приступил к приготовлениям, масштабы которых свидетельствовали как о силе его решимости, так и о масштабах его замыслов. Сатрапы и подчиненные им офицеры по всей империи получили приказ выделить максимальное количество войск и боеприпасов - конных и пеших, военных кораблей, конных транспортов, провизии или различных припасов, в зависимости от обстоятельств территории; при этом тем, кто выполнит приказ наиболее эффективно, полагалось вознаграждение. Эти приготовления продолжались целых четыре года, и поскольку нам говорят, что подобные приготовления шли в течение трех лет, предшествовавших смерти Дария, хотя и не привели ни к какому конечному результату, мы не можем сомневаться, что максимальная сила, которую империя могла предоставить[21], была теперь привлечена для осуществления планов Ксеркса. В этот момент Персидская империя была более обширной, чем когда-либо в последующий период; она включала приморскую Фракию и Македонию до границ Фессалии и почти все острова Эгейского моря к северу от Креты и к востоку от Эвбеи, включая даже Киклады. Персидские крепости и гарнизоны существовали в Дорискусе, Эйоне и других местах на побережье Фракии, а Абдера с другими греческими поселениями на этом побережье были причислены к притокам

Суз.[22] Необходимо помнить об этих границах империи в то время, когда Ксеркс взойшел на трон, по сравнению с ее уменьшенными пределами в более позднее время Пелопоннесской войны, - отчасти для того, чтобы понять очевидные шансы на успех его экспедиции, как они представлялись персам и *медитирующим* грекам, - отчасти для того, чтобы оценить последующие обстоятельства, связанные с формированием Афинской морской империи.

Осенью 481 года до н. э. Огромная армия, собранная Ксерксом со всех концов империи, прибыла в Сарды или недалеко от них; большая ее часть была направлена в Криталу в Каппадокии, на восточной стороне Халиса, где к ней присоединился сам Ксеркс по дороге из Суз.[23] Оттуда он переправился через Халис и двинулся через Фригию и Лидию, пройдя через фригийские города Келен, Анауа и Колосс, а также лидийский город Каллатеб, пока не достиг Сард, где для него была приготовлена зимняя стоянка. Но это огромное сухопутное войско (о его численности я расскажу дальше) было не всем, что требовалось от империи. Ксеркс решил напасть на Грецию не через Эгейское море, как это сделал Датис в Эретрии и Марафоне, а сразу с помощью сухопутных войск и флота: первые пересекли Геллеспонт и прошли через Фракию, Македонию и Фессалию, а вторые должны были сопровождать и содействовать. Флот из тысячи двухсот семи военных кораблей, а также многочисленные служебные и грузовые суда были собраны на Геллеспонте и на побережье Фракии и Ионии; кроме того, Ксеркс, с предусмотрительностью, намного превосходящей ту, которую проявил его отец Дарий во время скифской экспедиции, распорядился сформировать большие склады провизии на подходящих морских станциях вдоль линии похода, от Геллеспонта до Стримонского залива. За четыре года военных приготовлений успели привезти из Азии и Египта огромное количество муки и других необходимых товаров[24].

Если весь современный мир был потрясен огромным количеством людей и военного снаряжения, которое собрал Ксеркс, настолько превосходящим весь прошлый, можно даже сказать, весь последующий опыт, то не менее поразили и два предприятия, которые вошли в его план, - переброска моста через Геллеспонт и прокладка судоходного канала через Афонский перешеек. Для первого из них уже был прецедент, поскольку Дарий за тридцать пять лет до этого перебросил мост через фракийский Босфор и пересек его во время своего похода в Скифию; Но этот мост, хотя и был построен ионийцами и саамским греком, имея отношение только к дальним регионам, похоже, был малоизвестен или о нем мало думали среди греков вообще, как мы можем заключить из того факта, что поэт Эсхил[25] говорит, будто никогда не слышал о нем, в то время как мост Ксеркса всегда помнили, как персы, так и греки, как наиболее впечатляющее проявление азиатского всемогущества. Мост из лодок - точнее, два отдельных моста, недалеко друг от друга, - который Ксеркс приказал перебросить через Геллеспонт, простирался от окрестностей Абидоса на азиатской стороне до берега между Сестосом и Мадитусом на европейской, где ширина пролива составляет около английской мили. Выполнение этой работы сначала было поручено не грекам, а фенианцам и египтянам, которые задолго до этого получили приказ подготовить специально для этой цели тросы необычайной прочности и размеров; материалом для фенианцев послужил лен, а для египтян - волокна папируса. Работа уже была завершена, и Ксерксу было объявлено о готовности к транзиту, когда поднялась буря, настолько сильная, что альтигетчер разрушил ее. Гнев монарха, узнавшего об этой катастрофе, перешел все границы; он был направлен отчасти против главных инженеров, чьи головы он приказал отрубить,[26] а отчасти и против самого Геллеспонта. Он приказал подвергнуть пролив тремстам ударам плетью, а в качестве дополнительного наказания спустить в него оковы: кроме того, Геродот слышал, но не верит, что он даже послал утюги, чтобы заклеить его. "Ты, горькая вода (воскликали бичеватели, накладывая это наказание), вот наказание, которое наш господин налагает на тебя за то, что ты обидел его, хотя он никогда не обижал тебя. Царь Ксеркс

перекрестит тебя, хочешь ты того или нет; но ты не заслуживаешь жертвы ни от кого, потому что ты - коварная река (бесполезной) соленой воды"[27].

Таковы оскорбительные термины, которыми по приказу Ксеркса осыпали непокорный Геллеспонт, - Геродот называет их "неэллинскими и богохульными", что, вместе с их краткостью, заставляет нас поверить, что он передает их так, как слышал, и что они не являются его собственным изобретением, как многие другие речи в его работе, где он драматизирует, так сказать, заданную позицию. Принято, однако, отбрасывать в данном случае не только слова, но даже основной эпизод наказания, постигшего Геллеспонт,[28] как простую греческую басню, а не реальный факт: крайнее ребячество и нелепость поступка придают ему вид вражеской клеветы. Но эта причина не покажется достаточной, если мы перенесемся в то время и к той стороне, о которой идет речь. Перенос на неодушевленные предметы чувствительных, а также волевых и конструктивных качеств человека - один из ранних и широко распространенных инстинктов человечества и одна из примитивных форм религии: И хотя расширение разума и опыта постепенно вытесняет этот элементарный фетишизм и изгоняет его из области реальности в область условных вымыслов, все же силы минутной страсти часто бывает достаточно, чтобы вытеснить приобретенную привычку, и даже разумный человек[29] может быть побужден в момент мучительной боли пнуть или побить безжизненный предмет, от которого он страдал. По старой процедуре, никогда официально не отменявшейся, хотя и постепенно перестававшей использоваться, в Афинах - неодушевленный предмет, ставший причиной смерти человека, торжественно судили и изгоняли за границу: а аркадские юноши, вернувшись голодными после неудачного дня охоты,[30] бичевали и кололи бога Пана или его статую в качестве мести. Гораздо больше мы можем предположить, что молодой персидский монарх, развращенный всеобщим подчинением, способен таким образом выплеснуть безумный гнев: и месть, которую Геродот приписывает Киру по отношению к реке Гиндес (которую он разделил на триста шестьдесят потоков, потому что в ней утонул один из его священных коней), представляет собой справедливую параллель с бичеванием Геллеспонта Ксерксом. Приносить жертвы рекам и таким образом выражать благодарность за услуги, оказанные реками, было привычным обрядом в древней религии. Хотя основания для недоверия к этому рассказу существенно ослабевают, положительные свидетельства покажутся весьма убедительными. Экспедиция Ксеркса состоялась, когда Геродоту было около четырех лет, так что впоследствии у него было много возможностей пообщаться с людьми, которые были ее свидетелями и принимали в ней участие; и все его повествование показывает, что он в значительной степени воспользовался таким доступом к информации. Кроме того, строительство моста через Геллеспонт и все связанные с ним инциденты были по своей сути публичными действиями, известными многим свидетелям, а потому тем более легко проверяемыми, обезглавливание несчастных инженеров было актом страшно впечатляющим, и даже бичевание в Геллеспонте, будучи по сути публичным, кажется Геродоту[31] (как и Арриану впоследствии) не ребячеством, а нечестием. Чем внимательнее мы сопоставим в рассматриваемом нами случае положительные свидетельства с присущими им отрицательными вероятностями, тем больше мы будем склонны без колебаний признать утверждение нашего первоначального историка.

Новые инженеры - возможно, греки, наряду с фенианцами и египтянами или вместо них - были немедленно направлены для возобновления работ, которые Геродот теперь описывает в деталях и которые, несомненно, были выполнены с повышенной тщательностью и основательностью. Для создания двух мостов две линии кораблей - триремы и пентеконтеры, смешанные вместе, - были пришвартованы через пролив грудью вперед, кормами к Эвксинскому морю, а головами к Эгейскому, причем течение всегда быстро в сторону

последнего.[32] Они были пришвартованы якорями с головы и кормы и очень длинными тросами. Число кораблей, размещенных мосту, ближайшему к Эвксинскому заливу, составляло триста шестьдесят: на другом - триста четырнадцать. Над или через каждую из двух линий кораблей, от берега до берега, были протянуты шесть огромных тросов, которые выполняли двойную функцию - удерживали корабли вместе и поддерживали мостовую, которая должна была быть проложена по ним. На каждом берегу они были натянуты с помощью каптажей: в трех разных местах вдоль этой линии между кораблями был оставлен промежуток, чтобы торговые суда, идущие в Эвксинский залив или из него, могли проходить и возвращаться под тросами.

Из шести тросов, предназначенных для каждого моста, два были из льна и четыре из папируса, объединенные для большей прочности; похоже, что в первых мостах, которые оказались слишком слабыми, чтобы противостоять ветрам, финикийцы использовали тросы из льна для одного моста, а египтяне - из папируса для другого.[33] Поверх них были положены деревянные доски, распиленные на куски соответствующей ширины, закрепленные веревками, чтобы удержать их на своих местах; и, наконец, на этом основании была построена сама дамба из земли и дерева, с достаточно высоким палисадом с каждой стороны, чтобы скот, который проходил по ней, не видел воды.

Другой большой работой, которую Ксеркс приказал выполнить для облегчения своего похода, было прорезание перешейка, соединяющего бурный мыс горы Афон с основной сушей.[34] Этот перешеек, вблизи места, где он соединяется с основной сушей, был около двенадцати стадий или фулонгов в поперечнике, от Стримонского до Торонского залива; канал, прорытый по приказу Ксеркса, был достаточно широк и глубок, чтобы по нему могли плыть две триремы в одну сторону. В этой работе, как и в строительстве моста через Геллеспонт, финикийцы оказались самыми умелыми и эффективными среди всех подданных персидского монарха; но на помощь им были привлечены и другие данники, особенно греки из соседнего города Аканф, и вообще все морские силы империи[35]. Штаб-квартира флота находилась сначала в Киме и Фокее, затем в Елеусе на южной оконечности фракийского Херсонеса, откуда он мог защищать сразу два предприятия - на Геллеспонте и на горе Афон. Прокладка канала на последней была поручена двум знатным персам, Бубаресу и Артахею, и распределена по их меркам в качестве работы между контингентами различных народов; достаточное количество муки и других продуктов было привезено для продажи на соседней равнине из различных частей Азии и Египта.

Три обстоятельства в рассказе Геродота об этой работе заслуживают особого внимания. Во-первых, превосходный интеллект финикийцев, которые, находясь в пределах видимости возвышенного острова Тасос, занятого за три столетия до этого их свободными предками, теперь работали как орудие для удовлетворения амбиций иностранного завоевателя. Среди всех занятых людей только они приняли меры предосторожности и начали рыть котлован с ширины, намного превышающей ширину канала, чтобы постепенно сузить его и оставить удобный уклон для бортов: остальные копали прямо вниз, так что время и труд их работы удваивались из-за постоянного опускания бортов, - замечательная иллюстрация степени практического ума, распространенного в то время, поскольку собравшиеся народы были многочисленны и разнообразны. Во-вторых, Геродот отмечает, что Ксеркс, должно быть, выполнял эту трудоемкую работу из соображений простого хвастовства: "ведь перетащить все корабли флота через перешеек не стоило бы никакого труда, - замечает он[36], - так что в канале не было никакой необходимости". В сознании грека V века до н. э. транспортировка кораблей с помощью механической силы через перешеек была столь привычным процессом; для них, по-видимому, был подготовлен специальный паз, или слип: так было в

Диолкусе через Коринфский перешеек. В-третьих, следует отметить, что люди, рывшие канал на горе Афон, работали под плетью; и это, следует помнить, были не купленные рабы, а свободные люди, за исключением тех случаев, когда они были подданными персидского монарха; среди них, возможно, был и отец Геродота, уроженец Галикарнаса и подданный храброй царицы Артемисии. В дальнейшем мы найдем и другие примеры такого неизбирательного использования бича и полного убеждения в его необходимости со стороны персов[37] - даже для того, чтобы подгонять войска своих подданных-контингентов к атаке в бою. Применять бич таким образом по отношению к свободным людям, особенно к свободным людям, занятым на военной службе, было совершенно противно как эллинской практике, так и эллинскому чувству: азиатские и островные греки были избавлены от этого, как и от других тягот, когда они вышли из-под власти персов и стали сначала союзниками, а затем подданными Афин; в дальнейшем мы будем вынуждены принять этот факт к сведению, когда будем оценивать жалобы, выдвигаемые против гегемонии Афин.

Одновременно с тем, как подданные Ксеркса бывшим проложили этот канал, укрепленный с двух сторон от моря компактными земляными стенами или насыпями, они также навели лодочные мосты через реку Стримон: и эти две работы, вместе с обновленным двойным мостом через Геллеспонт, были объявлены Ксерксу как завершенные и готовые к переправе, по его прибытии в Сарды в начале зимы 481-480 гг. до н.э. Прибыла ли вся его огромная армия в Сарды одновременно с ним самим и зимовала там, можно не сомневаться; но вся она была собрана в Сардах и готова к походу на Грецию в начале весны 480 года до н.э.

Пока персидский монарх зимовал в Сардах, он разослал глашатаев во все города Греции, кроме Спарты и Афин, чтобы потребовать от них землю и воду в знак покорности, ибо весть о его огромном вооружении должна была посеять ужас даже среди самых решительных из них. И в то же время он послал приказ в приморские города Фракии и Македонии приготовить "обед" для себя и своей огромной свиты, когда он будет проезжать по маршруту своего похода. Этот поход начался с первыми лучами весны и продолжался, несмотря на несколько угрожающих предзнаменований, - одно из которых Ксеркс был настолько слеп, что не понял, хотя, по словам Геродота, ничто не могло быть более очевидным, чем его значение,[38] - а другое было неверно истолковано в благоприятное предзнаменование благодаря уступчивому ответу магийских жрецов. Выйдя из Сард, огромное войско разделилось на две почти равные колонны: между ними оставался просторный промежуток для самого царя с его охраной и отборными персами. Прежде всего[39] шел багаж, который несли на ношах, за ним следовала половина всей пехоты, без различия наций: затем отборные войска, тысяча персидских конников и тысяча персидских копьеносцев; последние отличались тем, что несли свои копья острием вниз, а также самим копьем, на другом конце которого был золотой гранат, вместо обычного шипа или острия, которым оружие втыкалось в землю, когда солдат не был на службе. За этими войсками шли десять священных коней, огромной силы и великолепно убранных, выращенных на нисейских равнинах в Мидии: следом священная колесница Зевса, запряженная восемью белыми конями, - на нее не разрешалось садиться никому, даже вознице, который шел пешком позади с поводьями в руке. За священной колесницей следовала колесница самого Ксеркса, запряженная нисейскими лошадьми; возница, знатный перс по имени Патирамфес, сидел в ней рядом с монархом, который часто имел обыкновение сходить с колесницы и садиться на подводку. Непосредственно вокруг него находилась тысяча конных гвардейцев, лучших солдат и представителей высшей породы среди персов, с золотыми яблоками на обратном конце копий, а за ними следовали другие отряды в тысячу конных, десять тысяч пеших и десять тысяч конных, все коренные персы. Из этих десяти тысяч персидских пехотинцев, называемых бессмертными, потому что их число всегда точно выдерживалось, девять тысяч

несли копья с гранатами из серебра на обратном конце, а остальные тысяча, распределенные впереди, сзади и с каждой стороны этого отряда, были отмечены гранатами из золота на своих копьях. С ними закончилось то, что мы можем назвать домашними войсками: после них, с интервалом в две фулонги, остальная часть войска следовала pell-mell.^[40] О ее численности и составных частях я расскажу позже, по случаю большого смотра в Дорискусе.

На каждой стороне войска, когда оно выходило из Сард, была видна подвешенная половина тела убитого человека, помещенная туда специально для того, чтобы преподать урок подданным Персии. Это было тело старшего сына богатого Пифия, фригийского старика, жившего в Келенах, который развлекал Ксеркса во время его похода из Каппадокии в Сарды, а до этого богатыми подарками рекомендовал себя предшественнику царю Дарию. Его гостеприимство было столь обильным для Ксеркса, а предложения о денежном вкладе в греческую экспедицию столь настойчивыми, что монарх спросил его о размере его богатства. "Я владею (ответил Пифий), кроме земель и рабов, двумя тысячами талантов серебра и тремя миллионами девятьсот девяносто тремя тысячами золотых дариков, не хватающих лишь семи тысяч из четырех миллионов. Все это золото и серебро я дарю тебе, оставляя себе только земли и рабов, которых будет вполне достаточно". Ксеркс ответил самыми сильными выражениями похвалы и благодарности за его щедрость, но в то же время отказался от его предложения и даже отдал Пифию из своих собственных сокровищ семь тысяч дариков, которых не хватало для составления точной суммы в четыре миллиона. Последний был так воодушевлен этим знаком благосклонности, что, когда армия собиралась отбыть из Сард, он решился, под влиянием ужаса от различных угрожающих предзнаменований, вознести молитву персидскому монарху. Пятеро его сыновей собирались служить в армии, вторгшейся в Грецию; он просил Ксеркса оставить старшего из них, чтобы он мог дожить до своих преклонных лет, а службу остальных четырех в армии счесть достаточной. Но несчастный отец не знал, о чем просит. "Несчастный! (Ты смеешь говорить со мной о своем сыне, когда я сам нахожусь в походе против Греции со своими сыновьями, братьями, родственниками и друзьями? Ты, мой раб, чей долг - следовать за мной с женой и всей семьей? Знай, что чувствительная душа человека обитает в его ушах: слыша добро, она наполняет тело восторгом, но кипит от гнева, когда слышит обратное. Как тогда, когда ты творил добрые дела и делал мне предложения, ты не мог похвастаться тем, что превзошел короля в щедрости, так и теперь, когда ты обернулся и стал дерзким, наказание, постигшее тебя, будет не полной мерой твоих заслуг, а чем-то меньшим. Для тебя самого и для четырех твоих сыновей гостеприимство, которое я получил от тебя, послужит защитой; но для одного сына, которого ты особенно желаешь сохранить в безопасности, наказанием будет лишение его жизни". Он тут же приказал предать сына Пифия смерти, а тело его разрубить на две части, одну из которых положить по правую, а другую - по левую сторону дороги, по которой должно было пройти войско^[41].

Похожая, но менее отвратительная история уже рассказывалась о Дарии, когда он предпринял поход на Скифию. Обе истории иллюстрируют силу чувств, с которой персидские цари относились к обязанности всеобщего личного служения, когда они сами находились в поле. Похоже, что они измеряли свою силу количеством людей, которых собирали вокруг себя, практически не обращая внимания на качество: само упоминание об освобождении - мысль о том, что подданный и раб должен пытаться отстраниться от риска, с которым предстояло столкнуться монарху, - было преступлением, не подлежащим прощению. В этом, как и в других действиях восточных царей, будь то благодарных,

милостивых или свирепых, мы не видим ничего, кроме деспотической силы личной воли, воплощающейся в действиях без всякой мысли о последствиях и обращающейся с подданными с меньшим вниманием, чем обычный греческий хозяин проявил бы к своим рабам.

Из Сард войско Ксеркса направилось в Абидос, сначала через Мисию и реку Кайкус, затем через Атарней, Каринк и равнину Феб: они прошли Адра миттий и Антандр и пересекли хребет Ида, большая часть которого находилась по левую руку, не без потерь от бури и грома.^[42] Отсюда они достигли Илиума и реки Скамандр, течение которой было выпито, или, возможно, частично вытоптано и стало непитьевым, огромным количеством людей и животных: несмотря на бессмертный интерес, который Скамандр вызывает в гомеровских поэмах, его величина не такова, чтобы сделать этот факт удивительным. Даже Ксеркс не преминул воздать должное самим поэмам: он взошел на священный холм Илиум, осмотрел Пергам, где, по преданию, жил и царствовал Приам, принес тысячу быков в жертву богине-покровительнице Афине и заставил магийских жрецов совершить возлияния в честь героев, павших на этом почитаемом месте. Он даже снизошел до того, чтобы поинтересоваться местными подробностями,^[43] в изобилии предоставленными гостям жителями Илиума, о той великой реальной или мифической войне, которой греческие хронологи едва ли еще научились назначать точную дату: и, несомненно, когда он созерцал узкую территорию той Трои, которую все греки, объединившиеся под командованием Агамемнона, не могли преодолеть в течение десяти лет, он не мог не вообразить, что эти же греки падут легкой добычей перед его бесчисленным войском. Еще через день марша между Ретием, Офринеем и Дарданусом с левой стороны и тевкийцами у Гергиса с правой он добрался до Абидоса, где его ждали два недавно построенных моста через Геллеспонт.

На этом переходе из Азии в Европу Геродот останавливается с особым акцентом, - и он вполне мог бы это сделать, поскольку, если учесть мосты, число вторгшихся, безмерные надежды, сменившиеся не менее безмерным бедствием, - он представляется не только самым впечатляющим событием его века, но и одним из самых впечатляющих событий всей истории. Он окружает его множеством драматических обстоятельств, не только упоминая мраморный трон, воздвигнутый для Ксеркса на холме близ Абидоса, откуда он наблюдал и за своими сухопутными войсками, покрывающими берег, и за кораблями, плывущими и мчащимися по проливу (гонка, в которой сидонские феники превосходили греков и все остальные контингенты), но и добавляя к этому реальному факту диалог с Артабаном, призванный изложить внутренний настрой Ксеркса. Далее он цитирует некие предполагаемые восклицания абиденцев при виде его сверхчеловеческой силы. "Зачем (сказал один из этих охваченных ужасом зрителей^[44]), зачем ты, о Зевс, под видом перса и именем Ксеркса собираешь весь род человеческий на погибель Греции? Ты легко мог бы сделать *это* без лишних слов". Такие категоричные высказывания свидетельствуют о сильных чувствах, которые Геродот или его информаторы вкладывают в эту сцену, хотя мы не можем осмелиться применить к ним тщательный анализ исторической критики.

В первый момент восхода солнца, столь священного для восточных людей,^[45] было приказано начать переправу: мосты были надушены ладаном и усыпаны миртовыми ветвями, а сам Ксеркс совершил возлияние в море золотой кадильницей и вознес молитвы Гелиосу, чтобы он без помех осуществил свой замысел покорить Европу до самых дальних ее пределов. Вместе с возлияниями он бросил в Геллеспонт саму кадильницу, золотую чашу и персидский скимитар; "я точно не знаю^[46] (добавляет историк), бросил ли он их в дар Гелиосу или в знак раскаяния и искупления Геллеспонта за те удары, которые он ему нанёс". Из двух мостов тот, что ближе к Эвксинскому, был предназначен для военных, а другой - для

сопровождающих, багажа и ночных животных. Первыми перешли десять тысяч персов, называемых бессмертными, с гирляндами на головах, , а за ними последовал сам Ксеркс с оставшимся войском, правда, в порядке, несколько отличном от того, который был при выходе из Сард: достигнув европейского берега, монарх увидел, что его войска переходят по мостам вслед за ним "под плетью". Но, несмотря на этот резкий стимул к ускорению продвижения, численность его войска была столь велика, что на переправу ушло не менее семи дней и семи ночей, без единого перерыва, - этот факт следует иметь в виду, когда мы будем обсуждать итоги, подсчитанные Геродотом[47].

Очистив таким образом пролив, Ксеркс направил свой марш вдоль фракийского Херсонеса к перешейку, соединяющему его с Фракией, между городом Кардия по левую руку и гробницей Эллады по правую, - одноименной героини пролива. Миновав этот перешеек, он повернул на запад вдоль побережья залива Мелас и Эгейского моря, пересек реку, от которой этот залив получил свое название, и даже испил ее воды - по словам Геродота - вместе с людьми и животными своей армии. Миновав эолийский город Инус и гавань под названием Стенторис, он достиг морского побережья и равнины под названием Дориск, занимающей богатую дельту у устья Гебра: там Дарий построил крепость с гарнизоном. Просторная равнина, названная тем же именем, простиралась вдоль берега до мыса Серреум и включала в себя города Сале и Зонке, владения самофракийских греков, посаженные на территории, некогда принадлежавшей фракийским киконам на материке. Присоединив сюда свой флот, который удвоил[48] самый южный мыс фракийского Херсонеса, он счел ситуацию удобной для общего обзора и перечисления как своих сухопутных, так и морских сил.

Никогда, наверное, в истории человечества не собирались вместе люди из столь отдаленных и столь разных регионов, с одной целью и под одним командованием, как те, что собрались сейчас во Фракии у устья Гебруса. О численном составе мы не можем составить никакого определенного представления, но в разнообразии контингента сомневаться не приходится. "Какой азиатский народ (спрашивает Геродот,[49] чьи представления об этой экспедиции, похоже, опережают его языковые способности) Ксеркс не привел против Греции?" Это были не только азиатские народы, обитавшие в пределах Оксуса, Инда, Персидского залива, Красного моря, Леванта, Эгейского и Эвксинского морей: к ним следует добавить египтян, эфиопов, живших на Ниле к югу от Египта, и ливийцев из пустыни близ Киренаики. Не все баснословные и исторические экспедиции, о которых Геродот когда-либо слышал, казались ему сравнимыми с экспедицией Ксеркса даже по общему числу, а уж по разнообразию составляющих элементов и подавно. Сорок шесть различных народов,[50] каждый со своим национальным костюмом, способом вооружения и местными лидерами, составляли огромную сухопутную армию; восемь других народов обеспечивали флот, на борту которого персы, медяки и сакцы служили в качестве вооруженных солдат или пехотинцев; а настоящими лидерами, как всей армии, так и всех ее различных подразделений, были коренные персы благородных кровей, которые распределяли различные местные контингенты по ротам тысяч, сотен и десятков. Сорок шесть народов, составлявших сухопутную армию, были следующими: Персы, Меды, Киссиане, Гирканы, Ассирийцы, Бактрийцы, Сакæ, Индийцы, Арийцы, Парфяне, Хорасмийцы, Согдийцы, Гандарцы, Дадикæ, Каспийцы, Сарангæ, Пакты, Утии, Мики, Париканийцы, Аравийцы, эфиопы в Азии и эфиопы к югу от Египта, ливийцы, пафлагонцы, лигийцы, матиены, мариандины, сирийцы, фригийцы, армяне, лидийцы, мисийцы, фракийцы, кабелы, маресы, колхи, алародийцы, саспейцы, сагартийцы. Восемь народов, предоставивших флот, были таковы: Феники - триста военных кораблей; египтяне - двести; киприоты - сто пятьдесят; киликийцы - сто; памфилийцы - тридцать; ликийцы - пятьдесят; карийцы - семьдесят; ионийские греки - сто; дорических греков - тридцать; эолийских греков - шестьдесят; эллиспонтийских греков - сто; греков с

островов в Эгейском море - семнадцать; всего тысяча двести семь трирем, или военных кораблей, с тремя банками весел. Описания костюма и вооружения, которые мы находим у Геродота, любопытны и разнообразны, но важно отметить, что ни один народ, кроме лидийцев, памфилийцев, киприотов и карийцев (частично и египетских моряков на кораблях), не носил оружия, аналогичного греческому (*т.е.* т.е. оружие, пригодное для упорного боя и продолжительной атаки,^[51] для рукопашного боя в строю и для защиты своей персоны, но неудобно тяжелое для преследования или бегства); в то время как остальные народы были вооружены ракетным оружием, легкими щитами из плетеной ткани или кожи, или вообще без щитов, турбанами или кожаными шапками вместо шлемов, мечами и косами. Они не были должным образом экипированы ни для сражения в регулярном порядке, ни для сопротивления линии копий и щитов, которые греческие гоплиты обрушивали на них; их лица также были гораздо менее защищены от ран, чем у последних; некоторые из них, как мисийцы и ливийцы, даже не носили копий, а только шести с закаленным в огне концом.^[52] Кочевое племя персов, называемое сагартями, насчитывавшее восемь тысяч всадников, было вооружено только кинжалом и веревкой, известной в Южной Америке как лассо, которую они забрасывали схватке, чтобы опутать противника. Эфиопы с Верхнего Нила раскрашивали свои тела наполовину в красный, наполовину в белый цвет, носили шкуры львов и пантер и, кроме копья, имели при себе длинный лук со стрелами из тростника, острие которых было из камня.

Именно в Дорискусе впервые была проведена нумерация бойцов всей сухопутной армии, поскольку Геродот прямо сообщает, что различные контингенты никогда не считались по отдельности, и признается в своем неведении относительно численности каждого из них. Средства, использованные для подсчета, были поразительны. Десять тысяч человек были сосчитаны^[53] и собраны вместе как можно плотнее: была проведена линия и построена стена вокруг пространства, которое они занимали, в которую было приказано последовательно войти всей армии, так что таким образом было определено общее число дивизий, состоящих из десяти тысяч человек каждая. Сто семьдесят из этих дивизий, как утверждают информаторы Геродота, были таким образом пронумерованы, составляя в общей сложности миллион семьсот тысяч пеших, кроме того, восемьдесят тысяч конных, множество военных колесниц из Ливии и верблюдов из Аравии, и, предположительно, еще двадцать тысяч человек.^[54] Такова была огромная сухопутная армия персидского монарха: его военно-морское снаряжение было соответствующего масштаба и включало не только двенадцатьсот семь трирем,^[55] или военных кораблей с тремя банками весел, но и три тысячи более мелких военных судов и транспортов. Экипаж каждой триремы состоял из двухсот гребцов и тридцати воинов, персов или саков; экипаж каждого из сопутствующих судов включал восемьдесят человек, согласно среднему показателю, который, как полагает Геродот, не так уж далек от истины. Если суммировать эти данные, то общее число людей, приведенных Ксерксом из Азии на равнину и к побережью Дориска, достигнет поразительной цифры два миллиона триста семнадцать тысяч человек. И это еще не все. Во время дальнейшего похода из Дориска в Фермопилы Ксеркс привлек на службу людей и корабли всех народов, чью территорию он пересекал: отсюда он получил сто двадцать трирем с экипажами в двадцать четыре тысячи человек и триста тысяч новых сухопутных войск, так что общая численность его сил, когда он появился в Фермопилах, составляла два миллиона шестьсот сорок тысяч человек. К этому, по предположению Геродота, следует добавить ничуть не меньшее число слуг, рабов, подмастерьев, экипажей провиантских и грузовых кораблей и т. д., так что мужское население, сопровождавшее персидского царя, когда он достиг первого пункта греческого сопротивления, составило пять миллионов двести восемьдесят три тысячи двести двадцать человек! Так оценивает эту армию, всю силу восточного мира, в четких и ясных цифрах Геродот,^[56] который сам, очевидно, полагает, что

она была еще больше, ибо он считает число "последователей лагеря" не только равным, но и значительно большим, чем число сражающихся мужчин. Кроме того, мы должны учитывать евнухов, наложниц и женщин-поварих, о количестве которых Геродот и не догадывается: вместе с крупным рогатым скотом, ношами и индийскими собаками, в неопределенном количестве увеличивающими потребление регулярной армии.

Признать это подавляющее общее число или что-то близкое к нему, очевидно, невозможно: однако пренебрежительные замечания, которые оно вызвало у Геродота, ни в коем случае не заслужены.^[57] Он старается отличать то, что ему сообщили информаторы, от того, о чем он просто догадывался. Его описание смотра при Дорискусе настолько подробно, что он, очевидно, беседовал с людьми, присутствовавшими на нем, и узнал отдельные итоги, объявленные счетчиками, - пехоту, конницу и военные корабли, большие и малые. Что касается количества трирем, то его утверждение кажется не совсем верным, о чем можно судить по современному авторитету Эсхила, который в "Персах" приводит точное число двенадцатисот семь персидских кораблей, сражавшихся при Саламине: но между Дориском и Саламином Геродот^[58] сам перечислил шестьсот сорок семь кораблей как потерянные или уничтоженные, и только сто двадцать - как добавленные. Поэтому нельзя заподозрить никакого преувеличения в этом заявлении, которое подразумевает около двухсот семидесяти шести тысяч человек в качестве численности экипажей, хотя здесь имеет место путаница или упущение в повествовании, которое мы не можем прояснить. Но совокупность трех тысяч меньших кораблей и, тем более, одного миллиона семисот тысяч пехотинцев заслуживает гораздо меньшего доверия. У перечислявших было бы мало или совсем нет мотивов быть точными и все мотивы для преувеличения, - огромная номинальная сумма была бы не менее приятна для армии, чем для самого монарха, - так что военный итог сухопутных сил и экипажей кораблей, который Геродот приводит как два миллиона шестьсот сорок одну тысячу по прибытии в Фермопилы, может быть отвергнут как необоснованный и невероятный. А вычисления, с помощью которых он определяет количество невоенных людей, равное или более чем равное военным, основаны на предположениях, которые сейчас недопустимы; ведь хотя в греческой хорошо экипированной армии было принято считать одного легковооруженного солдата или сопровождающего на каждого гоплита, к персидскому войску такая оценка неприменима. Несколько вельмож и вождей могут быть богато обеспечены различными видами сопровождающих, но у огромной массы армии их не будет вовсе. В самом деле, кажется, что единственный способ, которым мы можем привести общую численность армии, которая в любом случае должна была быть очень велика, в соответствие с условиями возможного пропитания, - это предположить сравнительное отсутствие сопровождающих и принять во внимание факт небольшого потребления и привычного терпения к трудностям восточных людей во все века. Азиатский солдат и в наши дни совершает свой поход на скудном пайке и в условиях лишений, которые были бы невыносимы для европейца.^[59] И хотя мы таким образом уменьшаем возможное потребление, мы должны учитывать, что ни в одном случае в древней истории не было предпринято столько усилий для накопления запасов на линии марша: в дополнение к этому города во Фракии были обязаны поставлять такое количество провизии, когда армия проходила мимо, что почти доводили их до разорения. Сам Геродот выражает удивление, как можно было обеспечить провизией столь огромное количество людей; если бы мы приняли его оценку буквально, то трудность была бы увеличена до невозможности. Если хорошо взвесить обстоятельства дела и учесть, что эта армия была результатом максимальных усилий по всей огромной империи, что главным требованием была большая численность, что мольбы об освобождении рассматривались Великим царем как смертный приговор, и что провизия была собрана за три года до марша, - мы можем вполне поверить, что численность Ксеркса была больше, чем когда-либо собиралась в древние времена, или, возможно, в

любую известную эпоху истории. Но было бы опрометчиво претендовать на то, чтобы угадать какое-либо положительное число при полном отсутствии установленных данных: и когда мы узнаем от Фукидида, что он счел невозможным выяснить точную численность небольших армий греков, сражавшихся при Мантинее, [60] мы не будем стыдиться признаться в своей неспособности сосчитать азиатские толпы при Дорискусе. Однако мы можем заметить, что, несмотря на подкрепления, полученные впоследствии во Фракии, Македонии и Фессалии, можно сомневаться в том, что общее количество войск впоследствии увеличилось; ведь Геродот не учитывает дезертиров, которых, должно быть, было очень много, в войске беспорядочном, разнородном, не заинтересованном в предприятии, и где численность каждого отдельного контингента была неизвестна.

Ктесий называет общую численность войска в восемьсот тысяч человек и тысячу трирем, не считая боевых колесниц: если он посчитает экипажи трирем отдельно от восьмисот тысяч человек, что кажется вероятным, то общая численность будет значительно выше миллиона. Илиан считает, что общая численность составляет семьсот тысяч человек: Диодор [61], по-видимому, частично следует Геродоту, частично другим авторитетам. Ни один из этих свидетелей не позволяет нам исправить Геродота в случае, когда мы вынуждены ему не верить. Он является в некотором роде оригинальным свидетелем, который, очевидно, беседовал с людьми, действительно присутствовавшими при сборе Дориска, сообщая нам как их мнение о численности, так и расчеты, истинные или ложные, распространенные среди них авторитетом. Более того, современник Эсхила, соглашаясь с ним в точности относительно количества трирем, не приводит никаких конкретных цифр относительно сухопутных войск, но передает нам в своих *Persæ* общее ощущение огромной численности, которое может показаться соответствующим самому большому заявлению Геродота: Персидская империя истощена мужчинами, - женщины Суз остались без мужей и братьев, - Бактрийской территории не позволили сохранить даже своих стариков. [62] Ужасающий эффект этой толпы был, вероятно, столь же велик, как если бы ее численность действительно соответствовала представлениям Геродота.

После того как была проведена нумерация, Ксеркс проехал на своей колеснице мимо каждого из нескольких отрядов, осмотрел их снаряжение и задал вопросы, на которые царские писцы записали ответы: затем он взошел на борт сидонской триремы, уже оснащенной золоченым тентом, и проплыл вдоль носов своего огромного флота, пришвартованного в линию примерно в четырехстах футах от берега, причем каждое судно было полностью укомплектовано для действий. Такое зрелище должно было вызвать эмоции высокомерной уверенности, и именно в этом духе он немедленно послал за Демаратом, изгнанным царем Спарты, который был среди его помощников, - спросить, возможно ли вообще сопротивление греков такой силе. Разговор между ними, драматически переданный Геродотом, является одним из самых впечатляющих проявлений чувств на греческом языке. [63] Демарат уверяет его, что спартанцы, конечно, и дорийцы Пелопоннеса, вероятно, будут сопротивляться ему до смерти, какова бы ни была разница в численности. Ксеркс принимает это заявление с насмешкой, но не выражает никакого чувства неудовольствия: почетный контраст с обращением последнего монарха Персии с Харидемом полтора века спустя [64].

После завершения смотра Ксеркс с армией продолжил свой поход на запад, тремя частями и по трем различным дорожным линиям, через территории семи различных племен фракийцев, перемежающихся с греческими морскими колониями: все это было еще в пределах его собственной империи, и он получал подкрепления от каждого по мере прохождения: фракийские Сатрэ были сохранены от этого сбора благодаря их неприступным

местам среди лесов и снегов Родопака. Острова Самофракия и Фазус с подвластными им городами на материке, а также греческие колонии Дикея, Маронея и Абдера были последовательно заложены под контингенты кораблей и людей; и, что было еще более разорительно, они были вынуждены обеспечивать дневной рацион для огромного войска, когда оно проходило: ведь в день своего перехода великий царь был их гостем. Приказ об этом был передан заранее, и в течение многих месяцев горожане усердно собирали продовольствие для армии, а также деликатесы для монарха: мололи муку из пшеницы и ячменя, откармливали скот, держали птиц и птиц, а также достойно выставляли золотые и серебряные блюда для царского обеда. Для Ксеркса и его приближенных был возведен великолепный шатер, в то время как армия получала свой рацион на открытой местности вокруг: когда на следующее утро начался поход, шатер со всем его богатым содержимым был разграблен, и ничего не было возвращено тем, кто его поставил. Конечно, такое огромное войско, семь дней и семь ночей переправлявшееся через двойной Геллеспонтский мост, должно было также много дней идти по территории, а значит, и за счет каждого из городов, так что расходы ставили их на грань разорения, а в некоторых случаях заставляли покидать дома и жилища. Расходы, понесенные для этой цели городом Фасусом за счет владений на материке, составили не менее четырехсот талантов[66] (равных девятистам двум тысячам восьмистам фунтам), а в Абдере остроумный Мегакreon посоветовал своим соотечественникам отправиться всем телом в храмы и возблагодарить богов, поскольку Ксеркс был доволен тем, что довольствовался одной трапезой в день. Если бы монарх потребовал не только завтрак, но и ужин, абдериты были бы поставлены перед выбором: либо изгнание, либо полная нищета.[67] Поток под названием Лиссус, который, по-видимому, не имел большого значения, как говорят, был выпит армией, как и озеро некоторой величины возле Пистируса.[68]

Через территорию эдонийских фракийцев и пирийцев, между Пангеей и морем, Ксеркс со своим войском достиг реки Стримон у важной станции Эннеа Ходои, или Девяти дорог, впоследствии памятной основанием Амфиполя. Через реку уже были переброшены мосты, которым магийские жрецы оказывали торжественные почести, принося в жертву белых лошадей и бросая их в поток. Его религиозные чувства не были удовлетворены и без более драгоценных жертв, к которым часто прибегали персы: он похоронил здесь заживо девять местных юношей и девять девиц, в знак комплимента Девяти Дорогам, по названию места:[69] кроме того, он оставил под присмотром пеонийцев Сириса священную колесницу Зевса, которая была привезена из столицы империи, но, без сомнения, оказалась неудобной на линии похода. От Стримона он двинулся вперед вдоль Стримонского залива, проходя через территорию бисальтеев, рядом с греческими колониями Аргилус и Стагирус, пока не подошел к греческому городу Аканф, расположенному у Афонского перешейка, который был недавно прорезан. Свирепый царь бисальтеев[70] отказался подчиниться Ксерксу, бежал в Родопу в поисках безопасности и запретил своим шести сыновьям присоединяться к персам. К несчастью для себя, они все же сделали это, а когда вернулись, он ослепил их всех.

Все греческие города, мимо которых проходил Ксеркс, с готовностью повиновались его приказам, и, наверное, мало кто сомневался в конечном успехе столь грандиозного вооружения. Но жители Аканта отличились своим усердием и старанием при прокладке канала и, вероятно, получили значительную прибыль во время этой операции; теперь Ксеркс оплатил за их усердие тем, что заключил с ними договор о гостеприимстве, сопровождаемый похвалами и подарками; хотя, похоже, он не освободил их от обязанности содержать армию, находясь на их территории. Здесь он отделился от своего флота, которому было приказано плыть через Афонский канал, обогнуть два юго-западных мыса Халкидского полуострова, войти в Термический залив и ожидать его прибытия в Термы. По пути флот

собрал дополнительные войска из греческих городов на двух полуостровах Ситония и Паллен, а также на восточной стороне Термического залива, в области под названием Крусис, или Кроссея, на континентальной стороне Палленского перешейка. Эти греческие города были многочисленны, но не имели большого индивидуального значения. Возле Термы (Салоники) в Мигдонии, в глубине залива и к востоку от устья Аксия, флот ожидал прибытия Ксеркса по суше из Аканта. По-видимому, ему предстоял трудный поход и путь вглубь страны, через Пеонию и Крестонию, - дикую, лесистую и нетронутую страну, где на его верблюдов с поклажей нападали львы, а также дикие быки огромных размеров и свирепости; в конце концов он снова соединился со своим флотом у Терм и растянул свою армию по Мигдонии, древней Пиерии и Боттиэису до устья Халиакмона[71].

Теперь Ксеркс прибыл в пределах видимости горы Олимп, северной границы того, что правильно называлось Элладой; после похода по подвластной территории, с заранее заготовленными магазинами для пропитания его армии, с дополнительными контингентами, собранными по пути, и, вероятно, с фракийскими добровольцами, присоединившимися к нему в надежде на грабеж. Дорога, по которой он шел, все еще с торжественным почтением показывалась фракийцами и была защищена от вторжения и обработки даже во времена Геродота. 72 Македонские князья, последние из его западных данников, на территории которых он теперь оказался, - вместе с фессалийскими алеуадами - взяли на себя обязательство вести его дальше. Но и эта задача пока не казалась трудной: о том, какие шаги предпринимали греки, чтобы противостоять ему, мы расскажем в следующей главе.

ГЛАВА XXXIX.

СОБЫТИЯ В ГРЕЦИИ ОТ БИТВЫ ПРИ МАРАФОНЕ ДО БИТВЫ ПРИ ТЕРМОПИЛАХ.

Наши сведения о делах Греции сразу после отпора персам у Марафона очень скудны.

Клеоменес и Леотихид, два царя Спарты (первый принадлежал к старшему, или Эврисфенеиду, а второй - к младшему, или Проклеиду), сговорились свергнуть бывшего проклеидского царя Демарата, и Клеоменес даже зашел так далеко, что с этой целью подговорил дельфийскую жрицу. Вскоре после этого его маневр был раскрыт, и он был так встревожен недовольством спартанцев, что удалился в Фессалию, а оттуда в Аркадию, где использовал мощное влияние своего царственного характера и героической родословной, чтобы вооружить аркадцев против своей страны. Спартанцы, в свою очередь, встревоженные, добровольно пригласили его обратно, пообещав амнистию. Но его аренда продлилась недолго: привычная жестокость характера усугубилась до решительного безумия, и он бил своей палкой всех, кого встречал; родственники были вынуждены заключить его в цепи под стражей гелотов. Жестокими угрозами он однажды заставил этого человека отдать ему свой меч, которым тот страшно изувечил себя и погиб. Столь шокирующая смерть, несомненно, должна была получить религиозное толкование, но какой из проступков его жизни навлек на него божественный гнев, определить было трудно. Большинство греков приписывали ему грех соращения пифийской жрицы[73], но афиняне и

аргейцы придерживались каждый своей гипотезы: первые считали, что боги таким образом наказали спартанского царя за то, что он рубил лес в священной роще Элевсиса, вторые признавали мстительную руку героя Аргуса, чью рощу сжег Клеоменес, вместе со многими воинами, укрывшимися в ней. Не высказываясь между этими различными предположениями, Геродот довольствуется тем, что высказывает мнение, что несчастная смерть Клеоменеса была искуплением за его поведение перед Демаратом. Но больше всего нас удивляет, что спартанцы, обычно более склонные, чем другие греки, относить каждое поразительное явление к божественному промыслу, в данном случае не признавали ничего, кроме вульгарной физической причины: Клеоменес сошел с ума, утверждали они, из-за привычки к опьянению, о которой узнали от некоторых скифских посланников, прибывших в Спарту[74].

Смерть Клеомена и дискредитация его личности подтолкнули эгинетян к тому, чтобы подать в Спарту жалобу на десять заложников, которых Клеомен и Леотихид увезли с острова за некоторое время до вторжения персов в Аттику под командованием Датиса и передали в Афины в качестве гарантии афинян от агрессии со стороны Эгины в тот критический момент. Леотихидес был оставшимся в живых помощником Клеомена в требовании этих заложников, и на него эгинетяне подали жалобу. Хотя эта процедура была, несомненно, полезна для общего дела Греции,[75] однако лакедемоняне были так недовольны покойным царем и его действиями, что оставшийся в живых Леотихид предстал перед публичным судом и был приговорен к выдаче в качестве пленника во искупление вины перед эгинетянами. Последние уже собирались увести своего пленника, когда один высокопоставленный спартанец по имени Теасидес указал им на опасность, которой они подвергают царственную особу, - спартанцы, заметил он, вынесли приговор под влиянием временного гнева, который, вероятно, сменится сочувствием, если они увидят, что приговор приведен в исполнение.

Поэтому эгинетяне, вместо того чтобы исполнить приговор, довольствовались тем, что договорились с Леотихидесом, чтобы он сопровождал их в Афины и выкупил задержанных там заложников. Афиняне отказались отдать заложников, несмотря на то, что спартанский царь в категорических выражениях изложил священное обязательство вернуть залог:[76] они частично оправдывали свой отказ тем, что залог был внесен двумя царями совместно и не может быть передан одному из них: но, вероятно, они помнили, что заложники были внесены не столько в качестве залога, сколько в качестве гарантии от враждебности эгинетян, от которой они не были готовы отказаться.

Леотихиды были вынуждены безуспешно удалиться, и эгинетяне решили принять меры возмездия для себя: они дождались периода торжественного праздника, отмечаемого каждый пятый год в Суниуме, когда по этому случаю из Афин отплыл специально снаряженный корабль, на котором находились некоторые из ведущих афинян в качестве теоров, или священных посланников. Они нашли возможность захватить этот корабль и доставили всех пленников на его борту в Эгину. Состоялся ли обмен или пленные и заложники с обеих сторон были преданы смерти, мы не знаем, но следствием их действий стала активная и решительная война между Афинами и Эгиной,[77] начавшаяся, кажется, около 488 или 487 года до н. э. и продолжавшаяся до 481 года до н. э., года, предшествовавшего вторжению Ксеркса.

Гражданин Игинета по имени Никодром воспользовался этой войной, чтобы продолжить заговор против правительства острова: будучи ранее, как он считал, несправедливо изгнанным, он теперь организовал восстание народа против правящей олигархии, договорившись с афинянами об одновременном вторжении в поддержку своего плана. В назначенный день он поднялся со своими партизанами и овладел Старым городом -

сильным постом, который со временем был вытеснен более современным городом на берегу моря, менее защищенным, но более удобным. 78] Но афиняне не появились, а без них он не смог удержать позиции: он был вынужден бежать с острова, став свидетелем полного поражения своих партизан, большая часть которых, числом семьсот, попала в руки правительства и была выведена на казнь. Один человек среди этих пленников разорвал свои цепи, бежал в святилище Деметра Фесмофора, и ему посчастливилось схватиться за ручку двери, прежде чем его догнали. Несмотря на все попытки оттащить его силой, он судорожно вцепился в нее: преследователи не решились предать его смерти в таком положении, но отделили руки от тела и затем казнили, оставив руки все еще висеть на дверной ручке и хвататься за нее, где они, похоже, долго оставались, не будучи оторванными. Уничтожение семисот пленников, похоже, не навлекло на эгинетскую олигархию ни мести богов, ни порицания современников; но нарушение святыни в случае с тем несчастным, которому отрубили руки, было преступлением, которого богиня Деметра никогда не простила. Более пятидесяти лет спустя, в первый год Пелопоннесской войны, эгинетяне, ранее завоеванные Афинами, были окончательно изгнаны со своего острова: это изгнание было божественным судом над ними за древнее нечестие, которое не смогли изгладить полвека искупительных жертв[80].

Афиняне, которые должны были помочь Никодрому, прибыли в Эгину на день позже. Их выступление затянулось из-за необходимости одолжить у коринфян двадцать трирем в дополнение к пятидесяти собственным: с этими семьюдесятью парусами они разбили эгинетян, которые встретили их с равным по численности флотом, и высадились на острове. Эгинетяне попросили помощи у Аргоса, но тот был то ли слишком недоволен ими, то ли слишком измучен поражением от спартанцев Клеомена, чтобы оказать ее. Тем не менее, тысяча аргейских добровольцев под командованием выдающегося чемпиона по пятиборью Эврибатеса пришла им на помощь, и началась активная война с переменным успехом против афинского вооружения.

На море афиняне потерпели поражение, будучи атакованы в тот момент, когда их флот находился в беспорядке, так что они потеряли четыре корабля с экипажами; на суше они были более успешны, и лишь немногие из аргейских добровольцев остались в живых, чтобы вернуться домой. Полководец последних, Эврибатес, полагаясь на свою огромную личную силу и мастерство, вызвал лучших афинских воинов на единоборство: он сразил троих из них подряд, но рука четвертого, Софанеса из Декелеи, оказалась победоносной и стала для него смертельной.[81] В конце концов захватчики были вынуждены покинуть остров без каких-либо решительных результатов, и война, похоже, продолжалась частыми спусками и каперством с обеих сторон, в которых Никодром и эгинетские изгнанники, высаженные Афинами на побережье Аттики около Суниума, принимали активное участие; [82] преимущество в целом было на стороне Афин.

Общий ход этой войны, и особенно неудача предприятия, затеянного Никодромом из-за задержки с заимствованием кораблей из Коринфа, были вполне рассчитаны на то, чтобы внушить афинянам необходимость увеличения их военно-морских сил. И именно с этого времени мы можем проследить среди них первый рост той решительной тенденции к морской деятельности, которая так удачно совпала с расширением их демократии и открыла новый этап в греческой истории, а также новую карьеру для них самих.

Волнующий эффект, произведенный на них отражением персов при Марафоне, был рассмотрен в моем предыдущем томе. Мильтиад, победитель на этом поле, был удален со сцены при уже описанных обстоятельствах, Аристеидес и Фемистокл стали главными людьми в Афинах, и первый был избран архонтом в течение последующего года. Его

образцовая честность в исполнении магических функций обеспечила ему высокое уважение со стороны населения, не без определенной доли активных врагов, некоторые из которых пострадали от его справедливости. Эти враги, естественно, стали приверженцами его соперника, Фемистоклеса, который обладал всеми талантами, необходимыми для того, чтобы склонить их к сотрудничеству: соперничество между двумя вождями стало настолько ожесточенным и угрожающим, что даже сам Аристеидес, как сообщается, сказал: "Если бы афиняне были мудры, они бросили бы нас обоих в баратрум". При таких обстоятельствах не лишним будет сказать, что мир в стране сохранялся в основном благодаря институту под названием остракизм, о котором так много говорилось в предыдущем томе. После трех или четырех лет непрерывного политического соперничества два вождя обратились к голосованию по остракизму, и Аристеидес был изгнан.

О том, на чем именно основывалось их соперничество, мы, к сожалению, мало что знаем. Но весьма вероятно, что одним из них было важное изменение политики, о котором говорилось выше, - превращение Афин из сухопутной державы в морскую, развитие этого нового и будоражащего элемента в сознании народа. Все авторитеты приписывают эту перемену политики главным образом Фемистоклусу:[83] по этой причине, если не по какой-либо другой, Аристеидес, вероятно, будет против нее, - но, кроме того, это была перемена, не гармонирующая с тем старомодным эллинизмом, ненарушаемым единообразием жизни и узким кругом активных обязанностей и опыта, который Аристеидес, кажется, одобрял вместе с последующими философами. Моряк, естественно, был в большей степени странником и космополитом, чем тяжеловооруженный солдат: современный греческий моряк и сейчас в значительной степени отличается разнообразием своих идей и быстротой ума:[84] сухопутная служба была типом стабильности и гибких рядов, морская - изменчивости и авантюризма. Такова была идея Платона и других философов:[85] хотя мы можем заметить, что они не отдают должное афинскому моряку, чье обучение было гораздо более совершенным и трудоемким, а привычки к послушанию - гораздо более полными,[86] чем у афинского гоплита или всадника: обучение, начатое Фемистоклесом, и достигшее своего полного совершенства к началу Пелопоннесской войны.

Рекомендуя чрезвычайные усилия для создания флота, а также для приобретения морской практики, Фемистокл проявил все то проницательное понимание обстоятельств и опасностей того времени, за которое Фукидид ставит ему в заслугу: и нет сомнений, что Аристеидес, хотя и был более честным политиком из них двоих, в этот конкретный кризис был менее важен для своей страны. Мало того, что предстояла борьба с Эгиной, морской державой, равной или более чем равной, и находившейся в пределах видимости от афинской гавани, - вдали маячила еще более грозная случайность, от которой следовало уберечься. Персидские войска были с позором изгнаны из Аттики в Азию, но персидский монарх все еще оставался с неослабленными средствами агрессии и усиленной жадой мести, и Фемистокл хорошо знал, что опасность, исходящая из этого района, будет повторяться как никогда. Он полагал, что она повторится в том же виде, в результате экспедиции через Эгейское море, подобной той, что предпринял Датис в Марафон:[87] против которой лучшей защитой был бы многочисленный и хорошо обученный флот. Бдительному наблюдателю не могли остаться неизвестными и масштабные приготовления Дария к возобновлению атаки, которые распространялись на такое большое количество греков, подчиненных Персидской империи. Такого позитивного предупреждения было более чем достаточно, чтобы стимулировать активный гений Фемистокла, который теперь убеждал своих соотечественников энергично приступить к морской подготовке, как против Эгины, так и против Персии.[В тот год, когда Фемистокл был архонтом или генералом, была начата важная работа по созданию и укреплению новой гавани для Афин в Пейреусе, вместо

древней открытой бухты Фалерума. Последняя, правда, была несколько ближе к городу, но Пейрей с его тремя отдельными естественными портами, [89] которые можно было закрыть и укрепить, был несравненно лучше как по безопасности, так и по удобству. Не лишним будет сказать вместе с Геродотом, что эгинетская "война стала спасением Греции, заставив афинян превратиться в морскую державу" [90]. "Вся эффективность сопротивления, оказанного впоследствии Ксерксу, зависела от этого нового движения в организации Афин, которому было позволено достичь приемлемой полноты благодаря удачному стечению обстоятельств; ведь важная десятилетняя задержка между поражением при Марафоне и новым вторжением, которое должно было отомстить за него, была, по сути, результатом случайности. Во-первых, восстание Египта, во-вторых, смерть Дария, в-третьих, безразличие Ксеркса, который в первый раз вступил на престол, к эллинским делам, - отложили до 480 года до н. э. вторжение, которое, естественно, должно было быть предпринято в 487 или 486 году до н. э., и которое застало бы Афины в то время без их деревянных стен - великого двигателя их последующего спасения.

Другая случайная помощь, без которой новый флот не мог быть построен, - значительная сумма государственных денег - также по счастливой случайности оказалась в распоряжении афинян. На сайте, сначала в выразительном отрывке поэта Эсхила, а затем у Геродота, мы узнаем о серебряных рудниках Лауриума [91] в Аттике и о ценной продукции, которую они приносили государству. Они располагались в южной части территории, недалеко от мыса Сунимум [92], среди низких холмов, которые простирались на большей части пространства между восточным морем у Торикуса и западным у Анафликта. В какое время их начали обрабатывать, мы не знаем; но вряд ли возможно, чтобы их обрабатывали с каким-либо духом или выгодным результатом до изгнания Гиппия и установления демократической конституции Клейстенеса. Ни сильные местные группировки, с помощью которых различные части Аттики были настроены друг против друга до времен Писистрата, ни правление этого деспота, сменившего двух своих сыновей, не могли обеспечить уверенности и поддержки. Но когда демократия Клейстенеса впервые объединила Аттику в одно систематическое и всеобъемлющее целое, с равными правами для всех частей и общим центром в Афинах, власть этого центрального правительства над минеральными богатствами страны и его средства, позволяющие обязать весь народ соблюдать соглашения, заключенные с отдельными предпринимателями, дали бы новый стимул частной спекуляции в районе Лауриума. Афинское правительство имело обыкновение либо продавать, либо сдавать в долгосрочную аренду отдельные районы этого продуктивного региона частным лицам или компаниям - частично за счет внесенной суммы или штрафа, частично за счет резервной ренты, равной одной двадцать четвертой части валовой продукции.

Геродот сообщает нам, что в афинской казне, когда Фемистокл внес предложение об увеличении военно-морских сил, была большая сумма [93], полученная от лаурских рудников, из которой в скором времени должны были распределить между гражданами по десять драхм на каждого. Эта огромная сумма должна была, вероятно, быть результатом покупных денег или штрафов, полученных от недавних продаж, поскольку небольшая ежегодная резервная рента вряд ли могла накапливаться в течение многих лет подряд: новые и расширенные предприятия на рудниках должны были быть недавно начаты частными лицами по контракту с правительством, чтобы произвести в данный момент такое переполнение кассы и обеспечить средства для предусмотренного специального распределения. Фемистокл воспользовался этой драгоценной возможностью - рассказал о необходимости войны с Эгиной и еще более грозной угрозе со стороны великого врага в Азии - и убедил народ отказаться от обещанной раздачи, чтобы получить эффективный флот. [94] Не приходится сомневаться в том, что нашлось немало ораторов, которые пытались

добиться популярности, выступая против этого предложения и поддерживая раздачу, так что способность народа в целом ощущать силу отдаленных мотивов как преобладающую над сиюминутной выгодой заслуживает внимания как свидетельство его приближающегося величия.

Вознаграждение за это самоотречение было огромным, и не только для Афин, но и для всей Греции, когда приготовления Ксеркса достигли зрелости, и его вооружение стало понятно, что он приближается. Приказы о снаряжении кораблей и закладке провианта, отданные великим царем подвластным ему грекам в Азии, Эгейском море и Фракии, конечно же, станут известны во всей Греции, особенно об огромном труде, затраченном на строительство канала на горе Афон, который станет темой для удивленных разговоров с каждым тасийцем или акантийцем, посетившим фестивальные игры в Пелопоннесе. Все эти предвестники были достаточно публичными, без всякой необходимости в той сложной интриге, с помощью которой изгнанный Демарат, как утверждается, тайно передал из Суз в Спарту сведения о приближающейся экспедиции. [Все официальные объявления Ксеркса указывали на Афины как на особый объект его гнева и мести, [96] а другие греческие города могли надеяться избежать беды, так что перспектива великого вторжения поначалу не вызвала среди них единодушного желания сопротивляться. Поэтому, когда осенью 481 года до н. э., за несколько дней до похода на Геллеспонт, первые глашатаи, посланные Ксерксом из Сард, обратились к разным городам с требованием земли и воды, многие были склонны подчиниться. Ни в Афины, ни в Спарту не было послано никаких глашатаев; таким образом, эти два города с самого начала были объединены интересами и необходимостью обороны. Оба они в этот трудный момент отправились посоветоваться с дельфийским оракулом: в то же время они объединились для созыва общеэллинского конгресса на Коринфском перешейке с целью организации сопротивления против ожидаемого захватчика.

В предыдущем томе я указал на различные шаги, с помощью которых отдельные государства Греции постепенно, даже вопреки их собственным природным инстинктам, были приведены в нечто, приближающееся к политическому союзу. Нынешний конгресс, собравшийся под влиянием общего страха перед Персией, имеет более панэллинский характер, чем любое политическое событие, которое когда-либо происходило в греческой истории. Он выходит далеко за пределы тех пелопоннесских государств, которые являются непосредственными союзниками Спарты: он охватывает Афины и даже созван отчасти по ее настойчивому призыву: он стремится объединить, кроме того, все города эллинской расы и языка, как бы далеки они ни были, которых можно побудить принять в нем участие, - даже критян, коркирян и сицилийцев. Правда, все эти государства на самом деле не приходят, но прилагаются серьезные усилия, чтобы побудить их прийти: разрозненных братьев эллинской семьи призывают сплотиться в единые ряды для совместной политической цели, [97]- защиты общего очага и метрополии расы. Это новый факт в греческой истории, открывающий сцены и идеи, не похожие ни на что, что было раньше, - непомерно расширяющий функции и обязанности, связанные с руководством Грецией, которое до сих пор находилось в руках Спарты, но скоро станет слишком всеобъемлющим для нее, - и тем самым вызывающий усиление привычки к сотрудничеству среди подчиненных государств, а также соперничающие надежды на возвышение среди лидеров. Конгресс на Коринфском перешейке знаменует собой дальнейший прогресс в централизаторских тенденциях Греции и, как кажется на первый взгляд, обещает дальнейшее движение в том же направлении: но обещание это не будет реализовано.

Первый шаг был, действительно, неоценимо ценным. Хотя большинство присутствовавших депутатов были готовы от имени своих городов поклясться во взаимной верности и братстве,

они также направили все свои усилия на умиротворение вражды и раздоров, царивших среди отдельных членов их собственного собрания. Самой заметной и опасной из них была война, все еще продолжавшаяся между Афинами и Эгиной. Последняя и сейчас не была свободна от подозрений в *посредничестве*,^[98] т. е. но ее нынешнее поведение не давало повода для таких подозрений: она принимала активное участие в конгрессе, а также в совместных мерах по обороне и охотно соглашалась уладить свои разногласия с Афинами.^[99] В этой работе по примирению враждующих сторон, столь необходимой для безопасности Греции, афинянин Фемистоклес принимал видное участие, так же как и Хейлеос из Тегеи в Аркадии. [Съезд отправил посланников и обратился за содействием к городам, которые до сих пор оставались неопределенными или безразличными, особенно к Аргосу, Коркире, критским и сицилийским грекам, и в то же время отправил шпионов в Сарды, чтобы узнать о состоянии и перспективах собранной армии.

Эти шпионы вскоре вернулись, были обнаружены и приговорены к смерти персидскими генералами, но освобождены прямому приказу Ксеркса, который распорядился показать им всю мощь собранного им войска, чтобы таким образом усилить ужас греков. Этот шаг был хорошо рассчитан для такой цели: но в этот критический период, когда буря вот-вот должна была разразиться, Греция была крайне обескуражена. Даже разумным и благонамеренным грекам, а тем более беспечным, робким или вероломным, Ксеркс с его бесчисленным войском казался неодолимым и даже чем-то большим, чем человек:^[101] конечно, такому впечатлению способствовало большое число греков, уже ставших его данниками, и можно даже проследить проявление желания полностью избавиться от афинян, как главного объекта персидской мести и главной помехи спокойному подчинению. Это отчаяние в отношении самого продолжения эллинской жизни и автономии прорывается даже из святилища эллинской религии, Дельфийского храма, когда афиняне, в своем бедственном положении и неуверенности, послали посоветоваться с оракулом. Едва два посланника совершили обычные жертвоприношения и уселись во внутренней комнате рядом со жрицей Аристоник, как та сразу же воскликнула: "Несчастные, почему вы сидите здесь? Бросайте свои земли и города и бегите прочь! Голова, тело, ноги и руки одинаково прогнили: огонь и меч в сопровождении сирийской колесницы захлестнут вас, и не только ваш город, но и другие города, а также многие храмы богов, которые сейчас потеют и дрожат от страха, предвещая каплями крови на своих крышах грядущие тяжелые бедствия. Отойдите от святилища, с душами вашими, погруженными в печаль"^[102].

Столь потрясающий ответ редко срывался с уст жрицы. Посланники были поражены им до глубины души и не смогли вернуть его в Афины. В печали их обнадежил влиятельный дельфийский гражданин по имени Тимон (здесь, как и в других местах, прослеживается тайная работа этих ведущих дельфийцев на жрицу), который посоветовал им снабдить себя характерными знаками мольбы и во второй раз обратиться к оракулу в этом умоляющем обличье: "О владыка, молим тебя (говорили они), сжался над этими ветвями мольбы и сообщи нам что-нибудь более удобное относительно нашей страны; иначе мы не покинем твоего святилища, но останемся здесь до самой смерти". На что жрица ответила: "Athênê со всеми ее молитвами и всей ее пронизательностью не может умиловать олимпийского Зевса.^[103] Но это заверение я дам тебе, твердое как камень: когда все остальное в стране Кекропса будет взято, Зевс дарует Athênê, что только деревянная стена останется непобежденной, чтобы защитить тебя и твоих детей. Не стойте в ожидании конных и пеших нападающих с континента, а повернитесь спиной и отступите: вы еще будете жить, чтобы сражаться в другой день. О божественный Саламис, ты тоже должен уничтожить детей женщин - во время посева или во время жатвы"^[104].

Этот второй ответ был разумным смягчением первого: он оставлял хоть какую-то надежду на спасение, хотя и слабую, темную и невразумительную, - и посланцы записали его, чтобы отнести в Афины, не скрывая, вероятно, предшествовавшего ему ужасающего предложения. Когда его прочитали народу, неясность смысла вызвала множество различных толкований. Что подразумевалось под "деревянной стеной"? Некоторые полагали, что речь идет о самом акрополе, который изначально был обнесен деревянным частоколом; но большинство, и среди них большинство тех, кто по профессии был толкователем пророчеств, утверждали, что под деревянной стеной подразумевался флот. Но эти профессиональные толкователи, заявляя, что бог велел им отправиться на корабль, отвергали всякую мысль о морском сражении и настаивали на необходимости навсегда покинуть Аттику: последние строки оракула, где говорится, что Саламис погубит детей женщин, по их мнению, не предвещали ничего, кроме катастрофы в случае морского сражения. Таково было мнение тех, кто считался лучшими толкователями божественной воли: оно полностью соответствовало преобладавшему тогда отчаянию, усиленному страшным приговором, вынесенным первым оракулом; и эмиграция в какую-нибудь чужую страну представлялась им единственной надеждой на безопасность даже для их самих. Судьба Афин и всей Греции, которая без Афин была бы беспомощна, теперь висела на волоске, когда Фемистокл, великий создатель флота, вмешался с одинаковой твердостью сердца и изобретательностью, чтобы обеспечить его правильное использование. Он утверждал, что если бы бог намеревался назначить Саламин местом морской катастрофы греков, то этот остров был бы назван в оракуле каким-нибудь эпитетом вроде "несчастный Саламин", но тот факт, что он был назван "божественным Саламином", указывает на то, что сторонами, которым суждено было там погибнуть, были враги Греции, а не сами греки. Поэтому он призывал своих соотечественников оставить город и страну и довериться флоту, как деревянной стене, рекомендованной богом, но с полной решимостью сражаться и завоевывать на борту.^[105] Велики, действительно, были последствия, которые вытекали из этой смелой экзегетической догадки. Если бы афиняне не убедили с помощью какой-нибудь правдоподобной интерпретации, что смысл оракула поощряет, а не запрещает морское сражение, они бы в своей нынешней депрессии отказались от всякой мысли о сопротивлении.

Однако даже с помощью обнадеживающего толкования ничто, кроме самой непобедимой решимости и патриотизма, не могло позволить афинянам выстоять против таких ужасающих обличений дельфийского бога и упорно сопротивляться, вместо того чтобы искать безопасности в эмиграции. Геродот настойчиво внушает эту истину своим читателям:^[106] более того, он даже выходит за рамки своего пути, провозглашая Афины настоящим спасителем Греции. Пишет он о начале Пелопоннесской войны - в то время, когда Афины, достигнув максимума своей империи, вызывали страх, ненависть и восхищение у большинства греческих государств, - он знает, что мнение, которое он высказывает, будет непопулярно среди его слушателей, и извиняется за него, как за нечто, вынужденное против его воли силой доказательств.^[107] Не только афиняне осмелились остаться и бороться против огромных шансов: они, и только они, придали делу ту энергию и стремительность, благодаря которым оно смогло добиться успеха, ^[108] как будет показано далее в продолжении. Но был и третий способ, не менее достойный внимания, которым они способствовали достижению результата. Как только съезд депутатов собрался на Коринфском перешейке, стало необходимым признать какого-то одного командующего государством, и в отношении сухопутных войск никто и не мечтал оспаривать главенство Спарты. Но в отношении флота ее притязания были более спорными, поскольку она располагала всего шестнадцатью кораблями и практически не умела плавать, в то время как Афины привели две трети всего военного флота, с лучшими кораблями и моряками. Поначалу была выдвинута идея, что Афины должны командовать на море, а Спарта - на суше, но

большинство союзников выразили решительное несогласие, объявив, что не пойдут ни за кем, кроме спартанцев. К чести афинян, они сразу же отказались от своих притязаний, как только увидели, что единство конфедеративных сил в этот опасный момент будет поставлено под угрозу.[109] Чтобы оценить это великодушное отречение от столь разумных притязаний, мы должны вспомнить, что любовь к главенству была одним из самых выдающихся качеств эллинского характера: плодотворным источником их величия и совершенства, но также и немалым источником их глупостей и преступлений. Отказаться по зову общественного долга от притязаний на личную честь и славу - пожалуй, самая редкая из всех добродетелей сына Эллады.

Мы видим, что афиняне настроены на сопротивление, готовы видеть, как гибнет их страна, и жить, как и сражаться на корабле, когда в этом возникнет необходимость, - закончив две трети всего флота и продолжая строить новые корабли до последнего момента,[110] - отправляя на общее дело самого способного и самого передового лидера, довольствуясь тем, что они, как и другие государства, служат под руководством Спарты. В течение зимы, предшествовавшей походу Ксеркса из Сард, конгресс на Перешейке без особого успеха пытался склонить греческие города к единым действиям. Среди городов, расположенных к северу от Аттики и Пелопоннеса, большинство либо склонялись к покорности, как Фивы и большая часть Беотии, либо, по меньшей мере, слабо выступали за независимость, - настолько редки были в этот тяжелый момент (говоря языком несчастных плательцев пятьдесят три года спустя) проявления решительного эллинского патриотизма против захватчика.[111] Даже в глубине Пелопоннеса могущественный Аргос сохранял двусмысленный нейтралитет. Одним из первых шагов конгресса было направление в Аргос специальных посланников, чтобы изложить общую опасность и попросить о сотрудничестве; результат несомненен: никакого сотрудничества не получилось - аргейцы ничего не предпринимали на протяжении всей борьбы; но что касается их реальной позиции или оснований для отказа, то до ушей Геродота дошли противоречивые заявления. Сами они утверждали, что готовы были присоединиться к эллинскому делу, несмотря на отговорки дельфийского оракула, - только на условиях, что спартанцы должны заключить с ними перемирие на тридцать лет и поровну разделить с Аргосом почести главенства. Против предложенного перемирия, вероятно, не было бы возражений, как и против принципа раздела главенства: но спартанцы добавили, что у них два царя, а у аргейцев только один, и поскольку ни один из двух спартанских царей не может быть лишен права голоса, аргейский царь может быть допущен к третьему голосу только совместно с ними. Это предложение показалось аргейцам, считавшим, что даже безраздельное главенство - не более чем их древнее право, ничем лучше наглого посягательства. И так сильно возмутило их, что они пожелали, чтобы посланцы покинули их территорию до захода солнца, - предпочитая даже данническое существование под властью Персии формальной деградации по сравнению со Спартой[112].

Такова история, рассказанная самими аргейцами, но, похоже, не подтвержденная ни другими греками, ни самим Геродотом. Преобладало мнение, что аргейцы имели тайное соглашение с Ксерксом, а некоторые даже утверждали, что именно они пригласили его в Грецию в качестве средства защиты и мести за себя Спарте после поражения от Клеомена. И сам Геродот, очевидно, верил, что они занимались *врачеванием*, хотя наполовину боится сказать об этом и маскирует свое мнение в облаке слов, которые выдают гневную полемику, ведущуюся по этому поводу даже пятьдесят лет спустя.[113] Несомненно, что в действиях аргейцы были нейтральны, и одной из причин их нейтралитета было то, что они не решили присоединиться к какому-либо панэллинскому сбору, кроме как в качестве вождей; но, вероятно, более веской причиной было то, что они разделяли впечатление, которое тогда так

широко распространялось по Греции, о непреодолимой силе приближающегося войска, и решили держать себя готовыми к этому событию. Они вели тайные переговоры даже с персидскими агентами, но не шли на компромисс, пока дело еще не было решено; не исключено, что, будучи раздраженными против Спарты, они были бы более довольны, если бы персы добились успеха, - все это можно с полным основанием назвать *посредничеством*.

Отсутствие эллинской верности в Аргосе подтверждалось параллельными примерами Креты и Коркиры, куда в одно и то же время направились посланцы с перешейка. Критяне отказались принимать участие в войне, ссылаясь на запреты оракула;[114] коркирцы обещали, но не выполнили и даже не собирались выполнять. Их нейтралитет был серьезной потерей для греков, поскольку они могли оснастить военно-морской флот sixtyюдесятью триремами, уступавшими только афинским. С этим важным контингентом они договорились присоединиться к греческому флоту и действительно отплыли из Коркиры; но они позаботились о том, чтобы не обогнуть мыс Малеа и не достичь места действия. Их флот оставался на южном или западном побережье Пелопоннеса под предлогом непогоды, пока не стал известен решающий результат битвы при Саламине. Им казалось, что персидский монарх одержит победу, и в этом случае их заслуга в том, что они не прибыли вовремя; но они также были готовы к благовидному предлогу задержаться из-за штормовых ветров, когда результат окажется иным и когда греки будут упрекать их за отсутствие.[115] Такая двуличность не очень удивительна, если вспомнить, что привычной политикой Коркиры была изоляция от эллинских конфедераций.[116]

Посланники, посетившие Коркиру, отправились с миссией к Гелону, деспоту Сиракуз. Об этом деспоте, которого Геродот считал более могущественным, чем любое государство в Греции, я расскажу подробнее в одной из [последующих глав](#): сейчас достаточно упомянуть, что он не оказал никакой помощи Ксерксу. Да и не в его силах было это сделать, какими бы ни были его склонности; ведь тот же год, который привел персидского монарха против Греции, был также выбран карфагенянами для грозного вторжения в Сицилию, которое заставило сицилийских греков защищать свой собственный остров. Кажется даже вероятным, что это одновременное вторжение было согласовано между персами и карфагенянами[117].

Таким образом, усилия греческих депутатов на Перешейке не принесли им никакого подкрепления, кроме нескольких справедливых слов от коркирцев. В начале 480 года до н. э., когда Ксеркс собирался перейти Геллеспонт, по инициативе фессалийцев был предпринят первый реальный шаг к сопротивлению. Хотя великая фессалийская семья Алеуадов была в числе спутников Ксеркса и наиболее активно приглашала его в Грецию, обещая готовность подчиниться со стороны своих соотечественников, похоже, что эти обещания в действительности были необоснованными: Алеуады возглавляли лишь меньшинство, и, возможно, даже находились в изгнании, как и Писистратиды:[118] в то время как большинство фессалийцев было настроено сопротивляться Ксерксу, для чего они сейчас отправили посланников на перешеек,[119] намекая на необходимость охраны проходов Олимпа, самого северного входа в Грецию. Они предложили свою сердечную помощь в этой защите, добавив, что если это требование не будет выполнено, то они будут вынуждены подчиниться сами. Соответственно, десять тысяч греческой тяжеловооруженной пехоты под командованием спартанца Эвнета и афинянина Фемистокла были отправлены по морю в Халус в Ахейской Фтиотиде, где они высадились и двинулись по суше через Ахей и Фессалию.[120] Присоединившись к фессалийской коннице, они заняли дефиле Темпе, через которое река Пеней выходит к морю в расщелине между горами Олимп и Осса.

Длинное, узкое и извилистое ущелье Темпе было тогда и остается до сих пор единственным входом, открытым как зимой, так и летом, из нижней или приморской Македонии в Фессалию: высокие горные обрывы подходят так близко, что в некоторых местах едва хватает места для дороги: таким образом, оно прекрасно защищено, и нескольких решительных людей было бы достаточно, чтобы задержать в нем продвижение самого многочисленного войска.[121] Но греки вскоре обнаружили, что позицию им не удержать, - во-первых, потому, что мощный флот Ксеркса сможет высадить войска у них в тылу; во-вторых, потому, что летом из верхней Македонии в Фессалию через горные перевалы над Олимпом можно было пройти вторым путем; этот путь пролегал через страну перреев и входил в Фессалию у Гонна, примерно там, где дефиле Темпе начинает сужаться. Именно через этот второй проход, минуя непреодолимые трудности Темпе, должен был пройти наступающий марш персов под эгидой Александра, царя Македонского, подданства и активной службы им; он послал сообщение об этом грекам в Темпе, предупреждая их, что они будут растоптаны ногами приближающегося бесчисленного войска, и призывая их отказаться от своего безнадежного положения.[Этот македонский принц выдавал себя за друга и, вероятно, считал себя таковым, отговаривая греков от бесполезного сопротивления Персии. Но на самом деле он был очень опасным посредником, и спартанцы имели все основания опасаться его во время второго вмешательства, о котором мы еще услышим. 123] В данном случае греческие военачальники не знали о существовании другого входа в Фессалию, кроме Темпе, до своего прибытия в эту область. Возможно, было бы возможно защитить оба входа сразу, и, учитывая огромную важность задержания марша персов на границах Эллады, попытка стоила бы некоторого риска. Однако тревога, вызванная неожиданным открытием, оправдывающим или кажущимся оправданием дружеского совета Александра, была столь велика, что они пробыли в Темпе всего несколько дней, затем сразу же вернулись на свои корабли и по морю вернулись к Коринфскому перешейку - примерно в то время, когда Ксеркс пересекал Геллеспонт[124].

Это поспешное отступление привело к катастрофическим и обескураживающим последствиям. Оно оставило без защиты всю Элладу к северу от горы Китерон и территорию Мегаридов, и послужило то ли причиной, то ли предлогом для большинства греческих государств к северу от этой границы, чтобы подчиниться Ксерксу, что некоторые из них уже начали делать раньше.[125] Когда Ксеркс в ходе своего похода достиг Термического залива, в пределах видимости Олимпа и Оссы, глашатаи, посланные им из Сард, принесли ему знаки покорности от третьей части эллинского народа, фессалийцев, долопов, инийцев, перребиев, магнетов, локрийцев, дорийцев, мелийцев, фтиотийских ахейцев и беотийцев, - к последним относятся Фивы, но не Феспия или Платея. Фессалийцы, особенно фессалийцы, не только покорились, но и проявили активное рвение и оказали много услуг Ксерксу под влиянием Алеуады, партия которой теперь стала преобладающей: вероятно, они были возмущены поспешным отступлением тех, кто пришел их защищать[126].

Если бы грекам удалось удержать перевалы Олимп и Осса, вся эта северная фракция, вероятно, была бы вынуждена принять участие в сопротивлении, а не стать помощниками захватчика. В течение шести недель или двух месяцев, прошедших между отступлением греков из Темпы и прибытием Ксеркса в Термы, не было разработано никакого нового плана обороны; ведь только после того, как об этом прибытии стало известно на Перешейке, греческая армия и флот двинулись вперед, чтобы занять Фермопилы и Артемизиум[127].

ГЛАВА XL. БИТВЫ ПРИ ТЕРМОПИЛЕ И АРТЕМИСИУМЕ.

В то время как северные государства Греции последовательно отпадали от общего дела, депутаты, собравшиеся на перешейке, приняли торжественное обязательство в случае успеха наложить на этих отрекшихся братьев достойное наказание - обложить их десятиной имущества и, возможно, посвятить десятую часть их лиц на благо дельфийского бога. Исключение должно было быть сделано в пользу тех государств, которые были вынуждены уступить в силу непреодолимой необходимости.^[128] Такая клятва казалась в тот момент маловероятной для исполнения. Она была проявлением решительного чувства, связывавшего государства, которые приняли обещание, но не могла в значительной степени способствовать запугиванию остальных.

Демонстрация собственных сил была единственным эффективным способом удержать сомнительных союзников; и теперь проход Фермопилы был выбран как наиболее удобный пункт обороны, следующий за Темпе, - без учета фессалийцев, перребийцев, магнетов, фтиотийских ахейцев, долопов, энианцев, малийцев и т. д., которые все были бы включены, если бы придерживались последней линии; но при этом он составлял наибольший интервал, совместимый с безопасностью. Положение Термопиле давало еще одно преимущество, которого не было у Темпе; материк здесь был отделен от острова Эвбея только узким проливом, около двух английских миль с половиной в самой малой ширине, между горой Кнемис и мысом Кенем. На северной части Эвбеи, непосредственно напротив Магнезии и Ахейи Фтиотис, находилась береговая линия, называемая Артемизиум: название произошло от храма Артемиды, который был ее наиболее заметной особенностью и принадлежал городу Гистиея. Было решено собрать там греческий флот, чтобы совместно с сухопутными войсками противостоять продвижению персов сразу по двум направлениям. Сражаться на узком пространстве^[129] было выгодно грекам на море не меньше, чем на суше, поскольку их корабли были и меньше по числу, и тяжелее в управлении, чем те, что были на службе у персов. С позиции Артемизиума было рассчитано, что они смогут помешать персидскому флоту продвинуться в узкий пролив, который отделяет Эвбею с севера и запада от материка и который между Халкисом и Беотией становится не слишком широким для моста. Именно в этой последней точке греческие моряки предпочли бы расположить свою оборону: но занятие северной части Эвбейского пролива было необходимо для того, чтобы персидский флот не смог высадить войска в тылу защитников Фермопил.

Западная граница Евбейского пролива образована тем, что тогда называлось Малиакским заливом, в который впадала река Сперхей, протекавшая с запада на восток между горами Отрис на севере и Сѐта на юге, недалеко от города Антикира. Нижняя часть этой просторной и плодородной долины Сперхея была занята различными племенами малийцев, граничащих на севере и востоке с Ахей Фтиотис: самые южные малийцы с их городом Трахис занимали равнину - местами значительную, местами очень узкую, - замкнутую между горой Сѐта и морем. От Трахиса на восток тянулся хребет Сѐта, вплотную примыкавший к южному берегу Малийского залива: между ними лежал памятный перевал Термопиле.[На дороге из Трахиса в Фермопилы, сразу за последними и в устье небольших ручьев, называемых Феникс и Асоп, находился город Антекла, известный своими храмами Амфиктиона и амфиктионского Деметра, а также осенними собраниями амфиктионского совета, для которых в храме были отведены места.

Непосредственно рядом с Антелой северный склон могучего и протяженного хребта Сѐта подходил так близко к заливу или, по крайней мере, к недоступному болоту, образующему

край залива, что между ними оставалось не более одной колеи. Этот узкий вход был западными воротами Термопиле. На небольшом расстоянии, кажется, около мили, к востоку, повторялось такое же тесное соединение горы и моря, образуя восточные ворота Фермопилы, недалеко от первого города локрийцев, называемого Альпени. Пространство между этими двумя воротами было более широким и открытым, но оно отличалось и до сих пор отличается обильными потоками термальных источников, соленых и сернистых. Здесь были приготовлены камеры для купания, что обеспечило этому месту название Хитри, или Сквородки: но обильное поступление минеральной воды распространяло свою грязь и откладывало корку на всю прилегающую землю; и фокийцы, некоторое время назад, специально постарались так провести воду, чтобы сделать проход совершенно невозможным, в то же время построив стену через него около западных ворот. Это было сделано для того, чтобы сдерживать атаки фессалийцев, которые пытались расширить свои завоевания на юг и восток. Теплые источники здесь, как и в других частях Греции, были посвящены Гераклесу,^[131] чьи легендарные подвиги и страдания облагородили все окрестности - гору Удиту, Трахис, мыс Кеней, острова Лихадес, реку Дирас: некоторые фрагменты этих легенд были переданы и украшены гением Софокла в его драме о трахинийских девах.

Такова общая картина - два узких проема с промежуточной милей расширенной дороги и горячими источниками между ними, которые в древности носили многозначительное название Thermopylæ, Горячие ворота; или иногда, более кратко, Pylæ - Ворота. В одном из пунктов Трахиса, между горами и морем, примерно в двух милях к западу от Фермопил, дорога была не менее узкой, но ее можно было повернуть на запад, так как соседние горы были ниже и представляли меньшие трудности для проезда; В то время как в самом Фермопиле нависающий выступ горы Ceta был крутым, лесистым и труднопроходимым, оставляя доступ из Фессалии в Локрис и территории к юго-востоку от Ceta только через ворота пролива;^[132] за исключением нечастой, а также курьезной горной тропы, о которой мы сейчас расскажем. Стена, первоначально построенная через проход фокийцами, теперь была полуразрушена от возраста и небрежения: но греки легко восстановили ее, решив ожидать в этом узком проходе, в ту эпоху более узком, чем дефиле Темпе, приближения вторгшегося войска. Край морской линии, судя по всему, по большей части представлял собой болото, не пригодное ни для ходьбы, ни для плавания: однако здесь имелись места, где лодки могли высаживаться на берег, что позволяло поддерживать постоянную связь с флотом в Артемизиуме, в то время как Альпени находились непосредственно у них в тылу, чтобы поставлять провизию.

Хотя решение греческих депутатов, собравшихся на перешейке, защищать совместно Фермопилы и Евбейский пролив было принято, казалось бы, вскоре после отступления из Темпе, их войска и флот не занимали этих позиций до тех пор, пока Ксеркс не достиг Термийского залива. Тогда оба войска были приведены в движение: сухопутные - под командованием спартанского царя Леонида, морские - под командованием спартанского полководца Эврибиадеса, по-видимому, примерно во второй половине июня. Леонид был младшим братом, преемником и зятем бывшего царя Эврисфенидов Клеомена, на единственной дочери которого Горго он женился. Другой брат из той же семьи - Дорий, старше Леонида, - погиб еще до смерти Клеоменеса в неудачной попытке основать колонию в Сицилии; таким образом было подготовлено место для неожиданного наследования младшего брата. Леонид повел с перешейка в Фермопилы отборный отряд из трехсот спартанцев - граждан зрелого возраста, оставивших дома сыновей на замену^[133]. Вместе с ними было пятьсот гоплитов из Тегеи, пятьсот из Мантинеи, сто двадцать из аркадского Орхомена, тысяча из остальной Аркадии, четыреста из Коринфа, двести из Флиуса и

восемьдесят из Микенеса. Также, несомненно, были гелоты и другие легкие войска в неопределенном количестве, и, вероятно, некоторое количество лакедемонских гоплитов, не спартанцев. В походе по Беотии к ним присоединились семьсот феспийских гоплитов, горячо поддерживавших дело, и четыреста фиванцев, отличавшихся более сомнительной верностью, под командованием Леонтиадеса. Похоже, что ведущие люди Фив, в то время находившиеся под властью очень узкой олигархии, решительно *поддерживали* или отстаивали персидские интересы, насколько они осмеливались, пока персы еще не были в стране: и Леонид, когда он потребовал определенное количество их войск для помощи в обороне Фермопил, сомневался, что они не откажутся выполнить просьбу и открыто заявят о своей несогласии с греческим делом. Фиванские вожди сочли благоразумным подчиниться, хотя и вопреки своим истинным склонностям, и предоставили контингент в четыреста человек,^[134] отобранных из граждан с настроениями, противоположными их собственным. Действительно, фиванцы, да и беотийцы в целом, за исключением Феспии и Платеи, похоже, не имели особых настроений ни на той, ни на другой стороне и пассивно следовали внушениям своих вождей.

С этими войсками Леонид достиг Фермопил, откуда отправил посланников с предложением соединиться с фокийцами и локрийцами из Опуса. Последние были в числе тех, кто послал Ксерксу землю и воду, в чем, как говорят, раскаялись: шаг был предпринят, вероятно, только из страха, который в этот конкретный момент предписывал согласиться на призыв Леонида, оправданный необходимостью на случай, если персы в конце концов одержат победу:^[135] в то время как фокийцы, если и были изначально настроены на *вмешательство*, теперь были лишены такой возможности из-за того, что их злейшие враги, фессалийцы, были активны в деле Ксеркса и имели влияние на руководство его движениями.^[136] Греческие посланники подкрепили свой призыв всеми возможными мерами поддержки. "Войска, находящиеся сейчас в Фермопилах, говорили они, были лишь передовым отрядом, предшествующим основным силам Греции, которые должны были прибыть каждый день: со стороны моря уже стоял на страже достаточный флот; не было никаких причин для страха, поскольку захватчик был, в конце концов, не богом, а человеком, подверженным тем превратностям судьбы, которые неизбежно обрушиваются на всех людей, и в первую очередь на тех, кто занимает главенствующее положение." Подобные аргументы слишком явно доказывают меланхолическое состояние ужаса, которое тогда охватило греческий разум: независимо от того, были они успокоены или нет, большая часть локрийцев Опунта и тысяча фокийцев присоединились к Леониду в Фермопиле.

В том, что этот ужас был искренним и серьезным, сомневаться не приходится, и естественно возникает вопрос, почему греки не послали сразу все свои силы, а не только передовую охрану? Ответ следует искать в другом свойстве греческого характера: это было время празднования Олимпийских игр на берегах Алфея и Карнейского праздника в Спарте и большинстве других дорийских государств.^[138] Даже в момент, когда вся их свобода и существование были поставлены на карту, греки не могли заставить себя отложить эти почитаемые торжества: особенно пелопоннесские греки, среди которых эта сила религиозной рутины была, по-видимому, наиболее сильной. Более чем через столетие, во времена Демосфена, когда энергия афинян значительно упала, мы увидим, что они также откладывали военные нужды государства до полного и пышного исполнения своих религиозных обязательств, - откладывали все свои меры внешней политики, чтобы феакийские выставки были впечатляющими для народа и удовлетворительными для богов. В настоящее время мы не находим у афинян особого желания приносить эту жертву, - конечно, гораздо меньше, чем у пелопоннесцев. Последние, оставаясь дома и празднуя свои праздники, в то время как захватчик сверхчеловеческой мощи находился у их ворот,

напоминают иудеев в последние дни их независимости, которые терпели, чтобы операции осаждающей их город римской армии проводились без перерыва в течение субботы.[Спартанцы и их единомышленники полагали, что Леонид со своим отрядом будет достаточно силен, чтобы удержать Фермопильский проход до окончания Олимпийского и Карнейского праздников, после чего они были готовы выступить к нему на помощь со всей своей военной силой:[140] и они договорились собраться в Беотии для защиты Аттики от нападения со стороны суши, пока большая часть афинского войска будет служить на кораблях.

В момент разработки этого плана они считали, что узкий Фермопильский проход - единственное возможное место для вторжения армии. Но Леонид, добравшись до места, впервые обнаружил, что существует еще и горная тропа, начинающаяся в окрестностях Трахиса, поднимающаяся по ущелью реки Асоп и холму Анопея, затем переваливающая через гребень Ceta и спускающаяся в тыл к Фермопиле у локрийского города Алпени. Этот путь - тогда почти не использовавшийся, хотя его восходящая половина сейчас служит регулярной дорогой из Зейтуна, древней Ламии, в Салону на берегу Коринфского залива, древнюю Амфиссу, - был открыт ему его первооткрывателями, жителями Трахиса, которые в прежние времена провели по нему фессалийцев, чтобы напасть на Фоки, после того как фокийцы заблокировали проход через Фермопилы. Поэтому она не была неизвестна фокийцам: она вела из Трахиса в их страну, и они добровольно заявили Леониду, что займут и будут защищать ее.[141] Но греки, таким образом, оказались в Фермопилах перед той же необходимостью обеспечить двойную линию обороны, как для горной тропы, так и для дефиле, которая побудила их прежнюю армию оставить Темпек: И настолько недостаточным казалось их количество, когда стало ясно, что огромное войско Ксеркса приближается, что ими овладел панический ужас; и особенно пелопоннесские войска, беспокоившиеся только о своей отдельной линии обороны на Коринфском перешейке, пожелали немедленно отступить туда. Возмущенные уговоры фокийцев и локрийцев, которые таким образом были бы брошены на произвол судьбы, побудили Леонида запретить это движение назад: но он счел необходимым отправить посланников в различные города, настаивая на недостаточности своих сил и требуя немедленного подкрепления. 142] Так болезненно ощущались последствия того, что основные силы были задержаны до окончания религиозных праздников в Пелопоннесе.

Не было в этот момент уверенности и в своем военно-морском вооружении, хотя оно было собрано в гораздо большем количестве в Артемизиуме на северном побережье Эвбеи под командованием спартанца Эврибиадеса. Он состоял из следующих частей: сто афинских трирем, частично укомплектованных жителями Платеи, несмотря на полное отсутствие у них корабельной практики; сорок коринфских, двадцать мегарийских, двадцать афинских, укомплектованных жителями Халкиса и одолженных им Афинами; восемнадцать эгинетских, двенадцать сикионских, десять лакедемонских, восемь эпидаврских, семь эретрийских, пять триезенских, две из Стира на Эвбее и две с острова Кеос. Таким образом, всего было двести семьдесят одна триера, а также девять пентеконтеров, предоставленных частично Кеосом, а частично локрийцами из Опуса. Афинский контингент возглавлял Фемистокл, коринфский - Адеймант; о других офицерах ничего не слышно.[143] Три крейсерских судна, афинское, эгинетское и триезенское, были выдвинуты вдоль фессалийского побережья, за остров Скиатос, чтобы наблюдать за продвижением персидского флота от Терм.

Именно здесь пролилась первая кровь в этом памятном поединке. Десять лучших кораблей персидского флота, отправленные вперед в направлении Скиатоса, столкнулись с этими тремя греческими триремами, которые, вероятно, приняв их за предшественников всего

флота, обратились в бегство. Афинская трирема добралась до устья Пеней, где команда покинула ее и по суше вернулась в Афины, оставив судно врагу: два других корабля были догнаны и захвачены на плаву, - не без энергичного сопротивления со стороны эгинетян, один из гоплитов которых, Пифес, сражался с отчаянной храбростью и пал, покрытый ранами. Персидские воины так восхищались им, что прилагали бесконечные усилия, чтобы сохранить ему жизнь, и обращались с ним с самыми яркими проявлениями доброты и уважения, в то время как с его товарищами они обращались как с рабами.

На борту тризенского судна, которое было захвачено первым, нашли воина по имени Леон, внушительного роста: этого человека немедленно отвели к голове корабля и зарубили, как предзнаменование приближающегося поединка: возможно, замечает историк, его имя способствовало определению его судьбы.^[144] Десять персидских кораблей продвинулись не дальше опасной скалы Мирмекс между Скиатосом и материком, о которой им сообщил греческий мореплаватель со Скироса и на которой они воздвигли столб, чтобы предупредить о приближении флота. Однако тревога, вызванная их присутствием, о котором сообщали огненные сигналы^[145] со Скиатоса, и усиленная захватом трех сторожевых кораблей, была настолько сильной, что флот в Артемисиуме фактически покинул свой пост, полагая, что весь флот врага уже под рукой. ^{146]} Они отплыли вверх по Эвбейскому проливу в Халкис, как самый узкий и наиболее защищенный проход, оставив разведчиков на возвышенных местах наблюдать за продвижением врага.

Вероятно, к такому внезапному отступлению генералов вынудила паника их войск, подобная той, которую царь Леонид, более сильный, чем Эврибиадес и Фемистокл, нашел в себе силы остановить при Фермопилах. Это на время разрушило всю схему обороны, открыв тыл армии в Фермопилах для действий персидского флота. Но то, что греки не сделали сами, было с лихвой компенсировано благодетельным вмешательством их богов, которые противостояли захватчику более страшным оружием бури и урагана. Ему было позволено без помех и ущерба довести свою огромную армию, как сухопутную, так и морскую, до края Фермопил и фессалийского побережья; но наступило время, когда боги, казалось, решили смирить его, и особенно нанести ряд ударов по его флоту, которые должны были сократить его численность до той, с которой греки не могли бороться. [Среди всеобщего ужаса, охватившего Грецию, дельфийцы первыми заслужили благодарность своих соотечественников, объявив, что божественная помощь близка.^[148] Обратившись за советом к своему оракулу, они получили указание молиться Ветрам, которые окажут Греции мощную помощь. Более того, афинские моряки в своем убежище в Халкисе, вспомнив, что Борей был мужем аттической принцессы или героини Орейтии, дочери их древнего царя Эрехтея, обратились с горячими молитвами к своему зятю о помощи в нужде. Никогда помощь не была более действенной или более своевременной, чем разрушительная буря, о которой мы сейчас расскажем, на побережье Магнесии, за которую даже во времена Геродота в Афинах и Дельфах продолжали благодарить и ежегодно устраивать торжественные мероприятия^[149].

Ксеркс на несколько дней остановился на берегу Термического залива, потратив значительную часть своей многочисленной армии на вырубку леса и расчистку дорог, на перевал через Олимп из верхней Македонии в Перрхебию, который был рекомендован его македонскими союзниками как более предпочтительный, чем дефиле Темпе.^[150] Не намереваясь идти через последний, он, как говорят, отправился по морю, чтобы осмотреть его; ему приписывают замечания о возможности перекрыть его так, чтобы превратить всю Фессалию в одно огромное озеро. [Его поход из Терм через Македонию, Перрæбию, Фессалию и Ахæа Фтиотис, на территорию малийцев и в окрестности Фермопил, занял

одиннадцать или двенадцать дней:[152] люди, через города которых он проходил, уже изъявили покорность, а фессалийцы особенно ревностно поддерживали его усилия. Его многочисленное войско еще больше увеличилось благодаря присутствию этих вновь покорившихся людей и македонских войск под командованием Александра; так что река Онохонус в Фессалии и даже Апида в Ахейской Фтиотиде едва хватило бы для его снабжения, но, по сведениям, переданным Геродоту, они были выпиты до дна. В Алусе в Ахее он снисходительно выслушал мрачную легенду, связанную с храмом Зевса Лафистея и священной рощей семьи Атамантидов: он уважал и защищал эти священные места - случай, который показывает, что святотатство и разрушение храмов, вменяемое ему греками, хотя и было правдой в отношении Афин, Абзы, Милета и др, отнюдь не проявлялись повсеместно и даже дополнялись отдельными случаями большого уважения к греческому религиозному чувству. 153] Вдоль берега Малийского залива он, наконец, вошел в Трахину близ Фермопил, где разбил лагерь, по-видимому, ожидая прибытия флота, чтобы заранее объединить свои дальнейшие действия,[154] когда враги были непосредственно перед ним.

Но его флоту не суждено было достичь пункта сообщения с той же легкостью, с какой он прибыл перед Фермопилеями. Убедившись с помощью уже упомянутых десяти кораблей, захвативших три греческих сторожевых корабля, что канал между Скиатосом и материком безопасен, персидский адмирал Мегабат отплыл со всем своим флотом из Терм, или Пидны,[155] своей станции в Термическом заливе, через одиннадцать дней после начала сухопутного похода монарха; и за один долгий день плавания достиг восточного побережья Магнесии, недалеко от ее самого южного мыса. Большая часть этого побережья, образованного склонами Оссы и Пелиона, основательно скалистая и негостеприимная: но к югу от города под названием Кастанза был небольшой участок открытого пляжа, где флот отдохнул на ночь, прежде чем подойти к линии побережья, называемой *Sêrias Aktê*. Первая линия кораблей была пришвартована к суше, но большая часть этого огромного флота бросила якорь на глубине восьми линий. В таком состоянии они были застигнуты на следующее утро внезапным и отчаянным ураганом - ветром, который жители страны называли Элеспонтией, и который дул прямо на берег. Самые активные мореплаватели нашли способ предотвратить опасность, причалив и вытащив свои суда на берег; но многие, не сумев принять такую меру предосторожности, были унесены ветром и разбиты на куски возле Мелибеи, Кастана и других точек этого недружелюбного региона. Четыреста военных кораблей, по самым скромным подсчетам, вместе с бесчисленным множеством транспортов и провиантских судов были уничтожены, и потери как жизни, так и имущества были огромны. Целых три дня продолжалась буря, и в это время экипажи, оставшиеся на берегу почти без защиты и опасавшиеся, что жители страны могут напасть на них или разграбить, были вынуждены разбить корабли, вытащенные на берег, чтобы сделать из бревен заграждение.[Хотя магийские жрецы, сопровождавшие войско, усердно молились и приносили жертвы не только Ветрам, но и Фетиде и Нереидам, божествам-покровителям Акте, они не могли добиться смягчения до четвертого дня:[158] так долго молитвы Дельф и Афин и ревность богов к сверхчеловеческому высокомерию оттягивали страшный визит. Наконец, на четвертый день установилась тихая погода, и все корабли, которые были в состоянии продолжать путь, вышли в море и поплыли вдоль суши, огибая южный мыс Магнесии, к Афете, у входа в Пагасский залив. Ксеркс мало что выиграл от трудоемкого прорезания Афонской горы в надежде от невидимых атмосферных врагов, которые воют вокруг этого грозного мыса: работа по уничтожению его флота была лишь перенесена на противоположный берег Фракийского моря.

Если бы персидский флот добрался до Афет, то обнаружил бы, что Евбейский пролив не защищается греческим флотом, а сразу же вступает в связь с сухопутной армией и действует

в тылу Леонида и его дивизии. Но буря полностью изменила эту перспективу и оживила дух греческого флота в Халкисе. Об этом им сообщили их разведчики на Эвбее, которые даже передали им весть о том, что весь персидский флот уничтожен; поблагодарив и вознеся возлияния Посейдону-спасителю, греки как можно быстрее вернулись в Артемизиум. Однако, к своему удивлению, они увидели, что персидский флот, хотя и уменьшился в числе, все еще демонстрировал грозное общее состояние и вид на противоположной станции Афет. Последние пятнадцать кораблей этого флота, которые были так сильно искалечены бурей, что отстали от остальных, приняли греческие корабли за своих товарищей, бросились на них и все попали в плен. Сандокес, сатрап эолийского Кима, Аридолис, деспот Алабанды в Кари, и Пентилий, деспот Пафоса на Кипре, - предводители этой эскадры, были отправлены пленниками на Коринфский перешеек после допроса о враге: последний из этих троих привел к Ксерксу контингент из двенадцати кораблей, из которых одиннадцать затонули во время бури, а последний был захвачен с собой на борту[159].

Тем временем Ксеркс, расположившись лагерем в пределах видимости от Фермопил, четыре дня не предпринимал никаких нападений: вероятная причина может быть найдена в крайней опасности его флота, который, как сообщалось, был полностью уничтожен бурей: но Геродот называет другую причину. По его словам, Ксеркс не мог поверить, что греки в Фермопилах, как бы малочисленны они ни были, имеют серьезное намерение сопротивляться: он слышал во время своего похода, что горстка спартанцев и других греков под предводительством Гераклида заняла там пост, но отнесся к этой новости с презрением: А когда всадник, которого он послал на разведку и который подъехал достаточно близко, чтобы осмотреть их позицию, не привлекая к себе внимания, вернул ему описание прохода, оборонительной стены и очевидной численности дивизии, он был еще больше удивлен и озадачен. Случилось и так, что в тот момент, когда подъехал этот всадник, спартанцы находились в передовом охранении, за стеной: одни занимались гимнастическими упражнениями, другие расчесывали свои длинные волосы, и никто из них не обратил внимания на приближение вражеского лазутчика. Ксеркс послал за спартанским царем Демаратом, чтобы спросить, что он должен думать о таком безумии; тот напомнил ему об их прежнем разговоре в Дориске, снова заверив, что спартанцы на перевале будут сопротивляться до смерти, несмотря на их малочисленность, и добавил, что в моменты особой опасности у них в обычае расчесывать волосы с особой тщательностью. Несмотря на эти заверения Демарата и на то, что проход был не только занят, но и сам по себе так узок и непроходим, Ксеркс все еще продолжал верить, что греки не намерены сопротивляться и что они разойдутся по собственной воле. Он откладывал атаку четыре дня: на пятый он пришел в ярость от наглости и безрассудства стоявшего перед ним мелкого гарнизона и послал против них мидийские и киссийские дивизии с приказом захватить их и привести в плен к себе[160].

Хотя мы читаем об этом у Геродота, вряд ли можно поверить, что мы читаем историческую реальность: Мы скорее видим перед собой картину человеческого самодовольства в его наиболее преувеличенной форме, созревшую для удара ревнивых богов и призванную, подобно беседе между Крезом и Солоном, указать и привести в исполнение ту мораль, которая всегда присутствовала в сознании историка; его религиозное и поэтическое воображение, даже неосознанно для него самого, окружает голые факты истории аккомпанементом речи и мотивов, которые ни Гомер, ни Эсхил не сочли бы неподходящими. Все действия Ксеркса и огромное войско, которое он создал, показывают, что он рассчитывал на энергичное сопротивление; и хотя численность Леонида, по сравнению с персами, была незначительной, они вряд ли могли выглядеть незначительными в том положении, которое они тогда занимали, - вход чуть шире одной тележной дороги, с поперечной стеной, несколько расширенным пространством, а затем еще одним таким же

узким выходом, за ним. Диодор[161] сообщает нам, что локрийцы, когда они впервые послали землю и воду персидскому монарху, в то же время намеревались захватить Фермопильский проход от его имени, и им помешало это сделать лишь неожиданное прибытие Леонида; Маловероятно также, что фессалийцы, которые теперь были главными проводниками Ксеркса,[162] вместе с Александром Македонским попытаются использовать те же средства для устрашения гарнизона Фермопил, которые уже были столь успешны при эвакуации Темпе. Интервал в два-три дня вполне можно было бы использовать для того, чтобы оставить таким интригам достаточный шанс на успех: флот тем временем прибыл бы в Афет после опасной бури: таким образом, мы можем осмелиться прочесть поведение Ксеркса в несколько менее детском ключе, чем его изображает Геродот.

Медяне, которых Ксеркс первым приказал атаковать, движимые как воспоминаниями о своем древнем азиатском господстве, так и желанием отомстить за поражение при Марафоне,[163] проявили большую личную храбрость. Позиция была такова, что луки и стрелы были малоэффективны: без рукопашного боя было не обойтись, и в нем греки имели все преимущества как в организации, так и в вооружении. Короткие копья, легкие плетеные щиты и туники нападавших не могли сравниться с длинными копьями, тяжелыми и широкими щитами, ровными рядами[164] и отработанным боем защитников. Однако самые храбрые воины персидской армии заседали сзади и, не имея ничего, кроме численности, долго вели этот неравный бой, нанося большие потери грекам и убивая их самих. Хотя атака постоянно отбивалась, она так же постоянно возобновлялась, два дня подряд: греческие войска были достаточно многочисленны, чтобы подкреплять друг друга при усталости, так как пространство было настолько узким, что немногие могли сражаться сразу; и даже бессмертные, или десять тысяч отборных персидских гвардейцев, и другие отборные войска армии, когда были посланы в атаку на второй день, были отброшены назад с тем же позором и с той же резней, что и остальные. Ксеркс наблюдал за этим унижительным поражением с возвышенного трона, специально отведенного для него: "трижды (говорит историк с гомеровской живостью) он сходил со своего трона, мучаясь за свое войско"[165].

К концу двухдневных боев не было произведено никакого впечатления, перевал казался неосуществимым, а оборона - не столько победоносной, сколько мужественной, - когда малиец по имени Эфиальтес открыл Ксерксу существование безлюдной горной тропы. По крайней мере, именно этот человек был выделен общим голосом Греции как предатель роковой тайны: после окончательного поражения персов он на время бежал из своей страны, и за его голову амфикионийское собрание объявило награду; вернувшись в свою страну слишком рано, он был убит частным врагом, которого лакедемоняне почитали как патриота.[Однако были и другие греки, которые, как утверждают, заслужили благосклонность Ксеркса благодаря тем же ценным сведениям; и очень вероятно, что информаторов было несколько, ведь фессалийцы, в то время его проводники, вряд ли могли не знать об этом. Однако об этом пути так мало думали, что никто в персидской армии не знал, что он уже занят фокийцами. В сумерках Гидарнес с отрядом персов двинулся по ущелью реки Асоп, поднялся по тропе Анофея, через лесистую местность между горами, занятыми иотийцами и трахинийцами, и на рассвете оказался у вершины, в пределах видимости фокийской стражи, насчитывавшей тысячу человек. В предрассветной тишине шум его армии, топтавшей лес[167], разбудил защитников; но удивление было обоюдным, и Гидарнес в тревоге спросил своего проводника, не лакедемоняне ли эти люди. Убедившись в отрицательном ответе, он начал атаку и осыпал фокийцев ливнем стрел, заставив их оставить тропу и искать спасения на более высокой точке горы. Беспокоясь только о своей безопасности, они не обратили внимания на неоценимое открытие, которое им пришлось охранять. Если бы греки в полном составе находились в Фермопилах, а не оставались на

праздниках, они могли бы выставить на горной тропе такие силы, которые сделали бы ее не менее неприступной, чем проход под ней.

Гидарнес, не утруждая себя преследованием фокийцев, пошел по спуску, который был короче подъема, и вскоре после полудня прибыл в тыл к Фермопилам. [168](#)] Но не успел он спуститься, как Леониду уже стала известна роковая истина, что враги приближаются к нему сзади. Разведчики на холмах и дезертиры из персидского лагеря, особенно киммериец [\[169\]](#) по имени Тирастиадас, пришли с новостями: даже если бы таких информаторов не было, пророк Мегистий, происходящий от легендарного провидца Мелампа, уловил приближение смерти в мрачном облике утренних жертвоприношений. Было очевидно, что Фермопилы уже не отстоять, но у защитников было достаточно времени, чтобы отступить, и отряд Леонида разделился во мнениях по этому поводу. Большинство из них склонялось к тому, чтобы отказаться от позиции, ставшей теперь непригодной, и приберечь силы для будущих случаев, когда они смогут внести эффективный вклад в отражение захватчика. Не приходится сомневаться, что в сложившихся обстоятельствах это было естественным побуждением, как храбрых солдат, так и благоразумных офицеров. Но для Леонида мысль об отступлении была непереносимой. Его личная честь, а также честь его спартанских товарищей и самой Спарты [\[170\]](#) запрещали ему даже думать о том, чтобы уступить врагу перевал, который он был послан защищать. Законы его страны требовали, чтобы он победил или погиб на назначенном ему посту, каким бы ни было численное превосходство противника: [\[171\]](#) кроме того, нам говорят, что дельфийский оракул объявил, что либо сама Спарта, либо спартанский царь должны пасть жертвой персидского оружия. Если бы он отступил, то вряд ли смог бы избежать упреков, которые, особенно в Греции, всегда обрушивались на полководца, потерпевшего неудачу: в то время как его добровольная преданность и смерть не только заглушили бы все шепотки клеветы, но и вознесли бы его на вершину славы и как человека, и как царя, и показали бы пример рыцарского патриотизма в тот момент, когда греческий мир больше всего нуждался в этом уроке.

Триста спартанцев под командованием Леонида были признаны полностью равными этому акту щедрого и преданного самопожертвования. Возможно, он пожелал бы внушить те же чувства всему отряду: но, обнаружив, что они нездоровы, он сразу же приказал им удалиться, избежав тем самым недостойного нежелания и раздоров: [\[172\]](#) такой же приказ был отдан и пророку Мегистию, который, однако, отказался подчиниться ему и остался, хотя и отослал своего единственного сына. [\[173\]](#) Ни один из отрядов не остался с Леонидом, кроме феспийского и фиванского. Первые, под командованием своего полководца Демофила, добровольно разделили участь спартанцев и проявили даже более спартанский героизм, поскольку не находились под тем моральным гнетом, который возникает из-за необходимости действовать в соответствии с заранее установленной славой и превосходством. Но отступление для них не сулило ничего лучшего, чем простое сохранение жизни, либо в рабстве, либо в изгнании и страданиях; ведь Феспия находилась в Беотии, которую наверняка захватят захватчики; [\[174\]](#) в то время как пелопоннесские контингенты имели позади себя Коринфский перешеек, который они, несомненно, надеялись еще отстоять. Что касается фиванского контингента, то мы в большом недоумении; ведь Геродот говорит нам, что они были взяты Леонидом против их воли в качестве заложников, что они принимали как можно меньше участия в последующей битве и сдались в плен Ксерксу, как только смогли. Диодор говорит, что только феспийцы остались со спартанцами; а Павсаний, хотя и упоминает восемьдесят микенцев как оставшихся вместе с феспийцами (что, вероятно, неверно), ничего не говорит о фиванцах. [\[175\]](#) При прочих равных условиях кажется вероятным, что фиванцы остались, но остались по собственному предложению, - будучи гражданами антиперсидской партии, какими их представляет Диодор, или, возможно,

потому, что для них было менее опасно уйти вместе с пелопоннесцами, чем оставаться, подозревая их в *медизме*: Но когда наступил момент настоящего кризиса, их мужество не было столь твердым, как у спартанцев и феспийцев, они попытались спасти свои жизни, приписав себе заслуги в *медизме* и притворившись, что были насильно задержаны Леонидом.

Преданный отряд, оставленный Леонидом в Фермопилах, состоял из трехсот спартанцев и некоторого количества гелотов, сопровождавших их, а также семисот феспийцев и, по-видимому, четырехсот фиванцев. Если раньше среди них были лакедемоняне, а не спартанцы, то они должны были уйти вместе с остальными пелопоннесцами. Договорившись с проводником Эфиальтесом, Ксеркс отложил нападение на них до полудня, когда в тылу можно было ожидать войска под командованием Гидарнеса. Однако в этот последний день Леонид, зная, что остается только дорого продать жизнь своего отряда, не ограничился обороной, а вышел на более широкое пространство за перевалом, стал агрессором и погнал перед собой передовые части персидского войска, многие из которых погибли как от копий греков, так и в соседнем море и болоте, и даже были растерзаны своими. Персидским офицерам потребовались все усилия, чтобы угрозами и обильным применением кнута заставить своих людей вступить в бой. Греки сражались с безрассудной храбростью и отчаянием против этого превосходящего войска, пока в конце концов их копья не были сломаны, и у них не осталось никакого оружия, кроме мечей. В этот момент был убит сам Леонид, и вокруг его тела битва стала еще более ожесточенной: персы прилагали все усилия, чтобы овладеть им, но греки четырежды отбивались от них, потеряв многих своих вождей, особенно двух братьев Ксеркса. Усталые, измученные, уменьшившиеся в числе и лишенные самого действенного оружия, маленькие защитники отступили с телом своего вождя в узкий пролив за крестовой стеной, где расположились все вместе на возвышенности, подвергаясь нападению главной персидской армии с одной стороны и отряда Гидарнеса, который уже завершил свой поход, с другой. Их окружили, засыпали снарядами и перебили до единого человека; они не теряли мужества до последнего, но защищались оставшимися кинжалами, безоружными руками и даже ртом^[177].

Так погиб Леонид со своими героическими товарищами - тремястами спартанцами и семьюстами феспийцами. Среди такого равного героизма трудно выделить кого-либо выдающегося: тем не менее Геродот упоминает спартанцев Денекеса, Алфея и Марона и феспийца Дифирамба как выдающихся. Ответ, приписываемый первому, стал знаменитым.^[178] "Персидское войско (ему сообщили) так велико, что их стрелы скрывают солнце". "Тем лучше (ответил он), тогда мы будем сражаться с ними в тени". Геродот спросил и узнал имя каждого человека из этих памятных трехсот, и даже шестьсот лет спустя Павсаний все еще мог прочитать эти имена, выгравированные на колонне в Спарте.^[179] Только один из них - Аристокл - вернулся домой, не приняв участия в битве. Он вместе с Эвритом, другим воином, отлучился из отряда в отпуск, и оба лежали в Алпени, страдая от тяжелой болезни глаз. Эврит, узнав, что настал роковой час отряда, решил не дожидаться его, попросил свои доспехи и попросил сопровождавшего его Хилота провести его к месту в строю; там он пал, храбро сражаясь, а Хилот ушел и остался жив. Аристокл не стал подражать этой преданности своего больного товарища: изнемогая от физических страданий, он понесся в Спарту, но вернулся только к презрению и позору среди своих сограждан^[180] Его называли "трусом Аристоклом"; никто не хотел с ним разговаривать или общаться, или даже давать ему свет для костра.^[181] После года такого горького позора ему удалось восстановить свою честь в битве при Платее, где он был убит, превзойдя всех своих товарищей в героической и даже безрассудной доблести.

В последние минуты жизни этой доблестной группы мы с отвращением вспоминаем о дезертирстве и капитуляции фиванцев. Говорят, что они приняли участие в последней битве, хотя и только для видимости и под давлением необходимости: но когда спартанцы и феспийцы, измученные и обезоруженные, отступили, чтобы умереть на небольшом пригорке у перевала, фиванцы отделились, подошли к врагу с распростертыми руками и попросили четверть. Теперь они громко заявили, что являются друзьями и подданными Великого Царя и пришли в Фермопилы против своего собственного согласия; все это было подтверждено фессалийцами в персидской армии. Хотя некоторые из них были убиты до того, как персы поняли эти действия, остальные были допущены к четвертованию; однако не без серьезного позора - их заклеили царским клеймом как ненадежных рабов, - и их командир Леонтиадес был вынужден подчиниться вместе с остальными. Таков рассказ, который приводит Геродот, без какого-либо выражения недоверия или даже сомнения: Плутарх категорически противоречит ему и даже ссылается на беотийского автора,^[182] который утверждает, что Анаксарх, а не Леонтиадес, был командующим фиванцев при Фермопилах. Не ставя под сомнение двусмысленное поведение и капитуляцию этого фиванского отряда, мы можем с полным основанием отвергнуть историю об этом позорном клеймении, как выдумку того сильного антифиванского чувства, которое преобладало в Греции после поражения Ксеркса.

Гнев этого монарха, когда он проходил по полю после окончания сражения, вылился на труп доблестного Леонида, чью голову он приказал отрубить и прикрепить к кресту. Но не только гнев наполнял его разум: он был еще более впечатлен невольным восхищением маленьким отрядом, который здесь противостоял ему столь неожиданному и столь почти непобедимому сопротивлению, - теперь он научился тревожиться о сопротивлении, которое осталось позади. "Демарат (сказал он изгнанному спартанскому царю), ты хороший человек: все твои предсказания сбылись: скажи мне теперь, сколько лакедемонян осталось, и все ли они такие воины, как эти павшие?" "О царь (отвечал Демарат), общее число лакедемонян и их городов велико; только в Спарте восемь тысяч взрослых воинов, все они равны тем, кто здесь сражался; а остальные лакедемоняне, хотя и уступают им, все же отличные воины". "Скажи мне, - ответил Ксеркс, - каким наименее трудным способом можно покорить таких людей?" На это Демарат посоветовал ему отправить часть своего флота занять остров Китера, а оттуда начать войну на южном побережье Лаконии, что отвлечет внимание Спарты и не позволит ей объединить усилия для защиты от его сухопутных войск. Если этого не сделать, все силы Пелопоннеса будут собраны для удержания узкого Коринфского перешейка, где персидскому царю предстоят гораздо более страшные сражения, чем все, чему он еще был свидетелем^[183].

К счастью для безопасности Греции, Ахеменид, брат Ксеркса, вмешался, чтобы отговорить монарха от этого благоразумного плана действий; не без упреков в адрес нрава и побуждений Демарата, который, по его утверждению, как и другие греки, ненавидел любую власть и завидовал всем удачам, превышающим его собственную. Флот, добавил он, после ущерба, нанесенного недавней бурей, не выдержит дальнейшего уменьшения численности: необходимо было держать все персидские силы, как на суше, так и на море, в одной неразделенной и сотрудничающей массе^[184].

Нескольких таких замечаний было достаточно, чтобы возродить в монархе его привычное чувство уверенности в превосходстве численности: отвергнув совет Демарата, он тем не менее решительно отверг обвинения в добросовестности и искренней привязанности этого изгнанного принца^[185].

Между тем дни сражения при Фермопилах были не менее активно использованы флотами при Афете и Артемизиуме. Уже упоминалось, что греческие корабли, оставившие свою стоянку в последнем месте и удалившиеся в Халкис, были побуждены вернуться, получив известие о том, что персидский флот был почти уничтожен недавней бурей, - и что, вернувшись в Артемизиум, греческие командиры почувствовали новую тревогу, увидев, что флот противника, несмотря на только что понесенный ущерб, все еще собирается в подавляющем числе на противоположной станции Афет. Это зрелище и ощущение собственной неполноценности произвели на них такое впечатление, что они снова решили отойти без боя, оставив пролив открытым и необороняемым. Известие об их решении вызвало большое смутение среди жителей Эвбеи, которые просили Эврибиадеса сохранить свою позицию на несколько дней, пока они не успеют вывезти свои семьи и имущество. Но даже такая отсрочка была сочтена небезопасной, и он отказался; он уже собирался отдать приказ об отступлении, когда эвбейцы отправили к Фемистоклу своего посланника Пелагона с предложением тридцати талантов при условии, что флот останется на своем месте и рискнет вступить в бой, защищая остров. Фемистокл распорядился деньгами ловко и удачно, подарив пять талантов Эврибиадесу, а также крупные подарки другим вождям: самым неуправляемым среди них был коринфянин Адеймант, который сначала угрожал уйти со своей эскадрой один, если остальные греки будут настолько безумны, чтобы остаться. Его тревога была утихомирена, если не успокоена, подарком в три таланта[186].

Как бы Плутарх ни скандалил по поводу столь бесславных откровений, донесенных до нас Геродотом о тайных махинациях в этой памятной борьбе, нет никаких оснований ставить под сомнение описанный здесь подкуп. Но Фемистокл, несомненно, был лишь искушен и получил возможность сделать с помощью эвбейских денег то, что он хотел бы и, вероятно, пытался сделать без денег, - вызвать морское сражение в Артемисиуме. Для поддержания Фермопил и общего плана обороны было совершенно необходимо, чтобы Эвбейский пролив был защищен от персидского флота, и греки не могли ожидать более благоприятного положения для сражения. Можно с полным основанием предположить, что Фемистокл, отличавшийся не столько смелостью, сколько проницательностью, и являвшийся великим зачинателем морских сил в своей стране, неохотно согласился на предполагаемый отказ от Артемисиума: однако его высокие умственные способности не исключали той денежной коррупции, которая делала подарки эвбейцев приемлемыми и желанными, - но еще более желанными для него, возможно, потому, что они давали возможность привлечь на свою сторону других враждующих вождей и спартанского адмирала.[187] В итоге было решено остаться и, если понадобится, рискнуть вступить в бой в Эвбейском проливе, но в любом случае обеспечить жителям острова короткий промежуток времени, чтобы они могли вывезти свои семьи. Если бы эвбейцы прислушались к оракулам, говорит Геродот,[188] они бы собрали вещи и ушли задолго до этого: ведь текст Бакиса прямо предупреждал их об этом; но, пренебрегая священными писаниями как недостойными доверия, они теперь были жестоко наказаны за такое самонадеяние.

С другой стороны, среди персидского флота в Афете преобладало чувство надежды и уверенности в своем превосходстве, что составляло сильный контраст с унынием греков в Артемизиуме. Если бы они напали на последний сразу же, когда оба флота впервые увидели друг друга с противоположных позиций, то одержали бы легкую победу, ибо флот бежал бы, как приказал адмирал, даже без нападения. Но этого было недостаточно для персов, которые хотели отрезать каждый корабль среди своих врагов даже от бегства и спасения. [189] Поэтому они выделили двести кораблей, чтобы обогнуть остров Эвбея и войти в Эвбейский пролив с юга, в тыл грекам, отложив свою собственную атаку впереди, пока эта эскадра не окажется на месте, чтобы перехватить отступающих греков. Но хотя этот маневр

был скрыт, поскольку эскадра была направлена в обход острова Скиатос, о нем сразу же стало известно грекам благодаря дезертиру - Скиллиасу из Скионки. Этот человек, лучший пловец и ныряльщик своего времени, а теперь занятый, как и другие фракийские греки, на персидской службе, перешел в Артемизиум и сообщил греческим командирам как подробности недавней разрушительной бури, так и о посылке перехваченной эскадры[190].

Похоже, что его сообщения о последствиях бури и состоянии персидского флота несколько успокоили греков, которые решили в ближайшую ночь отплыть со своего поста в Артемисиуме, чтобы удивить отряд из двухсот кораблей, и даже осмелились, по внушению Фемистокла, выйти и предложить сражение главному флоту у Афет.[191] Желая приобрести практический опыт, которого еще не было ни у вождей, ни у воинов, в том, как финикийцы и другие члены персидского флота управляли своими кораблями и маневрировали ими, они дождались позднего часа пополудни, когда оставалось мало дневного света.[192] Их смелость, с которой они выступили в бой, имея меньшее число и даже меньшие корабли, поразила персидских адмиралов и огорчила ионийцев и других подвластных греков, которые служили им как невольные помощники: и тем и другим казалось, что победа персидского флота, который был быстро выведен на бой и был достаточно многочисленным, чтобы охватить греков, будет не только полной, но и уверенной. Сначала греческие корабли были выстроены в круг, кормы находились внутри, а носы были выставлены вперед во всех точках окружности;[193] в таком положении, сжатые в узкое пространство, они, казалось, ожидали нападения врага, который образовал вокруг них более широкий круг: Но по второму сигналу их корабли приняли агрессивное положение, вышли из внутреннего круга в прямом столкновении с окружающими вражескими кораблями и захватили или вывели из строя не менее тридцати из них: в одном из них Филаон, брат Горгуса, деспота Саламиса на Кипре, попал в плен. Столь неожиданное нападение сначала смутило персов, которые, однако, воспряли духом и нанесли грекам значительный урон и потери: но приближение ночи положило конец сражению, и каждый флот отошел на свое прежнее место, - персы в Афет, греки в Артемизиум[194].

Результат этого первого дневного сражения, хотя и нерешительный сам по себе, удивил обе стороны и немало способствовал росту уверенности греков. Но события последующей ночи сделали еще больше. Боги послали им на помощь еще одну огромную бурю. Хотя была середина лета - время, когда в греческом климате редко выпадают дожди, - всю ночь дул сильнейший ветер, лил дождь и гремел гром, дуя прямо на берег против персов в Афете и не доставляя особых хлопот грекам на противоположной стороне пролива. Моряки персидского флота, едва оправившиеся от предыдущей бури при Акте, были почти доведены до отчаяния повторением той же опасности: тем более что носы их кораблей были окружены, а игра весел затруднена трупам и лонжеронами, оставшимися после недавней битвы, которые течение гнало к их берегу. Если этот шторм был вреден для основного флота в Афете, то он стал губительным для эскадры, отправленной в обход Эвбеи, которая, застигнутая им у опасного восточного побережья этого острова, называемого Эвбейскими впадинами, была выброшена на скалы и разбита. Весть об этом втором заговоре стихий или вмешательстве богов в планы захватчиков очень обрадовала греков; а своевременное прибытие пятидесяти трех свежих афинских кораблей, которые на следующий день усилили их, подняло их уверенность еще выше. Во второй половине того же дня они вышли против персидского флота в Афете, атаковали и уничтожили несколько киликийских кораблей еще на стоянке; флот был слишком сильно поврежден бурей предыдущей ночи, чтобы выйти и сражаться[195].

Но персидские адмиралы были не в том настроении, чтобы терпеть подобные оскорбления, и тем более не хотели, чтобы об этом узнал их повелитель. Около полудня следующего дня они со всем своим флотом приблизились к греческой станции в Артемизиуме и образовали полумесяц; греки же держались ближе к берегу, чтобы их нельзя было окружить, а персы не могли ввести в бой весь свой флот; корабли сталкивались друг с другом и не находили места для атаки. Битва бушевала весь день, с большими потерями и уроном с обеих сторон: египтяне унесли пальму первенства среди персов, афиняне - среди греков. И хотя потери, понесенные персами, были гораздо больше, и хотя греки, находясь у своего берега, стали хозяевами трупов, а также искалеченных кораблей и плавающих обломков, - все же они сами были изранены и искалечены в большей пропорции по отношению к своему меньшему числу: и особенно афинские корабли, передовые в предшествующем бою, нашли половину своего числа не в состоянии возобновить его.^[196] Только египтяне захватили пять греческих кораблей со всеми их экипажами.

В этих обстоятельствах греческие вожди - и Фемистокл, как кажется, в их числе - решили, что они не могут больше осмеливаться удерживать позиции Артемизиума, но должны отвести морские силы дальше в Грецию:^[197] хотя это фактически означало сдачу Фермопильского прохода, и хотя удаление, к которому спешили эвбейцы, было еще не завершено. Эти несчастные люди были вынуждены удовлетвориться обещанием Фемистокла дать им конвой для их лодок и людей; они оставили своих овец и скот на съедение флоту, поскольку это было лучше, чем оставлять их в качестве добычи для врага. Пока греки занимались организацией своего отступления, они получили известие, которое сделало отступление вдвойне необходимым. Афинянин Аброних, расположившийся со своим кораблем у Фермопил, чтобы поддерживать связь между армией и флотом, принес катастрофические сведения о том, что Ксеркс уже овладел перевалом и что дивизия Леонида либо уничтожена, либо обращена в бегство. После этого флот немедленно покинул Артемизиум и отплыл вверх по Евбейскому проливу; коринфские корабли шли впереди, а афиняне - в тылу. Фемистокл, ведя за собой последних, останавливался на различных причалах и местах высадки, чтобы написать на соседних камнях приглашения ионийцам, служившим под началом Ксеркса, и убедить их не служить против своих отцов, а дезертировать, если возможно, - или, по крайней мере, сражаться как можно меньше и как можно меньше. Фемистокл надеялся этой уловкой, возможно, переманить часть ионийцев на сторону персов или, во всяком случае, сделать их объектом недоверия и тем самым снизить их эффективность.^[198] Не задерживаясь дольше, чем требовалось для подобных надписей, он последовал за оставшимся флотом, который плыл вокруг побережья Аттики, не останавливаясь, пока не достиг острова Саламис.

Весть об отступлении греческого флота была быстро передана гражданином Гистиеи персам в Афете, которые сначала не поверили ей и задержали гонца до тех пор, пока не послали выяснить этот факт. На следующий день их флот прошел к северу от Эвбеи и овладел Гистиеей и прилегающей территорией, откуда многие из них, по разрешению и даже приглашению Ксеркса, переправились в Термопилы, чтобы осмотреть поле битвы и погибших. Что касается количества погибших, то Ксеркс, как утверждается, намеренно навязывал зрителям свое мнение: он похоронил всех своих мертвецов, кроме тысячи, чьи тела остались в стороне, - в то время как все греки, погибшие при Фермопилах, в количестве четырех тысяч человек, были оставлены обнаженными и сложены в одну кучу, чтобы создать впечатление, что их потери были гораздо более серьезными, чем их собственные. Кроме того, в эту кучу были включены тела убитых гелотов, и все они, по мнению зрителей, выдавались за спартанцев или феспийцев. Однако нас не удивляет, что этот трюк, грубый и публичный, каким он должен был быть, на самом деле обманул очень немногих.^[199] Согласно Геродоту, на стороне персов было убито двадцать тысяч человек -

небезосновательная оценка, если учесть, что на них было мало защитных доспехов и что они сражались три дня. Тот же историк называет четыре тысячи греческих трупов: если это верно, то в это число должна входить значительная часть гелотов, поскольку в последний день не было ни одного гоплита, кроме трехсот спартанцев, семисот феспийцев и четырехсот фиванцев. Некоторые гоплиты, конечно, были убиты в сражениях первых двух дней, но, очевидно, не многие. Первоначально на защиту перевала вышло около семи тысяч человек,^[200] но эпиграмма, составленная вскоре после этого и начертанная на этом месте по приказу собрания Амфикитионов, передала потомкам официальное хвастовство тем, что четыре тысячи воинов "из Пелопоннеса сражались здесь с тремястами мириадами или тремя миллионами врагов".^[201] Относительно этой предполагаемой численности персов уже были сделаны некоторые замечания: утверждение о четырех тысячах воинов из Пелопоннеса должно указывать тех, кто первоначально вышел с этого полуострова под командованием Леонида. И все же Амфикитий, создавая слова для записи этого памятного подвига, не должен был увековечивать пелопоннесцев в отрыве от их внепелопоннесских товарищей, полностью равных им по заслугам, - особенно феспийцев, которые проявили такую же героическую самоотверженность, как Леонид и его спартанцы, не будучи подготовлены к этому такой же тщательной и железной дисциплиной. Хотя эта надпись предназначалась для общего поминовения подвига, рядом с ней находилась другая, столь же простая и впечатляющая, предназначенная отдельно для спартанских мертвецов: "Чужеземец, передай лакедемонянам, что мы лежим здесь, повинаясь их приказу". На холме за перевалом, где эта преданная группа получила свои смертельные раны, был воздвигнут памятник с мраморным львом в честь Леонида, украшенный, по-видимому, эпиграммой поэта Симонида. Этот выдающийся гений сочинил по крайней мере одну оду, от которой сейчас остался лишь великолепный фрагмент, посвященный славе Фермопил; кроме того, он написал несколько эпigramм, одна из которых была посвящена пророку Мегистию, "который, хотя и знал о постигшей его участи, не покинул спартанских вождей".

ГЛАВА XLI.

БИТВА ПРИ САЛАМИНЕ. - ОТСТУПЛЕНИЕ КСЕРКСА.

Чувство, столь же устойчивое и единодушное, с которым греки последующих времен вспоминали битву при Фермопилах и которое они донесли до всех последующих читателей, было чувством справедливого восхищения мужеством и патриотизмом Леонида и его отряда. Но среди современных греков это чувство, хотя, несомненно, искреннее, отнюдь не было преобладающим: его пересиливали более сильные эмоции разочарования и ужаса. Спартанцы и пелопоннесцы были настолько уверены в обороноспособности Фермопил и Артемисиума, что, когда до них дошла весть о катастрофе, ни один солдат еще не был приведен в движение: сезон фестивальных игр прошел, но никаких активных действий еще не было предпринято. ^{202]} Тем временем силы вторжения, армия и флот, продвигались к Аттике и Пелопоннесу без малейшей подготовки - и, что было еще хуже, без какого-либо объединенного и согласованного плана - для защиты сердца Греции. Потери, понесенные Ксерксом при Фермопилах, незначительные в сравнении с его огромными силами, были с лихвой компенсированы свежими греческими вспомогательными войсками, которые он теперь приобрел. К нему присоединились не только малийцы, локрийцы и дорийцы, но и большая часть беотийцев с их главным городом Фивами, за исключением Феспии и

Платеи.[Демарат, его спартанский товарищ, двинулся к Фивам, чтобы возобновить древние узы гостеприимства с фиванским олигархическим вождем Аттагином, а Александр Македонский послал небольшие гарнизоны в большинство беотийских городов,[204] чтобы защитить их от грабежа и обеспечить их верность. Феспийцы же оставили свой город и бежали в Пелопоннес, а платейцы, служившие на борту афинских кораблей в Артемизиуме,[205] были высажены в Халкисе при отступлении флота, чтобы отправиться по суше в свой город и вывезти свои семьи. Таким образом были усилены не только сухопутные силы Ксеркса; его флот также получил пополнение из Карыста в Эвбее и с некоторых Кикладских островов, так что потери, понесенные в результате шторма при Скипии и боев при Артемисии, если и не были полностью восполнены, то хотя бы частично восстановлены, а флот по-прежнему значительно превосходил греческий по численности[206].

В начале Пелопоннесской войны, почти через пятьдесят лет после этих событий, коринфские посланники напомнили Спарте, что она дала Ксерксу время прибыть с края земли к порогу Пелопоннеса, прежде чем приняла против него надлежащие меры предосторожности: упрек верен почти дословно.[207] Только когда лакедемоняне и другие пелопоннесцы были разбужены и напуганы известием о смерти Леонида, они начали выставлять все свои силы. Но было уже слишком поздно выполнять данное Афинам обещание занять позицию в Беотии, чтобы защитить Аттику. Защитить Коринфский перешеек - вот все, о чем они теперь думали, и, кажется, все, что им теперь открывалось: они бросились туда со всем своим наличным населением под предводительством Клиомброта, царя Спарты (брата Леонида), и начали возводить укрепления по всей его длине, а также разбивать Скиронийскую дорогу из Мегары в Коринф, проявляя все признаки беспокойной энергии. Лакедемоняне, аркадяне, элейцы, коринфяне, сикионяне, эпидавры, флиасийцы, тризенианцы и гермионяне присутствовали здесь в полном составе; многие мириады мужчин (по десять тысяч человек) работали и подносили материалы днем и ночью.[208] Как защита от нападения с суши, это была прекрасная позиция: они рассматривали ее как свой последний шанс,[209] оставив всякую надежду на успешное сопротивление на море. Но они забыли, что укрепленный перешеек не защищал даже их самих от флота Ксеркса,[210] а ведь он, по их мнению, отбрасывал не только Аттику, но и Мегару и Эгину. Таким образом, после потери Фермопил Греция столкнулась с новой опасностью: не нашлось другого места, которое, подобно тому памяtnому проливу, охватывало бы и защищало сразу все отдельные города. В результате раздора они оказались на волосок от гибели.

Если для пелопоннесцев причины для тревоги были велики, то положение афинян выглядело еще более отчаянным. Ожидая, согласно договоренности, найти пелопоннесское войско в Беотии, готовое поддержать Леонида или, во всяком случае, сотрудничать в обороне Аттики, они не приняли никаких мер для вывоза своих семей и имущества: Но, отступая из Артемизиума, они с негодованием и ужасом увидели, что завоеватель полным ходом движется из Фермопил, что дорога в Аттику открыта для него, а пелопоннесцы заняты исключительно защитой своего перешейка и своего отдельного существования.[211] Флоту из Артемизиума было приказано собраться в гавани Трезена и ожидать там подкреплений, которые удастся собрать; но афиняне умоляли Эврибиадеса остановиться в Саламине, чтобы дать им некоторое время для консультаций в связи с критическим положением дел и помочь им перевезти свои семьи. Пока Эврибиадес оставался в Саламине, к нему подошли несколько новых кораблей, достигших Трезена; таким образом, Саламин на некоторое время стал морской станцией греков, без всякого преднамеренного умысла[212].

Тем временем Фемистокл и афинские моряки высадились в Фалеруме и со скорбью вошли в Афины. Как ни мрачна была перспектива, но здесь было мало места для разногласий[213] и

еще меньше места для промедления. Власти и общественное собрание сразу же выпустили прокламацию, предписывающую каждому афинянину вывезти свою семью из страны наилучшим способом, на который он способен. Мы можем представить себе, в каком состоянии были беспорядки и ужас, вызванные этим неожиданным объявлением, если вспомним, что оно было распространено и исполнено по всей Аттике, от Суниума до Оропа, в течение менее чем шести дней; ведь до прибытия Ксеркса в Афины, куда он мог прибыть еще раньше, прошло не больше времени.[214] Весь греческий флот, несомненно, был занят перевозкой беспомощных изгнанников; в основном в Трезен, где им был оказан любезный прием и щедрая поддержка (население Трезена было полуионическим и имело древние религиозные и торговые связи с Афинами), но частично и в Эгину: однако многие не могли или не хотели идти дальше Саламины. Фемистокл внушал страдальцам, что они лишь повинуются оракулу, который велел им покинуть город и укрыться за деревянными стенами; и то ли его политика, то ли душевная депрессия того времени дали ход другим историям, намекающим, что даже божественные обитатели акрополя на время покинули его. В древнем храме Афины Полиас на этой скале обитала или, как считалось, обитала в качестве хранителя святилища и привычного спутника богини священная змея, для питания которой раз в месяц клали медовый торт. До сих пор медовый торт регулярно съедался, но в этот роковой момент жрица объявила, что он остался нетронутым: таким образом, священный страж подал пример покинуть акрополь, и горожанам следовало последовать этому примеру, доверившись самой богине в вопросе будущего возвращения и восстановления. Переселение стольких древних мужчин, женщин и детей было сценой слез и страданий, уступающих лишь тем, которые могли бы последовать при фактическом захвате города.[Несколько человек, слишком бедных, чтобы надеяться на содержание, или слишком старых, чтобы заботиться о жизни в других местах, - соглашаясь, кроме того, с собственным толкованием[216] деревянной стены, которую пифийская жрица объявила несокрушимой, - закрылись в акрополе вместе с администраторами храма, загородив вход или западный фронт деревянными дверями и палисадами.[217] Когда мы читаем, как велики были страдания населения Аттики спустя полвека после этого, вынужденного искать убежища в просторных укреплениях Афин при первом начале Пелопоннесской войны,[218] мы можем составить некоторое слабое представление о неисчислимо больших страданиях, которые обрушились на эмигрантов, спешивших, не зная куда, чтобы спастись от длинной руки Ксеркса. Мало шансов было, что они когда-нибудь вернутся в родные места, разве что в качестве его рабов.

В таких бедственных и угрожающих обстоятельствах ни воины, ни афинские вожди не утратили своей энергии - как руки, так и разум были напряжены до предела человеческой решимости. Политические разногласия были приостановлены: Фемистокл предложил народу постановление и получил его одобрение, пригласив домой всех, кто был приговорен к временному изгнанию: более того, он не только включил, но даже специально выделил среди них своего великого противника Аристеидеса, уже третий год находящегося в острокизме. Ксантипп, обвинитель, и Кимон, сын Мильтиадеса, были соучастниками той же эмиграции: последний, зачисленный по счастливой случайности в число всадников государства, был замечен со своими товарищами, весело шествующими через Керамейкус, чтобы посвятить свои уздечки в акрополе и забрать взамен часть подвешенного там священного оружия, подавая тем самым пример готовности к службе на корабле, а не на коне.[219] Было совершенно необходимо получить денежные средства, частично для помощи более бедным изгнанникам, но еще больше для оснащения флота; в государственной казне средств не было, но сенат Ареопага, состоявший тогда в значительной степени из людей из более богатых классов, приложил всю свою

государственную власть, а также свои частные пожертвования и пример для других[220], и таким образом удалось собрать сумму в восемь драхм на каждого служивого воина.

Эта своевременная помощь была отчасти получена благодаря неисчерпаемым ресурсам Фемистокла, который во время спешного отплытия обнаружил или сделал вид, что голова Горгоны из статуи Athênê потеряна, и, распорядившись на этом основании обыскать багаж каждого человека, предоставил все сокровища, которые частные граждане могли унести, в распоряжение государственной службы.[Этих нескольких важных дней хватило на то, чтобы вывезти все население Аттики - тех, кто обладал военной квалификацией, на флот в Саламине, - остальных в какое-нибудь убежище, - вместе с имуществом, какое только позволял случай. Страна была покинута настолько полно, что войска Ксеркса, когда они стали хозяевами, смогли захватить и увести не более пятисот пленных. 222] Более того, сам флот, который был доставлен из Артемисии частично поврежденным, был быстро отремонтирован, так что к моменту прибытия персидского флота он снова был в состоянии, похожем на боевое.

Объединенный флот, собравшийся у Саламины, состоял из трехсот шестидесяти шести кораблей, что намного больше, чем при Артемисиуме. Из них не менее двухсот были афинскими, двадцать из которых, однако, были одолжены халкидянам и укомплектованы ими. Сорок коринфских кораблей, тридцать игинетских, двадцать мегарийских, шестнадцать лакедемонских, пятнадцать сикионских, десять эпидаврских, семь из Амбракии и столько же из Эретрии, пять из Трезена, три из Гермियोны и столько же из Леукаса, два из Кеоса, два из Стиры и один из Кифноса; четыре с Наксоса, отправленные в качестве контингента персидского флота, но доставленные по выбору их капитанов и моряков в Саламин; все эти триремы вместе с небольшой эскадрой низших судов, называемых пентеконтерами, составляли общее число. Из великих греческих городов Италии прибыла только одна трирема, волонтерская, которой командовал выдающийся гражданин по имени Фаиллус, трижды победитель на Пифийских играх.[223] Таким образом, весь флот был немногим больше, чем объединенные силы, триста пятьдесят восемь кораблей, собранные азиатскими греками в Ладе, пятнадцатью годами ранее, во время восстания ионийцев. Однако мы можем усомниться в том, что это общее количество, заимствованное у Геродота, не больше того, которое действительно было в битве при Саламине, и которое Эсхил уверенно называет состоящим из трехсот парусов, в дополнение к десяти основным и отборным кораблям. Этот великий поэт, сам участвовавший в сражении и выступавший в драме, представленной всего через семь лет после битвы, является лучшим авторитетом в этом вопросе, даже чем Геродот[224].

Едва флот был собран в Саламине, а афинское население вывезено, как Ксеркс со своим войском захватил страну, флот занял Фалерум с прилегающим побережьем. Его сухопутные войска были приведены в движение под руководством фессалийцев через два-три дня после битвы при Фермопилах, и некоторые аркадяне, пришедшие к нему на службу, заверили его, что пелопоннесцы даже в этот момент были заняты празднованием Олимпийских игр. "Какой приз получает победитель?" - спросил он. На ответ, что приз - венок из дикой оливы, Тритантæхмес, сын дяди монарха Артабана, как говорят, разразился речью, несмотря на недовольство самого монарха и присутствующих: "Небеса, Мардоний, что это за люди, против которых ты привел нас сражаться! Люди, которые спорят не за деньги, а за честь!"[225] Будь это действительно сказанное замечание или драматическая иллюстрация, придуманная кем-то из современников Геродота, оно не менее интересно, поскольку позволяет увидеть характерную черту эллинской жизни, которая контрастирует не только с

нравами современных восточных людей, но даже с нравами самих ранних греков в гомеровские времена.

Среди всех греков между Фермопилами и границами Аттики не было ни одного, кроме фокийцев, готового отказаться от покорности: и они отказались только потому, что огромное влияние их злейших врагов фессалийцев заставило их отчаяться в получении выгодных условий.^[226] Они даже не стали слушать предложение фессалийцев, которые, хвастаясь тем, что в их власти направлять по своему усмотрению ужасы персидского войска, предлагали обеспечить снисходительное отношение к территории Фокиса, если им будет выплачена сумма в пятьдесят талантов.^[227] С негодованием отвергнув это предложение, они провели Ксеркса через небольшую территорию Дориса, которая *уцелела* и избежала грабежа, в верхнюю долину Кефиса, среди городов непреклонных фокийцев. Все они были найдены пустынными; жители ранее бежали либо на широко раскинувшуюся вершину Парнаса, называемую Титорея, либо еще дальше, через эту гору, на территорию озолийских локрийцев. Десять или дюжина небольших фокийских городов, самыми значительными из которых были Элатея и Гиамполь, были разграблены и разрушены захватчиками, а со священным храмом и оракулом Аполлона в Абесе обошлись лучше, чем с остальными: все его сокровища были разграблены, а сам он был сожжен. От Панопея Ксеркс отрядил группу людей для разграбления Дельф, а сам с основной армией отправился в поход через Беотию, в которой нашел все города покорными и смирными, кроме Феспии и Платеи: оба были покинуты своими гражданами, и оба были сожжены. Отсюда он повел свою армию в покинутую Аттику, без сопротивления достигнув подножия акрополя в Афинах^[228].

Совсем иначе сложилась судьба той части, которую он отрядил от Панопея против Дельф: Здесь Аполлон защищал свой храм более решительно, чем в Абэ. Корыстолюбие персидского царя стимулировалось рассказами о безграничных богатствах, накопленных в Дельфах, особенно о щедрых пожертвованиях Крёза. Дельфийцы, находясь в крайней тревоге, ища спасения для себя на высотах Парнаса, а для своих семей - переправы через залив в Ахайю, советовались с оракулом, унести или закопать священные сокровища. Аполлон велел им оставить сокровища нетронутыми, сказав, что он сам в состоянии позаботиться о своем имуществе. Только шестьдесят дельфийцев отважились остаться вместе с Акратом, религиозным настоятелем, но вскоре появились свидетельства сверхчеловеческой помощи, чтобы ободрить их. Священное оружие, подвешенное во внутренней камере, к которому ни одной смертной руке не разрешалось прикасаться, было замечено лежащим перед дверью храма; И когда персы, шедшие по дороге, называемой Схисткой, по изрезанному пути под отвесными скалами Парнаса, который ведет в Дельфы, достигли храма Афонской Пронеи, - вдруг раздался страшный гром, - два огромных горных утеса отделились и с оглушительным шумом ринулись вниз, раздавив многих насмерть, - из глубины храма Афонской Пронеи также послышался боевой клич. Охваченные паническим ужасом, захватчики повернули назад и бежали; их преследовали не только дельфийцы, но и, как они сами утверждали, два вооруженных воина сверхчеловеческого роста и разрушительной силы. Торжествующие дельфийцы подтвердили это сообщение, добавив, что двумя помощниками были герои Филакс и Автоной, чьи священные участки находились рядом: а сам Геродот, посетив Дельфы, увидел на священной земле Атенка те самые каменные массы, которые одолели персов.^[229] Таким образом, бог отвадил захватчиков от своего дельфийского святилища и сокровищ, которые оставались неприкосновенными вплоть до сто тридцати лет спустя, когда они были разграблены святотатственными руками фокийца Филомела. В этом случае, как мы увидим далее, настоящими защитниками сокровищ были завоеватели в Саламине и Платее.

Прошло четыре месяца с момента отплытия из Азии, когда Ксеркс достиг Афин, последнего рубежа своего продвижения. Он взял с собой членов семьи Писистратидов, которые, несомненно, считали свое восстановление уже уверенным, и несколько афинских изгнанников, заинтересованных в их восстановлении. Хотя страна была совершенно пустынна, горстка людей, собранных в акрополе, осмелилась бросить ему вызов: все уговоры Пеисистратидов, стремящихся сохранить святое место от разграбления, не смогли склонить их к сдаче. [Афинский акрополь - скала, круто поднимающаяся на сто пятьдесят футов, с плоской вершиной длиной около тысячи футов с востока на запад и шириной пятьсот футов с севера на юг - не имел удобного подъезда, кроме как с западной стороны: [231] кроме того, во всех местах, где можно было подняться, он был защищен древним укреплением под названием Пеласгическая стена. Вынужденная взять это место силой, персидская армия расположилась вокруг северной и западной сторон и начала свои действия с возвышенности, примыкающей к нему с северо-запада, называемой Ареопагом: [232] оттуда они обстреливали, если можно так выразиться, раскаленными снарядами деревянную конструкцию перед воротами; то есть они высыпали на нее множество стрел с прикрепленными к ним горящими поленищами. Деревянные палисады и обшивка вскоре загорелись и были уничтожены, но когда персы попытались начать штурм по западной дороге, ведущей к воротам, неустрашимый маленький гарнизон все еще сдерживал их, предоставив огромные камни, которые они скатывали на них при подъеме. Некоторое время казалось, что великий царь будет вынужден прибегнуть к медленному процессу блокады; но в конце концов некоторые смельчаки из числа осаждающих попытались взобраться на обрывистую скалу с северной стороны, у храма или часовни Аглаура, которая находилась почти напротив персидской позиции, но за воротами и западным подъемом. Здесь скала, естественно, была настолько недоступна, что вообще не охранялась и, кажется, даже не была укреплена: [233] кроме того, все внимание маленького гарнизона было сосредоточено на воинстве, стоявшем перед воротами. Поэтому отдельному отряду эскалаторов удалось выполнить свою задачу незаметно и достичь вершины в тылу у гарнизона; лишившись последней надежды, они либо бросились вниз головой со стен, либо бежали в поисках безопасности во внутренний храм. Удачливые эскалаторы открыли ворота для всего персидского войска, и весь акрополь вскоре оказался в их руках. Его защитники были убиты, храмы разграблены, а все жилища и здания, как священные, так и мирские, преданы огню. [234] Афинская цитадель попала в руки Ксеркса в результате неожиданности, подобной той, что привела Сарды в руки Кира. [235]

Так исполнилось божественное пророчество: Аттика полностью перешла в руки персов, а пожар в Сардах обрушился на дом и цитадель похитителей, как и на их священный храм в Элевсисе. Ксеркс немедленно отправил в Сузы известие об этом факте, которое, как говорят, вызвало безмерную радость, опровергнув, похоже, мрачные предсказания своего дяди Артабана. [236] На следующий день, кроме одного, афинские изгнанники из его свиты получили приказ, а может быть, и разрешение, пойти и принести жертву среди развалин акрополя, чтобы искупить, если возможно, осквернение земли: Они обнаружили, что священное оливковое дерево у часовни Эрехтея, особый дар богини Афины, хотя и сгорело дотла от недавнего пожара, уже пустило свежие побеги длиной в один локоть, - по крайней мере, благочестивые восстановленные Афины впоследствии поверили этому обнадеживающему предзнаменованию, [237] как и тому, которое, как говорили, видел Дикей, афинский сподвижник Пеисистратидов, на Триадской равнине. Это был день, отведенный для празднования Элевсинских мистерий; и хотя в этот скорбный год не было ни праздника, ни афинян в округе, Дикей все же воображал, что видит пыль и слышит громкое многоголосое пение, которым в обычное время сопровождалось шествие процессии из Афин в Элевсис. Он даже рассказал бы об этом самому Ксерксу, если бы Демарат не удержал

его от этого: но он, как и Геродот, расценил это как свидетельство того, что сами богини шли из Элевсиса на помощь афинянам в Саламине. Но что бы ни говорили в последующие времена, в тот день никто не мог поверить в скорое возрождение завоеванных Афин как свободного города: даже если бы он стал свидетелем того, как сожженное оливковое дерево вдруг прорастает заново с необычайной силой. Столь безнадежными казались тогда обстоятельства афинян не только их единомышленникам, собравшимся в Саламине, но и победоносным персам.

Примерно во время взятия акрополя персидский флот также благополучно прибыл в бухту Фалерум, усиленный кораблями из Карыста, а также с различных островов Киклад, так что, по мнению Геродота, он был столь же силен, как и до страшной бури у Акте, - оценка, конечно, не приемлемая[238].

Вскоре после их прибытия Ксеркс сам сошел на берег, чтобы осмотреть флот, а также посоветоваться с различными флотоводцами о целесообразности нападения на вражеский флот, находящийся сейчас так близко от него в узком проливе между Саламином и берегами Аттики. Он пригласил их всех занять свои места в собрании, где первое место занимал царь Сидона, а второе - царь Тира. Мардоний задал вопрос каждому из них в отдельности, и когда мы узнаем, что все высказались за немедленное сражение, мы можем быть уверены, что мнение самого Ксеркса было им заранее известно. Исключение из этого единодушия составляла лишь одна Артемисия, царица Галикарнаса в Кари; В уста которой Геродот вложил пространную речь, отвергающую всякую мысль о сражении в узком Саламинском проливе, предсказывая, что если сухопутные войска двинутся вперед, чтобы атаковать Пелопоннес, пелопоннесцы, находившиеся во флоте в Саламине, вернутся под защиту своих домов, и таким образом флот рассеется, тем более что на острове мало или совсем нет продовольствия, - и, кроме того, выражая безмерное презрение к эффективности персидского флота и моряков по сравнению с греческим, а также к подданным Ксеркса в целом. В том, что царица Артемисия дала этот благоразумный совет, нет причин сомневаться; и историк Галикарнаса, возможно, имел возможность узнать, на чем основывалось ее мнение: Но мне трудно поверить, что она могла публично дать такую оценку морским владениям Персии, - оценку не только оскорбительную для всех, кто ее слышал, но и в то время несправедливую, хотя она стала ближе к истине в то время, когда писал Геродот,[239] и хотя сама Артемисия, возможно, дожидаясь до того времени, когда стала придерживаться этого мнения впоследствии. Каковы бы ни были ее мотивы, историк рассказывает, что друзья и соперники были поражены ее опрометчивостью, отговаривая монарха от морского сражения, и ожидали, что ее предадут смерти. Но Ксеркс выслушал совет совершенно спокойно и даже стал еще больше уважать карийскую царицу, хотя и решил, что следует руководствоваться мнением большинства или своим собственным, и отдал приказ атаковать на следующий день,[240] пока сухопутные войска будут продвигаться к Пелопоннесу.

В то время как на берегу Фалерума всемогущая воля принуждала к кажущемуся единодушию и исключала всякое реальное обсуждение, - великий контраст представляло соседнее греческое войско в Саламине, среди членов которого царили безмерные разногласия. Уже говорилось, что греческий флот первоначально собрался на этом острове не для того, чтобы сделать его военно-морской станцией, а просто для того, чтобы прикрыть и помочь эмиграции афинян. Когда эта цель была достигнута, а Ксеркс уже находился в Аттике, Эврибиадес созвал вождей для рассмотрения вопроса о том, какая позиция наиболее подходит для военно-морского сражения. Большинство из них, особенно пелопоннесские, были против того, чтобы оставаться в Саламине, и предложили перевести флот на

Коринфский перешеек, где он будет находиться в непосредственной связи с сухопутными войсками Пелопоннеса, чтобы в случае поражения на море корабли нашли защиту на берегу, а люди присоединились к сухопутной службе, - в то время как в случае поражения в морском бою у Саламины они будут заключены на острове, откуда нет никакой надежды на спасение.[241] В разгар обсуждения прибыл гонец с известием о взятии и сожжении персами Афин и их акрополя, и таков был ужас, вызванный этим известием, что некоторые из вождей, даже не дожидаясь окончания обсуждения и окончательного голосования, немедленно покинули совет и начали поднимать паруса или готовить гребцов к отплытию. Большинство проголосовало за отплытие к перешейку, но, поскольку приближалась ночь, фактическое отплытие было отложено до следующего утра[242].

Теперь ощущалась потребность в таком положении, как Фермопилы, которое служило защитой для всех греков сразу, чтобы сдержать рост отдельных страхов и интересов. Не приходится удивляться тому, что пелопоннесские вожди, в частности коринфские, предоставившие столь многочисленный военный контингент и на территории которых, как казалось, должно было произойти сухопутное сражение на перешейке, проявили столь упорное нежелание сражаться у Саламины и настаивали на удалении на позицию, где в случае морского поражения они могли бы оказать помощь и поддержку своим солдатам на суше. С другой стороны, Саламин был не только наиболее выгодной позицией, благодаря узкому проливу, для уступающих в численности греков, но и не мог быть оставлен, не нарушив единства союзного флота; Так как Мегара и Эгина остались бы незащищенными, и контингенты каждой из них немедленно ушли бы на защиту своих домов, - в то время как афиняне, значительная часть семей которых находилась в Саламине и Эгине, были бы отвлечены от совместных морских усилий на перешейке. Если бы они были переведены в последнее место, то, вероятно, даже сами пелопоннесцы не остались бы в одном корпусе; ведь эскадры Эпидавра, Трезена, Гермियोны и т. д., опасаясь, что персидский флот может напасть на один или другой из этих отдельных портов, разошлись бы по домам, чтобы отразить такую случайность, несмотря на усилия Эврибиадеса удержать их вместе. Поэтому приказ покинуть Саламин и отправиться на перешеек был не чем иным, как приговором к уничтожению всей совместной морской обороны; и он стал вдвойне отвратителен для всех тех, кто, подобно афинянам, эгинетянам и мегарянам, был вынужден из соображений собственной безопасности держаться за оборону Саламины. Однако, несмотря на все эти возражения и протесты Фемистокла, упрямая решимость пелопоннесских вождей привела к тому, что они проголосовали за отступление, и на следующее утро каждый из них отправился на свой корабль, чтобы подготовиться к нему.

Когда Фемистокл вернулся на свой корабль, на его душе царил мрак этого меланхоличного решения, и ему нужно было позаботиться об удалении изгнанных афинских семей на острове, а также об эскадре, - он нашел афинского друга по имени Мнесифил, который спросил его, что решил синод вождей. Об этом Мнесифиле, который в целом упоминается как проникательный практический политик, мы, к сожалению, не имеем никаких сведений: но это, должно быть, был не простой человек, которого слава, истинная или ложная, выбрала в качестве вдохновляющего гения Фемистокла. Узнав о принятом решении, Мнесифил разразился речами о полном разорении, которое повлечет за собой его исполнение: не будет ни объединенного флота, чтобы сражаться, ни общего дела и страны, за которую можно бороться. [243] Он горячо убеждал Фемистокла снова открыть вопрос и всеми доступными ему средствами добиваться отзыва голоса за отступление, а также решения остаться и сражаться в Саламине. Фемистокл уже тщетно пытался добиться того же мнения, но, как ни был он удручен неудачей, увещевания уважаемого друга поразили его с такой силой, что побудили возобновить свои усилия. Он немедленно отправился на корабль

Эврибиадеса, попросил разрешения поговорить с ним и, получив приглашение на борт, вновь затронул с ним наедине всю тему прошлой дискуссии, отстаивая свои собственные взгляды так категорично, как только мог. В этом частном общении все аргументы, касающиеся дела, были высказаны более откровенно, чем это было возможно сделать в собрании вождей, которые были бы оскорблены, если бы им открыто сказали, что они могут дезертировать из флота, когда удалятся от Саламины. Говоря так свободно и доверительно, обращаясь к Эврибиадесу наедине, Фемистокл смог частично образумить его и даже убедить созвать новый синод. Как только синод собрался, еще до того, как Эврибиадес объяснил цель и официально открыл обсуждение, Фемистокл обратился к каждому из вождей в отдельности, подробно изложив свои опасения и тревогу по поводу оставления Саламины, так что коринфянин Адеимант упрекнул его, сказав: "Фемистоклос, тех, кто во время публичных праздничных поединков поднимается раньше положенного сигнала, подвергают бичеванию". "Верно, - отвечал афинянин, - но те, кто отстают от сигнала, не получают короны"[244].

Эврибиадес объяснил синоду, что у него возникли сомнения и что он созвал их, чтобы пересмотреть прежнее решение; тогда Фемистокл начал дебаты и горячо отстаивал необходимость сражения в узком Саламинском море, а не в открытых водах на перешейке, а также необходимость сохранения Мегары и Эгины: утверждая, что морская победа при Саламине будет не менее эффективной для обороны Пелопоннеса, чем если бы она произошла на перешейке, в то время как, если бы флот был отведен в последний пункт, он бы только привлек персов за собой. Он также не преминул добавить, что афиняне получили пророчество, гарантирующее им победу на этом, их собственном острове. Но его речь не произвела особого впечатления на пелопоннесских вождей, которые были даже раздосадованы тем, что их снова позвали возобновить уже завершенные дебаты - и завершенные так, как они считали нужным для своей безопасности. Особенно в душе коринфянина Адеиманта гнев перешел все границы. Он резко осудил самонадеянность Фемистоклеса и заставил его замолчать как человека, у которого теперь нет свободного греческого города, который он мог бы представлять, - Афины были во власти врага; более того, он дошел до того, что заявил, что Эврибиадес не имеет права считать голоса Фемистоклеса, пока тот не представит какой-нибудь свободный город, аккредитуемый его в синоде. Такое нападение, в равной степени неблагородное и безумное, на предводителя более чем половины всего флота, показывает неудержимое нетерпение коринфян увести флот на свой перешеек: оно вызвало горькую отповедь Фемистоклеса, который напомнил им, что, имея вокруг себя двести хорошо оснащенных кораблей, он может в любом месте купить себе город и территорию не хуже или лучше, чем Коринф. Но теперь он ясно видел, что безнадежно думать о проведении своей политики с помощью аргументов и что ничто не принесет успеха, кроме прямого языка запугивания. Повернувшись к Эврибиадесу и обратившись к нему лично, он сказал: "Если ты останешься здесь и будешь храбро сражаться, то все сложится хорошо; но если ты не останешься, то погубишь Элладу. 245 Ведь у нас все военные средства заключены в кораблях. Убеждай меня. Если же нет, то мы, афиняне, переселимся с семьями на борту, как и сейчас, в Сирус в Италии, который издревле принадлежит нам и который, как гласят пророчества, мы однажды колонизируем. Тогда вы, вожди, лишившись таких союзников, как мы, в будущем вспомните то, о чем я сейчас говорю".

Эврибиадес и раньше был почти убежден впечатляющими мольбами Фемистокла. Но эта последняя неприкрытая угроза придавала ему решимости и, вероятно, ошеломила даже коринфских и пелопоннесских противников: ведь было совершенно очевидно, что без афинян флот бессилен. Однако он не стал снова ставить вопрос на голосование, а взял на

себя смелость отменить прежнее решение и отдать приказ остаться в Саламине для сражения. С этим приказом все согласились, вольно или невольно;[246] на рассвете они стали готовиться к бою, а не к отступлению, и взывать к защите и дружбе саламинских героев Эакидов - Теламона и Аякса; они даже послали трирему в Эгину, чтобы умолять самого Эакида и остальных Эакидов. Похоже, что именно в этот день Ксеркс принял решение сражаться у Саламины, и его флот был замечен в движении ближе к концу дня, готовясь к атаке на следующее утро.

Но пелопоннесцы, хотя и не решились послушаться приказа спартанского адмирала, все же сохранили прежние страхи и нежелание, которые через некоторое время вновь стали преобладать над грозной опасностью Фемистокла, и еще более усилились благодаря советам с перешейка. Посланцы оттуда рассказывали о том, как трепетали и боялись их отсутствующие собратья, возводя в этом месте крепостную стену, чтобы противостоять надвигающемуся сухопутному вторжению. Почему *они* не были там, чтобы объединить усилия и помочь в обороне, - пусть даже на море, - по крайней мере, на суше, вместо того чтобы тратить силы на защиту Аттики, уже находящейся в руках врага? Таковы были жалобы, передававшиеся от человека к человеку, с многочисленными горькими восклицаниями против безумия Эврибиадеса: в конце концов общее чувство вырвалось наружу в публичном и мятежном проявлении, и был потребован и созван новый синод вождей.[247] Здесь возобновились те же гневные споры и те же непримиримые разногласия; пелопоннесские вожди требовали немедленного ухода, а афиняне, эгинетяне[248] и мегаряне одинаково настойчиво выступали за то, чтобы остаться и сражаться. Фемистоклу было очевидно, что большинство голосов вождей будет против него, несмотря на приказ Эврибиадеса; катастрофический кризис, суливший лишить Грецию всякой объединенной морской обороны, казался неминуемым, и тогда он прибег к последней хитрости, чтобы справиться с отчаянной ситуацией, сделав бегство невозможным. Придумав предлог, чтобы скрыться от синода, он отправил через пролив надежного гонца с тайным посланием к персидским генералам. Сикиннису, его рабу, - похоже, азиатскому греку,[249] который понимал персидский язык и, возможно, был продан во время позднего ионийского восстания, но о превосходных качествах которого говорит тот факт, что он заботился о детях своего хозяина и учил их, - было поручено сообщить им об этом частным образом, от имени Фемистокла, который был представлен как желающий персам успеха, что греческий флот не только находится в крайней тревоге, помышляя о немедленном бегстве, но что различные его части находятся в таком жестоком разладе, что скорее будут сражаться друг против друга, чем против какого-либо общего врага. Персам, добавлялось, открывалась великолепная возможность, если они решат воспользоваться ею без промедления, - сначала охватить и предотвратить их бегство, а затем напасть на разобщенное тело, многие из которых, когда начнется бой, открыто выступят на стороне персов[250].

Таково было важное сообщение, отправленное Фемистоклесом через узкий пролив, всего четверть мили в ширину в самой узкой части, который отделяет Саламин от соседнего континента, на котором расположились враги. Эта речь была произнесена с таким чувством, что произвела именно то впечатление, которое он хотел произвести, а последовавший за ней славный успех заставил считать ее великолепной стратагемой: если бы последовало поражение, его имя было бы покрыто позором. Больше всего нас удивляет то, что после того, как в глазах греков он получил огромную честь от этой стратагемы, он дожил до того, что во время своего последнего изгнания приписывал ее себе как большую услугу, оказанную персидскому монарху: не исключено, если вспомнить отчаянное положение греческих дел в тот момент, что такая возможность двойного толкования отчасти побудила его отправить это послание.

Судя по всему, оно было доставлено Ксерксу вскоре после того, как он отдал приказ о боевых действиях на следующее утро, и он с такой жадностью вник в этот план, что приказал своим генералам ночью перекрыть Саламинский пролив с обеих сторон,^[252] северу и к югу от города Саламины, рискуя своими головами, если у греков останется хоть одно отверстие для бегства. Многочисленный персидский флот расположился вдоль побережья Аттики - его штаб-квартира находилась в бухте Фалерум, но, несомненно, часть его занимала те три естественные гавани, еще не улучшенные искусством, которые принадлежали дему Пейреус, - и, возможно, распространялась и на другие части западного побережья к югу от Фалерума; греческий же флот находился в гавани города Саламис, в той части острова, которая обращена к горе Эгалеос, в Аттике. В течение ночи^[253] часть персидского флота, плывя от Пирея на север вдоль западного побережья Аттики, обогнула к северу город и гавань Саламиса, чтобы закрыть северный выход из пролива со стороны Элевсиса, а другая часть заблокировала другой выход между Пиреем и юго-восточным углом острова, высадив отряд войск на пустынном острове Пситалея, недалеко от этого угла.^[254] Все эти меры были предприняты ночью, чтобы предотвратить ожидаемое бегство греков, а на следующее утро напасть на них в узком проливе вблизи их собственной гавани.

Между тем яростный спор между греческими вождями, в разгар которого Фемистокл прислал своего тайного посланника, продолжался, не ослабевая и не находя решения. Афинский полководец был заинтересован в том, чтобы затянуть прения и не допустить никакого заключительного голосования до тех пор, пока эффект его стратагемы не сделает отступление невозможным; а затягивание было нелегким делом в таком критическом случае, когда большинство вождей было на одной стороне, а морские силы - на другой, - тем более что сам Эврибиадес был благосклонен к мнению Фемистокла. Таким образом, с наступлением сумерек дебаты так и не были закончены, и либо продолжались всю ночь, либо были отложены до рассвета следующего утра, когда интересный и важный инцидент придал им новый оборот. Изгнанный Аристеидес прибыл в Саламин из Эгины. После отмены приговора, предложенной самим Фемистоклесом, у него не было возможности вернуться в Афины, и теперь он впервые присоединился к своим соотечественникам в изгнании в Саламине, не зная о раздорах и нетерпении пелопоннесцев уйти на перешеек. Он первым принес весть о том, что такой отход стал невозможен из-за расположения персидского флота, которого его собственное судно, пришедшее из Эгины, избежало только под покровом ночи. Он пригласил Фемистокла из собравшегося синода вождей и после великодушного предисловия, в котором выразил надежду, что их соперничество в будущем будет лишь соревнованием в благотворении их общей стране, сообщил ему, что новое движение персов исключает всякую надежду на достижение перешейка и делает дальнейшие прения бесполезными. Фемистокл выразил свою радость по поводу этих сведений и сообщил о своем тайном послании, в котором он сам вызвал это движение, чтобы заставить пелопоннесских вождей сражаться при Саламине, даже против их собственного согласия. Кроме того, он просил Аристеидеса самому отправиться в синод и сообщить эту новость, так как если бы она исходила из уст Фемистокла, пелопоннесцы сочли бы ее выдумкой. Они так упорствовали в своем недоверии, что отказывались принять за истину даже утверждение Аристеидеса; и только после прибытия тенийского судна, дезертировавшего из персидского флота, они наконец заставили себя поверить в действительное положение дел и полную невозможность отступления. Убедившись в этом, они на рассвете приготовились к предстоящей битве^[255].

Выдвинув свои сухопутные войска вдоль берега напротив Саламины, Ксеркс воздвиг для себя возвышенное место, или трон, на одном из выступающих склонов горы Игалеос, недалеко от Ираклиона и прямо над морем,^[256] откуда он мог хорошо наблюдать за всеми

фазами боя и поведением своих подчиненных войск. Он был убежден, что в Артемизиуме из-за его отсутствия они не проявили себя наилучшим образом и что его присутствие вдохновит их на новую доблесть: кроме того, его царские писцы стояли наготове рядом с ним, чтобы записать имена как храбрых, так и отстающих бойцов. На правом крыле его флота, который подходил к Саламину со стороны Элевсиса и противостоял афинянам слева от греков, находились финикийцы и египтяне; на левом - ионийцы[257], подходившие со стороны Пейреса и противостоявшие лакедемонянам, эгинетянам и мегарянам. Моряки персидского флота, однако, всю ночь провели на корабле, совершая то движение, которое привело их в настоящее положение; греческие же моряки приступили к делу без прежней усталости, свежие от оживленных речей Фемистокла и других вождей; более того, как только они поднялись на борт, к ним присоединились триремы, посланные в Эгину, чтобы привести на помощь Эака с другими эакидскими героями. Удостоенная этой драгоценной героической помощи, которая так подняла дух греков, эгинетская трирема прибыла как раз вовремя, чтобы занять свой пост в строю, ускользнув от преследования наступающего врага[258].

Греки гребли от берега, чтобы атаковать с обычным рæап, или военным криком, на который персы уверенно отвечали; и последние были самыми смелыми из двух, чтобы начать бой: греческие моряки, постепенно приближаясь к врагу, сначала колебались, и даже отступили на некоторое расстояние, так что некоторые из них коснулись земли на своем собственном берегу: Пока это движение назад не было остановлено сверхъестественной женской фигурой, парящей над ними, которая воскликнула голосом, прозвучавшим на весь флот: "Вы, достойные, сколько еще вы собираетесь отступать от воды?" Само распространение этой басни свидетельствует о сомнительном мужестве греков в начале битвы.[259] Храбрые афинские капитаны Амейниас и Ликомедес (первый - брат поэта Эсхила) первыми послушались женского голоса или побуждений собственного пыла: хотя согласно версии, бытовавшей в Эгине, именно эгинетский корабль, перевозчик эакидских героев, первым подал этот почетный пример.[260] Наксийский "Демокрит" был отмечен Симонидом как третий корабль в бою. Амейниас, вынырнув из строя, налетел клювом своего корабля на финикийца, и они сцепились так, что он уже не мог освободиться: на помощь с обеих сторон подоспели другие корабли, и действие стало общим. Геродот, со свойственной ему откровенностью, говорит нам, что он смог получить мало подробностей об этом событии, за исключением того, что касалось Артемисии, царицы его собственного города: так что мы почти ничего не знаем, кроме общих фактов. Но, судя по всему, за исключением ионийских греков, многие из которых - очевидно, большее число, чем любит признавать Геродот, - были настроены вяло, а некоторые даже против;[261] подданные Ксеркса в целом вели себя очень храбро: Феники, киприоты, киликийцы, египтяне наравне с персами и медяками, служившими солдатами на корабле, старались удовлетворить требовательного монарха, который сидел на берегу и наблюдал за их поведением. Их поражение было вызвано не недостатком храбрости, а, во-первых, узким пространством, из-за которого их превосходство в численности скорее мешало, чем помогало: во-вторых, отсутствием стройности и дисциплины по сравнению с греками: в-третьих, тем, что, когда казалось, что удача повернулась против них, у них не было ни верности, ни взаимной привязанности, и каждый союзник был готов пожертвовать или даже задавить других, лишь бы спастись самому. Их численность и отсутствие согласованности приводили их в замешательство и заставляли сталкиваться друг с другом: те, кто был впереди, не могли отступить, а те, кто был сзади, - наступать:[262] лопасти весел ломались от столкновения, рулевые теряли контроль над своими кораблями и уже не могли регулировать курс судна, чтобы нанести прямой удар клювом, который был необходим в древней войне. После некоторого времени боя весь персидский флот был отброшен назад и стал совершенно неуправляемым, так что вопрос уже не вызывал сомнений, и ничего не оставалось, кроме усилий отдельных храбрецов,

чтобы затянуть борьбу. В то время как афинская эскадра слева, которой предстояло преодолеть наибольшее сопротивление, разбила и погнала перед собой персидскую правую часть, эгинетяне справа перехватили беглецов в Фалекрум:[263] Демокрит, наксийский капитан, как говорят, захватил пять кораблей персов со своей единственной триремой. Главный адмирал Ариабигнес, брат Ксеркса, атакованный сразу двумя афинскими триремами, пал, галантно пытаясь взойти на борт одной из них, и число знатных персов и медяков, разделивших его участь, было велико:[264] тем более что немногие из них умели плавать, тогда как среди греческих моряков, брошенных в море, больше было пловцов, и дружественный берег Саламина находился недалеко. Похоже, что феникийские моряки флота свалили вину за поражение на ионийских греков, а некоторые из них, вытасценные на берег в разгар битвы под непосредственным престолом Ксеркса, оправдывали себя, объявляя остальных предателями. Головы ионийских вождей могли бы оказаться под угрозой, если бы монарх не увидел собственными глазами удивительный акт галантности одного из них. Ионическая триера из Самофракии напала на аттическую триеру и вывела ее из строя, но почти сразу же была сбита эгинетской. Самофракийцы, когда их судно лежало на воде в беспорядке, так прекрасно использовали свое ракетное оружие, что очистили палубу эгинетянина, вскочили на борт и стали хозяевами. Этот подвиг, совершенный на глазах самого Ксеркса, побудил его отнестись к финикийцам как к подлым клеветникам и велеть отрубить им головы: его гнев и досада, рассказывает Геродот, были безграничны, и он едва ли знал, на кого их выместить[265].

Поведение Артемисии Галикарнасской в этой катастрофической битве, как и в предшествовавших ей дебатах, доставило ему полное удовлетворение. Судя по всему, эта царица принимала участие в битве до тех пор, пока беспорядок не стал необратимым; тогда она попыталась бежать, преследуемая афинским триерархом Амейниасом, но ее продвижение было затруднено множеством бежавших или смущенных товарищей, стоявших перед ней. В этой дилемме она спаслась от преследования, напав на одного из своих товарищей; она напала на триеру карийского князя Дамаситима из Калинда, сбита ее и потопила, так что князь со всей своей командой погиб. Если бы Амейниас знал, что судно, которое он преследовал, принадлежало Артемисии, ничто не заставило бы его ослабить преследование, - ведь все афинские капитаны были возмущены мыслью о женщине-захватчике, нападающей на их город:[266] но, зная ее корабль только как один из вражеских, и видя, как она нападает и уничтожает корабль другого врага, он решил, что она дезертир, повернул преследование в другое место и позволил ей скрыться. В то же время случилось так, что уничтожение корабля Дамаситима произошло на глазах у Ксеркса и окружавших его на берегу людей, которые узнали корабль Артемисии, но приняли уничтоженный корабль за греческий. Тогда они сказали ему: "Господин, разве ты не видишь, как хорошо сражается Артемисия и как она только что потопила вражеский корабль?". Уверенный, что это действительно ее поступок, Ксеркс, как говорят, ответил: "Мои мужчины стали женщинами, мои женщины - мужчинами". Таким образом, Артемисия не только сохранила, но и возвысилась в глазах Ксеркса благодаря уничтожению одного из его собственных кораблей, среди экипажа которого не осталось ни одного человека, чтобы рассказать правдивую историю[267].

Геродот не дает оценки общим потерям обоих флотов, но Диодор называет число кораблей, уничтоженных с греческой стороны, - сорок, с персидской - двести, не считая тех, что попали в плен со всеми экипажами. К потерям персов следует добавить гибель всех войск, которые они высадили перед битвой на острове Пситалея: как только персидский флот обратился в

бегство, Аристеидес переправил на этот остров несколько греческих гоплитов, одолел врага и предал его смерти до одного человека. Эта потеря вызвала большое сожаление, так как это были отборные войска; в значительной степени это были местные персидские гвардейцы[268].

Как ни велика и капитальна была победа, после нее все же осталась достаточная часть персидского флота, чтобы энергично вести даже морскую войну, не говоря уже о мощных сухопутных силах, пока еще непоколебимых. И сами греки, немедленно собрав на своем острове, насколько это было возможно, обломки кораблей и трупы, приготовились к повторному сражению[269]. Но от этой необходимости их избавила бесцеремонность[270] вторгшегося монарха, в котором поражение вызвало внезапное отвращение от презрительной уверенности, не только гнев и разочарование, но и крайнюю тревогу за свою личную безопасность. Он испытывал чувство смешанного гнева и недоверия к своему флоту, который состоял исключительно из подданных народов - фенийцев, египтян, киликийцев, киприотов, памфилийцев, ионийских греков и т. д., с несколькими персами и мидийцами, служившими на борту, в качестве, вероятно, не очень подходящем для них. Никто из этих подданных не был заинтересован в успехе вторжения и не имел никаких других мотивов для службы, кроме страха, а симпатии ионийских греков были даже решительно против него. Ксеркс стал подозревать в верности или недооценивать храбрость всех этих морских подданных;[271] он полагал, что они не смогут оказать сопротивления греческому флоту, и боялся, что тот немедленно отплывет к Геллеспонту, чтобы разрушить мост и помешать его личному отступлению; Ибо от поддержания этого моста зависела его собственная безопасность, не меньше, чем его отца Дария при отступлении из Скифии от сохранения моста через Дунай.[272] Против фенийцев, от которых он ожидал больше всего, его гнев вылился в такие яростные угрозы, что они ночью удрали от флота и ушли на родину.[273] Столь ужасное дезертирство сделало дальнейшую морскую борьбу еще более безнадежной, и Ксеркс, хотя поначалу и мстил, и говорил об огромном мле или мосте, который должен быть переброшен через пролив к Саламину, в конце концов отдал приказ всему флоту покинуть Фалекрум ночью, не высадив, однако, лучших солдат, служивших на борту.[274] Они должны были направиться прямо к Геллеспонту и там охранять мост до его прибытия.[275]

К такому решению Мардоний подтолкнул Мардония, который видел настоящий ужас, охвативший его повелителя, и прочел в нем достаточные доказательства опасности для себя. Когда Ксеркс отправил в Сузы известие о своем катастрофическом низвержении, в доме царило не только чувство глубокой скорби по поводу случившегося и страха за личную безопасность монарха, но и гнев против Мардония, как зачинщика этого губительного предприятия. Этот полководец прекрасно понимал, что возвращение в Персию с позором неудачи на голове не принесет ему никакой пользы: лучше было бы взять на себя возможность покорить Грецию, на что он очень надеялся, - и посоветовать Ксерксу вернуться в безопасное и спокойное место жительства в Азии. Такой совет был очень приятен для нынешнего встревоженного монарха, а для самого Мардония он открывал новые шансы не только на безопасность, но и на увеличение власти и славы. Поэтому он стал успокаивать своего повелителя, уверяя, что недавний удар был несерьезным, что он обрушился только на меньшую часть его войска и на бесполезных иностранных рабов, таких как финикийцы, египтяне и др, в то время как родные персидские войска оставались непобежденными и непобедимыми, вполне достаточными для того, чтобы осуществить месть монарха Элладе; Ксеркс может теперь, если ему будет угодно, уйти с основной частью своей армии, а он, Мардоний, обязуется завершить завоевание во главе трехсот тысяч отборных войск. Это предложение одновременно утешало уязвленное тщеславие монарха и

обеспечивало безопасность его персоны: его доверенные персы и сама Артемизия, посоветовавшись, одобрили этот шаг. Последняя завоевала его доверие благодаря советам, которые она давала перед недавней плачевной ангажементом, и теперь у нее были все основания поддержать предложение, свидетельствующее о заботе о его персоне, а также освобождающее от обязанности дальнейшей службы. "Если Мардоний желает остаться (презрительно заметила она[277]), то во что бы то ни стало позволь ему получить войска: если он добьется успеха, ты только выиграешь: если он даже погибнет, то потеря нескольких твоих рабов будет ничтожной, лишь бы ты остался в безопасности, а твой дом - в силе. Ты уже выполнил цель своей экспедиции, спалив Афины". Приняв этот совет и распорядившись о возвращении флота, Ксеркс продемонстрировал свое расположение к Галикарнасской царице, доверив ей некоторых своих детей и поручив перевезти их в Эфес.

Греки в Саламине с удивлением и радостью узнали о выходе вражеского флота из Фалерумской бухты и немедленно пустились в погоню, безуспешно следуя до острова Андрос. Говорят, что Фемистокл и афиняне даже хотели немедленно двинуться к Геллеспонту и там разрушить лодочный мост, чтобы помешать бегству Ксеркса, если бы их не удержала осторожность Эврибиады и пелопоннесцев, которые считали, что опасно задерживать персидского монарха в самом сердце Греции. Фемистокл с готовностью поддался на уговоры и немало способствовал тому, чтобы отвратить своих соотечественников от этой затеи; в то же время он во второй раз послал верного Сикинна к Ксерксу с уведомлением, что он, Фемистокл, сдержал нетерпение греков, чтобы они без промедления двинулись в путь и сожгли Геллеспонтский мост, - и что таким образом он, из личной дружбы к монарху, обеспечил ему безопасное отступление.[278] Хотя Геродот рассказывает именно эту историю, мы с трудом можем поверить, что, когда в сердце Аттики находились огромные сухопутные силы персов, у них могла возникнуть серьезная мысль о такой далекой операции, как атака на мост через Геллеспонт. Более вероятным кажется, что Фемистокл сфабриковал это намерение, чтобы отпугнуть Ксеркса, а также для того, чтобы лично предъявить ему претензии на благодарность в расчете на будущие случайности.

Такие хитрые маневры и дальновидные расчеты возможностей кажутся необычными: но факты достаточно подтверждены, поскольку Фемистокл дожил до того времени, когда он мог требовать и получать исполнение возложенных на него обязательств, и, хотя они необычны, они не покажутся необъяснимыми, если мы подумаем, во-первых, что игра персов даже сейчас, после поражения при Саламине, не только не была отчаянной, но вполне могла бы увенчаться успехом, если бы ее вели с разумным благоразумием: во-вторых, что в голове этого выдающегося человека существовало почти беспримерное сочетание великолепного патриотизма, дальновидной хитрости и корыстолюбия. Фемистоклес лучше, чем кто-либо другой, знал, что дело Греции казалось совершенно безнадежным всего за несколько часов до поздней битвы: к тому же умный человек, запятанный такой постоянной виной, естественно, мог рассчитывать на то, что однажды его обнаружат и накажут, даже если греки окажутся успешными.

Теперь он направил флот на Кикладские острова, чтобы взыскать с них штрафы в наказание за приверженность персам. Сначала он осадил Андрос, сказав жителям, что пришел потребовать у них деньги, приведя с собой двух великих богов - Убеждение и Необходимость. На это андрийцы ответили, что "Афины - великий город и одарены прекрасными богами, но что *они* ужасно бедны, и что есть два недобрых бога, которые всегда остаются с ними и никогда не покинут остров, - Бедность и Беспомощность.[279] На этих богов андрийцы возлагают свое упование, отказываясь доставить требуемые деньги, ибо сила Афин никогда не сможет преодолеть их неспособность". Пока флот был занят борьбой с андрийцами с их

печальными божествами-покровителями, Фемистокл отправился по другим городам, требуя от них частных денежных сумм в качестве гарантии защиты от нападения. Из Каристуса, Пароса и других мест он таким образом вымогал взятки для себя, отдельно от других генералов,[280] но, судя по всему, Андрос оказался непродуктивным, и после не очень долгого отсутствия флот был возвращен в Саламин[281].

Уведомление, посланное Фемистоклом, возможно, ускорило отъезд Ксеркса, который оставался в Аттике всего несколько дней после битвы при Саламине, а затем отвел свою армию через Беотию в Фессалию, где Мардоний выбирал войска для будущих операций. Он оставил всех персов, медян, саков, бактрийцев и индийцев, конных и пеших, а также отборные отряды из остальных контингентов: всего, по словам Геродота, триста тысяч человек. Но поскольку было уже начало сентября, а шестьдесят тысяч из его войска под командованием Артабаза должны были сопровождать самого Ксеркса в Геллеспонт, Мардоний предложил перезимовать в Фессалии и отложить дальнейшие военные действия до будущей весны[282].

Оставив большую часть этих войск под командованием Мардония в Фессалии, Ксеркс отправился с остальными к Геллеспонту той же дорогой, по которой он продвигался несколько месяцев назад. О его отступлении ходило множество историй,[283] не согласующихся друг с другом, причудливых и даже невероятных: Греческое воображение, как у современного поэта Эсхила, так и у латинских морализаторов Сенеки и Ювенала,[284] с восторгом описывало это вторжение с максимальным количеством света и тени, увеличивая разрушительные страдания и унижения отступления, чтобы создать впечатляющий контраст со сверхчеловеческой гордостью наступления, и иллюстрируя антитезу с беспредельной свободой в деталях. Страдания от недостатка провизии, несомненно, были тяжелыми и описаны как страшные и смертельные: запасы, накопленные для продвижения вперед, были исчерпаны, так что отступающая армия была вынуждена теперь питаться кукурузой той страны, через которую они проходили, - недостаточное пропитание, добываемое листьями, травой, корой деревьев и другими жалкими заменителями пищи. Чума и дизентерия усугубляли их страдания и заставляли многих оставаться в городах, через территорию которых проходил путь отступления; Ксеркс строго приказал этим городам содержать и ухаживать за ними. После сорока пяти дней марша из Аттики он наконец оказался у Геллеспонта, куда задолго до него прибыл его флот, отступавший из Саламины.[285] Но недолговечный мост уже был разрушен бурей, поэтому армию переправили на кораблях в Азию, где она впервые обрела комфорт и изобилие, а смена лишений на избыток породила новые недуги. Во времена Геродота жители Абдеры все еще показывали позолоченный циметр и диадему, которые Ксеркс преподнес им в знак гостеприимства и удовлетворения, когда остановился здесь во время своего отступления; они даже утверждали, что с момента своего отплытия из Аттики он ни разу не ослаблял пояс, пока не достиг их города. Так плодотворно греческая фантазия превозносила ужас отбитого захватчика, который вернулся в Сарды с разбитой армией и смиренным духом всего через восемь месяцев после того, как покинул их, как предполагаемый завоеватель западного мира[286].

Тем временем афиняне и пелопоннесцы, освободившись от непосредственного присутствия врага на суше или на море и перейдя от крайнего ужаса к внезапной легкости и безопасности, предались полному восторгу и самодовольству от неожиданной победы. Накануне битвы Греция казалась безвозвратно потерянной: теперь она была спасена даже вопреки всем разумным надеждам, и грозная туча, нависшая над ней, рассеялась.[287] При разделе добычи было решено, что эгинетяне наиболее отличились в бою и получили право на избранный жребий; кроме того, богам были выделены различные подношения в знак

благодарности. Среди них были три феникские триремы, которые были посвящены Аяксу в Саламине, Афине в Суниуме и Посейдону на Коринфском перешейке; еще подарки были отправлены Аполлону в Дельфы, который на вопрос, доволен ли он, ответил, что все выполнили свой долг перед ним, кроме эгинетян: От них он потребовал дополнительных средств в связи с присужденным им призом, и они были вынуждены посвятить в храме четыре золотые звезды на медном посохе, которые видел там сам Геродот. Второе почетное место после эгинетян было присуждено афинянам; эгинетянин Поликрит и афиняне Эвменес и Амейний заняли первые места среди отдельных бойцов.[Поведение Адейманта и коринфян в битве афиняне времен Геродота рисовали в самом неблагоприятном свете, представляя их бежавшими в самом начале и вернувшимися только после того, как стало известно, что греки одерживают победу. Учитывая характер предшествовавших дебатов и нетерпеливое желание коринфян сразиться на перешейке, а не в Саламине, подобный откат с их стороны, когда они были вынуждены вступить в бой в последнем месте, сам по себе был бы неправдоподобен: однако в данном случае не только сами коринфяне, но и общий голос Греции опроверг рассказ афинян и защитил их как проявивших храбрость и бесстрашие. Мы должны помнить, что в то время, когда Геродот, вероятно, собирал свои сведения, между Афинами и Коринфом царила лютая ненависть, а Аристей, сын Адейманта, был одним из самых эффективных врагов первого[289].

Помимо первого и второго призов за доблесть, вожди на перешейке пытались распределить между собой первый и второй призы за мастерство и мудрость. Каждый из них положил на алтарь Посейдона два имени, и когда эти голоса были рассмотрены, оказалось, что каждый проголосовал за себя как за достойного первого приза, но Фемистоклес получил значительное большинство голосов за второй.[290] В результате такого голосования никто не мог претендовать на первый приз, и вожди не могли дать второй приз без него; так что Фемистоклес был разочарован в своей награде, хотя и возвысился гораздо больше, возможно, благодаря этому разочарованию, в общей славе. Вскоре после этого он отправился в Спарту, где получил от лакедемонян такие почести, каких не оказывали ни до, ни после этого ни одному иностранцу. В качестве первого приза Эврибиадес получил оливковый венец, но такой же венец был вручен Фемистоклесу в качестве особой награды за беспримерную проницательность, а также колесницу, самую лучшую из тех, что мог предложить город. Более того, когда он уезжал, триста отборных юношей, называемых Гиппеями, которые составляли активную стражу и полицию страны, все вместе сопровождали его в качестве почетного эскорта до границ Тегеи.[291] Подобные демонстрации были настолько удивительны со стороны надменных и неподвижных спартанцев, что некоторые авторы приписывают их страху перед тем, что Фемистоклес будет оскорблен лишением генеральского приза - и даже говорят, что они настолько возбудили ревность афинян, что он был смещен со своего поста генерала и выдвинут Ксантиппом.[292] Ни одно из этих последних сообщений не соответствует действительности и не подтверждается Геродотом: тот факт, что Ксантипп стал генералом флота в течение следующего года, соответствует обычному ходу афинской смены офицеров и не предполагает особой ревности Фемистокла.

ГЛАВА XLII.

БИТВЫ ПРИ ПЛАТЕЕ И МИКАЛЕ. - ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТПОР ПЕРСАМ.

Хотя поражение при Саламине лишило персов всякой надежды на дальнейшее морское нападение на Грецию, они все же ожидали успеха на суше от последующей кампании Мардония. Их флот, переправив самого монарха с сопровождающими его сухопутными войсками через Геллеспонт, удалился на зимовку в Кимке и на Самосе: в последнем из этих мест были назначены крупные награды Феоместору и Филакусу, двум саамским капитанам, отличившимся в последней битве. Феоместор был даже назначен деспотом Самоса под персидским покровительством.^[293] Ранней весной они вновь собрались в количестве четырехсот кораблей, но без феникийцев, на военно-морской станции Самоса, намереваясь, однако, лишь бдительно охранять Ионию и едва ли предполагая, что греческий флот решится напасть на них.^[294]

В течение долгого времени поведение этого флота было таким, что оправдывало подобную веру в его врагов. Собравшись весной в Игине в количестве ста десяти кораблей под командованием спартанского царя Леотихидеса, он продвинулся до Делоса, но не дальше на восток: все уговоры Киана и других ионийских посланников, отправленных как к спартанским властям, так и к флоту, и обещавших восстать из Персии, как только появится греческий флот, не смогли убедить Леотихидеса решиться на агрессивное предприятие. Иония и западные воды Эгейского моря уже пятнадцать лет были полностью под властью персов и так мало посещались греками, что путешествие туда, особенно для морской неопытности спартанского царя, казалось похожим на поход к Геракловым столбам,^[295] - не менее рискованным, чем то же самое путешествие пятьдесят два года спустя показалось лакедемонскому адмиралу Алкидаю, когда он впервые рискнул направить свой флот в заповедные воды Афинской империи.

Тем временем поспешное и катастрофическое отступление Ксеркса вызвало меньше недовольства среди его подданных и союзников, чем можно было ожидать. Александр, царь Македонский, фессалийские алеуады^[296] и вожди беотийцев по-прежнему сердечно сотрудничали с Мардонием; среди всех греков к северо-западу от границ Аттики и Мегариса не было ни одного, кроме фокийцев, чья верность ему казалась сомнительной. Только на Халкидском полуострове произошло настоящее восстание. Потидея, расположенная на Палленском перешейке, вместе с другими городами на длинном языке Паллена, объявила себя независимой: соседний город Олинф, занятый полугреческим племенем боттиев, был готов последовать их примеру. Персидский полководец Артабаз, вернувшись после сопровождения Ксеркса в Геллеспонт, взялся за восстановление этих городов и прекрасно преуспел в Олинфе. Он взял город, перебил всех жителей и передал его новому населению, состоявшему из халкидских греков, под командованием Критобула из Торонки. Именно таким образом Олинф, ставший впоследствии столь значимым и интересным городом, впервые стал греческим и халкидским. Но Артабаз не был столь же успешен в осаде Потидеи, в обороне которой помогали граждане из других городов Палленка. Заговор, который он согласовал с Тимоксеном, командиром скионских вспомогательных войск в городе, случайно раскрылся: значительная часть его войска погибла при попытке пройти во время отлива под стенами города, которые были построены по всей ширине узкого перешейка, соединяющего Палленский полуостров с материком; после трех месяцев блокады он был вынужден отказаться от этого предприятия и вывел свои войска, чтобы присоединиться к Мардонию в Фессалии^[297].

Последний, прежде чем приступить к весенней кампании, счел целесообразным посоветоваться с греческими оракулами, особенно с теми, что находились в пределах Беотии и Фоки. Он послал карийца по имени Мис, знакомого как с греческим, так и с карийским языком, чтобы тот посоветовался с Трофонием в Лебадее, Амфиаром и исменским Аполлоном в Фивах, Аполлоном на горе Птон близ Акрæфии и Аполлоном в фокийских Абзах. Этот шаг, вероятно, был задуман как своего рода показное уважение к религиозным чувствам союзников, от которых он теперь очень сильно зависел: но ни заданные вопросы, ни ответы не были обнародованы, и единственным примечательным фактом, о котором слышал Геродот, было то, что жрец птонийского Аполлона произнес свой ответ на карийском языке или, по крайней мере, на языке, понятном никому из присутствующих, кроме самого карийца Миса.[298] Похоже, однако, что в этот период, когда Мардоний пытался укрепить себя с помощью оракулов и строил планы по заключению сепаратного мира и союза с Афинами против пелопоннесцев, некоторые лица в его интересах распространяли предсказания, что приближается день, когда персы и афиняне совместно изгонят дорийцев из Пелопоннеса.[299] Таким образом, был подготовлен путь для отправки посланника в Афины - Александра, царя Македонии; ему было поручено сделать самые соблазнительные предложения, пообещать возмещение всего ущерба, нанесенного Аттике, а также активную будущую дружбу Великого Царя, и предложить афинянам большое приобретение новой территории в качестве цены за их согласие заключить с ним равный и независимый союз.[Македонский принц добавил теплые слова о своей заинтересованности в благополучии афинян, рекомендуя им, как искренний друг, принять столь выгодные и почетные предложения, тем более что персидская держава в конце концов должна была оказаться слишком большой для них, а Аттика была открыта для Мардония и его греческих союзников, не будучи прикрыта никакой общей защитой, как Пелопоннес был защищен своим перешейком. 301

Это предложение, отправленное весной, застало афинян полностью или частично восстановленными в их полуразрушенном городе. Простое предложение о милосердии и терпимом обращении, отправленное Ксерксом из Фермопил за год до этого, возможно, было бы достаточным, чтобы отвратить их от дела Эллады: и даже в настоящий момент, хотя давление непреодолимого ужаса исчезло, у них было много причин присоединиться к предложению Мардония. Афинский союз обеспечил бы персидскому полководцу неоспоримое господство в Греции, а самим Афинам - защиту от дальнейшего разорения, а также преимущество выигрышной игры, в то время как его сила, его положение и его союзы, даже в том виде, в котором они существовали, грозили опустошительной и сомнительной войной, основную тяжесть которой должна была принять на себя Аттика. Кроме того, афиняне в это время терпели лишения самого тяжелого характера, ведь не только их разрушенные дома и храмы требовали восстановления, но они потеряли урожай прошедшего лета вместе с посевами прошедшей осени.[302] Так как благоразумный взгляд на дело был скорее благоприятен для Мардония, чем для других, и особенно усиливался бедственным положением, царившим в Афинах, лакедемоняне так боялись, чтобы Александр не довел дело до конца, что отправили посланников, чтобы отговорить афинян слушать его, а также оказать помощь при существующей бедности города. Выслушав обе стороны, афиняне дали свой ответ в торжественных и достойных выражениях, которые с удовольствием повторяли их потомки. Александру они сказали: "Не криви зубами, что сила персов во много раз превосходит нашу: мы тоже знаем *это*, как и ты; но, тем не менее, мы достаточно любим свободу, чтобы противостоять ему наилучшим образом, на какой мы способны. Не пытайся склонить нас к союзу с ним. Скажи Мардонию, что до тех пор, пока солнце будет идти своим путем, мы никогда не заключим союза с Ксерксом: мы будем защищать его своими силами, уповая на помощь тех богов и героев, к которым он не проявил

почтения, чьи дома и статуи он сжег. Не приходи к нам больше с подобными предложениями и не убеждай нас, даже в духе доброй воли, в нечестивых действиях: ты гость и друг Афин, и мы не хотим, чтобы ты пострадал от наших рук"[303].

Ответ афинян спартанцам был столь же решительным: они заявили о своей непоколебимой преданности общему делу и свободе Эллады и пообещали, что никакие мыслимые соблазны, будь то деньги или территория, не заставят их отказаться от братских уз, общего языка и религии. Пока в живых остается хоть один афинянин, ни один союз с Ксерксом не должен быть заключен. Затем они поблагодарили спартанцев за то, что те предложили им помощь во время нынешних лишений, но, отказываясь от таких предложений, напомнили, что Мардоний, узнав, что его предложения отвергнуты, вероятно, немедленно выступит, и поэтому они убедительно просили о присутствии пелопоннесской армии в Беотии для помощи в защите Аттики. [304] Спартанские посланники, пообещав выполнить эту просьбу[305] и удовлетворившись тем, что выяснили настроения Афин, удалились.

Такая непоколебимая верность афинян общему делу Греции, несмотря на настоящие страдания, в сочетании с соблазнительными предложениями на будущее, вызвала справедливое восхищение их потомков и была частой темой аплодисментов их ораторов.[306] Но среди современных греков она приветствовалась только как избавление от опасности, и была отплачена эгоистичным и неблагородным пренебрежением. То же чувство безразличия ко всем грекам за пределами собственного перешейка, которое так сильно подпортило ход дел перед битвой при Саламине, теперь во второй раз проявилось среди спартанцев и пелопоннесцев. Стена через перешеек, которую они так усердно строили и на которую рассчитывали как на защиту от сухопутных войск Ксеркса, была прервана и оставлена незаконченной, когда он отступил; но она была возобновлена, как только ожидался поход Мардония вперед. Однако к моменту посольства македонского принца в Афины она все еще оставалась незавершенной, и это незавершенное состояние их специальной защиты было одной из причин их тревоги, чтобы афиняне не приняли предложенные условия. На время эта опасность была предотвращена, и они удвоили свои усилия на перешейке, так что стена была быстро приведена в надлежащее состояние, а на вершине уже возводились крепостные стены. Находясь в безопасности за своим собственным оплотом, они больше не думали о своем обещании присоединиться к афинянам в Беотии и помочь защитить Аттику от Мардония: их царь Клеомброт, командовавший войсками на перешейке, был так напуган затмением солнца в тот момент, когда он приносил жертву, чтобы выяснить склонность богов к предстоящей войне, что даже счел необходимым отступить с основными силами в Спарту, где вскоре умер.[Помимо этих двух причин - равнодушия и неблагоприятных предзнаменований, - которые удерживали спартанцев от помощи Аттике, была и третья: они были заняты празднованием праздника Гиакинфа, и их первостепенной задачей, говорит историк, было[308] исполнить "предписания бога". Как Олимпии и Карнеи в предыдущем году, так и теперь Гиакинфия взяла верх над необходимостью обороны, отбросив как обязанности верности по отношению к незащищенному союзнику, так и узы прямого обещания.

Тем временем Мардоний, узнав о неблагоприятном приеме, который его предложения встретили в Афинах, немедленно двинул свою армию из Фессалии, к которой присоединились все его греческие помощники, а также свежие войска из Фракии и Македонии. Пока он шел по Беотии, фиванцы, горячо поддерживавшие его дело, пытались отговорить его от дальнейших военных действий против объединенных сил его врагов, уговаривая его испытать эффективность взяток, врученных ведущим людям в разных городах, чтобы разъединить их. Но Мардоний, стремясь вернуть себе Аттику, не прислушался к их

советам: примерно через десять месяцев после отступления Ксеркса он без сопротивления вошел в страну и снова основал персидскую штаб-квартиру в Афинах, в мае или июне 479 года до н. э.^[309].

Перед его прибытием афиняне вновь удалились в Саламин, испытывая чувство горького разочарования и негодования. Они тщетно ожидали выполнения спартанского обещания, что пелопоннесская армия присоединится к ним в Беотии для защиты их границ; наконец, будучи не в состоянии в одиночку противостоять врагу, они оказались вынуждены перевезти свои семьи в Саламин.^[310] Это переселение было гораздо менее ужасным, чем в предыдущее лето, так как у Мардония не было флота, чтобы преследовать их; но оно было более беспричинным и могло бы быть предотвращено, если бы спартанцы выполнили свой договор, что привело бы к битве при Платее на два месяца раньше, чем она произошла на самом деле.

Мардоний, хотя и был хозяином Афин, так хотел примирить афинян, что сначала воздержался от нанесения ущерба городу или стране и отправил второго посланника в Саламин, чтобы повторить предложения, сделанные через Александра Македонского: он думал, что теперь к ним прислушаются, поскольку он мог предложить освобождение Аттики от опустошения в качестве дополнительного соблазна. Мурихидес, эллиспонтский грек, был послан повторить эти предложения афинскому сенату в Саламине; но он получил отказ не менее решительный, чем Александр Македонский, когда был послан в Афины, и практически единодушный. Один несчастный сенатор, Ликид, сделал исключение из этого единодушия и осмелился рекомендовать принять предложения Мурихидеса. Гнев или подозрения в коррупции, которые вызвал его односторонний отрицательный ответ, были столь яростны, что сенаторы и народ объединились, чтобы забить его камнями до смерти: а афинские женщины в Саламине, узнав о случившемся, по собственной воле отправились дом Ликида и забили камнями до смерти его жену и детей. В том отчаянном порыве, до которого дошли афиняне, противник выдавался за предателя: единодушие, пусть даже вырванное террором, было необходимо для их чувств. ³¹¹ Мурихидес, хотя его предложения и были отвергнуты, был уволен без ущерба.

В то время как афиняне вновь доказывали свою верность делу Эллады, они в то же время отправили посланцев вместе с Мегарой и Платеей, чтобы убедить спартанцев в их отсталости и нарушении веры и призвать их даже в столь позднее время немедленно выступить и встретиться с Мардонием в Аттике, не забыв при этом предупредить, что если они будут покинуты, то им придется против своей воли заключить соглашение с врагом. Однако спартанские эфоры были настолько беспечны в отношении Аттики и Мегарид, что откладывали ответ посланникам десять дней подряд, а тем временем всеми силами добивались завершения строительства укреплений на перешейке. И после того, как посланцы развлекались, сколько могли, они, наконец, оставили бы их с отрицательным ответом, - так они боялись заходить за перешеек, - если бы один из тегейцев, по имени Хилеос, которого они очень уважали и которому они передали прошение, не напомнил им, что никакие укрепления на перешейке не помогут защитить Пелопоннес, если афиняне вступят в союз с Мардонием и таким образом откроют полуостров с моря. Сильное мнение этого уважаемого тегейца доказало эфорам, что их эгоистичная политика не будет поддержана их главными пелопоннесскими союзниками, и обратило их внимание, возможно, впервые, на то, что опасность на море может возобновиться, хотя персидский флот был разбит в предыдущем году и теперь находился на расстоянии от Греции. Это изменило их решение не менее полно, чем внезапно; и они немедленно ночью отправили пять тысяч спартанских граждан на перешеек - каждый человек с семьей гелотами,

приставленными к нему. И когда на следующий день афинские посланники, не зная об этой внезапной перемене политики, явились с настоятельным уведомлением, что Афины больше не потерпят такого вероломного предательства, а немедленно примут меры для своей безопасности и отдельного умиротворения, - эфоры под присягой подтвердили, что войска уже на марше и, вероятно, к этому времени находятся за пределами спартанской территории.[Учитывая, что этот шаг был несовершенным, запоздалым и неохотным искуплением за предыдущее дезертирство и нарушение обещания, эфоры, вероятно, решили, что тайна ночного марша и внезапное сообщение о нем посланникам в качестве факта в ответ произведут более сильное впечатление на умы последних, которые вернулись с радостной вестью в Саламис и подготовили своих соотечественников к скорым действиям. Таким образом, пять тысяч спартанских граждан, каждый с семьей легковооруженными гелотами в качестве сопровождающих, отправились к театру военных действий. На протяжении всей греческой истории мы ни разу не слышали, чтобы спартанские граждане хоть сколько-нибудь приближались к пяти тысячам, одновременно отправляясь на внешнюю службу. Но это было еще не все: пять тысяч лакедемонских периеков, каждый с одним легковооруженным гелотом в придачу, также были отправлены на перешеек для участия в той же борьбе. Такие беспрецедентные усилия в достаточной мере отражают тревогу, которая, хотя и с опозданием, но уже царила в Спарте. Другие пелопоннесские города последовали этому примеру, и теперь под командованием спартанца Павсания была собрана большая армия.

Похоже, что в этот момент Мардоний вел тайную переписку с аргейцами, которые, хотя и исповедовали нейтралитет, как говорят, обещали ему, что задержат поход спартанцев за пределы своих владений.[313] Мы можем обоснованно сомневаться, что они вообще давали такое обещание: во всяком случае, внезапность похода и численность войск не позволили им выполнить его; и они были вынуждены довольствоваться тем, что мгновенно уведомили Мардония об этом через своего самого быстрого курьера. Это побудило генерала эвакуировать Аттику и продолжить войну в Беотии - стране, во всех отношениях более благоприятной для него. Некоторое время он воздерживался от опустошений в Афинах и их окрестностях, надеясь, что афиняне прислушаются к его предложениям; но последние дни его пребывания здесь были потрачены на сожжение и разрушение всего, что пощадили войска Ксеркса в течение предыдущего лета. После бесплодной попытки застать врасплох тысячу лакедемонян, отряженных для защиты Мегары,[314] он отозвал всю свою армию в Беотию, не выбрав ни прямой дороги в Платею через Элевтер, ни в Фивы через Филы, обе эти дороги были гористыми и неудобными для конницы, а двинулся в северо-восточном направлении к Декелею, где его встретили проводники из прилегающих областей у реки Асоп и провели через демию Сфендалейс в Танагру. Таким образом, более длинным, но более легким путем он оказался в Беотии, на равнине Асопа; вдоль этой реки он на следующий день отправился на запад в Сколус, город на территории Фив, по-видимому, близкий к Платее.[Затем он занял позицию неподалеку, на равнине на левом берегу Асопа: левое крыло - против Эритреи, центр - против Гисии, а правое - на территории Платеи; и он использовал свою армию для строительства укрепленного лагеря[316] площадью в десять вёрст, защищённого деревянными стенами и башнями, вырубленными из деревьев на территории Фив.

Так Мардоний оказался со своей многочисленной армией на равнине, удобной для конницы, с лагерем, более или менее защищенным, - укрепленным городом Фивы[317] в тылу, - и значительным запасом провизии, а также дружественным регионом за спиной, откуда можно было черпать больше. Однако лишь немногие в его армии поддерживали идею и были уверены в успехе:[318] даже коренные персы были удручены бегством монарха за год

до этого и были полны меланхолических предчувствий. Великолепный пир, на который фиванский вождь Аттагин пригласил Мардония вместе с пятьюдесятью персами и пятьюдесятью фиванскими или беотийскими гостями, явил доказательства этих подавленных чувств, о которых впоследствии рассказал Геродоту один из присутствовавших гостей - знатный орхоменский гражданин по имени Терсандр. Пир был устроен так, что на каждой кушетке сидели один перс и один фиванец, и к этому человеку обратился по-гречески его персидский сосед, который спросил, к какому городу он принадлежит, и, узнав, что он орхоменец,^[319] продолжил так: "Так как ты теперь причастился со мной за одним столом и чашей, я хочу оставить тебе некоторые сведения о моих убеждениях: скорее для того, чтобы ты был предупрежден, дабы принять наилучший совет для твоей собственной безопасности. Видишь ли ты этих персов здесь, пирующих, и войско, которое мы оставили вон там, расположившееся у реки? Пройдет немного времени, и из всего этого ты увидишь лишь немногих оставшихся в живых". Терсандр с изумлением выслушал эти слова, произнесенные с сильным волнением и потоком слез, и ответил: "Конечно, ты обязан рассказать об этом Мардонию и его тайным советникам", но перс ответил: "Друг мой, человек не может отвратить того, что предначертано Богом: никто не поверит откровению, пусть оно и достоверно. Многие из нас, персов, хорошо это знают и служат здесь только по долгу службы. И поистине это самое ненавистное из всех человеческих страданий - быть полным знаний и в то же время не иметь никакой власти над их результатом"^[320] "Это (замечает Геродот) я сам слышал от орхоменца Терсандра, который сказал мне далее, что он упоминал об этом факте нескольким лицам из его окружения, еще до битвы при Платее". Это, безусловно, одно из самых любопытных откровений во всей истории; не только потому, что оно выводит историка на его собственную личность, общающегося с личным другом фиванских вождей и таким образом получающего хорошую информацию об общих событиях кампании, - но и потому, что оно раскрывает нам, на основании свидетельств, не вызывающих подозрений, реальные нравы местных персов и даже главных людей среди них. Если многие из этих вождей были не просто апатичны, а унылы в своем деле, то гораздо более решительным было бы такое же отсутствие воли и надежды у их последователей и подданных союзников. Следовать за монархом в его ошеломляющем походе предыдущего года было во многих отношениях приятно для местных персов: но каждому человеку надоело это предприятие, как теперь, под Мардонием, оно было урезано, а Артабаз, второй командир, не только бездействовал, но и завидовал своему начальнику. ^{321]} При таких обстоятельствах мы, вероятно, не удивимся, если увидим, что вся армия исчезнет сразу же, как только Мардоний будет убит.

Среди греческих союзников Мардония активными и ревностными были фиванцы и беотийцы, большинство остальных проявили вялость, а фокийцы и вовсе отличались сомнительной верностью. Их отряд из тысячи гоплитов под командованием Гармокидеса запоздал присоединиться к нему, появившись только после того, как он отступил из Аттики в Беотию, а некоторые фокийцы даже остались в окрестностях Парнаса, продолжая явные военные действия против персов. Зная о настроениях среди этого контингента, который фессалийцы постарались представить перед ним в неблагоприятном свете, Мардоний решил преподать им урок устрашения. Выставив их отдельным корпусом на равнине, он затем собрал вокруг них свою многочисленную кавалерию; при этом *phêmetê*, или внезапное одновременное впечатление, пронеслось как по греческим союзникам, так и по самим фокийцам, что он собирается их перестрелять. [Генерал Гармокидес, приказав своим людям выстроиться в квадрат и сомкнуть ряды, обратился к ним с короткими увещеваниями дорого продать свою жизнь и вести себя как храбрые греки против варварских убийц, - когда кавалерия выскочила, очевидно, на зарядку, и приблизилась к площади, с поднятыми копьями и стрелами на тетиве, некоторые из которых были даже выпущены. Фокийцы, как и

предписывалось, держали ровные ряды с твердым лицом, и конница пронеслась колесом без какой-либо реальной атаки или ущерба. После этой загадочной демонстрации Мардоний соблаговолил похвалить фокийцев за храбрость и заверить их с помощью глашатая, что он был сильно дезинформирован относительно них: в то же время он увещевал их быть верными и стойкими на службе в будущем и обещал, что все хорошее поведение будет вознаграждено сполна. Геродот, похоже, не уверен, что Мардоний действительно не собирался сначала истребить фокийцев в поле, а отказался от этого намерения, только увидев, сколько крови это будет стоить. Как бы то ни было, сама сцена была поразительной реальностью и представляла собой одно из многих других доказательств вялости и подозрительной верности армии[323].

В соответствии с предложением фиванцев, свободы Греции теперь должны были оспариваться в Беотии, и не только позиция Мардония уже была занята, но и его лагерь укреплен, прежде чем объединенная греческая армия подошла к Китерону, двигаясь вперед от перешейка. После того как все силы лакедемонян достигли перешейка, им пришлось ожидать прибытия своих пелопоннесских и других союзников. Присоединившиеся к ним гоплиты были следующими: из Тегеи - пятнадцать сотен; из Коринфа - пять тысяч, кроме трехсот человек из коринфской колонии Потидеи; из аркадского Орхомена - шестьсот; из Сикиона - три тысячи; из Эпидавра - восемьсот; из Трезена - тысяча; из Лепреона - двести; из Микена и Тирина - четыреста; из Флиуса - тысяча; из Гермियोны - триста; из Эретрии и Стиры - шестьсот; из Халкиса - четыреста; из Амбракии - пятьсот; из Леукаса и Анакториума - восемьсот; из Пака в Кефаллении - двести; из Эгины - пятьсот. На марше от перешейка к Мегаре они взяли три тысячи мегарских гоплитов; и как только они достигли Элевсиса, войско было дополнено соединением восьми тысяч афинских гоплитов и шестисот платейских под командованием Аристеидеса, который перешел из Саламины.[Таким образом, общая численность гоплитов, или тяжеловооруженных войск, составляла тридцать восемь тысяч семьсот человек: конницы не было, а лучников было очень мало; если же добавить тех, кого называют легковооруженными или вообще безоружными, - некоторые, возможно, с копьями или мечами, но ни у кого не было защитных доспехов, - то общая численность составляла не менее ста десяти тысяч человек. Из этих легковооруженных или безоружных, по подсчетам Геродота, было тридцать пять тысяч человек, обслуживавших пять тысяч спартанских граждан, и тридцать четыре тысячи пятьсот человек, обслуживавших других гоплитов, - вместе с восемнадцатью сотнями феспийцев, которые были, собственно, гоплитами, но были так плохо вооружены, что не могли считаться в строю[325].

Именно столько греков присутствовало или находилось под рукой во время сражения с персами при Платее, которое произошло через некоторое время после этого: но, похоже, контингенты сначала не были полностью заполнены, и новые пополнения[326] продолжали прибывать до нескольких дней до битвы, вместе с караванами скота и провизии, которые шли для пропитания армии. Павсаний отправился сначала с перешейка в Элевсис, где к нему присоединились афиняне из Саламиса: в Элевсисе, как и на перешейке, жертвоприношения были признаны удовлетворительными, и объединенная армия перешла через хребет Китхерон, чтобы оказаться в пределах видимости персов. Когда Павсаний увидел, что они заняли линию Асопа на равнине, он держал свою армию на склоне горы возле Эритреи, не решаясь вступать в бой на ровной местности. Мардоний, обнаружив, что они не настроены искать сражения на равнине, послал свою многочисленную и превосходную конницу под командованием Масистия, самого выдающегося офицера в его армии, чтобы атаковать их. По большей части земля была настолько неровной, что сдерживала их наступление, но мегарский контингент, который оказался более уязвимым, чем остальные, был так сильно потеснен, что был вынужден обратиться за помощью к

Павсанию. Похоже, что у них не было не только конницы, но и луков или легковооруженных солдат с ракетным оружием; в то время как персы, отличные лучники и стрелки, использующие очень большие луки и обученные таким навыкам с самого раннего детства, нападали целыми эскадронами и осыпали греков дротиками и стрелами, не упуская презрительных насмешек над их трусостью за то, что они отступали с равнины.[327] Так велик был страх перед персидской конницей, что Павсаний не нашел ни одного грека, кроме афинян, готового добровольно отправиться на помощь мегарцам. Однако афиняне, особенно триста отборных воинов под командованием Олимпиодора, усиленные несколькими лучниками, немедленно отправились на место и вступили в бой с персидской конницей. Некоторое время борьба была острой и сомнительной: в конце концов полководец Масистий - человек, известный своей храбростью, высокого роста, облаченный в великолепные доспехи и сидящий на нисейском коне с золотыми атрибутами, - выехал во главе своего войска, и его конь был поражен стрелой в бок. Животное тут же взревело и повалило своего хозяина на землю, вплотную к рядам афинян, которые, бросившись вперед, схватили коня и одолели Масистия, прежде чем он успел подняться. Однако защита его шлема и нагрудника была настолько непробиваемой, что им с большим трудом удалось убить его, хотя он был в их власти: в конце концов один из копьеносцев пронзил его в глаз. Смерть полководца прошла незамеченной для персидской конницы, но как только они пропустили его и осознали потерю, яростно и единой массой бросились на поиски мертвого тела. Сначала афиняне, слишком малочисленные, чтобы противостоять натиску, были вынуждены на время отступить, бросив тело; но вскоре по их призыву прибыло подкрепление, персы были отброшены назад с потерями, и оно в конце концов осталось в их владении[329].

Смерть Масистия в сочетании с окончательным поражением конницы, оставившей его тело во владении греков, произвела сильное впечатление на обе армии, воодушевив одну из них в той же мере, в какой обескуражила другую. Во всем лагере Мардония горе было бурным и беспредельным, оно выражалось в стенаниях, столь громких, что эхо разносилось по всей Беотии; волосы людей, лошадей и скота были обильно острижены в знак траура. Греки же, обрадованные своим успехом, положили мертвое тело в повозку и объехали с ним всю армию: даже гоплиты выбежали из своих рядов, чтобы посмотреть на него; они не только приветствовали его как ценный трофей, но и восхищались его ростом и пропорциями.[330] И так возросла их уверенность, что Павсаний решился покинуть защиту горной местности, неудобной из-за скудного запаса воды, и занять позицию на равнине под ней, перемежающейся лишь невысокими холмами. Выйдя из Эритреи в западном направлении по склонам Китерона и пройдя мимо Гисиэ, греки расположились лагерем на платейской территории вдоль Асопа и на его правом берегу, правым крылом у фонтана под названием Гаргафия,[331] а левым - у часовни платейского героя Андрократеса, окруженной тенистой рощей. На этой позиции они расположились по нациям, или отдельным фракциям греческого имени, - лакедемоняне на правом крыле, к которым сразу же присоединились тегейцы и коринфяне, а афиняне на левом; на пост, который, как второй по достоинству, сначала претендовали тегейцы, в основном на основании мифических подвигов, исключая афинян, но в конце концов спартанцы, выслушав обе стороны, отдали его Афинам.[332] В полевых условиях даже лакедемоняне следовали тем демократическим формам, которые в целом пронизывали греческие военные операции: в данном случае не генералы, а лакедемоняне, собравшиеся вместе, выслушали спор и вынесли вердикт единодушным одобрением.

Мардоний, узнав об изменении позиции, перебросил свою армию также немного дальше на запад и расположился напротив греков, отделенный от них рекой Асоп. По предложению фиванцев он сам со своими персами и медянами, отборными людьми своей армии, занял

позицию на левом крыле, прямо напротив лакедемонян справа от греков, и даже простирался так далеко, что прикрывал тегейские ряды слева от лакедемонян: Бактрийцы, индийцы, сакцы и другие азиаты и египтяне занимали центр, а греки и македонцы, состоящие на службе у Персии, - правое крыло, против афинских гоплитов. Численность этих последних греков Геродот узнать не смог, хотя предположительно оценивает их в пятьдесят тысяч человек:[333] также нельзя доверять общей цифре в триста тысяч, которую он приводит в качестве принадлежности к другим войскам Мардония, хотя, вероятно, она не могла быть намного меньше.

В таком положении находились две армии, разделенные лишь узким пространством, включающим реку Асоп, и каждая из них ожидала сражения, в то время как от имени каждой из них приносились жертвы. Павсаний, Мардоний и греки в персидской армии имели каждый по отдельному пророку для жертвоприношений и выяснения расположения богов; двое первых имели людей из самых знатных пророческих родов в Элисе, а последний пригласил одного из Ликаса.[334] Все получали большое жалованье, а пророк Павсания действительно был удостоен вознаграждения сверх всякой платы - дара полного спартанского гражданства для себя и для своего брата. Случилось так, что пророки с обеих сторон принесли одинаковые жертвы - благоприятные для сопротивления в случае нападения и неблагоприятные для начала битвы. В момент, когда с обеих сторон царили сомнения и нерешительность, это был самый безопасный ответ для пророка и самый удовлетворительный для солдат. И хотя ответ из Дельф был достаточно обнадеживающим, а доброта героев-покровителей Платеи[335] была торжественно призвана, Павсаний все же не решился переправиться через Асоп и начать атаку, несмотря на то что его пророк сделал такое заявление. Даже Гегезистрат, пророк, нанятый Мардонием, не решился на агрессию, хотя питал смертельную личную ненависть к лакедемонянам и был бы рад увидеть их поражение. Среди богатых афинских гоплитов зародился заговор, возможно, подстрекаемый обещаниями или взятками врага, с целью установить в Афинах олигархию под главенством персов, подобную той, что существовала сейчас в Фивах, - заговор, полный опасности в такой момент, хотя и удачно пресеченный Аристеидесом, действовавшим одновременно мягко и решительно. Кроме того, персидская конница под руководством фиванцев досаждала непрерывно: их постоянные нападения и ракетное оружие с другого берега Асопа не позволяли грекам использовать его для снабжения водой, так что вся армия была вынуждена ходить за водой к фонтану Гаргафия, расположенному в крайней правой части позиции,[337] рядом с лакедемонскими гоплитами. Кроме того, фиванский вождь Тимегенид, заметив колонны, прибывавшие через Китеронские перевалы в тыл греческого лагеря, и постоянное подкрепление гоплитов, сопровождавшее их, убедил Мардония использовать свою конницу, чтобы прервать такое сообщение. Первый подобный шаг, предпринятый ночью против перевала под названием Дубовые головы, оказался весьма успешным: на спускавшийся на равнину обоз из пятисот тягловых животных с припасами напали вместе с его эскортом, все они были либо убиты, либо доставлены пленными в персидский лагерь; дальнейшее приближение к грекам не представляло опасности.[338] Восемь дней прошло в бездействии, прежде чем Тимегенид предложил, а Мардоний осуществил этот маневр, который, к счастью для греков, не был предпринят раньше и который служил наглядным доказательством того, как много можно было ожидать от эффективного использования кавалерии без губительного риска общих действий. Тем не менее, прождав еще два дня, его нетерпение стало неконтролируемым, и он решил немедленно начать генеральное сражение.[339] Напрасно Артабаз пытался отговорить его от этого шага, - он придерживался того же мнения, что и фиванцы, - что в сражении объединенная греческая армия непобедима и что единственная успешная политика - это политика промедления и коррупции, чтобы разъединить их: он рекомендовал стоять в

обороне, опираясь на Фивы, хорошо укрепленные и снабженные провиантом, - это дало бы время для распределения эффективных взятков среди ведущих людей в различных греческих городах. Это предложение, которое Геродот считает мудрым и способным привести к успеху, было отвергнуто Мардонием как трусливое и недостойное признанного превосходства персидского оружия[340].

Но хотя он в силу своего авторитета преодолел возражения всех окружающих, как персов, так и греков, он не мог не чувствовать себя обескураженным их неохотным повиновением, которое, как он подозревал, могло быть вызвано тем, что они слышали оракулы или предсказания неблагоприятного предзнаменования. Поэтому он созвал главных офицеров, как греческих, так и персидских, и задал им вопрос, знают ли они какое-нибудь пророчество, сообщающее, что персы обречены на гибель в Греции. Все молчали: одни не знали пророчеств, а другие, как утверждает Геродот, прекрасно их знали, хотя и не осмеливались говорить. Не получив ответа, Мардоний сказал: "Поскольку вы либо не знаете, либо не хотите говорить, я, хорошо знающий, сам выскажусь. Существует оракул, согласно которому персидские захватчики Греции разграбят храм в Дельфах и после этого все будут уничтожены. Мы же, зная об этом, не пойдем против этого храма и не попытаемся его разграбить: поэтому мы не будем уничтожены. Итак, радуйтесь, те, кто хорошо относится к персам, - мы одержим верх над греками". После этого он отдал приказ подготовить все для общей атаки и сражения на следующий день[341].

Не исключено, что орхоменец Терсандр присутствовал при этой беседе и, возможно, сообщил о ней Геродоту. Но размышления самого историка - не самая любопытная часть всей истории, иллюстрирующая то, как эти пророчества проникали в умы людей и определяли их суждения. Геродоту известно, хотя он и не приводит его, конкретное пророчество, на которое ссылался Мардоний; и он заявляет в самом утвердительном тоне,[342] что оно не относилось к персам: в нем говорилось о древнем вторжении в Грецию иллирийцев и энхейцев. Но и Бакис, у которого он цитирует четыре строки, и Мусей самым ясным образом пророчествовали о гибели персидской армии на берегах Термодона и Асопа. И эти пророчества, надо полагать, знали и офицеры, созданные Мардонием, хотя и не осмелились высказаться: виноват сам Мардоний, что не предупредил.

Нападение такой толпы, как Мардоний, ни при каких обстоятельствах не могло быть сделано так быстро, чтобы застать греков врасплох: но последние были предупреждены о нем тайным визитом Александра, царя Македонского, который, подъехав среди ночи к афинским передовым постам, пожелал поговорить с Аристеидесом и другими полководцами. Сообщив им только свое имя и заявив о своей искренней симпатии к греческому делу, а также об опасности, которой он подвергся в результате этого ночного визита, он сообщил им, что Мардоний, хотя давно жаждал битвы, не мог никакими силами добиться благоприятных жертв, но, тем не менее, даже несмотря на это препятствие, был полон решимости атаковать на следующее утро. "Будьте готовы к этому; и если вы преуспеее в этой войне (сказал он), не забудьте освободить и меня от персидского ига: Я тоже грек по происхождению, и поэтому рискую головой, потому что не могу вынести порабощения Греции"[343].

Передав это важное послание Аристеидеса Павсанию, он получил от него предложение, не слишком удивительное, поскольку исходило от спартанского полководца. Он попросил афинян поменяться местами с лакедемонянами в строю. "Мы, лакедемоняне, - сказал он, - сейчас противостоям персам и медам, с которыми мы еще никогда не сражались, в то время как афиняне сражались с ними при Марафоне и победили их. Тогда перейдите на правое крыло и займите наши места, а мы займем ваши на левом крыле, против беотийцев и фессалийцев, с оружием и атакой которых мы хорошо знакомы". Афиняне с готовностью

согласились, и взаимное изменение порядка было произведено: оно еще не было завершено, когда наступил день, и фиванские союзники Мардония сразу же обратили внимание на то, что было сделано. Этот полководец приказал соответствующим образом изменить свою линию, чтобы снова поставить родных персов против лакедемонян; тогда Павсаний, видя, что его маневр не удался, отвел своих лакедемонян на правое крыло, а второе движение Мардония вернуло обе армии в первоначально установленный порядок[344].

Во всей лакедемонской истории не найдется случая, подобного этому. Уклониться от встречи с лучшими войсками в линии противника и отойти с этой целью от своего привилегированного места на правом фланге было шагом, хорошо рассчитанным на то, чтобы понизить их в глазах Греции, и вряд ли могло не произвести такого эффекта, если бы намерение было осуществлено: в то же время это самый высокий комплимент грозной репутации местных персидских войск, - репутации, признанной Геродотом и подкрепленной, по крайней мере, их личной храбростью.[Не удивительно, что это публично проявленное нежелание ведущих войск греческой армии способствовало возвышению опрометчивой уверенности Мардония: чувство, которое Геродот, в гомеровском стиле,[346] переносит в речь персидского глашатая, посланного упрекнуть лакедемонян и вызвать их на "единоборство с равными по численности чемпионами, лакедемонянами против персов". За этим глашатаем, которого никто не слышал и который служил лишь рупором для выражения чувств, присущих данному моменту, последовало нечто очень реальное и ужасное - энергичная атака на греческую линию персидской конницы, чьи быстрые движения и ливень стрел и копьев раздражали греков в этот день больше, чем когда-либо. У последних, как уже говорилось, не было никакой кавалерии; их легкие войска, хотя и достаточно многочисленные, похоже, не оказали никакой пользы, за исключением афинских лучников. Насколько велико было преимущество персидской конницы, показывает тот факт, что они на некоторое время оттеснили лакедемонян от Гаргафийского фонтана, чтобы задушить его и сделать непригодным для использования. Поскольку армия была лишена возможности прибегать к реке Асоп, этот фонтан в последнее время был единственным местом для водопоя, а без него позиция, которую они тогда занимали, становилась непригодной, - в то время как их провизия также была истощена, поскольку конвои, опасаясь персидской конницы, не могли спуститься из Китерона, чтобы присоединиться к ним[347].

В этой дилемме Павсаний созвал греческих вождей в свою палатку, и после напряженного обсуждения было принято решение, в случае если Мардоний не начнет общие действия в течение дня, сменить позицию ночью, когда конница не будет мешать, и занять место, называемое островом, удаленное примерно на десять фурлонгов в направлении почти на запад и, похоже, на север от города Платеи, который сам находился на расстоянии около двадцати фурлонгов: этот остров, неправильно названный так, включал в себя землю, расположенную между двумя рукавами реки Оэрока,[348] которые текут из Китерона и, протекая некоторое время в руслах, отстоящих друг от друга примерно на три аршина, образуют слияние и текут в северо-западном направлении к одной из впадин Коринфского залива, - совершенно в отличие от Асопа, который, хотя также поднимается неподалеку на самых низких склонах под Китероном, принимает восточное направление и впадает в море напротив Эвбеи. Находясь на этом так называемом острове, армия была бы обеспечена водой из потока в своем тылу; не подвергалась бы она, как сейчас, воздействию многочисленной вражеской конницы, отделенной от нее только рекой Асоп. 349] Далее было решено, что как только армия займет остров, половина войска должна немедленно отправиться вперед, чтобы снять колонны, заблокированные на Китероне, и провести их в лагерь. Таков был план, утвержденный на совете между различными греческими вождями;

поход должен был начаться в начале второй ночной вахты, когда вражеская конница полностью уйдет.

Несмотря на то, что Мардоний, как говорят, решил, он прошел весь день без общей атаки: но его конница, вероятно, воодушевленная недавней демонстрацией лакедемонян, была в этот день более смелой и неутомимой, чем когда-либо, и нанесла много потерь и тяжелых страданий;^[350] так что центр греческих сил (коринфяне, мегарцы и др, между лакедемонянами и тегейцами справа и афинянами слева), когда настал час отступить на остров, действительно начала свой марш, но забыла или пренебрегла заранее обдуманном планом и приказами Павсания в своем нетерпении получить полное укрытие от атак конницы. Вместо того чтобы отправиться на остров, они прошли двадцать вёрст прямо к городу Платея и заняли позицию перед Герцеговиной, или храмом Геракла, где они были защищены частично зданиями, частично сравнительно высокой землёй, на которой стоял город с его храмом. Между позицией, которую греки собирались оставить, и той, которую они решили занять (*то есть* между течением Асопа и Орока), находилась гряда невысоких холмов: лакедемоняне, начав движение с правого крыла, должны были идти прямо по этим холмам, а афиняне - с левого, чтобы обогнуть их и выйти на равнину по другую сторону.^[351] Павсаний, узнав, что подразделения центра начали ночной марш, и решив, что они, конечно, пойдут на остров в соответствии с приказом, дал некоторый промежуток времени, чтобы избежать путаницы, а затем распорядился, чтобы лакедемоняне и тегейцы также начали движение к той же позиции. Но тут он столкнулся с неожиданным препятствием. Движение было ретроградным, отступающим от врага, и не соответствовало воинской чести спартанца; тем не менее большинство таксиархов, или предводителей рот, подчинились без ропота; но Амомфарет, лохаг или капитан той группы, которую Геродот называет лохами Питаны,^[352] упрямо отказался. Не присутствуя на собрании, где было принято это решение, он впервые услышал его с удивлением и презрением, заявив, "что он никогда не опозорит Спарту настолько, чтобы бежать от чужеземца". Павсаний со вторым командиром, Эврианаксом, приложил все усилия, чтобы преодолеть его нежелание, но ни в коем случае не смог склонить его к отступлению; они не решились двигаться без него, оставив всю его лохань беззащитной перед врагом^[354].

В темноте ночи, в этой обстановке нерешительности и споров, к Павсанию прибыл афинский гонец на коне с поручением выяснить, что происходит, и узнать последние указания: Ибо, несмотря на решение, принятое после официальных дебатов, афинские генералы все еще не доверяли лакедемонянам и сомневались, что те поступят так, как обещали: о движении центральной части им стало известно, и в последний момент перед началом собственного марша они послали вестника, чтобы уверить себя, что спартанцы тоже собираются двигаться. В этом действии прослеживается глубокое и даже преувеличенное недоверие, но слишком оправданное предыдущим поведением спартанцев по отношению к Афинам:^[355] однако оно оказалось удачным по своим результатам, ведь если бы афиняне, удовлетворившись выполнением своей роли в заранее согласованном плане, сразу же двинулись к острову, греческая армия была бы разделена без возможности воссоединения, и исход битвы мог бы оказаться совершенно иным. Афинский глашатай застал лакедемонян неподвижными на своих позициях, а генералов - в горячем споре с Амомфаретом; тот презрел угрозу остаться одному и выступить против персов, а когда ему напомнили, что решение было принято общим голосованием офицеров, взял обеими руками огромный камень, годный для рук Аякса или Гектора, и бросил его к ногам Павсания, сказав: "Это мой камешек, которым я отдаю свой голос не убегать от чужаков". Павсаний осудил его как безумца, попросив герольда сообщить о том, что он только что был свидетелем этой неловкой сцены, и попросить афинских генералов не начинать отступление, пока

лакедемоняне тоже не выступят в поход. Тем временем спор продолжался и даже затянулся из-за беспечности Амомфарета до рассвета; тогда Павсаний, боясь оставаться дольше, дал сигнал к отступлению, рассчитывая, что несговорчивый полководец, увидев, что его лохус действительно оставлен в покое, наверняка решит последовать за ним. Пройдя около десяти вёрст по холмистой местности, отделявшей его от острова, он приказал остановиться, чтобы либо дожидаться Амомфарета, если тот решит следовать за ним, либо оказаться поблизости, чтобы оказать ему помощь и спасти его, если тот будет достаточно опрометчив, чтобы стоять на своем в одиночку. К счастью, последний, видя, что его генерал действительно ушел, преодолел свои сомнения и последовал за ним; он догнал и присоединился к основному корпусу на первом привале у реки Молои и храма Элевсинского Деметра.^[356] Афиняне, начав движение одновременно с Павсанием, обогнули холмы и вышли на равнину с другой стороны и продолжили свой поход к острову.

Когда наступил день, персидская конница с удивлением обнаружила, что греческая позиция опустела. Они сразу же бросились в погоню за спартанцами, чей марш проходил по более высокой и заметной местности и чье продвижение к тому же было замедлено долгой задержкой Амомфарета: афиняне же, шедшие без остановок и уже находившиеся за холмами, не были открыты для обозрения. Мардонию это отступление врага внушило преувеличенную и презрительную уверенность, которую он в полной мере выплеснул на фессалийских алеуадов: "Это ваши хвастливые спартанцы, которые только что поменяли свое место в строю, вместо того чтобы сражаться с персами, и здесь наглým бегством показали, чего они на самом деле стоят!" С этими словами он немедленно приказал всей своей армии преследовать и атаковать с максимальной быстротой. Персы переправились через Асоп и помчались за греками со всей возможной скоростью, не думая ни о порядке, ни о подготовке к преодолению сопротивления: армия уже оглашалась победными криками, в полной уверенности, что поглотит беглецов, как только их настигнет.

Азиатские союзники последовали примеру этого беспорядочного бегства вперед:^[357] но фиванцы и другие греческие союзники на правом крыле Мардония, похоже, сохранили несколько лучший порядок.

Павсаний не смог отступить дальше окрестностей Дементиона, или храма Элевсинского Деметра, где он остановился, чтобы принять Амомфарета. Застигнутый сначала персидской конницей, а затем Мардонием с основным отрядом, он немедленно послал всадника оповестить афинян и просить их о помощи. Афиняне не замедлили выполнить его просьбу, но вскоре они оказались вовлечены в борьбу с фиванскими союзниками врага и поэтому не смогли добраться до него.^[358] Таким образом, лакедемонянам и тегейцам пришлось столкнуться с персами в одиночку, без какой-либо помощи со стороны других греков. Персы, приблизившись к врагам на расстояние выстрела из лука, воткнули в землю шипованные концы своих герр, или длинных плетеных щитов, образовав сплошную стену, из-за которой осыпали греков ливнем стрел:^[359] их луки были самых больших размеров и натянуты с не меньшей силой, чем мастерство. Несмотря на нанесенные раны и страдания, Павсаний продолжал выполнять неременную обязанность - приносить жертву в бою, и жертвы некоторое время были неблагоприятными, так что он не решился отдать приказ о наступлении и ближнем бое. Многие были ранены или убиты в рядах, среди них храбрый Калликратес, самый красивый и сильный мужчина в войске: пока Павсаний, утомленный этой вынужденной и мучительной задержкой, не поднял наконец глаза на видный Гереум платежей и не призвал милосердное вмешательство Геры устранить препятствие, которое приковало его к этому месту. Едва он произнес эти слова, как жертвы изменились и стали благоприятными:^[361] но тегейцы, пока он еще молился, предвидели эффект и поспешили

вперед против врага, за ними последовали лакедемоняне, как только Павсаний дал слово. Плетеный леер перед персами был вскоре разрушен греческим натиском: тем не менее персы, хотя и лишенные своей опеки и не имевшие защитных доспехов, продолжали сражаться с индивидуальным мужеством, тем более замечательным, что оно было полностью лишено дисциплины или тренированного коллективного движения, против выверенного строя, выверенного шага, хорошо защищенных лиц и длинных копий греков.[362] Они бросились на лакедемонян, схватили их копья и сломали их: многие из них небольшими отрядами по десять человек пробивали своими телами путь в строй и вступали в индивидуальный ближний бой с коротким копьем и кинжалом. 363] Сам Мардоний, видный на белом коне, был среди передовых воинов, а тысяча отборных воинов, составлявших его телохранителей, отличилась среди всех остальных. В конце концов он был убит рукой выдающегося спартанца по имени Эимнект; его тысяча охранников в основном погибла вокруг него, а мужество оставшихся персов, уже измотанных превосходящими силами, с которыми они долго сражались, было наконец окончательно сломлено смертью их генерала. Они повернулись спиной и бежали, не успокаиваясь, пока не добрались до деревянного укрепленного лагеря, построенного Мардонием за Асопом. Азиатские союзники также, как только увидели, что персы разбиты, обратились в бегство, не нанеся ни одного удара[364].

Афиняне слева тем временем вступили в серьезный бой с беотийцами, особенно с фиванскими вождями и гоплитами, которые сражались с большой храбростью, но в конце концов были отброшены назад, потеряв триста лучших солдат. Однако фиванская конница все еще держала хороший фронт, защищая отступление пехоты и сдерживая афинское преследование, так что беглецы смогли добраться до Фив в безопасности; это было лучшее убежище, чем персидский укрепленный лагерь.[365] За исключением фиванцев и беотийцев, никто из других *медитирующих* греков не оказал реальной услуги: вместо того чтобы поддержать или усилить фиванцев, они ни разу не выступили в атаку, а просто последовали за первым движением бегства. Так что, по сути, единственными войсками в этой многочисленной персо-греческой армии, которые действительно сражались, были туземные персы и сакцы слева и беотийцы справа: первые - против лакедемонян, вторые - против афинян[366].

В битве участвовали даже не все местные персы. Сорокатысячный отряд под командованием Артабаза, среди которого, несомненно, были и коренные персы, покинул поле боя без потерь. Этот полководец, казалось бы, самый способный человек в персидской армии, с самого начала был недоволен назначением Мардония главнокомандующим и еще больше навлек на себя его неудовольствие, отказавшись от любых общих действий. Узнав, что Мардоний спешит вперед, чтобы атаковать отступающих греков, он собрал свои части и повел их к месту действия, хотя и не надеялся на успех и, возможно, не очень хотел, чтобы его собственные пророчества были опровергнуты. И так стремительно Мардоний двинулся вперед, так был уверен в победе над греками, когда обнаружил их отступление, что не позаботился о слаженных действиях всей своей армии: не успел Артабаз прибыть на место боя, как увидел, что персидские войска, занятые главнокомандующим, уже разбиты и обращены в бегство. Не сделав ни малейшей попытки ни спасти их, ни возобновить сражение, он тут же отдал приказ своей дивизии отступить: не возвращаясь, однако, ни в укрепленный лагерь, ни в Фивы, но сразу же отказавшись от всей кампании и выбрав прямую дорогу через Фокис в Фессалию, Македонию и Геллеспонт[367].

Как местные персы, сакцы и беотийцы были единственными реальными бойцами с одной стороны, так и кружевные деймониане, тегейцы и афиняне - с другой. Уже упоминалось, что центральные войска греческой армии, не подчинившись общему приказу о походе, ночью

отправились не на остров, а в город Платею. Таким образом, они были полностью отрезаны от Павсания, и первое, что они услышали о сражении, было то, что лакедемоняне одерживают победу. Обрадованные этой новостью и желая получить хоть какую-то долю чести, они бросились к месту сражения, не обращая внимания на военный порядок; коринфяне двинулись прямым путем через холмы, а мегаряне, флиасийцы и другие пошли более длинным путем по равнине, чтобы обогнуть холмы и подойти к афинским позициям. Фиванские конники под командованием Асоподоруса, занятые преследованием победоносных афинских гоплитов, увидев эти свежие войска, приближающиеся в полном беспорядке, энергично атаковали их и отбросили назад, чтобы укрыться на возвышенности, потеряв шестьсот человек.[368] Но этот частичный успех не смягчил общего поражения.

Продолжая преследование, лакедемоняне приступили к атаке деревянного редута, в котором укрылись персы. Но хотя им помогали все или большинство центральных греческих дивизий, не принимавших участия в сражении, они настолько не знали, как штурмовать стены, что не продвинулись вперед и были полностью сбиты с толку, пока на помощь им не прибыли афиняне. Тогда редут был взят штурмом, не без галантного и продолжительного сопротивления со стороны его защитников. Тегейцы, первыми проникшие внутрь, разграбили богатый шатер Мардония, чьи ясли для его лошадей, сделанные из меди, долгое время после этого выставлялись в их храме *Athênê Alea*, а его трон на серебряных ножках и циреи[369] хранились в афинском акрополе вместе с нагрудником Масистия. Как только они оказались внутри стены, эффективное сопротивление прекратилось, и греки резали без пощады и без ограничений; так что, если верить Геродоту, из трехсот тысяч человек, составлявших армию Мардония, в живых осталось только три тысячи, за исключением сорока тысяч, сопровождавших Артабаза в его отступлении.[Что касается этих цифр, то историк, вероятно, мало что мог сообщить, кроме некоторых смутных сообщений, без всякой претензии на вычисление: что касается греческих потерь, то его заявление заслуживает большего внимания, когда он говорит нам, что погибли девяносто один спартанец, шестнадцать тегейцев и пятьдесят два афинянина. Однако сюда не включены потери мегарцев при нападении фиванской конницы и не указано число убитых лакедемонян, а не спартанцев; да и остальные указанные цифры явно меньше вероятной истины, учитывая множество персидских стрел и незащищенную правую сторону греческого гоплита. В целом, утверждение Плутарха о том, что в сражении было убито не менее тринадцати сотен шестидесяти греков, представляется вероятным: все они, несомненно, были гоплитами, поскольку в то время мало что говорилось о легковооруженных, да и вообще мы не знаем, что они принимали активное участие в битве.[371] Каковы бы ни были численные потери персов, это поражение означало полное разорение их армии: но мы можем справедливо предположить, что многие были спасены и проданы в рабство,[372] а многие из беглецов, вероятно, нашли возможность присоединиться к отступающей дивизии Артабаза. Этот полководец совершил стремительный марш через Фессалию и Македонию, храня строгое молчание о недавней битве и притворяясь, что его послал с особым поручением Мардоний, о приближении которого он сам сообщил. Если Геродот прав (хотя можно усомниться в том, что перемена настроений в Фессалии и других греческих государствах-медиаторах была столь быстрой, как он предполагает), Артабазу удалось пройти через эти страны до того, как весть о битве стала общеизвестной, а затем отступить самым прямым и коротким путем через внутренние районы Фракии в Византию, откуда он перешел в Азию: Внутренние племена, непокоренные и хищные, значительно затрудняли его отступление; но мы еще долго будем находить персидские гарнизоны во владении многих главных мест на фракийском побережье.[373] Как видно, Артабаз после этого как никогда высоко поднялся в оценке Ксеркса.

После победы греки провели десять дней, сначала хороня убитых, затем собирая и распределяя добычу. Лакедемоняне, афиняне, тегейцы, мегаряне и флиасийцы хоронили своих мертвых отдельно, воздвигая в память о них отдельные гробницы: лакедемоняне, правда, распределили своих мертвых на три части, в трех разных местах погребения: одно для тех чемпионов, которые пользовались в Спарте индивидуальной славой и среди которых были самые выдающиеся люди, убитые в недавней битве, такие как Посейдоний, Амомфарет, несговорчивый капитан, Филокион и Калликратес, - второе для остальных спартанцев и лакедемонян,[374] и третье для гелотов. Кроме этих надгробных памятников, воздвигнутых в окрестностях Платеи теми городами, граждане которых действительно сражались и пали, во времена Геродота можно было увидеть несколько подобных памятников, воздвигнутых другими городами, которые ложно претендовали на ту же честь, при попустительстве и помощи платейцев.[Тело Мардония было найдено среди убитых, и Павсаний отнесся к нему с почтением; говорят даже, что он с негодованием отверг совет одного из эгинетян о том, что ему следует отплатить ему за позорное обращение, которому Ксеркс подверг мертвого Леонида.[На следующий день тело было украдено и погребено; что именно, доподлинно неизвестно, так как было много разных претендентов, получивших за это вознаграждение от Артынтека, сына Мардония: погребальный памятник еще можно было увидеть во времена путешественника Павсания[377].

Добыча была богатой и разнообразной: золото и серебро в дариках, а также орудия и украшения, ковры, великолепное оружие и одежда, лошади, верблюды и т. д., даже великолепный шатер Ксеркса, оставленный им во время отступления с Мардонием. 378 По приказу полководца Павсания гелоты собрали все ценные вещи в одно место для раздела, не украв при этом многих золотых украшений, которые, не зная их стоимости, эгинетяне уговорили их продать как медь. После того как была оставлена десятина для дельфийского Аполлона, а также обильные подношения для олимпийского Зевса и истмийского Посейдона, а также для генерала Павсания, оставшаяся добыча была распределена между различными частями армии пропорционально их численности.[379] Наложницы персидских вождей были в числе розданных призов: среди них, вероятно, было много гречанок, возвращенных в свои семьи; одна из них, особенно застигнутая на своей колеснице среди бегущих персов, с богатыми драгоценностями и многочисленной свитой, бросилась к ногам самого Павсания, прося его о защите. Она оказалась дочерью его личного друга Гегеторидеса из Коса, унесенного персом Фарандатесом, и он с радостью вернул ее отцу.[380] Как ни велика была собранная добыча, в земле осталось много ценных сокровищ, которые жители Платеи впоследствии обнаружили и присвоили.

Настоящими победителями в битве при Платее были лакедемоняне, афиняне и тегейцы: коринфяне и другие, составлявшие часть армии, противостоявшей Мардонию, не достигли поля до окончания битвы, хотя они, несомненно, помогали и в штурме укрепленного лагеря, и в последующих операциях против Фив, и были повсеместно признаны в надписях и панегириках среди чемпионов, внесших вклад в освобождение Греции.[381] Только после взятия персидского лагеря контингенты из Элиды и Мантинеи, которые, возможно, были среди конвоев, помешавших персидской кавалерии спуститься с перевалов Китхерона, впервые достигли места действия. Огорченные тем, что упустили свою долю в славном подвиге, новоприбывшие сначала хотели отправиться в погоню за Артабазом, но лакедемонский полководец запретил им, и они вернулись домой, не найдя иного утешения, кроме изгнания своих генералов за то, что те не повели их вперед более оперативно[382].

Оставался еще самый эффективный союзник Мардония - город Фивы, который Павсаний созвал на одиннадцатый день после битвы, требуя выдать *мединских* вождей, особенно Тимегенида и Аттагинуса. Получив отказ, он начал долбить их стены и принял еще более эффективную меру - опустошил их территорию, предупредив, что работа по разрушению будет продолжаться до тех пор, пока эти вожди не будут выданы. После двадцати дней терпения последние, наконец, предложили, если окажется, что Павсаний императивно требует их лиц и отказывается принять денежную сумму в качестве компенсации, добровольно сдаться в качестве цены за освобождение их страны. С Павсанием были заключены переговоры, и все требуемые лица были выданы ему, за исключением Аттагина, который в последний момент нашел возможность бежать. Его сыновья, которых он оставил, были выданы в качестве замены, но Павсаний отказался их трогать, справедливо заметив, что в те времена это было даже великодушно,^[383] что они ни в коем случае не замешаны в *мединстве* своего отца. Тимегенида и остальных пленников отвезли в Коринф и сразу же предали смерти, без малейшего обсуждения или суда: Павсаний опасался, что в случае отсрочки или консультации их богатство и богатство их друзей позволят купить голоса для их оправдания, - собственно, сами пленники были побуждены сдаться отчасти в этом расчете.^[384] Примечательно, что сам Павсаний, всего через несколько лет после этого, будучи уличенным в измене, вернулся и сдался в Спарте, надеясь, что сможет выкупить себя за деньги.^[385] В этой надежде, правда, он оказался обманутым, как до этого был обманут Тимегенидас: но этот факт не менее важен, поскольку свидетельствует об общем впечатлении, что ведущие люди в греческом городе обычно открыты для взяток в судебных делах, и что люди, не поддающиеся этому искушению, являются редкими исключениями. У меня еще будет повод остановиться на этой признанной ненадежности ведущих греков, когда я приду, чтобы объяснить чрезвычайно популярный состав афинской судебной власти.

Было ли среди греков какое-либо голосование по поводу награды за доблесть в битве при Платее, можно не сомневаться: И молчание Геродота далеко опровергает важное заявление Плутарха, что афиняне и лакедемоняне были на грани открытого разрыва, каждый считал себя вправе претендовать на приз, - что Аристеидес умиротворил афинян, и убедил их подчиниться общему решению союзников, - и что мегарские и коринфские вожди ухитрились обойти опасную скалу, отдав приз платейцам, к чему присоединились и Аристеидес, и Павсаний.^[386] Но, похоже, общее мнение признало лакедемонян и Павсания храбрейшими из храбрых, поскольку они одолели лучшие войска противника и убили полководца. Хороня погибших воинов, лакедемоняне особо выделили Филокиона, Посейдония и лохага Амомфарета, чье поведение в бою искупило неповиновение приказам. Однако был один спартанец, который превзошел их всех, - Аристодекм, единственный выживший из отряда Леонида при Фермопилах. Испытав с тех пор лишь позор и оскорбления со стороны своих сограждан, этот несчастный стал безрассуден к жизни, и в Платее он в одиночку вышел из своего строя, совершив подвиги самой героической доблести, и решил своей смертью вернуть себе уважение соотечественников. Но спартанцы отказались воздать ему те же погребальные почести, что и другим выдающимся воинам, проявившим образцовую смелость и мастерство, но без отчаянной безрассудности и без прежних пятен, которые могли бы сделать для них жизнь бременем. Последующая доблесть могла бы сгладить этот порок, но ее не хватило бы, чтобы возвысить Аристодема до уровня самых уважаемых граждан^[387].

Но хотя мы не можем верить утверждению Плутарха, что платейцы получили награду за доблесть общим голосованием, несомненно, что они были удостоены большой чести и

вознаграждения, как владельцы той земли, на которой было достигнуто освобождение Греции. Рыночная площадь и центр их города были выбраны в качестве места для торжественного благодарственного жертвоприношения, которое Павсаний после битвы принес Зевсу Элевтерию от имени и в присутствии всех собравшихся союзников. Местные боги и герои платейской территории, к которым обращались с молитвами перед битвой и которые даровали свою землю в качестве благоприятного поля для греческого оружия, стали участниками этой церемонии и свидетелями, а также гарантами обязательств, которыми она сопровождалась.[388] На платейцев, вернувшихся в свой город, который персы вынуждены были покинуть, была возложена почетная обязанность совершать периодические жертвоприношения в память об этой великой победе, а также ухаживать и служить религиозную службу у могил павших воинов. В качестве помощи для выполнения этой обязанности, которая, возможно, сильно давила на них в то время, когда их город был полуразрушен, а поля не засеяны, они получили из призовых денег большую сумму в восемьдесят талантов, которая была частично использована на строительство и украшение красивого храма Athênê, символа, вероятно, возобновления связи с Афинами. Они обязались ежегодно воздавать религиозные почести гробницам воинов и каждый пятый год отмечать грандиозное общественное торжество Элевтерии гимнастическими состязаниями, аналогичными другим большим фестивальным играм Греции.[389] За выполнение этих обязанностей, а также за святость земли, Павсаний и все союзники обязались клятвой гарантировать автономию Платеи и неприкосновенность ее территории. Это означало освобождение города от уз беотийской федерации и от принудительного верховенства Фив как ее главы.

Но у союзников, похоже, были и другие цели, более значительные, чем защита Платеи или установление памятных церемоний. Оборонительный союз против персов был вновь подтвержден клятвой всех союзников и стал постоянным: были согласованы и обещаны общие силы в десять тысяч гоплитов, тысячу конницы и сто трирем для ведения войны, с указанием контингента каждого союзника; кроме того, город Платея был определен как ежегодное место встречи, где ежегодно должны были собираться депутаты от всех союзников.[390] Это постановление, как говорят, было принято по предложению Аристеидеса, мотивы которого нетрудно проследить. Хотя персидская армия потерпела крупное поражение, никто не знал, как скоро она сможет собраться вновь или получить подкрепление; более того, даже позднее, после того как стало известно о битве при Микале, новое вторжение персов все еще считалось маловероятным,[391] и никто тогда не ожидал той необычайной удачи и активности, благодаря которой афиняне впоследствии организовали такой союз, чтобы отбросить Персию в оборону. Кроме того, северная половина Греции все еще оставалась *медитативной*, как в действительности, так и внешне, и новые усилия Ксеркса могли бы, вероятно, сохранить его господство в этих краях. Предполагая возобновление войны, Аристеидес и афиняне были крайне заинтересованы в создании линии обороны, которая охватывала бы как Аттику, так и Пелопоннес, и не позволяла бы пелопоннесцам ограничиться перешейком, как они делали это раньше. Воспользоваться для этой цели вновь родившимся почтением и благодарностью, которые теперь связывали лакедемонян с Платеей, было идеей, как нельзя более подходящей для данного момента, хотя непредвиденные последующие действия Афин в сочетании с другими событиями помешали осуществлению как широкого союза, так и неприкосновенности Платеи, запланированных Аристеидесом[392].

В тот же день, когда Павсаний и греческая сухопутная армия одержали победу в Платее, военно-морские силы под командованием Леотихидеса и Ксантиппа участвовали в операциях, едва ли менее важных, у Микале на азиатском побережье. Греческие командиры

флота, насчитывавшего сто десять трирем, продвинувшись до Делоса, побоялись идти дальше на восток или предпринимать какие-либо наступательные операции против персов на Самосе для спасения Ионии, хотя ионийские посланники, особенно из Хиоса и Самоса, настоятельно просили о помощи как в Спарте, так и на Делосе. Три саамца, одного из которых звали Гегезистрат, прибыли, чтобы заверить Леотихида, что их земляки готовы восстать против деспота Феометора, которого установили там персы, как только греческий флот появится у острова. Несмотря на настоятельные призывы к общности религии и расы, Леотихидес долго оставался глух к мольбам; но постепенно его нежелание сдалось перед настойчивостью оратора. Еще не приняв окончательного решения, он случайно спросил у саамского оратора, как его зовут. Тот ответил: "Гегезистрат, *то есть* вождь армии". "Я принимаю Гегезистрата как предзнаменование (ответил Леотихид, пораженный значением этого имени), поклянись, что ты будешь сопровождать нас, - пусть твои спутники подготовят саамийцев к приему нас, и мы немедленно отправимся в путь". Сразу же состоялся обмен обязательствами, и пока два других посланника были отправлены вперед, чтобы подготовить дела на острове, Гегезистрат остался вести флот, который был еще больше ободрен благоприятными жертвоприношениями и заверениями пророка Деифона, нанятого в коринфской колонии Аполлонию[393].

Когда они достигли Гереума близ Калами на Самосе[394] и приготовились к морскому сражению, то обнаружили, что флот противника уже выведен с острова на соседний континент. Персидские полководцы были настолько удручены поражением при Саламине, что не были настроены снова сражаться на море: мы не знаем численности их флота, но, возможно, значительная его часть состояла из ионийских греков, верность которых теперь вызывала большие сомнения. Отказавшись от мысли о морском бое, они позволили феникийской эскадре уйти и с оставшимся флотом отплыли к мысу Микале близ Милета.[Здесь они оказались под защитой шестидесятитысячного сухопутного войска под командованием Тиграна - главной опоры Ксеркса для обороны Ионии: корабли были вытаснены на берег, для их защиты был возведен вал из камней и кольев, а обороняющаяся армия выстроилась вдоль берега и казалась вполне достаточной для отражения нападения с моря[396].

Вскоре прибыл греческий флот. Разочаровавшись в своем намерении сражаться из-за бегства врага с Самоса, они сначала предложили либо вернуться домой, либо повернуть в сторону Геллеспонта, но ионийские посланники наконец убедили их преследовать вражеский флот и снова предложить сражение у Микалека. Достигнув этого пункта, они обнаружили, что персы оставили море, намереваясь сражаться только на суше. Греки настолько ободрились, что решились высадиться и атаковать объединенный сухопутный и морской флот, стоявший перед ними; но поскольку большая часть их шансов на успех зависела от дезертирства ионийцев, первым делом Леотихидес повторил предыдущий маневр Фемистокла, когда отступал из Артемизиума, у водоемов Эвбеи. Подплыв вплотную к берегу, он через глашатая громким голосом обратился к ионийцам среди врагов с убедительными призывами восстать; рассчитывая, что если они и не послушают его, то, по крайней мере, вызовут недоверие персов. Затем он высадил свои войска и собрал их для нападения на персидский лагерь на суше; В то время как персидские генералы, удивленные этим дерзким проявлением и подозревая, либо по его маневру, либо по предыдущим свидетельствам, что ионийцы находятся в тайном сговоре с ним, приказали разоружить саамский контингент, а милезийцам отойти в тыл армии, чтобы занять различные горные дороги до вершины Микале, - с которыми последние были знакомы как с частью своей собственной территории.[397]

Находясь вдали от родных мест и оставив в Беотии мощную армию персов и греков под командованием Мардония, греки, конечно же, были полны тревоги, чтобы его оружие не оказалось победоносным и не уничтожило свободу их страны. Именно под этим чувством тревоги за своих отсутствующих собратьев они высадились на берег и к полудню были готовы к атаке. Но это была вторая половина памятного дня - четвертого числа месяца Боздромион (около сентября) 479 года до н. э. По удивительному совпадению, победа при Платее в Беотии была одержана Павсанием именно в то утро. В тот момент, когда греки шли на приступ, в лагерь влетело божественное послание (phêtmê), а на западной волне к берегу приплыл посох герольда - символ передачи электричества через Эгейское море; - откровение, внезапное, одновременное, неотразимое, разом поразило умы всех, как будто у толпы была одна общая душа и чувство, сообщив им, что в это самое утро их соотечественники в Беотии одержали полную победу над Мардонием. Сразу же рассеялось прежнее беспокойство, и все войско, полное радости и уверенности, зарядилось удвоенной энергией. Таков рассказ Геродота,[398] который, несомненно, был общепризнанным в его время, когда участники битвы при Микале были живы, чтобы рассказать свою историю: он упоминает еще одно из тех совпадений, за которые греческий ум всегда хватался с такой жадностью: недалеко от поля битвы в Микале, а также в Платее находилась часовня Элевсинского Деметра. Диодор и другие более поздние авторы,[399] которые писали, когда впечатления того времени исчезли и когда божественное вмешательство допускалось не так легко и буквально, относятся ко всему происходящему так, как будто это был отчет, специально распространенный генералами для ободрения своей армии.

Лакедемоняне на правом фланге и часть армии, находившаяся рядом с ними, прошли трудный путь по холмистой местности и оврагам; афиняне, коринфяне, сикионцы, тризенианцы и левая половина армии, шедшая только вдоль берега, столкнулись с врагом гораздо раньше. Персы, как и при Платее, использовали свои *герры*, или плетеные рогатины, вбитые шипами в землю, в качестве грудной стены, из-за которой они выпускали свои стрелы, и оказывали упорное сопротивление, чтобы не дать разрушить эту оборону. В конце концов грекам удалось разрушить его и оттеснить врага вглубь укрепления, где он тщетно пытался устоять перед пылким напором преследователей, которые пробивались в него почти вместе с защитниками. Даже когда этот последний вал был взят, а персидские союзники обратились в бегство, местные персы продолжали вести борьбу с неменьшей храбростью. Не обученные строю и строевой подготовке, действуя только небольшими узлами,[400] имея недостатки в доспехах, которые сильно ощущались при Платее, они все еще вели неравный бой с греческими гоплитами; и только когда лакедемоняне со своей половиной армии прибыли, чтобы присоединиться к атаке, оборона была оставлена как безнадежная. Восстание ионийцев в лагере поставило точку в этом гибельном поражении: Во-первых, разоруженные саамийцы; во-вторых, другие ионийцы и эолийцы; наконец, милезийцы, поставленные охранять проходы в тылу, не только дезертировали, но и приняли активное участие в нападении; и особенно милезийцы, которым персы доверили вести их до вершин Микале, повели их неверными дорогами, бросили в руки преследователей и наконец настигли их своими собственными руками. В этой катастрофической битве погибло большое число местных персов, а также оба полководца сухопутных войск, Тигранес и Мардонтес: два персидских адмирала, Артайнтес и Итамитрес, спаслись, но войско было безвозвратно рассеяно, а все корабли, вытасканные на берег, попали в руки нападавших и были сожжены. Но победа греков отнюдь не была бескровной: на левом крыле, на которое выпала основная тяжесть боя, было убито значительное число людей, особенно сикионцев с их командиром Перилаем.[401] Награды за битву получили сначала афиняне, затем коринфяне, сикионцы и триезенцы; лакедемоняне сделали сравнительно немного. Афинянин Гермеликус,

знаменитый панкратиаст, был воином, наиболее отличившимся в отдельных ратных подвигах[402].

Рассеянная персидская армия, по крайней мере та ее часть, которая сначала нашла защиту на Микальских высотах, была немедленно выведена с побережья в Сарды под командованием Артайнтеса, которого Масистас, брат Ксеркса, горько упрекал в трусости в связи с недавним поражением: В конце концов генерал был настолько взбешен повторением этих оскорблений, что выхватил свой циммер и зарубил бы Масистеса, если бы ему не помешал грек из Галикарнаса по имени Ксенагор,[403] которого Ксеркс награждал правительством Киликии. Ксеркс все еще находился в Сардах, где он оставался со времени своего возвращения и где он воспылил страстью к жене своего брата Масистека; последствия его страсти привели к тому, что эта несчастная женщина подверглась слишком трагическим страданиям, чтобы их можно было описать, по приказу его собственной царицы, ревливой и дикой Амекстриды.[404] Но у него не было свежей армии, готовой к отправке на побережье, так что греческие города даже на континенте были на время практически освобождены от персидского господства, а островные греки находились в еще более безопасном положении.

Командиры победоносного греческого флота были полностью уверены в своих силах защитить острова и охотно приняли хианцев, саамов, лесбийцев и других островитян, до сих пор подчинявшихся Персии, под защиту и взаимные обязательства своего союза. Можно предположить, что деспоты Стратис и Феоместор были изгнаны с Хиоса и Самоса.[405] Но пелопоннесские полководцы не решались гарантировать такую же надежную автономию континентальным городам, которые невозможно было удержать против великой внутренней державы без постоянных и изнурительных усилий. Тем не менее, не желая бросать континентальных ионийцев на произвол судьбы, они предложили переселить их в европейскую Грецию и освободить для них место, изгнав *медитирующих* греков из их морских городов. Но это предложение было сразу же отвергнуто афинянами, которые не хотели допустить, чтобы колонии, изначально основанные ими самими, были оставлены и тем самым ущемляли столичное достоинство Афин.[Лакедемоняне с готовностью согласились с этим возражением и были рады, по всей вероятности, найти почетные основания для отказа от плана массового лишения владений, который было очень трудно осуществить[407], но в то же время освободиться от обременительных обязательств по отношению к ионийцам и возложить на Афины либо бремя защиты, либо позор отказа от них. Таким образом, был сделан первый шаг, за которым, как мы вскоре увидим, последовали другие, для того чтобы дать Афинам отдельное превосходство и отдельные обязанности в отношении азиатских греков и ввести сначала Делосскую конфедерацию, а затем Афинскую морскую империю.

От берегов Ионии греческий флот отплыл на север к Геллеспонту, главным образом по просьбе афинян и с целью разрушить мост Ксеркса; поскольку их сведения были столь несовершенны, что они считали этот мост все еще прочным и проходным в сентябре 479 года до н. э., хотя он был сломан и бесполезен в то время, когда Ксеркс пересекал пролив при отступлении, примерно в ноябре 480 года до н. э.[408], хотя он был сломан и бесполезен в то время, когда Ксеркс пересекал пролив во время своего отступления, за десять месяцев до этого, около ноября 480 года до н. э.[408] Убедившись по прибытии в Абидос в разрушении моста, Леотихид и пелопоннессцы немедленно вернулись домой; но Ксантипп с афинской эскадрой решил остаться и изгнать персов из Фракийского Херсонеса. Этот полуостров в значительной степени был афинским владением в течение более чем сорока лет, от первого поселения старшего Мильтиадеса[409] до подавления восстания иоаннитов,

хотя в течение части этого времени был данником Персии: от бегства второго Мильтиадеса до изгнания Ксеркса из Греции (493-480 гг. до н. э.), период, в течение которого Ксеркс был изгнан из Греции. В период, когда персидский монарх был неудержим и полон ненависти к Афинам, ни один афинский гражданин не считал бы безопасным жить там. Но афинская эскадра из Микалеса, естественно, стремилась восстановить господство Афин и вернуть имущество афинских граждан в Херсонесе, - вероятно, многие из ведущих людей, особенно Кимон, сын Мильтиадеса, имели там обширные владения, чтобы вернуть их, как Алкивиад в последующие дни, с собственными крепостями.^[410] К этому мотиву нападения на Херсонес можно добавить еще один - важность его кукурузной продукции, а также свободный проход через Геллеспонт для судов с кукурузой из Пропонтиды в Афины и Эгину.^{[Таковы были причины, побудившие Ксантиппа и ведущих афинян, даже без сотрудничества с пелопоннесцами, предпринять осаду Сеста - сильнейшего места на полуострове, ключа пролива и центра, в котором собрались все соседние персидские гарнизоны из Кардии и других мест под командованием Умеобазуса и Артайктеса^[412].}

Греческие жители Херсонеса охотно присоединились к афинянам в изгнании персов, которые, застигнутые врасплох, были вынуждены броситься в Сест, не имея ни запасов провизии, ни средств для длительной обороны. Но из всех херсонеситов самыми решительными и раздраженными были жители Эллея - самого южного города полуострова, знаменитого своей гробницей, храмом и священной рощей героя Протесилая, который в троянской легенде фигурирует как самый первый воин из войска Агамемнона, выскочивший на берег, и как первая жертва копья Гектора. Храм Протесилая, примечательный на берегу моря,^[413] был местом поклонения и паломничества не только для жителей Эллеуса, но и для окрестных греков в целом, так как он был обогащен обильными жертвоприношениями и вероятными вкладами в обеспечение безопасности - деньгами, золотыми и серебряными блюдами, медной утварью, одеждами и различными другими подарками. Рассказывают, что когда Ксеркс шел через Геллеспонт в Грецию, Артайктес, жадный до всего этого богатства и понимая, что монарх не позволит опустошить святилище, обратился к нему с хитрой просьбой: "Господин, здесь находится дом грека, который, вторгшись на твою территорию, постигла справедливая кара и он погиб: Молю тебя, отдай мне его дом, чтобы люди научились на будущее не вторгаться в твою землю" - вся земля Азии рассматривалась персидскими монархами как их законное владение, а Протесилай был в этом смысле агрессором против них. Ксеркс, истолковав просьбу буквально и не потрудившись спросить, кто этот захватчик, дал согласие, после чего Артайктес, пока армия шла вперед в Грецию, разграбил священную рощу Протесилая, унеся все сокровища в Сест. Он не удовлетворился и тем, что еще больше оскорбил чувства греков: он загнал в рощу скот, распахал и засеял ее и даже, как говорят, осквернил святилище, посещая его со своими наложницами.^[414] Таких действий было более чем достаточно, чтобы вызвать сильнейшую антипатию к нему среди херсонесских греков, которые теперь толпами шли на подкрепление афинянам и блокировали его в Сестусе. После некоторой продолжительности осады запасы провизии в городе истощились, и голод начал давать о себе знать среди гарнизона, который, тем не менее, держался, мучительно меняясь и терпя, до поздней осени, когда терпение даже афинских осаждающих было почти исчерпано; не без труда вожди подавили шумное желание вернуться в Афины, проявившееся в их собственном лагере.

Успокоив нетерпение и сохранив единство моряков, осада продолжалась, не ослабевая, и вскоре лишения гарнизона стали невыносимыми, так что Артайктес и Сеобазус наконец были вынуждены бежать тайком, спустившись с несколькими последователями со стены в том месте, где она была слабо заблокирована. Сеобазус нашел дорогу во Фракию, где, однако, был взят в плен абсинтийскими туземцами и принесен в жертву их богу Плейстору: Артайктес

бежал на север вдоль берегов Геллеспонта, но был преследуем греками и после упорного сопротивления попал в плен у Игос Потамоса. Вместе с сыном он был доставлен в цепях в Сестус, который сразу после его ухода был с радостью сдан его жителями афинянам. Напрасно он предложил сто талантов в качестве компенсации в казну Протесилая и еще двести талантов афинянам в качестве личного выкупа за себя и своего сына. Гнев, вызванный его оскорблениями священной земли, был настолько силен, что и афинский полководец Ксантипп, и жители Эллеи не желали ничего иного, кроме сурового и даже жестокого личного искупления оскорбленного Протесилая. Артайктеса, после того как он на своих глазах увидел, как его сына забили камнями до смерти, подвесили к закрепленной для этой цели высокой доске и оставили умирать на том месте, где был установлен мост Ксеркса.^[415] В этой процедуре есть что-то скорее восточное, чем греческое: не в греческом характере усугублять смерть искусственными и затяжными прелюдиями.

После взятия Сеста афинский флот вернулся домой с добычей к началу зимы, не забыв прихватить с собой огромные тросы моста Ксеркса, которые были взяты в городе в качестве трофея, украшающего афинский акрополь^[416].

ГЛАВА XLIII.

СОБЫТИЯ НА СИЦИЛИИ ВПЛОТЬ ДО ИЗГНАНИЯ ДИНАСТИИ ГЕЛОНОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ НА ВСЕМ ОСТРОВЕ.

В третьем томе этой истории я уже упоминал об основании греческих колоний в Италии и Сицилии, а также о том, что в шестом веке до христианской эры они были одними из самых могущественных и процветающих городов, носивших эллинское имя. Помимо этого общего факта, мы получаем мало сведений об их истории.

Хотя Сиракузы, после того как они попали в руки Гело, около 485 года до н. э., стали самым могущественным городом Сицилии, в предыдущем веке Гела и Агригентум, расположенные на южной стороне острова, были его начальниками. Последний через несколько лет после основания попал под власть одного из своих граждан по имени Фаларис, деспота энергичного, воинственного и жестокого. Изгнанник из Астипалеи близ Родоса, но богатый человек, рано поселившийся в Агригентуме, он сумел сделать себя деспотом, кажется, около 570 года до нашей эры. Он был назначен на одну из главных должностей в городе и, взяв на свои средства возведение храма Зевсу Полиею на акрополе (как афинские Алкмаэониды восстановили сожженный храм в Дельфах), получил разрешение под этим предлогом собрать там значительное число людей; которых он вооружил и, воспользовавшись случаем праздника Дкеметра, обратил их против народа. Говорят, что он совершил множество завоеваний мелких сиканских общин по соседству, но вымогательства и жестокость по отношению к собственным подданным являются его самой выдающейся характеристикой, а его медный бык остался в нетленной памяти. Этот механизм был полым и достаточно вместительным, чтобы содержать одну или несколько жертв, заключенных внутри него, чтобы погибнуть в пытках при нагревании металла: крики этих страдающих пленников выдавались за рев животного. Художника звали Периллус, и, как говорят, по приказу деспота он сам был первым, кого в ней сожгли. Несмотря на постигшую его одиозность, Фаларис

оставался деспотом в течение шестнадцати лет; в конце этого периода всеобщее восстание народа, возглавляемое вождем по имени Телемах, положило конец его правлению и его жизни.[417] Стал ли Телемах деспотом или нет, мы не знаем: через шестьдесят лет после этого мы найдем его потомка Ферона, утвердившегося на этом посту.

Именно в период смерти Фалариса сиракузяне отвоевали восставшую колонию Камарину (на юго-востоке острова между Сиракузами и Гелой), изгнали или раскулачили жителей и вернули себе территорию.[418] За исключением этого случайного обстоятельства, мы не имеем сведений о сицилийских городах до времени скорее до 500 г. до н.э., именно тогда, когда война между Кротонем и Сибарисом уничтожила власть последнего и когда деспотизм Пеисистратидов в Афинах сменился демократической конституцией Клейстенеса. Первые формы правления среди сицилийских греков, как и среди городов Греции в начале исторического периода, были, по-видимому, олигархическими: Мы не знаем, в каких именно модификациях, но, вероятно, все они более или менее напоминали сиракузскую, где гаморы - или богатые собственники, происходящие от первоначальных вождей-колонизаторов, - владеющие большими земельными владениями, титулованные многочисленным сикельским крепостным населением, называемым киллириями, составляли квалифицированных граждан, из которых, а также посредством которых выбирались магистраты и генералы; В то время как демос, или непривилегированные свободные люди, состоял из мелких собственников-земледельцев, которые содержали себя ручным трудом и без рабов, за счет своих собственных земель или садов, а также ремесленников и торговцев. В течение двух-трех поколений многие представители привилегированного сословия впадали в нищету и оказывались почти на одном уровне с непривилегированными; в то время как те из них, кто мог возвыситься до богатства, по этой причине не принимались в привилегированное сословие. Материалов для недовольства было предостаточно: честолюбивые вожди, часто сами принадлежавшие к привилегированному сословию, встали во главе народной оппозиции, свергли олигархию и сделали деспотами; демократия в то время почти не была известна нигде в Греции. Общий факт этой перемены, которой предшествовали периодические жестокие расколы среди привилегированного класса,[419] - это все, что нам позволено знать, без тех изменяющих обстоятельств, которыми она должна была сопровождаться в каждом отдельном городе. К 500 году до н. э. или ближе к нему, мы находим Анаксилая деспотом в Регио, Скифа в Занкле, Трилла в Гимере, Пейтагора в Селине, Клеандра в Геле и Панэтия в Леонтинах.[420] Это было около 509 года до н.э. спартанский принц Дорией направил группу эмигрантов в Эрикс и Эгесту, расположенные в северо-западном углу острова, в надежде изгнать незеллинских жителей и основать новую греческую колонию. Но карфагеняне, чьи сицилийские владения находились в непосредственной близости и которые уже помогли изгнать Дориея из его прежнего поселения в Кинипсе в Ливии, оказали эгестейцам такую энергичную помощь, что спартанский принц после короткого периода процветания был разбит и убит с большинством своих спутников: Те из них, кто спасся, по приказу Эврилеона овладели Миной, которая отныне носила название Гераклея[421] - колония и зависимость от соседнего города Селина, деспотом которого в то время был Пейтагор. Эврилеон присоединился к недовольным в Селине, сверг Пейтагора и утвердился в роли деспота, но после недолгого пребывания у власти был убит во время народного мятежа[422].

Здесь мы знакомимся с первым известным примером той серии столкновений между финикийцами и греками на Сицилии, которым, как и борьбе между сарацинами и норманнами в одиннадцатом и двенадцатом веках после христианской эры, суждено было определить, будет ли остров частью Африки или частью Европы, - и которые закончились лишь по прошествии трех веков поглощением обоих в обширном лоне Рима. Похоже, что

карфагеняне и эгестейцы не только одолели Дорию, но и захватили соседние греческие владения, которые впоследствии были возвращены Гелоном Сиракузским[423].

Вскоре после смерти Дориея Клеандр, деспот Гелы, начал возвышать свой город над другими сицилийскими греками, которые до сих пор были если не все равны, то, по крайней мере, все независимы. Его мощный отряд наемников, частично собранный среди сикельских племен,[424] не уберег его от меча гелонского гражданина по имени Сабилл, который убил его после семилетнего правления: но он позволил его брату и преемнику Гиппократесу распространить свое господство почти на половину острова. В этом наемном отряде особенно отличились два офицера, Гело и Энесидокм (последний - гражданин Агригентума, из знатного рода Эмменидов, происходивший от Телемаха, низложенного Фаларисом). Гело происходил от уроженца Телоса у Триопского мыса, одного из первопоселенцев, сопровождавших родосского Антифема на Сицилию. Его ближайший предок по имени Телинес впервые возвысил семью, оказав неоценимую помощь потерпевшей поражение политической партии, которая была вынуждена искать убежища в соседнем городе Макториуме. Телинес владел некоторыми особыми священными обрядами (или видимыми и переносными священными символами, с привилегированным знанием церемониальных действий и формальностей богослужения, при которых они должны были демонстрироваться) для умиловления подземных богинь, Деметры и Персефонки; "от кого он их получил или как он сам их добыл (говорит Геродот), я не могу сказать:", но так впечатляюще действовали его присутствие и манера их демонстрировать, что он решился войти в Гелу во главе изгнанников из Макториума и смог восстановить их власть, - останавливая народ от сопротивления так же, как афиняне были потрясены зрелищем Фика-Атхенка в колеснице вместе с Пейсистратом. Необычайная смелость этого поступка вызывает восхищение Геродота, тем более что ему сообщили, что Телинес отличался невоинственным нравом: восстановленные изгнанники вознаградили его, предоставив ему и его потомкам наследственное достоинство иерофантов двух богинь[425] - должность, безусловно, почетная и, вероятно, прибыльная, связанная с управлением освященным имуществом и пользованием значительной частью его плодов.

Таким образом, Гело принадлежал к древнему и знатному иерофантическому роду в Геле, будучи старшим из четырех братьев, сыновей Дейномена, - Гело, Иеро, Полицела и Фрасибула; он еще более возвысился благодаря личным подвигам в армии деспота Гиппократеса, получив должность верховного командира кавалерии. Именно его деятельности деспот был обязан чередой побед и завоеваний, в ходе которых ионические или халкидские города Каллиполис, Наксос, Леонтины и Занкл были последовательно поставлены в зависимость[426].

Судьба Занкла, который, казалось бы, находился под властью деспота Скифа, в состоянии зависимого союза с Гиппократом и в постоянной вражде с Анаксилаем из Регия, расположенного на противоположном берегу Мессинского пролива, была весьма примечательной. В то время, когда восстание ионийцев в Азии было подавлено, а Милет вновь завоеван персами (494-493 гг. до н. э.), ионийские греки в Сицилии проявили естественное сочувствие к страдальцам той же расы на востоке Эгейского моря. Были разработаны проекты по оказанию помощи азиатским беженцам на новом месте жительства, и особенно занклеанцы пригласили их образовать новую пан-ионическую колонию на территории сикелов, называемой Калк Акте, на северном побережье Сицилии, - побережье, представляющее собой плодородную и привлекательную местность, вдоль всей линии которого существовала только одна греческая колония - Гимера. Это приглашение было принято беженцами из Самоса и Милета, которые, соответственно, сели на корабли и

отправились в Занкл; как обычно, они направились вдоль побережья Акарнании в Коркиру, оттуда в Тарентум и вдоль италийского побережья к Мессинскому проливу. Случилось так, что когда они достигли эпизефирийского города Локри, Скифес, деспот Занкла, вместе с большей частью своих военных сил отсутствовал в своем городе, отправившись в экспедицию против сикелов, - возможно, для того, чтобы облегчить задуманную колонию в Калк-Акте; и его враг региец Анаксилай, воспользовавшись этим случаем, предложил беженцам в Локри захватить для себя и удержать неохраняемый город Занкл. Они последовали его предложению и овладели городом вместе с семьями и имуществом отсутствующих занклеяцев; те быстро вернулись, чтобы возместить потери, а их принц Скифес обратился за мощной помощью к своему союзнику и начальнику Гиппократесу. Последний, однако, спровоцированный потерей одного из зависимых от него городов, захватил и заточил Скифеса, которого считал причиной этого, [427] в Иникусе, в глубине острова; в то же время он счел выгодным принять предложение, сделанное ему саамийцами, захватившими город, и предать занклеанцев, которым он пришел на помощь. По договору, подтвержденному клятвой, было решено, что Гиппократес получит все имущество и рабов, принадлежащие занклеанцам, а вторую половину оставит саамийцам. Среди имущества, находившегося за стенами, не последнюю роль играли люди тех занклеанцев, которым Гиппократес пришел на помощь, но которых он теперь увел в рабство, за исключением трехсот главных граждан, которых он отдал на заклятие саамийцам, вероятно, чтобы они не нашли друзей для получения выкупа и не нарушили саамийского владения городом. Однако саамитяне пощадили их жизни, хотя мы не знаем, что с ними стало. Эта сделка, одинаково вероломная как со стороны саамитян, так и со стороны Гиппократеса, обеспечила первым процветающий город, а вторым - обильную добычу. Мы рады узнать, что заключенный в тюрьму Скифес нашел возможность бежать к персидскому царю Дарию, от которого он получил щедрый приют - идеальную компенсацию за беззаконие своих соотечественников-греков. [428] Самиане, однако, недолго владели своим завоеванием, но были изгнаны тем самым сыном, который подстрекал их к захвату города, - Анаксилаем из Регики. Он поселил в нем новых жителей, дорийцев и мессенцев, вновь заселив его под названием Мессен, - имя, которое он носил впоследствии; [429] и, похоже, управлялся либо им самим, либо его сыном Клеофроном, до его смерти около 476 г. до н. э.

Помимо вышеупомянутых завоеваний, Гиппократ из Гелы собирался сделать еще более важное приобретение - Сиракузы, и ему помешало сделать это, после победы над сиракузянами у реки Гелорус и захвата большого количества пленных, посредничество коринфян и коркирян, которые убедили его удовлетвориться передачей Камарины и ее территории в качестве выкупа. Повторно заселив эту территорию, которая таким образом была присоединена к Геле, он продолжал свои завоевания среди сикелов, когда умер или был убит в Гибле. Его смерть вызвала мятеж среди гелойцев, которые отказались признать его сыновей и попытались вернуть себе свободу; но Гело, конный генерал в армии, энергично поддержав дело сыновей, силой подавил сопротивление народа. Как только это было сделано, он сбросил маску, свергнул сыновей Гиппократа и сам завладел скипетром [430].

Овладев Гелой и, вероятно, унаследовав от своего предшественника власть над ионическими городами, Гело стал самым могущественным человеком на острове; но случай, произошедший через несколько лет после этого (485 г. до н. э.), еще больше возвысил его, перенес место его власти из Гелы в Сиракузы. Сиракузские гаморы, или олигархический орден собственников, вероятно, униженные поражением при Гелорусе, были лишены власти в результате комбинации между их крепостными-земледельцами, называемыми киллириями, и более мелкими свободными людьми, называемыми демосами; они были

вынуждены удалиться в Касменес, где обратились за помощью к Гело, чтобы восстановить их. Этот честолюбивый принц взялся за дело и выполнил его с легкостью; сиракузяне, вероятно, неспособные противостоять своим политическим противникам при такой мощной иностранной поддержке, сдались ему без единого удара.^[431] Но вместо того чтобы вернуть город прежней олигархии, Гело присвоил его себе, а Гелу оставил под управлением своего брата Гиеро. Он значительно расширил город Сиракузы и укрепил его укрепления: вероятно, именно он первым вывел его за пределы островка Ортыгия, чтобы включить в него большую площадь прилегающего материка (или, скорее, острова Сицилии), носившего название Ахрадина. На это расширенное пространство он перевел всех жителей Камарины, которую он разобрал, и более половины жителей Гелы, которая таким образом уменьшилась в своем значении, в то время как Сиракузы стали первым городом Сицилии и даже получили новое пополнение жителей из соседних городов Мегары и Эвбеи. Оба эти города, как и Сиракузы, управлялись олигархией, от которой зависели крепостные крестьяне, а также демонами, или меньшим числом свободных людей, лишенных политических прав: оба были вовлечены в войну с Гелоном, вероятно, чтобы противостоять его посягательствам, - оба были осаждены и взяты. Олигархия, управлявшая этими городами и являвшаяся автором и руководителем года, ожидала только разорения от рук завоевателя; в то время как демос, с которым не советовались и который не принимал никакого участия в войне (которая, как мы должны предположить, велась только олигархией и их крепостными), был уверен, что им не будет причинен вред. Его поведение разочаровало ожидания обоих. Переправив обоих в Сиракузы, он утвердил в этом городе олигархов в качестве граждан, а демосцев продал в рабство, взяв с них обязательство вывезти их из Сицилии. "Его поведение (говорит Геродот^[432]) было продиктовано убеждением, что демос - самый хлопотный спутник жизни". Судя по всему, общество, которое он хотел установить, состояло из патрициев и клиентов, без плебса; что-то вроде фессалийского, где в городах жила собственническая олигархия, а пенесты, или зависимые земледельцы, занимали и обрабатывали землю за их счет, - но не было мелких самостоятельных собственников или торговцев в достаточном количестве, чтобы сформировать признанный класс. А поскольку Гело удалял свободное население из завоеванных городов, не оставляя в них и вокруг них никого, кроме крепостных-земледельцев, мы можем предположить, что олигархические собственники, будучи удалены, могли продолжать, даже как жители Сиракуз, получать продукты, собранные для них другими: но мелкие самостоятельные собственники, если бы их удалили подобным образом, были бы лишены средств к существованию, поскольку их земля была бы слишком удалена для личной обработки, и у них не было крепостных. Поэтому мы полностью верим Геродоту, что Гело рассматривал мелких свободных собственников как "хлопотных товарищей по игу" - чувство, совершенно естественное для греческого деспота, если только он не находил их полезными помощниками в своих амбициях против враждебной олигархии, - и должны добавить, что они стали бы особенно хлопотными в его плане концентрации свободного населения Сиракуз, поскольку ему пришлось бы наделить их землей по соседству или обеспечить их содержание каким-либо другим способом.

Столь значительное присоединение по размерам, стенам и населению сделало Сиракузы первым греческим городом на Сицилии. А власть Гело, охватывавшая не только Сиракузы, но и значительную часть остальной части острова, как греческую, так и сикельскую, была самой большой эллинской силой, существовавшей в то время. В него входили греческие города на востоке и юго-востоке острова от границ Агригентума до границ Занкла или Мессены, а также немалая часть сикельских племен. Мессенка находилась под властью Анаксилая из Регия, Агригентум - под властью Теро, сына Энесида, Гимера - под властью Терилла; Селин же, расположенный недалеко от границ Эгесты и карфагенских владений, имел свое собственное правительство, свободное или деспотическое, но, по-видимому, был

в союзе с Карфагеном или зависел от него.[433] Такое обширное владение, несомненно, обеспечивало достаточную дань; кроме того, Гело, покорив и лишив многих землевладельцев и вновь заселив Сиракузы, мог легко предоставить земли и гражданство для вознаграждения приверженцев. Таким образом, он смог значительно увеличить военную силу, переданную ему Гиппократом, и сформировать военно-морской флот. Меналиец Формис[434], который служил под его началом и стал гражданином Сиракуз, имея достаточно состояния, чтобы посылать пожертвования в Олимпию, и Агесий, иамидский пророк из Стимфала[435], - несомненно, не единственные примеры эмигрантов, присоединившихся к нему из Аркадии; Ведь аркадцы были бедны, храбры и готовы к наемной службе; не приходится сомневаться, что служба у греческого деспота в Сицилии была для них более привлекательной, чем у Ксеркса.[Более того, в течение десяти лет между битвами при Марафоне и Саламине, когда не только большая часть греческих городов перешла под власть Персии, но и перспектива персидского вторжения нависла, как туча, над самой Грецией, возросшее чувство незащищенности в последней, вероятно, сделало эмиграцию в Сицилию необычайно привлекательной.

Эти обстоятельства отчасти объясняют ту огромную власть и положение, которыми, по словам Геродота, пользовался Гело осенью 481 года до н. э., когда греки с Коринфского перешейка, объединившись для сопротивления Ксерксу, послали просить его о помощи. Он был тогда императорским вождем Сицилии: он мог предложить грекам - так говорит нам историк - двадцать тысяч гоплитов, двести трирем, две тысячи конницы, две тысячи лучников, две тысячи пращников, две тысячи легковооруженных лошадей, а также снабдить провизией все греческое войско, пока длилась бы война.[437] Если этому численному показателю можно доверять, во что я не верю, то Геродот был бы очень прав, говоря, что не было другой эллинской державы, которая могла бы выдержать хоть какое-то сравнение с Гелой:[438] и мы вполне можем предположить, что такое общее превосходство в значительной степени верно, хотя вышеупомянутые цифры могут быть скорее пустым хвастовством, чем реальностью.

Благодаря огромной силе Гело мы впервые прослеживаем зарождающуюся на Сицилии тенденцию к объединенным и централизованным операциям. Оказывается, Гело разработал план объединения греческих сил в Сицилии с целью полного или частичного изгнания карфагенян и эгестейцев из их морских владений в западном углу острова и отмщения за смерть спартанского принца Дориея; - что он даже пытался, хотя и тщетно, склонить спартанцев и других центральных греков к сотрудничеству в этом плане, - и что, после их отказа, он частично выполнил его с помощью одних только сицилийских сил.[439] У нас нет ничего, кроме краткого и смутного упоминания об этом подвиге, где Гело предстает как вождь и защитник интересов эллинов против варваров в Сицилии - предтеча Дионисия, Тимолеона и Агатоклеса. Но он уже начал осознавать себя и был признан другими в этом главенствующем положении, когда посланники Спарты, Афин, Коринфа и т. д. прибыли к нему с Коринфского перешейка в 481 году до н. э., чтобы просить его о помощи в отражении огромного войска захватчиков, готовых пересечь Геллеспонт. Гело, напомнив им, что они уже отказали ему в подобной просьбе о помощи, сказал, что, не желая в трудный час отплатить им тем же, что и раньше, он приведет им подавляющее подкрепление (цифры, приведенные Геродотом, уже были указаны), но только при одном условии - если он будет признан генералиссимусом всех греческих сил против персов. Спартанский посланник с возмущенным презрением отверг его предложение, и тогда Гело уступил в своих требованиях, довольствуясь командованием либо сухопутными, либо морскими силами, в зависимости от того, что будет сочтено предпочтительнее. Но тут афинский посланник заявил свой протест: "Мы посланы сюда (сказал он) просить войско, а не полководца; а ты

даешь нам войско только для того, чтобы сделать себя полководцем. Знай, что даже если бы спартанцы позволили тебе командовать на море, *мы бы* этого не сделали. Мы, афиняне, древнейший народ Греции, единственные греки, которые никогда не уходили из дома, чей предводитель перед Троей провозглашен Гомером лучшим из всех греков по умению собирать и поддерживать порядок в войске, мы, к тому же составляющие самый большой контингент флота, никогда не согласимся, чтобы нами командовал сиракузанин".

"Афинский чужеземец (ответил Гело), ты, кажется, обеспечен командирами, но вряд ли у тебя есть солдаты, которыми можно командовать. Ты можешь вернуться, как только пожелаешь, и сказать грекам, что их год лишен весны"[440].

То, что посланники были отправлены из Пелопоннеса просить помощи у Гелона против Ксеркса и что они просили напрасно, не вызывает сомнений: но причина отказа - противоречивые претензии на верховное командование - может быть заподозрена в том, что она возникла не столько из исторической передачи, сколько из представлений историка или его информаторов об отношениях между сторонами. В его время Спарта, Афины и Сиракузы были тремя великими имперскими городами Греции, и его сицилийские свидетели, гордившиеся великим прошлым могуществом Гелона, вполне могли приписать ему то соперничество за главенство и командование, которое Геродот драматизировал. Огромные силы, которые обещает Гело, становятся еще более невероятными, если вспомнить, что у него была другая, более веская причина для полного отказа от помощи. На него напали дома, и он был полностью занят обороной.

Той же весной, которая привела Ксеркса через Геллеспонт в Грецию, произошло грозное вторжение карфагенян в Сицилию. Гело, как уже говорилось выше, вел против них войну и добился успехов, которые они, естественно, стремились вернуть при первой же возможности. Обширное персидское вторжение в Грецию, организованное за три года до этого и привлечшее контингенты не только со всего восточного мира, но особенно из их собственных братьев-митрополитов в Тире и Сидоне, было вполне рассчитано на их поощрение: и есть все основания полагать, что одновременное нападение на греков в Пелопоннесе и на Сицилии было согласовано между карфагенянами и Ксерксом,[441]- возможно, фенианцами от имени Ксеркса. Тем не менее, этот союз не исключает других сопутствующих обстоятельств во внутренних районах острова, которые снабжали карфагенян как приглашениями, так и помощью. Агригентум, хотя и не находился под властью Гело, управлялся его другом и родственником Теро: в то время как Регий и Мессен под управлением Анаксилая, Гимера под управлением его тестя Терилла и Селина, похоже, составляли противоборствующее меньшинство среди сицилийских греков; они расходились с Гело и Теро, но были в дружбе и переписке с Карфагеном.[442] Это было, кажется, около 481 года до н. э., когда Теро, возможно, по приглашению гимерийцев, изгнал из Гимеры деспота Терилла и овладел городом. Терилл обратился за помощью в Карфаген, поддержанный своим зятем Анаксилаем, который так горячо поддержал ссору, что даже отдал своих детей в заложники карфагенскому суффесу, или генералу, личному другу или гостю Терилла, Гамилькару. Просьба была удовлетворена, и Гамилькар, прибыв в Панорм в богатом событиях 480 году до н. э. с флотом из трех тысяч военных кораблей и еще большим количеством судов для хранения запасов, высадил сухопутное войско из трехсот тысяч человек, которое было бы еще больше, если бы суда с конницей и колесницами не были рассеяны бурей. 443] Эти цифры мы можем только повторить, как мы их находим, не доверяя им дальше, чем в качестве доказательства того, что вооружение было в самом широком масштабе. Однако сведения о различных народах, из которых, по словам Геродота, состояла сухопутная армия, заслуживают доверия и любопытны: в нее входили феники,

ливийцы, иберийцы, лигийцы, гелиски, сардинцы и корсиканцы[444]. Это первый известный нам пример тех многочисленных наемных армий, которые карфагенская политика составляла из разных по расе и языку народов[445], чтобы избежать заговора или мятежа против генерала. Высадившись в Панорме, Гамилькара направился к Гимере, вытащил свои суда на берег под прикрытием вала и осадил город, а гимерцы, подкрепленные Теро и армией Агригентума, упорно оборонялись и даже замуровали ворота. Были отправлены срочные послания с просьбой о помощи к Гело, который собрал все свои силы, насчитывавшие, по слухам, пятьдесят тысяч пеших и пять тысяч конных, и отправился в Гимеру. Его прибытие восстановило мужество жителей, и после нескольких частичных стычек, которые оказались на руку грекам, произошло генеральное сражение. Оно было упорным и кровопролитным, длилось с восхода солнца до позднего полудня; его успех был в основном предопределен перехваченным письмом, попавшим в руки Гело, - сообщением от Селинунтинов к Гамилькару, в котором они обещали прислать ему на помощь конный отряд и сообщали время, когда они придут. Часть коней Гело, которым было поручено олицетворять это подкрепление от Селинунта, была принята в лагере Гамилькара, где они посеяли смуту и беспорядок, и даже, как говорят, убили генерала и подожгли корабли: в то время как греческая армия, приведённая в действие в этот подходящий момент, в конце концов смогла одержать победу как над превосходящей численностью, так и над решительным сопротивлением. Если верить Диодору, на стороне карфагенян было убито сто пятьдесят тысяч человек; остальные бежали частично в Сиканийские горы, где попали в плен к агригенам, частично на холмистую местность, где из-за недостатка воды были вынуждены сдаться по собственному желанию: только двадцать кораблей спаслись с несколькими беглецами, и эти двадцать были уничтожены бурей во время перехода, так что только одно небольшое судно прибыло в Карфаген с катастрофической вестью.[446] Отбросив эти необоснованные преувеличения, мы можем лишь смело утверждать, что битва была ожесточенной, победа полной, а убитые и пленные - многочисленными. Тело Гамилькара так и не было найдено, несмотря на тщательные поиски по приказу Гело: карфагеняне утверждали, что, как только поражение его армии стало непоправимым, он бросился в большой жертвенный костер, где приносили целые жертвы (обычная жертва состояла лишь из небольшой части животного),[447] чтобы умиловать богов, и там был сожжен. Карфагеняне воздвигли ему погребальные памятники, украшенные периодическими жертвоприношениями, как в Карфагене, так и в их главных колониях:[448] на самом поле битвы греки также воздвигли ему памятник. На этом памятнике семьдесят лет спустя его победоносный внук, только что разграбивший этот же город Гимеру, принес в кровавую жертву три тысячи греческих пленников[449].

Можно предположить, что Анаксилай с регийскими войсками участвовал в поражении вызванного им иноземного захватчика, а также, вероятно, и другие греки. Все они теперь были вынуждены просить мира у Гелона и добиваться привилегии быть зачисленными в число его зависимых союзников, которая была им предоставлена без каких-либо более жестких условий, чем дань, вероятно, связанная с этими отношениями.[Даже сами карфагеняне были настолько запуганы поражением, что отправили посланников просить мира в Сиракузы, который, как говорят, они получили в основном благодаря уговорам Дамаретки, жены Гело, при условии выплаты двух тысяч талантов для покрытия расходов на войну и возведения двух храмов, в которых должны были быть навсегда записаны условия договора.[Если верить утверждению Теофраста, Гело потребовал от карфагенян условия, что они в будущем воздержатся от человеческих жертвоприношений в своем религиозном культе:[452] но такое вмешательство в чужие религиозные обряды было бы беспримерным в ту эпоху, и мы знаем, более того, что эта практика не была окончательно прекращена в Карфагене.[453] Действительно, мы можем обоснованно подозревать, что Диодор, копируя у

таких авторов, как Эфор и Тимей, много времени спустя после событий, значительно преувеличил поражение, унижение и позор карфагенян. Ведь слова поэта Пиндара, сказанные через несколько лет после битвы при Гимере, представляют новое карфагенское вторжение как предмет нынешнего беспокойства и тревоги:[454] а карфагенский флот оказывается вовлеченным в агрессивную войну у берегов Италии, требуя принуждения со стороны брата и преемника Гелона.

Победа при Гимере обеспечила сицилийским городам иммунитет от внешней войны и богатую добычу. В храмах Гимеры, Сиракуз и Дельф были совершены великолепные благодарственные жертвоприношения богам, а в эпиграмме Симонида,[455] составленной для треножника, поставленного в последнем храме, Гело вместе со своими тремя братьями Иеро, Полисеклом и Фрасибулом назван совместным освободителем Греции от варваров, наряду с победителями Саламины и Платеи. А сицилийцы утверждали, что он уже собирался послать грекам подкрепление против Ксеркса, несмотря на необходимость подчиниться спартанскому командованию, когда до него дошли сведения о поражении и отступлении этого принца. Но мы находим другое утверждение, гораздо более вероятное, - что он отправил в Дельфы конфиденциального посланника по имени Кадмус с приказом следить за ходом вторжения Ксеркса и в случае его успеха (как он считал, вероятно, и будет) преподнести подарки и подчиниться победоносному захватчику от имени Сиракуз.[456] Если учесть, что до самого утра битвы при Саламине дело греческой независимости должно было казаться беспристрастному зрителю почти отчаянным, мы не можем удивляться, что Гело принял меры предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение персов к Сицилии, которая и так была в достаточной степени подвержена опасности со стороны своих грозных врагов в Африке. Поражение персов при Саламине и карфагенян при Гимере внезапно и неожиданно рассеяло грозную тучу как над Грецией, так и над Сицилией, и оставило небосвод, сравнительно блестящий от благополучных надежд.

Победоносную армию Гелона ждало множество добычи, которую можно было как отдать, так и раздать: наиболее ценной частью добычи были многочисленные пленные, которых разделили между городами пропорционально количеству войск, предоставленных каждым из них. Наибольшая доля, конечно, досталась Сиракузам и Агригентуму, а число пленных, доставшихся последнему, еще более увеличилось за счет отдельного захвата тех, кто рассеялся по горам на территории Агригенты и вблизи нее. Все сицилийские города, союзные или зависимые от Гело, но особенно два последних, получили таким образом в общественное владение некоторое количество рабов, которых держали в цепях для работы[457] и либо использовали на государственных предприятиях для защиты, украшения и религиозных торжеств, либо отдавали частным хозяевам, чтобы те приносили доход государству. Количество государственных рабов в Агригентуме было столь велико, что, хотя многие из них были заняты на государственных работах, которые возвысили город до величественного состояния в течение семидесяти лет, прошедших с момента недавней битвы до его последующего захвата карфагенянами, тем не менее, оставалось большое количество, которое можно было сдать частным лицам, некоторые из которых имели не менее пятисот рабов[458].

По заключенному миру Гело остался хозяином Сиракуз и Гелы с халкидскими греческими городами на востоке острова, в то время как Тиро правил в Агригентуме, а его сын Фрасидей - в Гимере. По власти и репутации Гело был бесспорно главным человеком на острове; кроме того, он был связан брачными узами и жил в непрерывной дружбе с Тиро. Его поведение как в Сиракузах, так и по отношению к зависимым от него городам было мягким и примирительным. Но его дальнейшая карьера была очень короткой: он умер от водянки не

более чем через год после битвы при Гимере, когда слава того дня была еще свежа в памяти каждого. Поскольку сиракузский закон строго запрещал дорогие похороны, Гело приказал, чтобы его собственные похороны проходили в строгом соответствии с законом: тем не менее, решение его преемника, а также привязанность народа не подчинились этим приказам. Огромная масса граждан последовала за его похоронной процессией из города в поместье его жены, расположенное в пятнадцати милях от города: на этом месте были воздвигнуты девять массивных башен, и ему были оказаны торжественные почести, присущие героическому поклонению. Уважительные воспоминания о завоевателе Гимеры никогда не угасали среди сиракузян, хотя его гробница была изуродована сначала карфагенянами, а затем деспотом Агатоклесом.^[459] А если вспомнить разрушительные последствия последующих карфагенских нашествий, то становится ясно, насколько велик был долг благодарности современников перед Гело.

Не только как завоевателя Гимеры, но и как своего рода второго основателя Сиракуз^[460], Гело торжественно почитали. При нем значительно увеличились размеры, сила и население города. Помимо новых жителей, которых он привел из Гелы, гиблесской Мегары и сицилийской Эвбеи, нам сообщают, что он записал в число горожан не менее десяти тысяч наемных солдат. Кроме того, оказывается, что эти новоиспеченные граждане владели островком Ортигия и прилегающей к нему частью города, носящей название Ахрадина,^[461] - внутренними крепостями Сиракуз. На сайте уже говорилось, что Ортигия была первоначальным поселением, и что город не выходил за границы островка до расширения Гелона. Мы не знаем, каким образом Гело обеспечил новыми землями столь большое число новоприбывших; но когда мы узнаем, с какой антипатией относились к ним оставшиеся граждане, мы будем склонны считать, что старые граждане были лишены собственности и деградировали.

Гело оставил сына в нежном возрасте, но его власть перешла, по его собственному распоряжению, к двум его братьям, Полизеклу и Иеро; первый из них женился на вдове умершего принца и был назначен, согласно его завещанию, командующим военными силами, в то время как Иеро должен был наслаждаться управлением городом. Однако, каковы бы ни были желания Гело, реальная власть перешла к Иеро, человеку энергичному и решительному, щедрому покровителю современных поэтов, Пиндара, Симонида, Вакхилида, Эпихарма, Эсхила и других; но жертве болезненных внутренних жалоб, ревнивому в своем нраве, жестокому и хищному в управлении,^[462] и отмеченному как организатор систематического шпионажа, который уничтожил всякую свободу слова среди его подданных. Особенно завидуя своему брату Полизеклу, который был очень популярен в городе, он послал его в военный поход против кротониатов, чтобы косвенно добиться его гибели; но Полизекл, поняв, что его подстерегают, бежал в Агригентум и искал защиты у своего шурина, деспота Терона; от него Иеро потребовал повторного требования и, получив отказ, приготовился привести его в исполнение оружием. Он уже продвинулся в своем походе до реки Гелы, но никакого сражения, по-видимому, не произошло: интересно услышать, что поэт Симонидес, которого оба князя почитали и награждали, был посредником в заключении мира между ними^[463].

Временный разрыв и внезапное примирение этих двух могущественных деспотов стали причиной печали и разорения в Гимере. Этот город, находившийся под властью агригена Фера, управлялся его сыном Фрасидеем - юношей, чье деспотичное поведение быстро вызвало сильнейшую антипатию. Гимерийцы, зная, что у них мало шансов на возмещение ущерба от Тера против его сына, воспользовались ссорой между ним и Гиеро, чтобы сделать последнему предложение и попросить его помощи в изгнании Фрасидея, предлагая себя в

качестве подданных Сиракуз. Похоже, что Капис и Гиппократес, двоюродные братья Теро, но враждовавшие с ним, а также претенденты на покровительство Иеро, были причастны к этому плану по отторжению Гимеры от власти Теро. Но как только был заключен мир, Иеро предал Теро и планы, и недовольных в Гимере. Как нам кажется, Капис и Гиппократес собрали силы для сопротивления Теро, но были разбиты им у реки Гимеры:[464] после победы он захватил и предал смерти большое число гимерийских граждан. Число убитых было столь велико, да к тому же еще и те, кто бежал из страха быть убитым, что население города ощутимо и неудобно уменьшилось. Теро пригласил и записал в свои ряды большое количество новых граждан, в основном дорийской крови[465].

Власть Иеро, теперь примилившегося как с Теро, так и со своим братом Полизеклом, отмечена несколькими обстоятельствами как ничуть не уступающая власти Гело, и, вероятно, самая большая не только в Сицилии, но и во всем греческом мире. Жители далекого города Кумæ на побережье Италии, которых донимали карфагенский и тирренский флоты, обратились к нему за помощью и получили от него эскадру, которая разбила и прогнала их врагов:[466] он даже основал сиракузскую колонию на соседнем острове Питекуза. Анаксилай, деспот Реги и Мессены, напал на своих соседей, эпизефирийских локрийцев, и, возможно, одолел бы их; но угрозы Иеро, на которые ссылались локрийцы и которые передал им посланник Хромий, заставили его отказаться.[467] Ему все еще не хватало тех героических почестей, которые в Греции полагались кисти нового города; он добился их, основав новый город Этна[468] на месте Катаны, жителей которой он изгнал, как и жителей Наксоса. В то время как этим наксийцам и катанийцам было приказано поселиться в Леонтини вместе с прежними жителями, Иеро поселил в принятом им городе Этна десять тысяч новых жителей: пять тысяч из Сиракуз и Гелы и столько же из Пелопоннеса. Как мы увидим из истории его преемника, они служили вспомогательным войском, готовым к выступлению в случае недовольства в Сиракузах: он отдал им не только территорию, которая прежде принадлежала Катане, но и большую добавку к ней, главным образом за счет соседних племен сикелов. Его сын Дейноменес и его друг и доверенное лицо Хромий, записанный в этнейцы, стали совместными администраторами города: его религиозные и социальные обычаи были усвоены по дорийскому образцу,[469] и Пиндар мечтает о будущих отношениях между деспотом и гражданами Этны, аналогичных отношениям между царем и гражданами в Спарте. И Гиеро, и Хромий были провозглашены этнийцами на Пифийских и Не средних играх, когда их колесницы одержали победы; по этому случаю собравшаяся толпа впервые услышала о новом эллинском городе Этна. Из комплиментов Пиндара мы видим,[470] что Иеро тщеславился своим новым титулом основателя; но мы должны заметить, что он был получен не путем, как в большинстве случаев, посадки греков на варварское место, а путем лишения и обнищания других греческих граждан, которые, похоже, не давали повода для обиды. И в Гелоне, и в Гиероне мы видим первое проявление той склонности к насильственному и массовому переселению жителей с одного места на другое, которая была нередка среди ассирийских и персидских деспотов и которую в еще больших масштабах демонстрировали преемники Александра Македонского в своих многочисленных новопостроенных городах.

Анаксилай из Реги умер вскоре после послания Иеро, которое заставило его пощадить локрийцев; но так почиталась его память и так эффективно управлял Микиф, отпущенный на волю раб, которого он назначил регентом, что Реги и Мессен сохранились за его детьми, еще несовершеннолетними.[471] Но еще более важные перемены в Сицилии были вызваны смертью агригенина Теро, которая произошла, кажется, около 472 г. до н. э. Этот принц, партнер Гело по великой победе над карфагенянами, оставил репутацию хорошего правительства, а также способностей среди агригенинов, которую мы находим

увековеченной в лавровых строфах Пиндара, - и его память, несомненно, стала еще более утонченной от сравнения с его сыном и преемником. Фрасидей, ставший теперь хозяином и Гимеры, и Агригентума, в еще больших масштабах проявлял те же деспотичные и кровожадные наклонности, которые ранее спровоцировали восстание в первом городе. Чувствуя себя ненавистным для своих подданных, он увеличил военные силы, оставшиеся от его отца, и привлек столько новых наемников, что стал хозяином двадцати тысяч конных и пеших людей. И на своей территории он, возможно, еще долго безнаказанно ступал бы по стопам Фал ариса, если бы по неосторожности не спровоцировал своего более могущественного соседа Гиеро. В упорной и кровопролитной битве между этими двумя князьями две тысячи человек были убиты на стороне сиракузян и четыре тысячи - на стороне агригентинцев: огромная резня, если учесть, что она в основном пришлась на греков в обеих армиях, а не на неэллинских наемников.[472] Но поражение Фрасидея было настолько полным, что он был вынужден бежать не только из Агригентума, но и из Сицилии: он удалился в Мегару, в самой Греции, где был приговорен к смерти и погиб.[Агригентинцы, счастливо освободившись от своего угнетателя, запросили и получили мир от Гиеро: говорят, что они установили демократическое правительство, но мы узнаем, что Гиеро отправил в изгнание многих граждан из Агригентума и Гимеры, а также из Гелы,[474] и мы не можем сомневаться, что все эти три города были в числе его подвластных городов. Момент свободы наступил для них только тогда, когда Гелонская династия разделила судьбу Теронийской.

Победа над Фрасидеем сделала Иеро более полным хозяином Сицилии, чем был его брат Гело до него. Последнее действие, о котором мы слышим от него, - это его вмешательство в дела своих шуринов,[475] сыновей Анаксилая из Регия, которые уже достигли возраста, позволяющего управлять страной. Он побудил их отдать предпочтение и, вероятно, показал, что готов добиться исполнения их требований к Микифу, который управлял Регием после смерти Анаксилая, как в отношении имущества, так и скипетра. Микиф с готовностью выполнил это требование, предоставив настолько точный и верный отчет, что сыновья Анаксилая сами попросили его остаться и править, или, что более вероятно, оказать им помощь в управлении. В этой просьбе ему хватило ума отказать: он вывез свои владения и удалился в Тегею в Аркадии. Иеро умер вскоре после этого, от жалоб, от которых он так долго страдал, после десятилетнего правления[476].

После смерти Гиеро наследство оспаривалось между его братом Фрасибулом и племянником, юным сыном Гело, так что приверженцы семьи оказались разделены. Фрасибул, окружив племянника соблазнами роскошных удовольствий, сумел косвенно оттеснить его в сторону и таким образом захватить власть в свои руки.[477] Этот семейный разлад - проклятие, часто лежащее на кровных родственниках греческих деспотов и приводящее к величайшим злодеяниям,[478] - в сочетании с поведением самого Фрасибула привел к гибели могущественной Гелонской династии. Плохие качества Иеро были теперь сильно преувеличены, но без его энергии, в Фрасибуле, который предал смерти многих граждан и изгнал еще больше, чтобы захватить их имущество, пока в конце концов не вызвал среди сиракузян сильную и всеобщую ненависть, которую разделяли даже многие из старых гелонских приверженцев. Хотя он пытался укрепить свои позиции, увеличивая число наемников, он не смог предотвратить всеобщее восстание среди сиракузского населения. Призвав граждан, которых Иеро поселил в своем новом городе Этна, а также различные отряды зависимых союзников, он оказался во главе пятнадцати тысяч человек и овладел внутренними крепостями города - островом Ортигия с Ахрадиной, в то время как большая часть восставших сиракузян собралась во внешнем городе Тихе. Превосходя по численности, но не имея равных по военной эффективности силам Фрасибула, они были

вынуждены обратиться за помощью к другим городам Сицилии, а также к сикельским племенам, объявив династию Гелонов общим врагом свободы на острове и выдвинув в качестве награды за победу всеобщую независимость. К счастью для них, не было брата-деспота, такого как могущественный Феро, который бы поддержал дело Фрасибула: Гела, Агригентум, Селин, Гимера и даже племена сикелов с готовностью откликнулись на призыв, так что на подмогу сиракузянам пришли крупные силы, как военные, так и морские: Фрасибул потерпел полное поражение, сначала на море, затем на суше, и был вынужден затвориться в Ортигии и Ахрадине, где вскоре счел свое положение безнадежным. Он начал переговоры со своими противниками, которые закончились его отречением от престола и отъездом в Локри, а наемным войскам, которые он собрал, также было позволено беспрепятственно уйти.[479] Изгнанный Фрасибул после этого жил и умер как частное лицо в Локри, - совсем другая судьба, чем та, что постигла Фрасидея, сына Феро в Мегаре, хотя оба, кажется, были спровоцированы одинаково.

Так пала могущественная династия Гелонов в Сиракузах, просуществовав восемнадцать лет.[480] Ее падение было не чем иным, как широким переворотом во всей Сицилии. В различных городах острова выросло множество мелких деспотов, каждый со своим отдельным наемным отрядом; они действовали как орудия и полагались на защиту великого деспота в Сиракузах. Теперь все они были изгнаны, и повсюду установились более или менее демократические правительства.[481] Сыновья Анаксилая еще немного продержались в Реги и Мессене, но граждане этих двух городов последовали общему примеру, заставили их удалиться[482] и начали свою эпоху свободы.

Но хотя сицилийские деспоты были изгнаны, свободные правительства, установленные на их месте, поначалу подвергались большим трудностям и столкновениям. Уже упоминалось, что Гело, Иеро, Феро, Фрасидей, Фрасибул и др. приговорили многих граждан к изгнанию с конфискацией имущества и посадили на землю новых граждан и наемников в не менее значительном количестве. К какой расе принадлежали эти наемники, нам не известно: вероятно, они были греками лишь отчасти. Такие насильственные изменения, как людей, так и имущества, не могли не вызвать ожесточенных конфликтов, как по интересам, так и по чувствам, между старыми, новыми и лишенными собственности владельцами, как только железная рука сжатия была устранена. Этот источник гневных разногласий был характерен для всех сицилийских городов, но ни в одном из них он не лился так обильно, как в Сиракузах. В этом городе новые наемники, введенные Фрасибулом, одновременно с ним отступили, многие из них ушли в иеронийский город Иетну, откуда были привезены; но оставалось еще более многочисленное войско, введенное главным образом Гелоном, частично также Иероном, - только первый набрал десять тысяч, из которых оставалось еще более семи тысяч. Какое участие принимали эти гелонские граждане в поздней революции, мы не знаем: похоже, что они не поддерживали Фрасибула как единое целое, и, вероятно, многие из них выступали против него. После того как революция свершилась, было созвано общественное собрание сиракузян, на котором первой резолюцией было решение обеспечить религиозную память об этом событии, воздвигнув колоссальную статую Зевса Элевтерия, и отмечать ежегодный фестиваль, который будет называться Элевтерия, с торжественными матчами и жертвоприношениями. Затем они приступили к определению политической конституции; и такова была преобладающая реакция, несомненно усугубленная вернувшимися изгнанниками, ненависти и страха против изгнанной династии, - что все тело новых граждан, которые были domiciled при Гело и Гиеро, было объявлено неспособным к магистратуре или почету. Это суровое и огульное лишение прав, обрушившееся сразу на многочисленное меньшинство, естественно, вызвало новое раздражение и гражданскую войну. Гелоны, самые воинственные люди в государстве,

занимавшие, как благосклонные приверженцы предыдущей династии, внутренние и отдельно укрепленные части Сиракуз,[483] Ахрадину и Ортигию, подняли открытый бунт; в то время как общая масса граждан, хозяев всех внешних частей города, не была достаточно сильна, чтобы с успехом штурмовать эту защищенную позицию. Они могли только блокировать ее и перехватывать припасы, за которые гарнизон внутри был вынужден выходить и сражаться. Эта катастрофическая внутренняя война продолжалась несколько месяцев, с множеством частичных столкновений на суше и на море: все граждане привыкли к оружию, а избранный полк из шестисот обученных добровольцев приобрел особую эффективность. Не в силах дольше держаться, гелонцы были вынуждены рискнуть на генеральное сражение, которое после упорной борьбы закончилось их полным поражением. Избранная группа из шестисот человек, которая внесла огромный вклад в эту победу, получила от своих сограждан почетный венец и награду в размере одной мины за голову[484].

Скудные анналы, в которых эти интересные события скорее обозначены, чем описаны, почти ничего не сообщают нам о политических мероприятиях, которые стали результатом столь важной победы. Вероятно, гелонцы были изгнаны, но мы можем считать несомненным, что отдельные укрепления острова и Ахрадины были упразднены и что отныне существовал только один укрепленный город, вплоть до времен деспота Дионисия, более пятидесяти лет спустя[485].

Тем временем остальная часть Сицилии переживала беспорядки, аналогичные сиракузским. В Геле, Агригентуме, Гимере реакция против династии Гелонов привела к возвращению толп лишенных собственности изгнанников, которые, требуя возвращения своего имущества и влияния, находили свои требования поддержанными населением в целом. Катанеи, которых Иеро изгнал из их собственного города в Леонтины, чтобы превратить Катану в свое поселение Этна, собрались с оружием в руках и вступили в союз с сикельским князем Дукетом, чтобы отвоевать свой прежний дом и вернуть сикелам то, что Иеро отнял у них для расширения территории Этнеи. Им помогали сиракузяне, для которых соседство с этими иеронийскими партизанами было опасным, но они достигли своей цели только после долгой борьбы и нескольких сражений с этнейцами. В конце концов было заключено соглашение, по которому последние эвакуировались из Катаны и получили разрешение занять город и территорию, - кажется, Сикел, - Эннезии, или Инессы, которой они дали название Этна,[486] с памятниками в честь Иеро как основателя, - в то время как гробница последнего в Катане была разрушена восстановленными жителями.

Эти конфликты, нарушавшие покой всей Сицилии, стали настолько невыносимыми, что для их урегулирования был созван общий конгресс между различными городами. Совместным решением было решено принять изгнанников и выселить гелонских поселенцев повсеместно, но для последних было предусмотрено поселение на территории Мессены. Судя по всему, изгнанники получили обратно свое имущество или, по крайней мере, в качестве компенсации за него другие земли. Жители Гелы смогли обеспечить своих изгнанников, вновь основав город Камарину,[487] который был отвоеван у Сиракуз Гиппократесом, деспотом Гело, но который Гело, перенеся свою резиденцию в Сиракузы, сделал частью сиракузской территории, переведя его жителей в город Сиракузы. Теперь сиракузяне отказались от владения им, - уступка объясняется, вероятно, тем, что среди новоприбывших, переведенных Гелой в Сиракузы, были не только прежние камаринцы, но и многие, кто прежде был гражданином Гелы.[488] Для этих людей, вынужденных покинуть Сиракузы, было бы удобно предоставить пристанище в Камарине, как и для других восстановленных гелонских изгнанников; кроме того, можно предположить, что этот новый

город служил вместилищем для других бездомных граждан со всех частей острова. Он был освящен гелойцами как независимый город с дорийскими правами и обычаями: его земли были розданы заново, и среди его поселенцев были люди достаточно богатые, чтобы посылать призовые колесницы в Пелопоннес, а также платить за оды Пиндара. Олимпийские победы камаринца Псаумиса обеспечили его новому городу эллинскую славу в тот момент, когда он еще не оправился от тягот начального поселения[489].

Таково было великое реакционное движение в Сицилии против грубых насилий предыдущих деспотов. Мы можем проследить это движение лишь в общих чертах, но мы видим, что все их плантации и изгнания жителей были отменены, а все их договоренности низвергнуты. Исправляя прошлую несправедливость, мы не можем сомневаться, что во многих случаях была совершена новая несправедливость, и не удивляемся, когда слышим, что в Сиракузах произошло много новых зачислений граждан без каких-либо законных притязаний,[490] вероятно, сопровождавшихся пожалованиями земли. Царившее в Сиракузах чувство было совершенно противоположно тому, что было во времена Гело, когда демос, или совокупность мелких самозанятых собственников, рассматривался как "хлопотное иго", пригодное только для продажи в рабство с целью вывоза: весьма вероятно, что новая таблица граждан, составленная сейчас, включала этот класс людей в большем количестве, чем когда-либо, на принципах, аналогичных либеральным наборам Клейстенеса в Афинах. Несмотря на всю неразбериху, с которой начинается этот период народного правления, продолжавшийся более пятидесяти лет до деспотизма старшего Дионисия, мы найдем его самым лучшим и процветающим периодом сицилийской истории. К нему мы перейдем в одной из последующих глав.

Что касается греческих городов на побережье Италии в период правления династии Гелонов, то несколько слов исчерпывают все наши знания. Региум с его деспотами Анаксилаем и Микифом фигурирует главным образом как сицилийский город, и именно в этом качестве он был замечен в потоке сицилийской политики. Но он также вовлечен в единственное событие, которое сохранилось до нас в отношении этой части истории италийских греков. Примерно в 473 году до н. э. тарентинцы предприняли экспедицию против своих неэллинских соседей иапигов, надеясь завоевать Гирию и другие принадлежащие им города. Микиф, деспот Региум, вопреки воле своих граждан, отправил три тысячи из них по принуждению в качестве вспомогательного войска к тарентинцам. Но экспедиция оказалась губительной для обоих. Иапики в количестве двадцати тысяч человек столкнулись в поле с объединенными греческими силами и полностью разгромили их: битва произошла во враждебной стране, и, похоже, большая часть регийцев и тарентинцев погибла, так что Геродот считает это величайшей эллинской бойней в пределах его знаний.[491] Из убитых тарентинцев большая часть была богатыми и значительными гражданами, потеря которых ощутимо сказалась на городе: укрепила демос и сделала конституцию более демократичной. В чем заключалась эта перемена, мы не знаем: выражение Аристотеля дает основание предполагать, что и до этого события конституция была народной[492].

ГЛАВА XLIV.

ОТ БИТВ ПРИ ПЛАТЕЕ И МИКАЛЕ ДО ГИБЕЛИ ФЕМИСТОКЛА И АРИСТЕИДЫ.

После того как в предыдущей главе мы проследили за отражением карфагенян сицилийскими греками, теперь мы возвращаемся к центральным грекам и персам - случай, в котором триумф был еще более интересным для дела совершенствования человечества в целом. Диспропорция между огромным войском, собранным Ксерксом, и тем малым, чего он добился, естественно, вызывает презрение к силе персов и восхищение сравнительной горсткой людей, которыми они были так бесславно побеждены. Оба эти чувства справедливы, но оба они часто преувеличиваются до предела, который оправдывает внимательное рассмотрение фактов. Персидский способ ведения войны (который мы можем сравнить с современным турецким, [493] теперь, когда период их энергичного фанатизма миновал) был в высокой степени беспорядочным и неэффективным: люди, взятые по отдельности, особенно коренные персы, не были лишены солдатских качеств, но их оружие и организация были жалкими, а их лидеры - еще хуже. С другой стороны, греки, равные, если не превосходящие, в индивидуальной храбрости, были несравненно выше в солдатском строе, а также в вооружении: но и здесь руководство было несовершенным, а разобщенность - постоянным источником опасности. Те, кто, подобно Плутарху (или, скорее, Псевдо-Плутарху) в его трактате о злословии Геродота, настаивают на признании только великодушия и героизма в действиях греков на протяжении этих критических лет, вынуждены очень сурово обойтись с неоценимым свидетелем, от которого зависит наше знание фактов, - и который ясно намекает, что, несмотря на самоотверженное мужество, проявленное не только побежденными при Фермопилах, но и победителями при Саламине, Греция обязана своим спасением главным образом неразумию, трусости и легковерию Ксеркса. [494] Если бы он действительно обладал личной энергией Кира или рассудительностью Артемисии, можно сомневаться, что какое-либо совершенство управления или близость союза смогли бы сохранить греков против столь значительного превосходства в силе; но несомненно, что вся их храбрость как солдат в строю была бы бесполезна для этой цели без более высокой степени генералитета и более сердечного духа сотрудничества, чем тот, который они проявили в действительности.

Через сто пятьдесят лет после этого насыщенного событиями периода мы увидим, как все перевернулось, и объединенные силы Греции под командованием Александра Македонского стали захватчиками Персии. Мы обнаружим, что в Персии за этот долгий промежуток времени не произошло никаких улучшений, - что схема обороны при Дарии Кодомане страдает теми же недостатками, что и схема нападения при Ксерксе, - что существует та же слепая и исключительная уверенность в сражениях с превосходящими силами, [495] что советы Ментора Родийского и Харидема, презираются, как советы Демарата и Артемисия, - что Дарий Кодоманн, по сути, того же сорта, что и Ксеркс, спешит в битву при Иссе из-за той же губительной безрассудности, что и та, что отбросила персидский флот при Саламине, - и что персидская пехота (не кавалерия) даже, кажется, утратила ту индивидуальную галантность, которую они так ярко проявили при Платее. Но с греческой стороны улучшения во всех отношениях очень велики: организованная храбрость солдата была сохранена и даже увеличена, в то время как генералитет и сила военной комбинации достигли точки, не имеющей аналогов в предыдущей истории человечества. В этот период военная наука может считаться своего рода творением и проходить различные стадии: Демосфен и Брасидас, кирейская армия и Ксенофонт, Агесилай, Ификрат, Эпаминондас, Филипп Македонский, Александр: [496] ибо македонские князья заимствуют

греческую тактику, хотя расширяют и применяют ее с личной энергией, свойственной им самим, и с такими преимуществами положения, какими никогда не пользовался ни один афинянин или спартанец. В этом сравнении между вторжением Ксеркса и вторжением Александра мы противопоставляем прогрессивный дух Греции, служащий предвестником и стимулом для аналогичного духа в Европе, неподвижному уму Азии, время от времени пробуждаемому каким-нибудь великолепным человеком, но никогда не присваивающему себе новых социальных идей или сил ни для войны, ни для мира.

Именно после нашествия Ксеркса возникают те новые комбинационные силы, как политические, так и военные, которые освещают греческую историю в течение следующих двух столетий. Они появляются благодаря изменившемуся положению и характеру афинян - в определенной степени улучшителей военных операций на суше, но великих создателей морской тактики и маневрирования в Греции, - и самых первых из всех греков, показавших себя способными организовать и направить совместные действия многочисленных союзников и зависимых людей, - объединив таким образом два отличительных качества гомеровского Агамемнона,^[497] - способность командовать и энергичность в исполнении.

В общей эллинской конфедерации, действовавшей против Персии под председательством Спарты, Афины вряд ли могли занимать какое-либо показное положение выше рядового члена: пост второго достоинства в линии на Платее действительно был присужден ей, но только после оспаривания претензий со стороны Тегеи. Но и без видимой разницы в ранге, в глазах и чувствах Греции она уже не была той силой, что прежде. Она перенесла больше страданий, а на море, несомненно, сделала больше, чем все остальные союзники вместе взятые: даже на суше при Платее ее гоплиты показали сочетание храбрости, дисциплины и эффективности против грозной персидской кавалерии, превосходящей даже спартанцев: ни один афинский офицер не совершил столь опасного акта неповиновения, как спартанец Амомфарет. После победы при Микале, когда все пелопоннесцы поспешили домой, чтобы насладиться своим триумфом, афинские войска не отказались от продолжительной службы ради важной цели - очистить Геллеспонт, выступив таким образом в качестве добровольных и решительных поборников азиатских греков против Персии. Кроме этих подвигов Афин в целом, единственные два человека, одаренные какими-либо талантами к командованию, которые были выдвинуты этим важным завоеванием, оба были афинянами: первый - Фемистокл, второй - Аристеидес. С самого начала и до конца борьбы Афины проявляли безоговорочный панэллинский патриотизм, за который пелопоннесцы отплатили весьма неблагодарно; они держались в своих стенах и дважды предавали Аттику вражескому разорению; в первый раз, возможно, неизбежно, но во второй - по преступной небрежности, отложив поход против Мардония. И пелопоннесцы не могли не чувствовать, что, хотя они оставили Аттику без защиты, своим спасением в Саламине они были полностью обязаны ловкости Фемистокла и внушительным афинским морским силам.

Учитывая, что пелопоннесцы практически не пострадали от вторжения, в то время как афиняне на время потеряли даже свой город и страну, а большая часть их движимого имущества была безвозвратно уничтожена, мы, естественно, могли бы ожидать, что первые, если не окажут благодарную и активную помощь в устранении ущерба в Аттике, то, по крайней мере, сердечно приветствуют восстановление разрушенного города его бывшими жителями. Вместо этого мы видим, что среди них снова преобладает тот же эгоизм; недоброжелательность и недоверие к будущему, усугубленные восхищением, которое они не могли не испытывать, перекрывают всю их благодарность и сочувствие. Афиняне, вернувшись из Саламины после битвы при Платее, обнаружили опустевший дом, ставший их пристанищем. Их страна была разорена, город сожжен или разрушен, так что осталось лишь

несколько домов, в которых разместились персидские офицеры, а укрепления большей частью разрушены или уничтожены. Первой задачей было доставить домой свои семьи и имущество из временных убежищ в Трезене, Эгине и Саламине. После того как они обеспечили себя всем необходимым для удовлетворения насущных потребностей, они начали отстраивать свой город и его укрепления в масштабах, увеличенных во всех направлениях. [498] Но как только они увидели, что заняты этой необходимой работой, без которой невозможно ни политическое существование, ни личная безопасность, союзники забили тревогу, направили жалобы в Спарту и призвали ее остановить работу: впереди этих жалобщиков, вероятно, стояли эгинеты, как старые враги Афин и как имеющие больше всего оснований опасаться ее мощи на море. Спартанцы, прекрасно понимая ревность и беспокойство своих союзников, даже были склонны, по старой дружбе, довести свою неприязнь к укреплениям еще дальше, так что они были бы рады видеть все остальные греческие города систематически беззащитными, как сама Спарта. [499] Но, отправив в Афины посольство с дружеским протестом против проекта укрепления города, они не могли открыто и императивно запретить осуществление права, общего для всех автономных сообществ, и даже не решились в момент, когда события последних месяцев были свежи в памяти каждого, разглашать свои настоящие ревности относительно будущего. Они попытались предложить благоразумные доводы против этой затеи, основанные на вероятности будущего персидского вторжения; в этом случае захватчику было бы опасно найти какой-нибудь укрепленный город за пределами Пелопоннеса для продолжения своих операций, как Фивы недавно предоставили Мардонию. Поэтому они предложили афинянам не только отказаться от собственных укреплений, но и помочь им разрушить все укрепления других городов за пределами Пелопоннеса, обещая в случае необходимости укрытие на перешейке всем пострадавшим сторонам.

Такой государственный деятель, как Фемистокл, не хотел, чтобы ему навязывали эту дипломатию, но он видел, что спартанцы способны помешать делу, если захотят, и что оно может быть выполнено только с помощью успешного обмана. По его совету афиняне отстранили спартанских посланников, сказав, что сами отправятся в Спарту и объяснят свои взгляды. Вскоре туда был отправлен и сам Фемистокл, как один из трех посланников, которым было поручено вступить в переговоры со спартанскими властями; но двое его коллег, Аристеидес и Аброних, по предварительному соглашению, прибыли с опозданием, и он остался бездействовать в Спарте, пользуясь их отсутствием как предлогом, чтобы даже не требовать аудиенции, но выражая удивление, что их приезд так долго задерживается. Но пока Аристеидес и Аброних, два других посланника, старательно сдерживались, все население Афин неустанно трудилось на стенах. Мужчины, женщины и дети - все они прилагали максимум усилий в течение этого драгоценного промежутка времени: ни частные дома, ни священные сооружения не жалели материалов; и таково было их рвение в этом предприятии, что, прежде чем три посланника соединились в Спарте, стена уже достигла высоты, достаточной хотя бы для того, чтобы попытаться защищаться. Однако промежуток времени был достаточно долгим, чтобы вызвать подозрения даже у медлительных спартанцев, в то время как более бдительные эгинетяне присылали им достоверные сведения о том, что стена быстро продвигается вперед. Фемистокл, услышав это утверждение, категорически отрицал его истинность; личное уважение к нему в то время было столь велико, что его заверения [500] некоторое время пользовались безоговорочным доверием, пока новые гонцы вновь не вызвали подозрения у спартанцев. В ответ на них Фемистокл призвал эфоров отправить своих посланников в Афины и таким образом убедиться в истинном положении дел. Они, ничего не подозревая, последовали его

рекомендации, а он в то же время передал в Афины частное сообщение, в котором просил не отпускать посланников до безопасного возвращения его самого и его коллег, которых, как он опасался, могут лишить, если его уловка будет раскрыта. Прибыли Аристеидес и Аброних, объявили, что высота стены по меньшей мере выше презрения, и Фемистокл сразу же сбросил маску: Он открыл, что Афины уже достаточно укреплены, чтобы обеспечить безопасность и свободу воли своих жителей, и предупредил их, что время принуждения уже прошло, и афиняне в состоянии сами определить и отстоять свои права и обязанности по отношению к Спарте и союзникам. Он напомнил им, что афиняне всегда считались компетентными судить сами за себя, будь то в ходе совместных консультаций или в каком-либо отдельном деле, таком как судьбоносный кризис оставления своего города и посадки на корабли: теперь они, руководствуясь этим собственным суждением, решили укрепить свой город, как шаг, необходимый для них самих и выгодный даже для союзников в целом. Не могло быть равного и справедливого обмена мнениями, если все союзники не имели равных средств защиты: либо все должны быть не укреплены, либо Афины должны быть укреплены так же, как и все остальные[501].

Спартанцы были опечалены открытием, которое показало, что их не только уличили в нечестном замысле, но и полностью перехитрили, - в то же время они были ошеломлены решительным тоном Фемистокла, которого впоследствии так и не простили. Задержать возведение стен заранее было бы возможно, хотя и не без труда; бороться силой с уже свершившимся фактом было в высшей степени опасно: к тому же неоценимые услуги, только что оказанные Афинами, снова стали преобладать в их сознании, так что чувства и благоразумие на время совпали. Поэтому они согласились принять сообщение, не выказывая никаких обид, да и вообще не выдвигали никаких претензий, от которых следовало бы официально отказаться. Посланники обеих сторон вернулись домой, а афиняне завершили строительство своих укреплений без препятствий[502], но не без ропота со стороны союзников, которые впоследствии горько упрекали Спарту за то, что она упустила эту золотую возможность остановить рост гиганта[503].

Если союзники и раньше опасались Афин, то смелость, изобретательность и обман, с помощью которых она только что обошла препятствия, стоявшие на пути ее укреплений, только усугубляли их беспокойство. С другой стороны, афинянам один лишь намек на вмешательство с целью лишить их общего права на самооборону, которым пользовались все автономные города, кроме Спарты, должен был показаться вопиющей несправедливостью, усугубленной тем, что она была вызвана их особыми страданиями в общем деле и теми самыми союзниками, которые, если бы не их преданная бесстрашность, бы сейчас были рабами великого царя. О намерении союзников помешать строительству укреплений, должно быть, знала каждая душа в Афинах, судя по всеобщему напряжению рук, необходимому для того, чтобы поторопить работу и избежать помех; точно так же о нем возвещали последующим поколениям бесформенные фрагменты и неправильная структура стены, в которую были вмурованы даже погребальные камни и колонны с надписями.[504] Несомненно, чувства, связанные с этой работой, которую выполняли богатые и бедные, сильные и слабые - мужчины, женщины и дети, - должны были быть интенсивными, а также уравнивающими: все перенесли общие страдания изгнания, все внесли свой вклад в победу, все теперь разделяли одну и ту же усталость для защиты своего восстановленного города, чтобы противостоять неблагородным препятствиям со стороны пелопоннесских союзников. Мы должны обратить внимание на эти волнующие обстоятельства, свойственные афинянам и действующие на поколение, которое уже четверть века воспитывалось в духе демократии и без посторонней помощи одержало победу при Марафоне, - если хотим понять тот еще более сильный всплеск агрессивной активности, настойчивой уверенности в себе, способности и

жажды командовать, а также еще более широкое распространение демократической организации, - который характеризует их характер в последующую эпоху.

План нового укрепления был составлен в масштабе, недостойном будущего величия города. Его окружность составляла шестьдесят стадий, или около семи миль, с акрополем почти в центре: но окружность предыдущих стен неизвестна, поэтому мы не можем определить масштабы расширения, которое, по свидетельству Фукидида, было проведено со всех сторон. Оно включало в себя три холма - Ареопаг, Пникс и Музей; а на юге города оно было перенесено даже на южный берег Илисса, таким образом, охватывая и фонтан Каллирхок.[505] Несмотря чрезмерную спешку, в которой оно было возведено, сооружение было основательно и достаточно прочным против любого внешнего врага: но есть основания полагать, что его очень большая внутренняя площадь никогда не была заполнена зданиями. Пустые пространства для временного убежища жителей, изгнанных из страны со своим имуществом, были очень полезны для греческого города-общины; ни для кого не более полезны, чем для афинян, чья главная сила заключалась в их флоте, и чьи граждане обычно проживали в большой пропорции в своих отдельных демах по всей Аттике.

Первый необходимый шаг в восстановлении Афин после их временного исчезновения был благополучно завершен: город был надежно защищен от внешних врагов. Но Фемистокл, которому афиняне были обязаны удачной стратегией, и чье влияние, должно быть, значительно укрепилось благодаря ее успеху, задумал планы более широкие и амбициозные. Он был первоначальным советником великого морского старта, предпринятого его соотечественниками, а также мощной морской силы, которую они создали за последние несколько лет и которая так недавно стала их спасением. В этой силе он видел единственный шанс на спасение в будущем, если персы возобновят нападение с моря, что в то время казалось вероятным, и безграничные перспективы будущего господства над греческими берегами и островами: это был великий двигатель обороны, нападения и честолюбия. Для продолжения этого движения требовалось гораздо меньше прозорливости и гения, чем для его начала, и Фемистокл, как только стены города были закончены, вернул внимание своих соотечественников к тем деревянным стенам, которые служили им убежищем от персидского монарха. Он убедил их обеспечить гавань одновременно безопасной и достаточной, расширив и укрепив Пейреус. Это было лишь продолжением начатого ранее предприятия: ведь он уже, находясь на своем посту за два или три года до этого,[506] дал понять своим соотечественникам, что открытый рейд Фалерума совершенно небезопасен, и убедил их улучшить и частично использовать более просторные гавани Пейреуса и Мунихии - трех естественных бассейнов, которые можно было закрыть и защитить. Кое-что было сделано для расширения этого порта, хотя впоследствии он, вероятно, был разрушен персидскими захватчиками: но теперь Фемистоклес возобновил эту затею в масштабах, гораздо более грандиозных, чем он мог тогда осмелиться предложить, - масштабы, демонстрирующие огромные предзнаменования, представленные его уму относительно судьбы Афин. Пейрей и Мунихия, согласно его новому плану, представляли собой укрепленное пространство размером с расширенные Афины и с гораздо более продуманной и неприступной стеной. Стена, окружавшая их, в шестьдесят стадий в окружности[507], по его замыслу, должна была быть настолько огромной, как по высоте, так и по толщине, чтобы сделать штурм безнадежным, и позволить всему военному населению действовать на кораблях, оставив в качестве гарнизона только стариков и мальчиков[508]. О том, насколько масштабным был его проект, можно судить по тому, что стена, хотя на практике всегда оказывалась достаточной, была доведена лишь до половины той высоты, которую он предполагал.[509] Однако в отношении толщины его идеи были точно соблюдены: две телеги, встретившиеся друг с другом, привезли камни, которые были

сложены справа и слева с внешней стороны каждой, и таким образом образовали две первичные параллельные стены, между которыми внутреннее пространство, конечно, по крайней мере, такое же широкое, как совместная ширина двух телег, было заполнено "не щепнем, как обычно делали греки, а построено, по всей толщине, из квадратных камней, скрепленных металлом."[\[510\]](#) В результате получилась прочная стена, толщиной, вероятно, не менее четырнадцати или пятнадцати футов, поскольку она должна была выдержать столь необычную высоту. Увещевая народ к этой утомительной и дорогостоящей работе, он старался внушить им, что Пирей представляет для них большую ценность, чем сами Афины, и что он является убежищем, в котором, если их территория будет вновь захвачена превосходящими сухопутными силами, они смогут безопасно удалиться, имея полную свободу морских действий, в которых они были равны всему миру.[\[511\]](#) Мы даже можем подозревать, что если бы Фемистокл мог следовать своим собственным чувствам, он бы изменил местоположение города с Афин на Пирей: привязанность народа к своей древней и священной скале, несомненно, препятствовала такому предложению. Вероятно, в то время он не предполагал возможности возведения тех длинных стен, которые через несколько лет объединили два города в один.

Сорок пять лет спустя, в начале Пелопоннесской войны, мы услышим от Перикла, который поддерживал и проводил в жизнь масштабные идеи Фемистокла, те же слова о способности Афин поддерживать великую державу исключительно или главным образом за счет морских действий. Но афинская империя была тогда уже реальностью, тогда как во времена Фемистокла она была еще мечтой, и его смелые предсказания, превзойденные будущей реальностью, свидетельствуют о необычайной силе практического прорицания, которую Фукидид так превозносит в нем. И это доказывает, что афинский народ был преисполнен надежд, когда мы видим, как он, веря в эти предсказания, берется за новое предприятие, требующее столько труда и затрат; и это при том, что он только что вернулся из изгнания в опустевшую страну, в момент частного бедствия и общественного унижения. Однако Пейрей служил и другим целям, помимо непосредственного использования в качестве верфи для военного флота: его надежные укрепления и защита афинского флота были хорошо рассчитаны на то, чтобы вернуть тех метисов, или иностранных жителей, которые были изгнаны вторжением Ксеркса, и которые могли чувствовать себя неуверенно при возвращении, если бы не были продемонстрированы новые и заметные средства защиты. Чтобы пригласить их вернуться и привлечь новых жителей такого же типа, Фемистокл предложил освободить их от метойкиона, или ежегодного налога на несвободных:[\[512\]](#) но это освобождение могло продлиться лишь некоторое время, и большим соблазном для них вернуться должны были стать новые гарантии и возможности для торговли, которые теперь предоставляли Афины с их укрепленными портами и флотом. Присутствие многочисленных метисов было выгодно афинянам как в частном, так и в государственном плане: большая часть торговых, профессиональных и ремесленных дел находилась в их руках, а афинское законодательство, хотя и лишало их права голоса, в других отношениях было справедливым и защищало их. Что касается торговых занятий, то у метисов было одно преимущество перед гражданами - их реже забирали на военную службу за границу. Значительный рост их численности с этого периода, в то время как он имел тенденцию к существенному увеличению стоимости имущества по всей Аттике, но особенно в Пирее и Афинах, где они в основном проживали, помогает нам объяснить необычайное процветание, наряду с отличной культурой, распространенной по всей стране до Пелопоннесской войны. Ячмень, овощи, фиги и масло, производимые в большинстве районов, древесный уголь, заготавливаемый в процветающем районе Ахарне,[\[513\]](#) и рыба, добываемая в изобилии у побережья, - все это находило богатых покупателей и постоянный спрос у растущего городского населения.

Далее нам рассказывают, что Фемистокл[514] убедил афинян строить каждый год двадцать новых линейных кораблей - так мы можем обозначить триремы. Всегда ли это число строго соблюдалось, сказать невозможно: но ремонт кораблей, равно как и поддержание их численности, всегда считался одной из самых необходимых обязанностей исполнительного правительства.

Не похоже, чтобы спартанцы оказывали какое-либо сопротивление укреплению Пирея, хотя это было предприятие более масштабное, более новое и более грозное, чем афинское. Но Диодор, вероятно, сообщает нам, что Фемистокл счел необходимым отправить посольство в Спарту,[515] намекнув, что его план состоял в том, чтобы обеспечить безопасную гавань для коллективного флота Греции в случае будущего персидского нападения.

Работы такого масштаба должны были занять много времени и поглотить большую часть афинских сил; однако они не отвадили Афины от активной помощи экспедиции, которая на следующий год после битвы при Платее (478 г. до н. э.) отправилась в Азию под командованием спартанца Павсания. Под его командованием находилось двадцать кораблей из различных городов Пелопоннеса[516]: только афиняне предоставили тридцать, под командованием Аристеидеса и Кимона; другие триремы также прибыли от ионийских и островных союзников. Сначала они отплыли на Кипр, где освободили от персидского правительства большинство греческих городов; затем повернули к Босфору Фракийскому и приступили к осаде Византии, которая, как и Сест в Херсонесе, была важным и сильным постом, занятым значительными персидскими силами, с несколькими ведущими персами и даже родственниками монарха. Место было захвачено,[517] по-видимому, после длительной осады: вероятно, оно могло продержаться даже дольше, чем Сестус, поскольку было взято менее неподготовленным. Таким образом, линия сообщения между Эвксинским морем и Грецией была очищена от препятствий.

Взятие Византии послужило сигналом к капитальному и неожиданному изменению в отношениях различных греческих городов; изменению, основная причина которого заключалась в проступке Павсания, но к которому вели и другие причины, как глубинные, так и разнообразные. Излагая историю Мильтиада,[518] я обратил внимание на прискорбную склонность греческих лидеров портиться от успеха: это расстройство с необычайной быстротой отразилось на Павсании. Завоевав Платею, он приобрел славу, не имеющую аналогов в греческом опыте, вместе с огромной долей награбленного: наложницы, лошади,[519] верблюды и золотые пластины, которые перешли в его собственность, были вполне рассчитаны на то, чтобы сделать трезвость и дисциплину спартанской жизни утомительными, а его власть, хотя и большая в чужих странах, стала подчиненной власти эфоров, когда он вернулся домой. Его вновь приобретенная дерзость проявилась сразу после битвы, в памятном треножнике, посвященном его приказу в Дельфах, который провозглашал себя по имени и единолично, как полководца греков и разрушителя персов: непристойное хвастовство, которое сами лакедемоняне первыми выразили свое неодобрение, заставив стереть надпись и перечислить на треножнике названия городов, участвовавших в битве.[520] Тем не менее, его все равно отправили командовать против Кипра и Византии, и именно при захвате этого последнего места его амбиции и недовольство впервые переросли в явную измену. Он вступил в переписку с эретрийским изгнанником Гонгилусом (ныне подданным Персии, получившим в собственность и управление округ в Мисии), которому доверил свое новое приобретение - Византию - и заботу о ценных пленниках, взятых в ней. Этим пленникам вскоре удалось бежать, а точнее, их тайно отослали Ксерксу; вместе с письмом из рук самого Павсания следующего содержания: "Павсаний, спартанский полководец, взяв этих пленников, отправляет их обратно, желая

обязать тебя. Я намерен, если тебе будет угодно, жениться на твоей дочери и подчинить себе Спарту и остальную Грецию: с твоей помощью я считаю себя способным добиться этого. Если мое предложение будет приемлемым, отправь на побережье какого-нибудь доверенного человека, через которого мы могли бы впредь вести переписку". Ксеркс, весьма довольный открывшейся перспективой, немедленно отправил Артабаза (того самого, который был вторым командующим в Беотии) сменить Мегабатеса в сатрапии Даскилии; новому сатрапу, снабженному ответным письмом с царской печатью, было поручено и дальше активно развивать проекты Павсания. Письмо было следующего содержания: "Так говорит царь Ксеркс Павсанию. Твое имя навсегда запечатлено в моем доме как благодетеля, благодаря людям, которых ты спас для меня за морем в Византии; и твои предложения, полученные сейчас, приемлемы для меня. Не расслабляйся ни днем, ни ночью в исполнении обещанного, и пусть тебя не удерживают ни расходы, ни золото, ни серебро, ни количество людей, если ты в них нуждаешься, но веди доверительно дела свои и мои совместно с Артабазом, добрым человеком, которого я сейчас послал, так, как будет лучше для нас обоих"[521].

На протяжении всей экспедиции Павсаний вел себя нагло и властно, унижая союзников на привалах и водопоях самым оскорбительным образом по сравнению со спартамцами и обращаясь со всем вооружением так, как не могли терпеть греческие воины, даже при спартанском Гераклиде и победоносном полководце. Но когда он получил письмо от Ксеркса и обнаружил, что находится в непосредственной связи с Артабазом, а также снабжен средствами для коррупции,[522] его безумные надежды не знали границ, и он уже вообразил себя зятем великого царя, а также деспотом Эллады. К счастью для Греции, его предательские планы не были специально вынашиваемы и завуалированы, пока не созрели для исполнения, а проявлялись с детским нетерпением. Он облачился в персидские одежды - (поступок, который полтора века спустя македонская армия не смогла стерпеть даже при Александре Македонском), - проехал по Фракии с корпусом медийских и египетских стражников, - копировал персидских вождей как в роскоши своего стола, так и в поведении по отношению к свободным женщинам Византии. Клеоника, византийская девица из знатного рода, по его приказу была похищена у своих родителей и ночью приведена в его покои: он случайно заснул, а когда внезапно проснулся, то, не зная сначала, кто приближается к его постели, схватил меч и зарубил ее.[524] Более того, его надменная сдержанность и неконтролируемые вспышки гнева сделали его неприступным, и союзники в конце концов стали считать его скорее деспотом, чем полководцем. Весть о таком возмутительном поведении и явных доказательствах его союза с персами вскоре дошла до спартамцев, которые отозвали его для ответа за его поведение, а вместе с ним, похоже, и спартанские корабли[525].

Несмотря на вопиющее поведение Павсания, лакедемоняне оправдали его по обвинению в позитивных и индивидуальных ошибках; однако, не доверяя его поведению в отношении сговора с врагом, они отправили Доркиса сменить его на посту командующего. Но в сознании союзников произошел переворот, имевший огромное значение для Греции. Главенство, или гегемония, перешло в руки Афин, и спартанец Доркис обнаружил, что союзники не склонны признавать его власть.

Еще до битвы при Саламине был поднят вопрос,[526] не имеют ли Афины права на командование на море в силу перевеса своего военно-морского контингента. Неприятие союзниками любого командования, кроме командования Спарты, ни на суше, ни на воде, побудило афинян отказаться от своих притязаний в тот критический момент. Но последующие победы значительно возвысили ее в глазах Греции, а в составе действующей

армии, отличавшейся от той, что сражалась при Саламине, было много недавно получивших права ионийских греков, которые не только не отдавали предпочтения спартанскому командованию, но и были привязаны к афинянам по всем признакам - как по родству, так и из-за уверенности, что Афины с их превосходным флотом - единственный защитник, на которого они могут положиться в борьбе с персами. Кроме того, так случилось, что афинские полководцы Аристеидес и Кимон были лично справедливы и примирительны, что составляло разительный контраст с Павсанием. Поэтому ионийские греки на флоте, обнаружив, что поведение последнего не только угнетает их самих, но и возмущает греческие чувства в целом, обратились к афинским командирам за защитой и возмещением ущерба на благовидном основании родства^[527], умоляя позволить им служить под началом Афин, а не Спарты. Плутарх рассказывает, что Аристеидес не только пытался вступить в переговоры с Павсанием, который высокомерно оттолкнул его, - что весьма вероятно, - но и потребовал, чтобы в качестве условия выполнения просьбы ионийских союзников они лично оскорбили Павсания, чтобы сделать примирение невозможным: тогда саамиец и хианский капитан намеренно напали на спартанский адмиральский корабль в гавани Византии и повредили его. [Историки, у которых Плутарх скопировал это последнее утверждение, должно быть, предполагали в афинянах склонность спровоцировать ссору со Спартой, которая впоследствии возникла как бы спонтанно: но афиняне не были заинтересованы в этом, и мы не можем доверять этой истории, которая, к тому же, не замечена Фукидидом. Дать спартанцам повод для справедливого возмущения было бы вопиющей неосторожностью со стороны Аристеидеса, но у него были все основания удовлетворить просьбу союзников, и он начал принимать меры, чтобы выступить в качестве их защитника и вождя. Его действиям немало способствовало то обстоятельство, что спартанское правительство в это время отозвало Павсания на допрос, в связи с дошедшими до них всеобщими жалобами на него. Похоже, он не оставил после себя ни одного спартанского авторитета, даже небольшая спартанская эскадра сопровождала его домой, так что у афинских полководцев была прекрасная возможность застраховать себя и выполнить то командование, которое союзники просили их взять на себя. Они так удачно воспользовались моментом, что когда Доркис прибыл на смену Павсанию, они уже были в полном превосходстве; в то время как Доркис, имея лишь небольшие силы и не имея возможности прибегнуть к принуждению, был вынужден вернуться домой.^[529]

Этот инцидент, хотя и не был объявлением войны Спарте, стал первым открытым отказом от ее власти как главенствующего государства среди греков; первым явным проявлением конкурента на это достоинство, имеющего многочисленных и готовых последователей; первым разделением Греции - рассматриваемой только самой по себе и не считающейся с чужими просьбами, такими как персидское вторжение - на два разных организованных лагеря, каждый со своими собственными интересами и проектами. Несмотря на уязвленную гордость, Спарта была вынуждена, а в некоторых случаях даже не склонна к терпеливому попустительству: ведь у нее не было возможности принудить ионийских союзников, а война с Персией, переставшая быть строго оборонительной и находящаяся как на море, так и вдали от ее собственной территории, перестала соответствовать ее домашнему укладу и строгой дисциплине. Ее серьезные сенаторы, особенно древний Гераклид по имени Хетемарид, осуждали нетерпение молодых граждан и отвергали идею постоянного морского командования как опасное нововведение: они даже считали преимуществом, что Афины должны взять на себя инициативу в ведении персидской войны, поскольку ее нельзя было совсем прекратить; афиняне еще не проявляли никаких положительно враждебных настроений, чтобы вызвать их тревогу. [Более того, если бы война продолжалась под спартанским руководством, то постоянно возникала бы необходимость посылать своих царей или главных людей командовать: пример Павсания показал им разлагающее действие

такой военной власти, как удаленной, так и бесконтрольной. Пример их царя Леотихидеса, тоже примерно в это время, стал второй иллюстрацией той же тенденции. В то самое время, когда Павсаний, по-видимому, отправился в Азию для продолжения войны с персами, Леотихид был послан с войском в Фессалию, чтобы усмирить алеуадов и те фессалийские партии, которые перешли на сторону Ксеркса и Мардония. Успешный в этой экспедиции, он позволил подкупить себя и даже был обнаружен с большой суммой денег на руках: в результате лакедемоняне приговорили его к изгнанию и разрушили его дом до основания: он умер после этого в изгнании в Тегее.^[532] Два таких случая были хорошо рассчитаны, чтобы вызвать у лакедемонян недоверие к поведению их лидеров Гераклидов на иностранной службе, и это чувство в значительной степени побудило их отказаться от азиатского главенства в пользу Афин. Похоже, что их пелопоннесские союзники вышли из борьбы одновременно с ними, так что ведение войны осталось за Афинами как вождем недавно эмансипированных греков^[533].

Именно из этих соображений спартанцы были вынуждены смириться с потерей командования, к которой их привел проступок Павсания. Их согласие способствовало огромным переменам, которые должны были произойти в греческой политике. Согласно тенденциям, наметившимся до персидского вторжения, Спарта постепенно становилась все более и более президентом чего-то вроде панэллинского союза, включающего большую часть греческих государств. По крайней мере, именно к этому стремились дела; и если многие отдельные государства стояли в стороне от этого союза, то ни одно из них, по крайней мере, не пыталось создать какой-либо контрсоюз, если не считать устаревших и бессильных притязаний Аргоса. В предыдущих томах этой истории было показано, что Спарта достигла такого превосходства не благодаря своей высокой компетентности в управлении коллективными интересами, и даже не благодаря честолюбивым усилиям с ее стороны, а благодаря сходящимся тенденциям греческого чувства, которое требовало такого государства-предводителя, и благодаря властной военной силе, жесткой дисциплине и древней ненарушенной конституции, которые привлекли это чувство к Спарте. Необходимость общей обороны от Персии значительно усилила эти тенденции, а успех обороны, в результате которой было освобождено так много греков, нуждавшихся в защите от своего бывшего хозяина, казалось, был обречен еще большее влияние. На мгновение, после сражений при Платее и Микале, когда город Платея был выделен в качестве освященного нейтрального места для вооруженной конфедерации против персов, с периодическими торжественными мероприятиями и собраниями депутатов, Спарта была возведена как глава полного панэллинского союза, Афины были лишь одним из главных членов: И если бы Спарта была способна на всеобъемлющую политику, на самонаправленные и настойчивые усилия или на необходимую гибкость в ведении дел, охватывая как далеких греков, так и близких, - ее положение было теперь таково, что ее собственное превосходство вместе с неразделенным панэллинским союзом могло бы долго сохраняться. Но ей, к сожалению, не хватало всех необходимых качеств, и чем больше становился союз, тем сильнее проявлялся ее недостаток. С другой стороны, Афины, вступившие в соперничество в качестве своего рода лидера оппозиции, обладали всеми этими качествами в замечательной степени, помимо фактической морской силы, которая была необходимостью дня; так что открытие, сделанное спартанской некомпетентностью и преступностью, насколько это было известно Павсанию, оказалось во всех отношениях подготовленным. Но симпатии пелопоннессцев все еще держались за Спарту, в то время как симпатии ионийских греков обратились к Афинам: таким образом, не только недолговечные симптомы установившегося панэллинского союза, но даже все тенденции к нему с этого времени исчезают. Теперь налицо явный раскол, две ярко выраженные партии, к одной из которых тяготеют почти все составные атомы греческого мира: морские государства,

недавно получившие права от Персии, - к Афинам; сухопутные государства, составлявшие большую часть конфедеративной армии на Платее, - к Спарте.^[534] Наряду этим национальным расколом и вызванным им к действию, возникает внутривосточный раскол в каждом отдельном городе между олигархией и демократией. Конечно, зародыши этих партий уже существовали в отдельных государствах, но энергичная афинская демократия и ярко выраженная тенденция Спарты опираться на местные олигархии в каждом отдельном городе как на свою главную опору, теперь стали придавать конфликту внутренних политических партий эллинское значение и обостренную горечь, которой он никогда прежде не обладал.

Уход спартанца Доркиса оставил афинских полководцев на свободе, и их положение наложило на них обязанность организовать новую конфедерацию, которую они были избраны вести. Ионические союзники в это время были не только готовы и единодушны, но и выступали в роли инициаторов этого предприятия; ведь они явно нуждались в защите от нападений Персии и не ожидали дальнейшей любезности от Спарты или пелопоннесцев. Но даже если бы они не так сильно нуждались в помощи, поведения Афин и Аристидеса как представителя Афин было бы достаточно, чтобы привести их к гармоничному сотрудничеству. Новый лидер был не менее справедливым по отношению к конфедератам, чем энергичным в борьбе с общим врагом. Общие условия конфедерации регулировались общим синодом членов, назначенным периодически собираться для совещательных целей в храме Аполлона и Артемиды на Делосе - старом, почитаемом месте религиозных празднеств ионических городов и в то же время удобном центре для членов. На каждый отдельный город возлагалось определенное обязательство, либо в виде военных кораблей, либо в денежной форме; афиняне, как лидеры, определяли, в какой форме каждый должен вносить взнос: их оценка, конечно, должна была быть рассмотрена синодом, и в это время они не имели права приводить в исполнение какие-либо правила, не одобренные этим органом. Афинам посчастливилось воспользоваться гением Фемистокла в двух недавних критических случаях (битва при Саламине и восстановление стен), когда проницательность, мастерство и решения требовались в чрезвычайной степени, а денежная честность была менее необходима: Не менее удачно она поступила и теперь - в деликатном деле оценки нового налога и определения его размера для каждого государства, без прецедентов, когда безупречная честность оценщика была первым из всех качеств, - не Фемистоклеса, а вместо него наняла известную, можно даже сказать, показную, честность Аристиды. Это следует считать удачей, поскольку в тот момент, когда Аристидес был послан, афиняне не могли предположить, что на него ляжет такая обязанность. Его оценка не только нашла поддержку в момент первоначального предложения, когда она должна была свободно обсуждаться собравшимися союзниками, но и сохранила свое место во всеобщем уважении, как справедливая и умеренная, после того как некогда ответственное руководство Афинами превратилось в непопулярную империю^[535].

Что касается этой первой оценки, то нам известно лишь одно обстоятельство: общая сумма в деньгах составляла четыреста шестьдесят талантов, что равнялось примерно ста шести тысячам фунтов стерлингов. О предметах, составлявших эту сумму, об отдельных городах, которые ее выплачивали, о распределении обязательств по поставке кораблей и денег мы совершенно ничего не знаем: те немногие сведения, которыми мы располагаем по этим вопросам, относятся к периоду, значительно более позднему, незадолго до Пелопоннесской войны, в условиях бесконтрольной империи, которую тогда осуществляли Афины. Фукидид в своем кратком очерке ясно дает нам понять разницу между *председательствующими* Афинами с их автономными и регулярно собираемыми союзниками в 476 году до н.э. и *императорскими* Афинами с подвластными союзниками в 432 году до н.э.; греческое слово,

эквивалентное *союзнику*, оставляет возможность понимать любой из этих эпитетов, по двусмысленности, чрезвычайно удобной для могущественных государств, - и он указывает общие причины изменения: но он дает нам мало сведений об изменяющих обстоятельствах, и совсем не дает сведений о первом начале. Он сообщает нам только, что афиняне назначили специальный совет должностных лиц, называемых эллинотами, для получения и управления общим фондом, - что Делос стал общим казначейством, где хранились деньги, - и что взимаемая таким образом плата называлась *фора*;[536] название, которое, по-видимому, было впервые введено в обращение, хотя впоследствии стало обычным, - и которое сначала не несло в себе ничего унижительного, хотя впоследствии стало настолько одиозным, что его заменили на более невинный синоним.

Если мы попытаемся представить себе афинский союз в его зачаточном состоянии, нас поразит величина общей суммы взноса, которая покажется еще более примечательной, если мы подумаем, что многие из городов-вкладчиков предоставили еще и корабли. Мы можем быть уверены, что все, что было сделано вначале, было сделано по общему согласию и свободно определившимся большинством: ведь Афины в то время, когда ионические союзники просили ее защиты от спартанского высокомерия, не имели возможности принудить нежелающие стороны, особенно когда потеря верховенства, хотя и перенесенная спокойно, была еще свежа и звенела среди соотечественников Павсания. Столь значительная сумма с самого начала подразумевает большое количество участвующих государств, и отсюда мы узнаем, насколько мощным, широкомасштабным и добровольным было движение, объединившее тогда приморских и островных греков, рассеянных по всему Эгейскому морю и Геллеспонту. Феникийский флот и персидские сухопутные войска могли в любой момент появиться вновь, и не было никакой надежды противостоять им иначе, как путем конфедерации: так что конфедерация в таких обстоятельствах стала для этих подверженных опасности греков не просто искренним чувством, но в то время первым из всех их чувств. Именно их общий страх, а не афинская амбиция, породил союз, и они были благодарны Афинам за его организацию. Общественное значение названия *Hellênotamiæ*, придуманного по этому случаю, выбор Делоса в качестве центра и обеспечение регулярных встреч членов - все это демонстрирует патриотическую и братскую цель, которой должна была служить лига. На самом деле защита Эгейского моря от иностранной морской силы и незаконного пиратства, а также защита Геллеспонта и Босфора от проникновения персидских войск была целью по сути государственной, и все заинтересованные стороны должны были по справедливости вносить общий вклад: Любой остров или морской порт, который мог воздержаться от взноса, выигрывал за счет других: и мы не можем сомневаться, что общее чувство этой общей опасности, а также справедливое обязательство, в тот момент, когда страх перед Персией был еще серьезным, было реальной причиной, которая объединила так много участников, и позволила передовым сторонам пристыдить к согласию тех, кто был более отсталым. Как впоследствии конфедерация была обращена на цели афинского честолюбия, мы увидим в надлежащее время: но по своему происхождению это был равный союз, в той мере, в какой союз между сильными и слабыми может быть равным, - не афинская империя: более того, это был союз, в котором каждый отдельный член был более подвержен опасности, более незащищен и более существенно нуждался в защите, чем Афины. По правде говоря, перед нами один из немногих моментов греческой истории, когда цель, одновременно общая, равная, полезная и невинная, спонтанно объединила множество осколков этой разобщенной расы и на время перекрыла ту исключительную склонность к мелкой и изолированной автономии, которая в конечном итоге сделала из них всех рабов. Это было справедливое и благоразумное решение, как в принципе, так и в деталях; в то время оно обещало самые благоприятные последствия - не просто защиту от персов, а постоянную полицию Эгейского моря, регулируемую общей властью. И если это

обещание не было выполнено, то мы увидим, что присущие союзникам недостатки, не позволяющие им искренне ценить и неуклонно выполнять свои обязанности равных конфедератов, по меньшей мере в той же степени виноваты в неудаче, что и амбиции Афин. Можно добавить, что, выбрав Делос в качестве центра, ионийские союзники примирились с возрождением тех торжеств, которые их отцы в дни былой свободы толпились на этом священном острове.

В то время, когда был заключен этот союз, персы еще удерживали не только важные посты Эйон на Стримоне и Дориск во Фракии, но и некоторые другие посты в этой стране,^[537] которые нам не известны. Таким образом, мы можем понять, почему греческие города на Халкидском полуострове и вблизи него - Аргилус, Стагирус, Аканф, Сколус, Олинф, Спартолус и т. д., - которые, как мы знаем, присоединились под первым предложением Аристеидеса, были не менее заинтересованы^[538] в защите в лоне новой конфедерации, чем дорийские острова Родос и Кос, ионические острова Самос и Хиос, эолийские Лесбос и Тенедос или континентальные города, такие как Милет и Византия: все они должны были рассматривать присоединение к этому союзу в 477 или 476 году до н. э., как единственное условие освобождения от Персии. Для успеха иностранного врага против Греции в целом не требовалось ничего большего, чем полная автономия каждого греческого города, как малого, так и великого, - такая, какую персидский монарх предписал и пытался осуществить девяносто лет спустя, через лакедемонского Анталкида, в умиротворении, носящем имя последнего: некий союз, организованный и обязательный для каждого города, был необходим для безопасности всех. В то время, когда впервые была образована Делосская конфедерация, не было никакой уверенности в том, что даже с такой помощью удастся эффективно сдерживать азиатского врага; тем более что персы были сильны не только за счет собственных сил, но и благодаря помощи внутренних партий во многих греческих государствах - предателей внутри, а также изгнанников снаружи.

Среди них первым по рангу и самым грозным был спартанец Павсаний. Вызванный из Византии в Спарту, чтобы громкие жалобы на него были рассмотрены, он был оправдан^[539] от обвинений в неправоте и притеснениях против отдельных лиц; однако предположения о *медиумизме* или предательской переписке с персами оказались настолько сильными, что, хотя его и не признали виновным, он все же не был вновь назначен на должность командующего. Такое обращение, похоже, только подбодрило его в осуществлении его замыслов против Греции, и он отправился с этой целью в Византию на триреме, принадлежавшей Гермione, под предлогом участия в войне в качестве добровольца без каких-либо официальных полномочий. Там он возобновил переговоры с Артабазом: его огромное положение и известность все еще давали ему возможность влиять на мнения людей, и он, похоже, установил своего рода власть в Византии, откуда афиняне, уже признанные главами конфедерации, были вынуждены изгнать его силой:^[540] и мы можем быть совершенно уверены, что ужас, возбужденный его присутствием, а также его известными замыслами, существенно ускорил организацию конфедерации под Афинами. Затем он удалился в Колон, где в течение некоторого времени продолжал осуществлять свои планы, пытаясь создать персидскую партию, посылая эмиссаров для распределения персидского золота между различными городами Греции, и, вероятно, используя имя Спарты, чтобы помешать созданию новой конфедерации:^[541] пока, наконец, спартанские власти, осведомленные о его действиях, не послали к нему глашатая с императивным приказом немедленно вернуться домой вместе с глашатаем: если он ослушается, "спартанцы объявят ему войну" или сделают его врагом народа.

Поскольку исполнение этой угрозы сорвало бы все коварные планы Павсания, он счел благоразумным подчиниться; тем более что он был полностью уверен в том, что избежит всех обвинений, выдвинутых против него в Спарте, с помощью взяток,^[542] средства для которых были в изобилии предоставлены ему через Артабазу. Он вернулся вместе с глашатаем и в первые же минуты возмущения был заключен в тюрьму по приказу эфоров, которые, похоже, имели законное право заключить его в тюрьму, даже если бы он был царем, а не регентом. Но вскоре его выпустили, по его собственному требованию и по частному соглашению с друзьями и сторонниками, чтобы он предстал перед судом против всех обвинителей.^[543] Даже выступить в качестве обвинителя против столь могущественного человека было серьезной опасностью: взять на себя доказательство конкретных фактов измены против него было еще серьезнее: не похоже, чтобы кто-то из спартанцев решился сделать и то, и другое. Было известно, что ничто, кроме самых явных и неопровержимых доказательств, не оправдает его осуждения, а среди длинной цепи деяний, которые в совокупности несут в себе осуждение, не было ни одного достаточно доказательного для этой цели. Поэтому Павсаний остался не только на свободе, но и без обвинения, по-прежнему дерзко продолжая свои интриги на родине и переписку с Артабазом за границей. Он решился напасть на незащищенную сторону Спарты, начав переговоры с гелотами и подстрекая их к восстанию, обещая им освобождение и допуск к политическим привилегиям,^[544] чтобы, во-первых, уничтожить правление эфоров и сделать себя деспотом в своей стране, а во-вторых, приобрести с помощью персов господство в Греции. Некоторые из тех гелотов, к которым он обращался, раскрыли заговор эфортам, которые, несмотря на столь серьезную опасность, не решились принять меры против Павсания, не получив более полной информации, - настолько внушительными были его имя и положение. Но хотя некоторые гелоты могли сообщить, вероятно, многие другие с радостью выслушали предложение и верно хранили тайну: по тому, что случилось через несколько лет после этого, мы узнаем, что среди них было немало тех, кто держал копья наготове для восстания. Как ни подозревали Павсания, но благодаря страхам одних и попустительству других ему удалось довести свои планы до самого конца, и его последние письма к Артабазу,^[545] в которых он сообщал, что готов к действию, и требовал немедленного выполнения договоренностей, заключенных между ними, уже находились в руках гонца. Спарту спасла от вспышки самой страшной войны не благоразумие ее властей, а простая случайность, или, скорее, тот факт, что Павсаний был не только предателем своей страны, но и подлым и жестоким в своих личных отношениях.

Гонец, которому были доверены эти последние письма, был уроженцем Аргилуса во Фракии, любимым и верным рабом Павсания; когда-то он был связан с ним теми близкими отношениями, которые греки терпели и допускали даже до полного доверия к его изменническим проектам. Аргилиец ни в коем случае не собирался предавать своего хозяина, но, получив письмо, которое ему нужно было передать, он с некоторым беспокойством вспомнил, что ни один из предыдущих гонцов не вернулся. Поэтому он сорвал печать и прочел письмо, намереваясь донести его до места назначения, если не обнаружит ничего, противоречащего его личной безопасности: он предусмотрительно подделал печать своего господина, чтобы можно было легко перепечатать письмо. Прочитав его, он обнаружил, что его подозрения подтверждаются прямым предписанием предать предъявителя смерти, и это открытие не оставило ему иного выхода, кроме как передать письмо эфортам. Но те магистраты, которые и раньше не верили хелотским информаторам, все еще отказывались верить даже конфиденциальному рабу с автографом и печатью своего господина и с полным отчетом, который он, несомненно, передаст в то же время, обо всем, что ранее происходило в персидской переписке, не опуская копии тех писем между Павсанием и Ксерксом, которые я уже цитировал из Фукидида - ведь иначе они не могли стать достоянием общественности. Отчасти из-за подозрительности, с которой в древности

всегда относились к показаниям рабов, за исключением тех случаев, когда они были получены под притворной гарантией пыток, отчасти из-за опасности иметь дело со столь возвышенным преступником, - эфоры не удовлетворились бы никаким свидетельством, кроме его собственной речи и их собственных ушей. Они велели аргильскому рабу расположиться в качестве просителя в священном храме Посейдона у мыса Тенара под прикрытием двойного шатра, за которым скрывались двое из них. Узнав об этом неожиданном сигнале тревоги, Павсаний поспешил в храм и потребовал объяснить причину, на что раб раскрыл свое знание содержания письма и горько пожаловался, что после долгой и верной службы, когда он ни разу не выдал тайны, эту опасную переписку, он был вознагражден ничем иным, как той же несчастной участью, которая постигла предыдущих посланников. Признав все это, Павсаний попытался успокоить раба и торжественно заверил его в безопасности, если он покинет святилище; в то же время он убеждал его немедленно отправиться в путь, чтобы не помешать осуществлению задуманного.

Все это было слышно скрывавшимся эфорам, которые, удовлетворившись этим, решили арестовать Павсания сразу же по возвращении в Спарту. Они встретили его на людной улице, неподалеку от храма Афонского Халкика (или Медного дома); но когда они приблизились, их грозные взгляды или многозначительный кивок одного из них открыли виновнику их цель, и он убежал в храм, который находился так близко, что он достиг его прежде, чем они смогли его догнать. В качестве просителя, куда более безнадёжного, чем аргильский раб, с которым он так недавно беседовал в Тенаре, он расположился в узкой крытой камере священного здания, где эфоры, не имея права трогать его, сняли крышу, пристроили двери и караулили до тех пор, пока он не умер от голода. Согласно распространенной истории,^[546] не подтвержденной Фукидидом, но соответствующей спартанским нравам, его собственная мать была тем человеком, который положил первый камень для строительства двери, в знак глубокого отвращения к его измене. За его последними минутами тщательно следили, и его вынесли как раз вовремя, чтобы он не скончался и тем самым не осквернил храм. Первым побуждением эфоров было бросить его тело в овраг или впадину, называемую Кæадас, обычное место наказания преступников: вероятно, его влиятельные друзья предотвратили этот позор, и он был похоронен неподалеку, пока, спустя некоторое время, по распоряжению дельфийского оракула, его тело не было эксгумировано и перенесено на то самое место, где он умер. Оракул не удовлетворился даже этим повторным захоронением: объявив все происходящее осквернением святыни Афины, он предписал преподнести ей два тела в качестве искупления за унесенное. В очень ранние времена Греции - или у карфагенян, даже в этот период, - такое предписание, вероятно, привело бы к закланию двух человеческих жертв: в данном случае Атхен, или Гикесий, бог-покровитель подателей, должен был быть удовлетворен двумя медными статуями; не без некоторых попыток показать, что такое искупление было недостаточным^[547].

Так погиб грек, достигший вершины славы лишь благодаря случайности своего высокого происхождения и тому, что он был генералом в Платее, где, судя по всему, не проявил никаких выдающихся качеств. Его предательские проекты привлекли к ответственности и привели к позору человека, намного превосходящего его самого, афинянина Фемистокла.

Хронология этого важного периода известна не настолько полно, чтобы мы могли определить полные даты конкретных событий; но мы вынуждены - вследствие последующих событий, связанных с Фемистоклесом, чье бегство в Персию достаточно хорошо обозначено по дате - признать, что между отставкой Павсания от командования в Византии и его смертью прошел примерно девять лет. Предполагать столь долгий промежуток времени, в

течение которого велась изменническая переписка, весьма озадачивает; и мы можем объяснить это лишь очень несовершенно, принимая во внимание, что спартанцы обычно были медлительны в своих передвижениях и что подозреваемый регент, возможно, общался с партизанами, реальными или ожидаемыми, во многих частях Греции. Среди тех, кого он пытался привлечь в качестве сообщников, был Фемистокл, все еще обладавший большой властью - хотя, как кажется, уже угасающей - в Афинах: обвинение в сговоре с персами связано с предыдущим движением политических партий в этом городе.

Соперничество Фемистокла и Аристеиды было значительно смягчено вторжением Ксеркса, которое наложило на обоих императивную необходимость сотрудничества против общего врага. Не возобновилось оно и в те времена, которые последовали за возвращением афинян в свою страну: по крайней мере, мы слышим, что оба они находятся на действительной службе и занимают видные посты. Фемистокл выступает как строитель городских стен и архитектор Пирея: Аристеидес - командующий флотом и первый организатор конфедерации Делоса. Более того, мы, кажется, обнаруживаем изменения в характере последнего: он перестал быть защитником старомодных афинских земельных интересов, выступая против Фемистоклеса как инициатора морских нововведений. Теперь, после битвы при Саламине, эти новшества стали общепризнанным фактом, оказавшим огромное влияние на судьбы и характер, как общественный, так и личный, афинян. Во время изгнания в Саламине каждый человек, богатый или бедный, землевладелец или ремесленник, был на время моряком: анекдот о Кимоне, который посвятил уздечку своего коня в акрополе в знак того, что он собирается перейти из конницы на службу на корабле, [548] является примером той перемены в чувствах, которая должна была в большей или меньшей степени повлиять на каждого богатого человека в Афинах. Отныне флот представляется каждому человеку как великая сила, наступательная и оборонительная, государства, и в этом качестве все политические лидеры согласны принять его: мы должны добавить в то же время, что это изменение не повредило ни сухопутной армии, ни земледелию Аттики, которые, как мы увидим, получили необычайное развитие в промежутке между персидской и пелопоннесской войнами. Тем не менее, триремы и люди, которые на них служили, взятые в совокупности, были теперь определяющим элементом в государстве: более того, люди, которые на них служили, только что вернулись из Саламины, свежие после сцены испытаний и опасностей, и после жатвы победы, которая на мгновение уравнивала всех афинян как страдальцев, как бойцов и как патриотов. Такое преобладание морского импульса, проявившееся сразу после возвращения из Саламины, было еще более усилено строительством и укреплением Пейреуса - новых морских Афин, таких же больших, как старый внутренний город, - а также неожиданным образованием конфедерации на Делосе, со всеми ее неисследованными перспективами и стимулирующими обязанностями.

Политические перемены, вызванные этим в Афинах, были не менее важны, чем военные. "Морское население, авторы Саламинской победы" [549] и орудия нового призвания Афин как главы Делийской конфедерации, теперь заняло ведущее место и в политической конституции; не как отдельный или привилегированный класс, а как закваска для всей массы, усиливающая демократические настроения и протестующая против всех признанных политических неравенств. В самом деле, во время борьбы при Саламине весь город Афины был не чем иным, как "морским народом", среди которого владельцы и главные люди были смешаны, пока усилиями всех не была отвоевана общая страна; и вряд ли этот народ после периода вынужденного равенства, в течение которого политические привилегии были уничтожены, терпеливо согласится на полное восстановление таких привилегий у себя дома. Мы видим на примере активных политических настроений немецкого народа после великой борьбы 1813 и 1814 годов, насколько энергичные и успешные военные усилия всего народа в

сочетании с перенесением серьезных лишений стимулируют чувство политического достоинства и потребность в развитом гражданстве: и если такая тенденция наблюдается даже среди народа, привычно пассивного в таких вопросах, то тем более ее следовало ожидать от афинского населения, прошедшего тридцатилетнюю подготовку под властью демократии Клейстенеса. В то время, когда эта конституция была впервые установлена,[550] она была, возможно, самой демократичной в Греции: она работала чрезвычайно хорошо и распространяла среди народа настроения, благоприятные для равного гражданства и недружелюбные к заведомым привилегиям: так что впечатления, произведенные борьбой при Саламине, нашли народный ум подготовленным к их восприятию. Вскоре после возвращения в Аттику Клейстенская конституция была расширена в отношении права на занятие магистратуры. Согласно этой конституции, четвертое или последнее сословие по солонийской переписи, включая значительное большинство свободных людей, не допускалось к государственным должностям, хотя и обладало голосами наравне с остальными: ни один человек не мог быть магистратом, если он не принадлежал одному из трех высших сословий. Теперь это ограничение было отменено, и право быть магистратом распространилось на всех граждан. Мы можем оценить силу чувства, с которым требовалась такая реформа, когда узнаем, что она была предложена Аристеидесом, человеком, обратным тому, что называют демагогом, и ярым другом клейстенской конституции. После Персидской войны, которая формально исключила "морское множество" из состава магистратуры, ни одна политическая система не могла работать. Я скорее предполагаю, как уже говорилось в предыдущем томе, что выборы магистратов все еще сохранялись и не были заменены на жеребьевку до определенного времени, хотя и недолго, после этого. Сначала общественные настроения требовали признания принципа равенства и открытости: после определенного опыта выяснилось, что бедные люди, хотя по закону и имеют право быть избранными, на деле выбираются редко: тогда появился жребий, чтобы дать им равные шансы с богатыми. Принцип сортировки, или выбора по жребию, никогда не применялся, как я уже отмечал, ко всем должностям в Афинах, - никогда, например, к стратигам, или генералам, чьи функции были более серьезными и ответственными, чем у любого другого человека на службе государства, и которые всегда продолжали избираться поднятием рук.

В новом положении, в котором оказались Афины, с таким большим расширением того, что можно назвать ее внешними связями, и с конфедерацией, которая налагала необходимость отдаленной военной службы, функции стратегов, естественно, становились все более поглощающими и сложными; в то время как гражданское управление становилось более хлопотным, если не более трудным, из-за расширения города и еще большего расширения Пейреуса, что привело к увеличению населения города, и особенно к увеличению метисов, или жителей, не являющихся свободными. И, вероятно, именно в этот период, в годы, непосредственно следующие за битвой при Саламине, когда сила старых привычек и традиций была частично ослаблена столькими волнующими нововведениями, архонты были полностью отстранены от политических и военных обязанностей и ограничились гражданским или судебным управлением. В битве при Марафоне полемарх - военачальник, председатель десяти стратегов:[551] в дальнейшем мы знаем его только как гражданского судью, вершащего правосудие над метисами, или несвободными, в то время как страгоны исполняют военные обязанности без него. Я полагаю, что это изменение, указывающее на изменение характера архонтов в целом, должно было произойти в то время, которого мы сейчас достигли[552], - время, когда афинские учреждения со всех сторон требовали более продуманного распределения должностных лиц. Распределение стольких афинских коллегий функционеров, часть которых должна была исполнять обязанности в городе, а часть - в Пирее, началось не ранее этого периода, когда Пирей был возведен Фемистоклом в достоинство города, крепости и государственной гавани. Такими коллегиями были астиномы

и агораномы, осуществлявшие полицию улиц и рынков, метрономы, следившие за весами и мерами, ситофилаки, приводившие в исполнение различные государственные постановления о хранении и продаже кукурузы, и другие лица, действовавшие в Пейреусе не меньше, чем в городе.[553] Можно предположить, что каждый из этих советов был первоначально создан по мере необходимости, в более поздний период, чем тот, которого мы достигли сейчас; большинство этих подробных обязанностей сначала выполнялись архонтами, а затем, когда последние стали слишком заняты, были переданы отдельным администраторам. Особым и важным изменением, характеризующим период, непосредственно следующий за битвой при Саламине, было более четкое разграничение между архонтами и стратигами; внешнее и военное управление полностью перешло к стратигам, а архонты стали чисто гражданскими магистратами, как административными, так и судебными; в то время как первое создание отдельных вышеупомянутых коллегий было, вероятно, косвенным расширением, возникшим в результате роста населения, власти и торговли в период между персидской и пелопоннесской войнами. Именно путем таких шагов афинская администрация постепенно достигла того полного развития, которое она демонстрирует на практике в течение столетия с Пелопоннесской войны и далее, к которому относится почти вся наша позитивная и прямая информация.

Аристеидес, по-видимому, симпатизировал этому росту демократических чувств и военной активности в Афинах; и популярность, которую ему обеспечили, вероятно, усиленная некоторым сожалением о его предыдущем остракизме, должна была приобрести постоянство благодаря его прямолинейному и неподкупному характеру, который теперь сильно облегчался его функцией асессора в новой Делийской конфедерации. С другой стороны, восхождение Фемистоклеса, хотя оно так часто возвышалось благодаря его непревзойденному политическому гению и смелости, а также значительной ценности его общественных рекомендаций, так же часто сводилось на нет его двуличностью и беспринципной жадой денег. Против него появились новые политические противники, люди, симпатизирующие Аристеидесу и гораздо более жестокие в своей антипатии, чем сам Аристеидес. Главными из них были Кимон, сын Мильтиада, и Алкмеон; кроме того, похоже, что лакедемоняне, хотя и были полны уважения к Фемистоклесу сразу после битвы при Саламине, теперь стали относиться к нему крайне враждебно, - изменение, которое можно достаточно объяснить его хитростью в отношении укреплений Афин и его последующими амбициозными проектами в отношении Пейреуса. Влияние лакедемонян, которое в то время было немалым в Афинах, было использовано для поддержки политических комбинаций против него.[554] Говорят, что он вызывал недовольство проявлением личного тщеславия - постоянным хвастовством своими великими заслугами перед государством и возведением частной часовни рядом с собственным домом в честь Артемиды Аристобул, или Артемиды восхитительных советов; Подобно тому, как Павсаний раздражал лакедемонян, начертав свое единственное имя на дельфийском треножнике, и как друзья Аристеидеса вызывали недовольство афинян бесконечными восхвалениями его справедливости.[555] Но главной причиной его дискредитации было использование его огромного влияния в произвольных и коррупционных целях. В условиях неустроенности многих греческих общин, недавно освобожденных из Персии, когда нужно было отомстить за прошлое, свергнуть и, возможно, наказать виновных, восстановить изгнанников, а также в условиях тревог и подозрений, сопровождавших столь значительные перемены как в политическом положении, так и во внешней политике, влияние ведущих людей в Афинах должно было быть очень велико при определении отношения к конкретным лицам. Фемистокл, поставленный во главе афинской эскадры и плававший среди островов отчасти для войны с Персией, отчасти для

организации новой конфедерации, - утверждают, что он беспрекословно принимал взятки, исполнял приговоры, справедливые и несправедливые, - одних граждан восстанавливал, других изгонял, третьих даже предавал смерти. Мы узнаем об этом от друга и гостя Фемистокла, поэта Тимокреона из Иалиса на Родосе, который ожидал своего восстановления от афинского полководца, но обнаружил, что этому помешала взятка в три таланта от его противников; так что его все еще держали в изгнании по обвинению в *медиевизме*. Утверждения Тимокреона, лично разгневанного на Фемистоклеса, несомненно, следует считать страстными и преувеличенными: тем не менее, они являются ценным свидетельством чувств того времени и слишком хорошо согласуются с общим характером этого выдающегося человека, чтобы мы могли полностью им не верить. Тимокреон столь же категоричен в своем восхищении Аристеидесом, как и в порицании Фемистоклеса, которого он осуждает как "лживого и несправедливого предателя"[556].

Такое поведение, описанное новым Архилохом, даже если допустить преувеличение, должно было вызвать ненависть и страх к Фемистоклу среди союзников-изоляторов, мнение которых теперь имело большое значение для афинян. Аналогичные настроения отчасти выросли против него и в самих Афинах, и, похоже, они были связаны с подозрениями в изменнических наклонностях по отношению к персам. Поскольку персы могли предложить самые высокие взятки, человека, открытого для коррупции, естественно было заподозрить в склонности к их делу; и если Фемистоклес оказал им выдающуюся услугу, то и Павсаний, чье поведение претерпело столь фатальные изменения к худшему, тоже. Именно измена Павсания, которую подозревали и считали виновной афиняне еще тогда, когда он командовал в Византии, хотя в Спарте она не была доказана до тех пор, пока не прошло много времени, - в сочетании с коррупционными действиями, запятнавшими его общественное поведение, впервые, кажется, вызвала предположение о *медиумизме* и против Фемистоклеса: Мы должны также помнить, что Фемистоклес придал некоторую окраску этим предположениям, даже своими уловками в отношении Ксеркса, которые носили двуличный характер и могли быть истолкованы как в персидском, так и в греческом смысле. Лакедемоняне, враждебные Фемистоклу с тех пор, как он перехитрил их в отношении стен Афин, - и опасаясь его как предполагаемого сообщника подозреваемого Павсания, - добились того, чтобы в Афинах против него было выдвинуто обвинение в *медиизме*; путем тайных подстрекательств и, как говорят, взяток его политическим противникам.[557] Но не было представлено никаких удовлетворительных доказательств этого обвинения, которое сам Фемистоклес упорно отрицал, не без яростных апелляций к своим выдающимся заслугам. Несмотря на яростные нападки на него со стороны Алкмеона и Кимона, сдержанные, правда, великодушной сдержанностью Аристеидеса,[558] его защита была успешной. Он увлек за собой народ и был освобожден от обвинения. Его не просто оправдали, но, как и следовало ожидать, произошла реакция в его пользу: его великолепные качества и подвиги были впечатляюще представлены общественному мнению, и он, казалось, на время приобрел большую популярность, чем когда-либо[559].

Такое обвинение и такая неудача, должно быть, до предела обострили вражду между ним и его главными противниками - Аристидом, Кимоном, Алкмеоном и другими; не приходится удивляться, что они стремились избавиться от него путем ostracism. Объясняя этот своеобразный процесс, я уже говорил, что он никогда не мог быть направлен против какого-либо одного человека в отдельности и якобы, - и что он вообще никогда не мог быть пущен в ход, если его необходимость не была ясно показана не только агрессивным партиям, но и собравшемуся сенату и народу, включая, конечно, значительную часть более умеренных граждан. Можно предположить, что многие беспристрастные афиняне считали сложившуюся ситуацию вполне подходящей для опекунского вмешательства ostracism,

явная польза которого заключалась в том, что он разделял политических противников, когда антипатия между ними грозила толкнуть одного или другого на внеконституционные процедуры, - особенно когда одной из этих сторон был Фемистоклес, человек, в равной степени обширный по своим способностям и беспринципный по своей морали. Вероятно, не мало было и тех, кто желал отомстить за предыдущий ostracism Аристидеса: и, наконец, друзья самого Фемистоклеса, обрадованные его оправданием и, казалось бы, возросшей популярностью, могли питать надежды, что голосование об ostracism обернется в его пользу и устранил одного или другого из его главных политических противников. Из всех этих обстоятельств мы без удивления узнаем, что вскоре после этого был применен вотум ostracism. Оно закончилось временным изгнанием Фемистоклеса.

Он удалился в изгнание и жил в Аргосе, куда перевез значительное имущество, изредка наведываясь в другие районы Пелопоннеса,[560] когда в Спарте произошло разоблачение и смерть Павсания, а также обнаружение его переписки. Среди этой переписки были найдены доказательства, которые Фукидид, по-видимому, считал реальными и достаточными, о близости Фемистоклеса. Согласно Эфору и другим источникам, считается, что к нему обращался Павсаний и что он знал его планы, но держал их в тайне, отказываясь сотрудничать в них,[561] но, вероятно, после изгнания он принял в них более решительное участие, чем раньше; для этого он был хорошо устроен в Аргосе, городе, не только недружественном Спарте, но и, как полагают, находившемся в сговоре с Ксерксом во время его вторжения в Грецию. По этому случаю лакедемоняне послали в Афины, чтобы публично выдвинуть против него официальное обвинение в измене и настоять на необходимости судить его как общеэллинского преступника перед синодом союзников, собравшимся в Спарте.[562] Была ли эта последняя просьба удовлетворена, или Фемистоклес был бы судим в Афинах, мы не можем сказать: ведь не успел он узнать, что для его ареста были отправлены совместные посланники из Спарты и Афин, как сразу же бежал из Аргоса на Коркиру. Жители этого острова, хотя и были ему благодарны и благосклонны, не решились защитить его от двух самых могущественных государств Греции, а отправили его на соседний континент. Здесь, однако, будучи по-прежнему выслежен и преследуем посланцами, он был вынужден искать защиты у человека, которому он ранее помешал в требовании в Афинах и который стал его личным врагом, - Адмета, царя молоссов. К счастью для него, в тот момент, когда он прибыл, Адмета не было дома, и Фемистоклос, став ходатаем перед его женой, настолько примирил ее симпатии, что она отдала ему на руки своего ребенка и посадила его у очага в полной торжественности мольбы, чтобы смягчить мужа. Как только Адмет вернулся, Фемистоклос открыл ему свое имя, преследователей и опасность, прося защиты как беспомощный проситель в последней крайности. Он взывал к великодушию эпирского принца, чтобы тот не мстил беззащитному человеку за обиду, нанесенную при совсем других обстоятельствах; да и обида, в конце концов, не имела большого значения, тогда как защита, о которой сейчас просили, была для подателя вопросом жизни или смерти. Адмет поднял его с очага с ребенком на руках - свидетельство того, что он принял обращение и обещал защищать его; отказался отдать его посланникам и, наконец, отправил его, выразив собственное желание посетить царя Персии. Два македонских проводника провели его через горы в Пидну, в Термический залив, где он нашел торговое судно, собиравшееся отплыть к берегам Малой Азии, и взошел на борт; ни хозяин, ни команда не знали его имени. Неприятный шторм пригнал судно к острову Наксос, в тот момент осажденному афинскими войсками: если бы он был вынужден высадиться на берег, его бы, конечно, узнали и схватили, но его изворотливость не покинула его. Сообщив свое имя и опасность, которая его ожидает, он убеждал хозяина корабля помочь ему спастись и не позволить никому из команды высадиться на берег; угрожая, что если его случайно обнаружат, он погубит хозяина вместе с собой, представив его как сообщника, которого деньги побудили содействовать

побегу Фемистокласа; с другой стороны, в случае безопасности он обещал большую награду. Такие обещания и угрозы действовали на хозяина, который контролировал свою команду и заставил ее день и ночь блуждать у берега, не стремясь высадиться на сушу. После этого опасного перерыва шторм утих, и корабль благополучно достиг Эфеса[563].

Так Фемистокл после целого ряда опасностей оказался в безопасности на персидской стороне Эгейского моря. В Афинах его объявили предателем и конфисковали его имущество: однако, как это часто случалось в случаях конфискации, его друзья спрятали значительную сумму и переслали ее ему в Азию вместе с деньгами, которые он оставил в Аргосе; таким образом, он получил возможность щедро вознаградить капитана корабля, который его сохранил. С учетом всех этих вычетов, имущество, которым он обладал, не поддающееся сокрытию, и которое поэтому было фактически конфисковано, составило восемьдесят талантов, согласно Теофрасту, - сто талантов, согласно Теопомпу. По сравнению с этой крупной суммой печально узнать, что он начал свою политическую карьеру с имуществом, не превышающим трех талантов.[564] Бедность Аристеидеса в конце его жизни представляет впечатляющий контраст с богатством его соперника.

Бегство Фемистокласа и его приключения в Персии, похоже, стали излюбленной темой для фантазии и преувеличений авторов столетия спустя: мы имеем множество анекдотов, которые прямо или косвенно противоречат простому рассказу Фукидида. Так, нам говорят, что в тот момент, когда он убегал от греков, персидский царь объявил награду в двести талантов за его голову, и что некоторые греки на побережье Азии подстерегали его, чтобы схватить за эту награду: что он был вынужден скрываться вблизи побережья, пока не были найдены средства, чтобы отправить его в Сузы в закрытой повозке под предлогом, что это женщина для царского гарема: что Манданка, сестра Ксеркса, настояла на том, чтобы его отдали ей в качестве компенсации за потерю сына в битве при Саламине: что он так хорошо выучил персидский язык и так красноречиво говорил на нем, что добился оправдания от персидских судей, когда его привлекли к суду благодаря настойчивости Манданки; что служащие царского дома в Сузах и сатрапы на его обратном пути угрожали ему еще большими опасностями; что он был допущен к царю лично, получив от камергера лекцию о непереносимости падать перед ним ниц, чтобы выразить почтение и т. д., с некоторыми другими неподтвержденными деталями,[565] которые заставляют нас более высоко ценить рассказ Фукидида. Действительно, Эфор, Дейно, Клитарх и Гераклдид, от которых, по-видимому, в основном и происходят эти анекдоты, даже утверждали, что Фемистокл нашел самого Ксеркса живым и видел его: тогда как Фукидид и Харон, два современных автора, поскольку первый *почти* современник, утверждали, что он нашел Ксеркса недавно мертвым, а его сына Артаксеркса на троне.

Согласно Фукидиду, выдающийся изгнанник, похоже, не подвергался в Персии ни малейшей опасности. Он представил себя как дезертира из Греции, и был принят как таковой: более того, - что еще более странно, хотя и кажется правдой, - он был принят как действительный благодетель персидского царя и страдалец от греков из-за такого расположения, - вследствие его сообщений Ксерксу о предполагаемом отступлении греков из Саламины и о предполагаемом разрушении Геллеспонтского моста. Некоторые персы провели его по побережью до Суз, где он обратился к царю с письмом, составленным в следующих выражениях, которые, вероятно, не потерпит ни один современный европейский король, разве что квакер: "Я, Фемистокл, пришел к тебе, причинив твоему дому больше зла, чем любой другой грек, пока я был вынужден, защищаясь, противостоять нападению твоего отца, - но и оказав ему еще большее благодеяние, когда я мог сделать это с безопасностью для себя и когда его отступление было под угрозой. Мне еще причитается награда за мою

прошлую службу: более того, я теперь здесь, прогнанный греками из-за моей привязанности к тебе,[566] но все еще могу служить тебе с большим успехом. Я хочу подождать год, а затем лично явиться к тебе, чтобы объяснить свои взгляды".

Точно ли персидские переводчики, читавшие это письмо Артаксерксу Лонгиману, передали его краткое и прямое выражение, мы сказать не можем. Но оно произвело на него сильное впечатление в сочетании с предыдущей репутацией писателя, и он охотно удовлетворил просьбу об отсрочке: хотя мы не будем охотно верить, что он был настолько увлечен, чтобы показать свою радость немедленным жертвоприношением богам, необычной мерой гостеприимства и трижды воскликнуть во сне: "Я получил Фемистокла афинянина", как сообщали некоторые из авторов Плутарха.[567] В течение предоставленного года Фемистокл настолько изучил персидский язык и обычаи, что смог лично общаться с царем и завоевать его доверие: ни один грек, говорит Фукидид, никогда прежде не добивался такого влияния и положения при персидском дворе. Его изобретательность проявилась в разработке схем подчинения Греции Персии, которые очень понравились монарху, который наградил его женой-персиянкой и большими подарками, отправив в Магнесию, на реке Меандр, неподалеку от побережья Ионии. Доходы округа вокруг этого города, составляющие большую сумму в пятьдесят талантов в год, были выделены ему на хлеб: доходы соседнего морского порта Миус - на приправы к хлебу, который всегда считался основным питанием: доходы Лампсака на Геллеспонте - на вино.[568] Не зная суммы этих двух последних статей, мы не можем определить, сколько доходов получал Фемистокл в целом: но, судя по доходам одной только Магнесии, не может быть сомнений, что он получил большую материальную выгоду от смены страны. Побывав в разных частях Азии,[569] он некоторое время жил в Магнесии, куда к нему из Афин приехала семья. Сколько времени он прожил в Магнесии, мы не знаем, но, по-видимому, достаточно долго, чтобы его оценили местные жители и оставили о нем воспоминания. В конце концов он умер от болезни в возрасте шестидесяти пяти лет, так и не сделав ни одного шага к осуществлению тех победоносных походов, которые он обещал Артаксерксу. В то, что болезнь была истинной причиной его смерти, мы можем поверить на основании четкого заявления Фукидида;[570] который в то же время обращает внимание на слух, частично ходивший в его собственное время, о яде, добровольно принятом из-за болезненного сознания самого Фемистокла, что данные обещания никогда не могут быть выполнены, - еще одно доказательство общей тенденции окружить последние годы этого выдающегося человека впечатляющими приключениями и придать его последним минутам возродившее чувство, недостойное его прежнего патриотизма. Возможно, это сообщение было намеренно распространено его друзьями и родственниками, чтобы примирить некоторую нежность к его памяти (его сыновья все еще оставались гражданами Афин, а дочери были замужем там). Далее эти друзья заявили, что привезли его кости в Аттику по его собственному приказу и похоронили их в частном порядке без ведома афинян; ни одному осужденному предателю не разрешалось быть похороненным в аттической земле. Однако, если даже допустить, что это утверждение было правдой, никто не мог с уверенностью указать место, где произошло такое погребение; да и сам Фукидид[571], судя по осторожным высказываниям, не был уверен в этом: более того, мы можем с уверенностью утверждать, что жители Магнесии, когда им показали великолепный могильный памятник, воздвигнутый в честь Фемистокла на их собственной рыночной площади, были убеждены, что его кости действительно заключены в нем.

Аристеидес умер примерно через три или четыре года после остракизма Фемистокла;[572] но относительно места и способа его смерти было несколько противоречий среди авторов, которых Плутарх имел перед собой. Одни утверждали, что он погиб на чужой службе в Эвксинском море; другие - что он умер дома, среди всеобщего уважения и скорби своих

сограждан. Третья история, сводящаяся к единственному заявлению Кратера и решительно отвергаемая Плутархом, представляет Аристидеда как ложно обвиненного в афинском суде и приговоренного к штрафу в пятьдесят мин, по обвинению в получении взяток во время начисления дани союзникам, - этот штраф он не смог заплатить и поэтому был вынужден удалиться в Ионию, где и умер. Отбросив эту последнюю историю, мы не находим ничего определенного о его смерти, кроме одного факта, но в то же время самого почетного из всех, - что он умер очень бедным. Утверждается даже, что он не оставил достаточно средств для оплаты похоронных расходов, поэтому в Фалеруме за государственный счет была построена усыпальница для него, кроме того, его сын Лисимах получил солидное пожертвование, а каждая из двух его дочерей - приданое. Однако в двух или трех последующих поколениях его потомки по-прежнему оставались бедными, и даже в тот далекий день некоторые из них получали помощь из государственного бюджета, вспоминая о своем неподкупном предке. Спустя полтора столетия в Афинах, возле часовни Иакха, можно было увидеть бедняка по имени Лисимах, потомка праведного Аристидеда, который нес таинственную скрижаль и получал свою скудную плату в два обола за толкование снов прохожих: Деметрий Фалерейский вытребовал у народа для матери и тетки этого бедняка небольшое дневное пособие.^[573] По всем этим пунктам контраст заметен, когда мы сравниваем Аристидеда с Фемистоклесом. Последний, отличившись показной дороговизной в Олимпии и хорегической победой в Афинах, не скупясь на средства приобретения, закончил свою жизнь в Магнесии в бесчестном достатке, большем, чем когда-либо, и оставил после себя обогащенное потомство как там, так и в Афинах. Более пяти веков спустя его потомок, афинянин Фемистокл, посещал лекции философа Аммония в Афинах, как товарищ и друг самого Плутарха^[574].

ГЛАВА XLV.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРИ АФИНАХ КАК ГЛАВЕ. - ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БЫСТРОЕ РАСШИРЕНИЕ АФИНСКОЙ ИМПЕРИИ.

В предыдущей главе я уже рассказывал о том, как азиатские греки, отделившись от спартанца Павсания, обратились к Афинам с просьбой организовать новую конфедерацию и выступить в качестве города-председателя (Vorort), и как эта конфедерация, созданная не только для достижения общих и насущных целей, но и на принципах равноправия и постоянного контроля со стороны членов, вскоре привлекла к себе спонтанную поддержку значительной части греков, как островных, так и приморских, проживающих вблизи Эгейского моря. Я также отметил это событие как начало новой эры в греческой политике. Ибо если раньше существовала тенденция, не очень сильная, но в целом устойчивая и усиливающаяся, к созданию чего-то вроде единой панэллинской лиги под председательством Спарты, то с этого момента эта тенденция исчезает и начинается раздвоение: Афины и Спарта делят между собой греческий мир и привлекают к сотрудничеству либо с одной, либо с другой стороной гораздо большее число его членов, чем когда-либо прежде.

Фукидид точно, насколько это возможно в общих словах, описывает характер новой конфедерации в первые годы после ее возникновения: но, к несчастью, он не дает нам почти никаких конкретных фактов, и в отсутствие таких контролирующих свидетельств сформировалась привычка свободно описывать весь период между 477 и 405 годами до н. э. (последняя дата - битва при Игосе Потамосе) как составляющий "Афинскую империю". Это слово достаточно верно обозначает последнюю часть, возможно, последние сорок лет из указанных семидесяти двух лет; но оно вводит в заблуждение, когда применяется к первой части: и действительно, нельзя найти ни одного слова, которое бы так же точно характеризовало одну часть, как и другую. Произошла большая и серьезная перемена, и мы скрываем факт этой перемены, если говорим об афинской гегемонии, или главенстве, как о части Афинской империи. Фукидид тщательно различает эти два понятия, говоря о спартанцах как о потерявших, а об афинянах как о приобретших не империю, а главенство, или гегемонию.^[575] Переход от афинской гегемонии к афинской империи, несомненно, был постепенным, так что никто не может точно определить, где заканчивается первая и начинается вторая: но он завершился еще до тридцатилетнего перемирия, которое было заключено за четырнадцать лет до Пелопоннесской войны, - и, по сути, был основной причиной этой войны. Империя стала принадлежать Афинам - отчасти как установленный факт, опирающийся на молчаливое согласие, а не на привязанность или согласие подданных, отчасти как следствие необходимости союза в сочетании с ее превосходящей силой: в то время как этот последний пункт, превосходство силы как законный титул, все больше и больше выдвигался вперед как в языке ее ораторов, так и в представлениях ее граждан. Афинские ораторы середины Пелопоннесской войны осмеливаются утверждать, что их империя имела такой же характер со времен отпора персам: неточность настолько очевидна, что если бы мы могли предположить, что речь афинянина Евфема в Камарине в 415 году до н. э. была услышана Фемистоклосом или Аристидом за пятьдесят лет до этого, она была бы одинаково оскорбительна как для благоразумия одного из них, так и для справедливости другого. Имперское состояние Афин, которое они занимали в начале Пелопоннесской войны, когда их союзники, за исключением Хиоса и Лесбоса, были подданными и когда Эгейское море было афинским озером, - это, конечно, был период ее величайшего великолепия и величайшего влияния на греческий мир. Это был также период, наиболее впечатляющий историков, ораторов и философов, - он наводил на мысль о том, что некое единое государство осуществляет господство над Эгейским морем как естественное состояние Греции, так что если Афины потеряют это господство, то оно перейдет к Спарте, - представляя рассеянных морских греков как заманчивый приз для агрессивных замыслов нового завоевателя, - и даже вызывая в воображении людей мифического Миноса из Креты и других, которые были правителями Эгейского моря в доафинские времена.

Даже те, кто жил в период расцвета Афинской империи, не имели хороших сведений о событиях между 479-450 гг. до н. э.; из намека Фукидида, а также из бесплодности его фактов можно заключить, что, хотя были летописцы и для персидского вторжения, и для предшествующих времен, никто не заботился о временах непосредственно последующих.^[576] Следовательно, все то небольшое, что падало на этот пробел, было заимствовано - если не считать осторожного Фукидида - из последующей эпохи; афинская гегемония рассматривалась как простое начало Афинской империи: Афинам приписывались дальновидные амбиции, нацеленные с персидской войны вниз на результаты, которые, возможно, частично предвидел Фемистокл^[577], но которые только время и последовательные случайности открыли даже отдаленную перспективу. Но такое систематическое предвидение последующих результатов фатально для любого правильного понимания, как реальных агентов, так и реального периода; и то, и другое должно быть объяснено из предшествующих и фактически существующих обстоятельств, с некоторой

помощью, хотя и осторожной и щадящей, от нашего знакомства с тем, что тогда было неизвестным будущим. Когда Аристеидес и Кимон уволили лакедемонского адмирала Доркиса и изгнали Павсания из Византии во время его второго приезда, они должны были решить проблему, стоявшую перед ними непосредственно; они должны были завершить разгром персидской державы, все еще грозной, - и создать и организовать конфедерацию, пока еще только зарождавшуюся. Этого было вполне достаточно, чтобы занять их внимание, не приписывая им далеких представлений об афинской морской империи.

В том кратком очерке происшествий, предшествовавших Пелопоннесской войне, который Фукидид представил как "отрывок своего повествования"[578], он не дает и не собирается давать полного перечисления всего, что произошло на самом деле. В промежутке между первым дезертирством азиатских союзников от Павсания к Афинам в 477 г. до н. э. и восстанием Наксоса в 466 г. до н. э. он приводит только три случая, - Он описывает только три случая: во-первых, осаду и взятие Эйона на реке Стримон с персидским гарнизоном, во-вторых, взятие Скироса и передачу острова афинским клерухам, или горожанам, не имеющим гражданства, в-третьих, войну с Карыстом в Эвбее и сдачу этого места капитулянтам. Слишком часто принято рассуждать, будто эти три события - полная история десяти или одиннадцати лет. Учитывая то, что Фукидид говорит о темноте этого периода, можно предположить, что это все, что он мог узнать о нем по достоверным сведениям: и все они, по правде говоря, являются событиями, имеющими близкое и особое отношение к последующей истории самих Афин, - ведь Эйон был первой ступенькой к важному поселению Амфиполь, а Скирос во времена Фукидида был собственностью афинских граждан, или клерухов. Тем не менее, мы остаемся почти в полном неведении относительно действий Афин, как они вели себя с новообразованными конфедеративными силами: ведь несомненно, что первые десять лет афинской гегемонии должны были быть годами самой активной войны против персов. Одно из положительных свидетельств этого случайно сохранилось у Геродота, который упоминает, что "до вторжения Ксеркса во Фракии и на Геллеспонте повсюду были персидские военачальники и гарнизоны,[579] все они были покорены греками после этого вторжения, за единственным исключением Маскамеса, правителя Дориска, который так и не был взят, хотя на крепость было предпринято множество различных греческих попыток. Из тех, кто был захвачен греками, ни один не защищался настолько, чтобы вызвать восхищение Ксеркса, кроме Богеса, правителя Эйона". Мужественно защищаясь и отказываясь от предложений о капитуляции, Богес обнаружил, что его провизия исчерпана, а дальнейшее сопротивление нецелесообразно. Тогда он разжег огромную погребальную кучу, растерзал своих жен, детей, наложниц и членов семьи и бросил их в нее, перебросил свои драгоценности через стену в Стримон и, наконец, бросился в пламя. 580] Его мужественное отчаяние стало предметом горячих похвал среди персов, а его родственники в Персии были щедро вознаграждены Ксерксом. Захват Эйона, осуществленный Кимоном, был упомянут, как уже говорилось, Фукидидом; но Геродот здесь дает нам понять, что это было лишь одно из целого ряда предприятий, незамеченных Фукидидом, против персов. Из его слов следует, что Маскамес продержался в Дориске все время правления Ксеркса, а может быть, и дольше, отражая все новые и новые нападения греков.

Приведенное здесь ценное указание Геродота само по себе было бы достаточным доказательством того, что первые годы афинской гегемонии были полны напряженной и успешной борьбы с персами. И действительно, именно этого и следовало ожидать: битвы при Саламине, Платее и Микале изгнали персов из Греции и подавили их основное вооружение, но не

убрали их сразу со всех различных постов, которые они занимали по всей Эгее и Фракии. Несомненно, афинянам пришлось очистить побережье и острова от большого количества различных персидских отрядов: операция, которая никогда не была ни короткой, ни легкой при несовершенных средствах осады, как мы можем видеть на примере Сеста и Эйона; да и не всегда выполняемая, как учит нас случай с Дориском. Страх перед персами, все еще остававшимся по соседству,^[581] и даже возможность возобновления вторжения персидских войск послужили одним из побудительных мотивов для греческих городов присоединиться к новой конфедерации, а изгнание врага добавило к ней те места, которые он занял. Именно в эти годы активных действий на море против общего врага афиняне впервые установили среди экипажей своих кораблей ту постоянную, систематическую и трудоемкую подготовку, которая с постоянными улучшениями сохранялась вплоть до Пелопоннесской войны: Именно благодаря им, в сочетании с нынешним страхом, они смогли организовать самую большую и эффективную конфедерацию, когда-либо известную среди греков, - собрать совещательных депутатов, - установить свое превосходство в качестве исполнителей коллективных постановлений, - и собрать непомерный налог из всеобщего взноса. Наконец, именно эти операции, проводимые настолько успешно, чтобы устранить нынешнюю тревогу, в конце концов утомили более вялых и пассивных членов конфедерации и породили в них желание либо заменить личную службу денежным взносом, либо любым способом освободиться от обязанности служить. Афинская морская подготовка никогда бы не была приобретена, конфедерация никогда бы не стала действующей реальностью, усталость и недовольство среди ее членов никогда бы не возникли, если бы не было реального страха перед персами и настоятельной необходимости в энергичных и организованных операциях против них в течение десяти лет между 477 и 466 гг. до н.э.

Что касается десяти лет с 477 по 466 год до н. э., то существует почти неосознанная тенденция считать, что конкретные инциденты, упомянутые Фукидидом об Эйоне, Скиросе, Карысте и Наксосе, представляют собой совокупность событий. Чтобы опровергнуть это предположение, я предложил достаточное, хотя и косвенное, доказательство того, что они являются лишь частью событий очень напряженного периода, - остальные детали которого, обозначенные в общих чертах большим общим языком Фукидида, мы обречены не знать. Мы также не имеем права присутствовать на Делосском синоде, который в течение всего этого времени продолжал свои периодические заседания: хотя было бы очень интересно проследить, как учреждение, которое сначала обещало защищать не только отдельные права членов, но и безопасность целого, так плачевно провалилось в своей цели. Мы должны помнить, что эта конфедерация, созданная для достижения общих для всех целей, в определенной степени ограничивала автономию каждого члена; как предоставляя определенные права, так и налагая определенные обязательства. Торжественно принесенная всеми и Аристидесом от имени Афин, она должна была связывать членов навечно, что было отмечено даже в форме клятвы, которая исполнялась путем бросания тяжелых кусков железа в море, чтобы никогда больше не быть увиденной. ^{583]} Поскольку эта конфедерация была одновременно вечной и императивной, связывая каждого члена с остальными и не допуская ни отставки, ни уклонения, было необходимо, чтобы она поддерживалась каким-то определяющим органом и принудительной санкцией. Определяющей властью был синод на Делосе, а принудительной санкцией - Афины как президент. И есть все основания полагать, что Афина в течение долгого времени исполняла эту обязанность законным и благородным образом, действуя во исполнение решений синода или, по крайней мере, в полном согласии с его общими целями. Она требовала от каждого члена установленную норму мужчин или денег, применяла принуждение против отступников и наказывала пренебрежение воинским долгом наказаниями. Во всех этих требованиях она лишь выполняла свои функции избранного лидера конфедерации, и нет никаких сомнений в том, что Генеральный синод сердечно поддерживал ее^[584] в строгости по отношению к тем неплательщикам, которые получали защиту, не неся своей доли бремени.

Но через несколько лет некоторые из конфедератов, устав от личной военной службы, уговорили афинян предоставить вместо них корабли и людей, а взамен наложили на себя денежный оброк в соответствующем размере. Эта компенсация, вначале, вероятно, введенная для решения какого-то особого неудобного случая, пришлась по вкусу всем сторонам, и постепенно она распространилась на большую часть конфедерации. Для невоинственных союзников, ненавидящих труд и лишения, это было желанным облегчением, в то время как для афинян, полных пыла и терпеливых к труду, а также к дисциплине ради возвеличивания своей страны, это позволяло постоянно оплачивать флот, более многочисленный, чем они могли бы содержать на плаву. Из заявления Фукидида ясно, что эта измененная практика была введена по ходатайству самих конфедератов, а не в результате какого-либо давления или уловки со стороны Афин.^[585] Но хотя таков был ее реальный источник, она не менее фатально унизила союзников по отношению к Афинам и уничтожила первоначальное чувство равных прав и партнерства в конфедерации, с общением опасностей и славы, которое когда-то связывало их вместе. Афиняне стали считать себя военными вождями и солдатами, имеющими в своем распоряжении множество подданных, платящих дань, которых они имели право держать в подчинении и ограничивать, как во внешней политике, так и во внутреннем управлении, в той степени, в какой считали целесообразным, - но которых они также были обязаны защищать от внешних врагов. Таким образом, военная сила этих подвластных государств была в значительной степени передана Афинам по их собственному решению, подобно тому, как военная сила многих туземных князей в Индии перешла в руки англичан. Но военная эффективность конфедерации против персов значительно возросла, поскольку энергичные афинские решения^[586] все меньше и меньше парализовались разногласиями и нерегулярностью синода; таким образом, война велась с большим успехом, чем когда-либо, а мотивы тревоги, послужившие первым стимулом к образованию конфедерации, с каждым годом становились все более и более отдаленными.

В таких условиях некоторые из штатов конфедерации устали даже от уплаты дани и не желали оставаться ее членами. Они предпринимали одну за другой попытки отделиться, но Афины, действуя, по-видимому, совместно с синодом, пресекали их попытки одну за другой, завоеывая, штрафуя и разоружая бунтовщиков; что было тем легче сделать, что в большинстве случаев их военно-морские силы были в значительной степени переданы ей. Поскольку эти события происходили не все сразу, а последовательно в разные годы, - число как простых союзников, платящих дань, так и покоренных бунтовщиков постоянно увеличивалось, - в характере конфедерации никогда не происходило заметных изменений: союзники бессознательно превращались в подданных, а Афины, без всякого заранее разработанного плана, из вождя превращались в деспота. Строго соблюдая обязательства договора по отношению к невольным членам и применяя принуждение к бунтовщикам, она стала непопулярной в той же степени, в какой приобрела новую власть, - и притом без всякой собственной вины. В таком положении, даже если бы она была склонна ослабить свою власть над подданными, соображения ее собственной безопасности удержали бы ее от этого; ведь были основания опасаться, что они могут предоставить свою силу в распоряжение ее врагов. Можно с уверенностью сказать, что она никогда не была склонна к этому; потребовалась бы более самоотверженная общественная мораль, чем когда-либо практиковалась в любом государстве, как древнем, так и современном, чтобы даже представить себе идею добровольно отказаться от огромного превосходства, а также прибыльных доходов: меньше всего такая идея могла прийти в голову афинским гражданам, чьи амбиции росли вместе с их властью, и среди которых любовь к афинскому превосходству была одновременно страстью и патриотизмом. Но хотя афиняне были склонны и способны использовать все предложенные преимущества и даже искать новые, не следует забывать, что фундамент их империи был заложен по самым благородным причинам: добровольное приглашение, неустанные и успешные усилия против общего врага, непопулярность, вызванная

выполнением неотложного долга, и невозможность разорвать конфедерацию, не подвергая опасности как себя, так и открывая Эгейское море для персов[587].

Кроме только что упомянутых причин непопулярности императорских Афин существовали еще две. Во-первых, существование конфедерации, налагающей постоянные обязательства, противоречило общему инстинкту греческого ума, склонного к отдельной политической автономии каждого города, а также особенностям ионического ума, неспособного к тем постоянным личным усилиям, которые требовались для поддержания Делосского синода на его первой большой и равной основе. Далее, - и это главная причина всего, - Афины, победив персов и оттеснив их на расстояние, начали использовать силу и дань своих союзников в войне против греков, где эти союзники ничего не выигрывали от успеха, - все, чего можно было опасаться от поражения, - и зная, за которое нужно было сражаться, оскорбляло эллинские симпатии. В этом отношении у союзников были большие основания для жалоб в течение длительных войн греков против греков, направленных на поддержание афинского господства: но в отношении практических обид или притеснений у них было мало оснований для недовольства и мало чувства действительного недовольства, как я покажу более подробно ниже. Среди общей массы граждан в союзных городах чувство к Афинам было скорее равнодушным, чем ненавистным: движение восстания против нее исходило от небольших партий ведущих людей, действующих отдельно от граждан и, как правило, с побочными честолюбивыми целями для себя: а положительную ненависть к ней испытывали главным образом те, кто не был ее подданным.

Вероятно, та же неспособность к личным усилиям, которая побудила делосских конфедератов предложить денежную оплату в качестве замены военной службы, побудила их пренебречь посещением синода. Но нам неизвестны шаги, благодаря которым это собрание, поначалу эффективная реальность, постепенно превратилось в простую форму и исчезло. Ничто, однако, не может более убедительно проиллюстрировать разницу в характере между морскими союзниками Афин и пелопоннесскими союзниками Спарты, чем тот факт, что в то время как первые избегали личной службы и считали выгодным облагать себя налогами вместо нее, вторые были "достаточно готовы телом", но неуступчивы и невыполнимы в отношении взносов.[588] Презрение, которое испытывали эти дорийские земляки к военной эффективности ионийцев, повторяется часто и, кажется, даже превосходило то, что оправдывала реальность: но когда мы обращаемся к поведению последних двадцатью годами ранее, в битве при Ладе, в самый кризис ионийского восстания из Персии, [589] мы обнаруживаем то же отсутствие энергии, ту же неспособность к личным усилиям и труду, которая разрушила Делосскую конфедерацию со всеми ее благотворными перспективами. Чтобы в полной мере оценить неутомимую активность и смелость, а также терпеливое перенесение трудоемких морских тренировок, которыми отличались афиняне того времени, нам достаточно противопоставить их этим конфедератам, столь поразительно лишенным того и другого. В условиях столь вопиющего неравенства заслуг, способностей и власти поддерживать конфедерацию из равных членов было невозможно: по природе вещей конфедерация должна была либо распасться, либо трансформироваться в афинскую империю.

Уже упоминалось, что первая совокупная сумма дани, предложенная Аристеидесом и принятая синодом на Делосе, составляла четыреста шестьдесят талантов в деньгах. В то время многие конфедераты выплачивали свою долю не деньгами, а кораблями; но эта практика постепенно сокращалась, по мере того как множились упомянутые выше денежные компенсации вместо кораблей, а совокупная дань, разумеется, становилась все больше. Она составляла не более шестисот талантов[590] в начале Пелопоннесской войны, через сорок шесть лет после первого образования конфедерации; из этого можно заключить, что она никогда не увеличивалась для отдельных членов в течение этого периода. Ведь разница между четырьмястами шестьюдесятью

талантами и шестьюстами вполне объяснима многочисленными обментами службы на деньги, а также приобретением новых членов, которые, несомненно, Афины имели возможность делать в большей или меньшей степени. Не следует думать, что к моменту первого сбора дани конфедерация достигла максимальной численности: к ней должны были добавиться различные города, такие как Синопе и Эгина[591].

Без некоторых предварительных заявлений, подобных только что приведенным, относительно нового состояния Греции между персидской и пелопоннесской войнами, начиная с афинской гегемонии, или главенства, и заканчивая Афинской империей, читатель вряд ли поймет значение тех конкретных событий, которые наши власти позволяют нам пересказать; событий, к сожалению, немного, хотя период, должно быть, был полон действий, и не очень достоверных в отношении дат. Первым известным предприятием афинян в их новом качестве - абсолютно первым или нет, мы не можем определить - между 476 и 466 гг. до н. э. было завоевание важного поста Эйон на реке Стримон, где персидский правитель Богес, измученный голодом после отчаянного сопротивления, скорее уничтожил себя, чем капитулировал, вместе со своей семьей и ценными вещами, как уже говорилось. Следующими событиями названы их походы против долопов и пеласгов на острове Скирос, кажется, около 470 года до н. э., и дриопов в городе и районе Карыстус на Эвбее. Последним, которые были иного рода, чем жители Халкиса и Эретрии, и не получали от них никакой помощи, они дали капитуляцию: с первыми поступили более жестко и изгнали их со своего острова. Скирос был бесплоден и мало чем мог похвастаться, кроме удачного морского положения и отличной гавани, а его жители, похоже, сродни пеласгам, жившим на Лемносе до захвата этого места афинянами, были такими же пиратами и жестокими. Некоторые фессалийские торговцы, недавно ограбленные и заключенные ими в тюрьму, подали на них жалобу в Амфикионийский синод, который приговорил остров к возмещению ущерба: масса жителей острова свалила бремя на тех, кто совершил преступление; и эти люди, чтобы избежать уплаты, вызвали Кимона с афинским вооружением, который завоевал остров, изгнал жителей и заселил его афинскими поселенцами.

Такое освобождение было выгодным действием, соответствующим новому характеру Афин как защитника Эгейского моря от пиратства: но, похоже, оно также было связано с планами афинян. Остров был очень удобен для сообщения с Лемносом, который афиняне, несомненно, вновь заняли после изгнания персов,[592] и стал, как и Лемнос, признанной частью Аттики: кроме того, существовали старые легенды, связывающие афинян с ним как с могилой их героя Тесея, чье имя, как мифического поборника демократии, пользовалось особой популярностью в период, непосредственно следующий за возвращением из Саламины. В 476 году до н. э. оракул велел им привезти кости Тесея со Скироса и подготовить для героя великолепную усыпальницу и здание в их новом городе: они попытались это сделать, но необщительные нравы долопийцев помешали поискам, и только после захвата острова Кимоном он нашел или сделал вид, что нашел тело. Его привезли в Афины в 469 году до н. э.,[593] и после того, как народ торжественно и радостно проводил его, как будто герой сам вернулся, было помещено в глубине города, - на этом месте был построен памятник, называемый Тесеем, с его священным участком и наделенный привилегией святилища для людей бедного состояния, которые могли бы чувствовать основания для страха перед притеснениями сильных мира сего, а также для рабов в случае жестокого обращения.[594] Таковы были защитные функции мифического героя демократии, установка которого интересна тем, что знаменует собой растущий накал демократических чувств в Афинах после Персидской войны.

Примерно через два года или более после этого инцидента произошел первый разрыв союза в Делосской конфедерации. Важный остров Наксос, крупнейший из Кикладских островов, который за тридцать лет до этого мог похвастаться большой морской силой и восемью тысячами гоплитов,

отказался от союза; на каком основании, мы не знаем, но, вероятно, большие острова считали себя более способными обойтись без защиты конфедерации, чем малые, - в то же время они больше завидовали Афинам. После осады, которую Афины и конфедерация вели неизвестно сколько времени, остров был вынужден сдаться и низведен до состояния данника;[595] его вооруженные корабли, несомненно, были отобраны, а укрепления разрушены; взимался ли какой-либо штраф или дополнительное наказание, у нас нет сведений.

Мы не можем сомневаться, что уменьшение этого могущественного острова, как бы плохо это ни отразилось на равном и самодостаточном характере конфедерации, укрепило ее военную силу, передав весь накийский флот с новыми денежными взносами в руки вождя: и не удивительно слышать, что Афины стремились как использовать эту новую силу, так и уничтожить поздний акт суровости, усилив усилия против общего врага. Хотя мы не знаем никаких подробностей об операциях против Персии после нападения на Эйон, такие операции, должно быть, продолжались; а экспедиция под командованием Кимона, предпринятая вскоре после восстания накийцев, принесла незабываемые результаты. Этот полководец, имея под началом двести трирем из Афин и сто трирем от различных конфедератов, был отправлен атаковать персов на юго-западном и южном побережье Малой Азии. Он атаковал и изгнал несколько гарнизонов из различных греческих поселений, как в Карию, так и в Ликий: среди прочих, важный торговый город Фаселис, хотя сначала сопротивлялся и даже выдержал осаду, был убежден дружескими предложениями хианцев, находившихся на вооружении Кимона, заплатить контрибуцию в размере десяти талантов и присоединиться к экспедиции. За то время, что персидские сатрапы занимались этими различными делами, им удалось собрать мощные силы, как флот, так и армию, у устья реки Эвримедон в Памфилии под командованием Титраустеса и Ферендатеса, оба из царской крови. Флот, в основном феникийский, состоял из двухсот кораблей, но ожидалось дальнейшее подкрепление из восьмидесяти феникийских кораблей, и оно было уже близко, а командиры не хотели рисковать сражением до его прибытия. Кимон, желая по той же причине поторопиться с боем, энергично атаковал их: отчасти из-за своей малочисленности, отчасти из-за уныния, вызванного отсутствием подкрепления, они, похоже, не оказали упорного сопротивления. Они были обращены в бегство и вытеснены на берег; так быстро и с такими малыми потерями для греков, что Кимон получил возможность немедленно высадить своих людей и атаковать сухопутный отряд, который был выведен на берег для их защиты. Сражение на суше было долгим и галантным, но в конце концов Кимон одержал полную победу, рассеял армию, захватив множество пленных, и либо захватил, либо уничтожил весь флот. Как только победа и пленные были обеспечены, он отплыл на Кипр, чтобы перехватить на своем пути подкрепление из восьмидесяти феникийских кораблей, и ему посчастливилось напасть на них, пока они еще не знали о победах Эвримедона. Эти корабли тоже были уничтожены, хотя большинство экипажей, по-видимому, спаслись на берегу острова. Две великие победы, одна на море, другая на суше, одержанные в один и тот же день одним и тем же оружием, с полным основанием можно отнести к самым славным греческим подвигам, и они были воспеты как таковые в надписи на памятном приношении Аполлону, установленном из десятины добычи.[596] Число пленных, как и добыча, взятая победителями, было огромным.

Столь значительная победа, отбросившая персов к востоку от Фазелиса, несомненно, существенно укрепила позиции афинской конфедерации против них; но она не менее возвысила репутацию Афин и даже сделала ее популярной среди конфедератов в целом, благодаря большому количеству награбленного, разделенного между ними. Вероятно, эта возросшая сила и популярность поддерживали ее на протяжении всего приближающегося поединка с Тасосом, в то же время объясняя растущий страх и неприязнь пелопоннесцев.

Тасос был членом Делосской конфедерации, но ее ссора с Афинами, похоже, возникла по причинам, совершенно отличным от конфедеративных отношений. Уже говорилось, что за последние несколько лет афиняне изгнали персов из важного поста Эйон на реке Стримон, наиболее удобного для соседней Фракии, которая отличалась не только плодородием, но и богатством добычи. Занимая этот пост, афиняне успели познакомиться с продуктивным характером прилегающей области, в основном занятой эдонскими фракийцами; и весьма вероятно, что многие частные поселенцы прибыли из Афин с целью получить гранты или сделать свое состояние, сотрудничая с влиятельными фракийцами в разработке золотых приисков вокруг горы Пангея. При этом они быстро оказались в столкновении с греками противоположного острова Тасос, которые владели значительной полосой земли с различными зависимыми городами на континенте Фракия и получали большой доход от рудников Скаптек-Хиле, а также от других, расположенных по соседству.^[597] Состояние Тасоса в это время, около 465 года до н. э., указывает нам на прогресс, которого достигли греческие государства в Эгейском море после их освобождения от Персии. По приказу Дария около 491 года до н. э. он был лишен укреплений и морских сил и, должно быть, оставался в таком состоянии до отпора Ксерксу; теперь же мы видим его хорошо укрепленным и обладающим мощными морскими силами.

Каким именно образом проявилась ссора между тасийцами и афинянами Эйдона по поводу торговли и рудников во Фракии, нам не известно; но она достигла такой высоты, что афиняне были вынуждены послать против острова мощное вооружение под командованием Кимона.^[598] Победив тасийцев на море, они высадились, одержали различные сражения и блокировали город как на суше, так и на море. И в то же время они предприняли - что, по-видимому, было неотъемлемой частью того же плана - основание более крупной и мощной колонии на фракийской земле неподалеку от Эйдона. На реке Стримон, примерно в трех милях выше Эйдона, недалеко от того места, где река снова сужается, превращаясь в широкое озеро, находился эдонский город или поселение под названием Эннеа Ходои (Девять путей), немного выше моста, который служил здесь важным сообщением для всех жителей внутренних районов. И Гистий, и Аристагор, два милезийских деспота, соблазнились преимуществами этого места, чтобы основать здесь поселение; оба они потерпели неудачу, и теперь к ней добавилась третья неудача еще более грандиозного масштаба. Афиняне отправили туда большое количество колонистов, десять тысяч человек, частично из своих граждан, частично собранных у союзников, и соблазн этого места, вероятно, сделал добровольцев многочисленными. Что касается Эннеа Ходои, то они успешно завоевали ее и прогнали эдонийских владельцев; но при попытке распространиться дальше на восток, к месту под названием Драбескус, удобному для горнодобывающей промышленности, они встретили более грозное сопротивление со стороны мощного союза фракийских племен, которые пришли на помощь эдонийцам в решительной враждебности к новой колонии, - вероятно, не без подстрекательства со стороны жителей Тасоса. Все или большинство из десяти тысяч колонистов были убиты в этой войне, и новая колония на время была полностью оставлена: мы увидим, что она возобновилась впоследствии.^[599]

Разочаровавшись в этом предприятии, афиняне не отказались от блокады Тасоса, которая продолжалась более двух лет и сдалась только на третий год. Его укрепления были разрушены, военные корабли в количестве тридцати трех штук отобраны,^[600] владения и горнодобывающие предприятия на противоположном континенте отменены, а от жителей потребовали немедленного денежного взноса, сверх ежегодных платежей, установленных для них на будущее. Покорение этого могущественного острова стало еще одним шагом в растущем господстве Афин над своими единоверцами.

Однако за год до капитуляции тасийцы предприняли шаг, который заслуживает особого внимания, поскольку указывает на вновь сгущающиеся тучи на греческом политическом

горизонте. Они тайно обратились за помощью к лакедемонянам, умоляя их отвлечь внимание Афин вторжением в Аттику; и лакедемоняне, без ведома Афин, фактически обязавшись выполнить эту просьбу, были отстранены от исполнения своего обещания только серьезным и ужасным несчастьем у себя дома.^[601] Однако это враждебное обещание, хотя и случайно невыполненное, является весьма значительным событием: оно свидетельствует о растущем страхе и ненависти Спарты и пелопоннесцев к Афинам только на общих основаниях, связанных с величиной их могущества, и без каких-либо особых провокаций. Нет, Афины не только не провоцировали, но и фактически входили в лакедемонский союз, и мы увидим, что в настоящее время она и апеллирует к нему, и действует как таковая. Мы так часто будем слышать об Афинах, и это тоже правда, как о настойчивых и агрессивных, а о Спарте - как о домовитой и оборонительной, что только что упомянутый инцидент становится важным для нас. Первый замысел неспровоцированной и даже вероломной вражды - зародыш будущей Пелопоннесской войны - был задуман и доведен до столкновения Спартой.

Плутарх сообщает нам, что афиняне после сдачи Тасоса и освобождения вооружения ожидали от Кимона дальнейших завоеваний в Македонии, и даже что он действительно приступил к осуществлению этого проекта с таким обещанием успеха, что дальнейшее его завершение было не только легко, но и несомненно. Отказавшись от него и вернувшись в Афины, Периклес и другие обвинили его в том, что он был подкуплен взятками македонского царя Александра, но после публичного суда он был оправдан^[602].

В период, прошедший между первым образованием Делосской конфедерации и взятием Тасоса (около тринадцати или четырнадцати лет, 477-463 гг. до н. э.), афиняне, по-видимому, были почти полностью заняты морскими операциями, главным образом против персов, - они были свободны от затруднений непосредственно вокруг Аттики. Но этой свободе не суждено было продлиться долго; в течение последующих десяти лет их внешние отношения вблизи дома становятся одновременно активными и сложными, а их сила расширяется так замечательно, что они оказываются компетентными сразу для обязательств по обе стороны Эгейского моря, как дальнего, так и ближнего.

О событиях, происходивших в Центральной Греции в течение двенадцати или пятнадцати лет после битвы при Платее, у нас нет почти никаких сведений. Чувства того времени между теми греками, которые поддерживали персидского захватчика, и теми, которые сопротивлялись ему, должны были оставаться недружелюбными даже после окончания войны, а само занятие персидской многочисленной армии должно было нанести серьезный ущерб как Фессалии, так и Беотии. На заседании Амфикисионийского синода, последовавшего за изгнанием захватчиков, была объявлена награда за жизнь мелийца Эфиальтеса, который выдал Ксерксу горную тропу через Сета и тем самым погубил Леонида при Фермопилах: Более того, если верить Плутарху, Лакедемон даже предложил изгнать из синода всех греков-медиэвистов^[603] - предложение, которому успешно противостояли более дальновидные взгляды Фемистокласа. Лакедемоняне предлагали даже более сильную меру - разрушить укрепления всех внепелопоннесских городов, опасаясь, что они могут быть использованы для помощи будущему вторжению, - как видно из их речи по случаю восстановления стен Афин; что касается Беотии, то, похоже, главенство Фив, а также целостность федерации были на время почти приостановлены. Разрушенные города Платея и Феспия были восстановлены, а последний частично заселен,^[604] под афинским влиянием; и общие настроения в Пелопоннесе, как и в Афинах, поддерживали бы эти города против Фив, если бы последние попытались в то время навязать им свое главенство от имени "древнего беотийского права и обычая".^[605] Фиванское правительство тогда было дискредитировано за свой прежний *медизм* даже в глазах самих фиванцев,^[606] в то время как партия, выступавшая против Фив в других городах, была настолько сильна, что многие из них, вероятно, отделились бы от

федерации, чтобы стать союзниками Афин, как Платея, если бы вмешательство Лакедемона не остановило такую тенденцию. Последняя во всех других частях Греции была врагом организованного объединения городов, равных или неравных, и постоянно стремилась к тому, чтобы маленькие автономные общины были разделены; [607] поэтому иногда она случайно становилась защитницей более слабых городов от принудительного союза, навязанного им более сильными: В этом отношении интересы ее собственного возвышения были аналогичны интересам персов, когда они диктовали Анталкидов мир, римлян, когда они управляли своими обширными завоеваниями, и королей средневековой Европы, когда они ломали власть баронов над своими вассалами. Но хотя такая политика Спарты была и в других местах, страх перед Афинами, нараставший в течение последующих двадцати лет, заставил ее действовать иначе в отношении Беотии: у нее не было другого способа сохранить эту страну как своего союзника и как врага Афин, кроме эффективной организации федерации и укрепления власти Фив. Именно этой революции в спартанской политике Фивы обязаны восстановлением своего господства, [608] причем революции настолько заметной, что спартанцы даже содействовали расширению ее границ и улучшению ее укреплений; не без труда она сохранила это положение, даже восстановив его, против опасного соседства Афин, что сделало ее не только яркой сторонницей Спарты, но даже более яростной антиафинянской, чем Спарта, вплоть до окончания Пелопоннесской войны.

Только что отмеченный переворот в спартанской политике по отношению к Беотии произошел лишь через двадцать лет после создания афинской морской конфедерации. В течение этих двадцати лет мы знаем, что Спарта не раз участвовала в сражениях в Аркадии против городов и деревень этой страны, в которых она выходила победительницей, но у нас нет никаких подробностей об этих инцидентах. Мы также знаем, что через несколько лет после персидского вторжения жители Элиса сконцентрировались из множества разрозненных поселений в один главный город Элиса; [609] и кажется вероятным, что Лепреум в Трифилии и один или два города Ахайи были либо образованы, либо увеличены в результате аналогичного процесса примерно в то же время. [610] Такое объединение городов из ранее существовавших отдельных деревень не соответствовало взглядам и не способствовало возвышению Лакедемонии, но можно не сомневаться, что ее внешняя политика после персидского вторжения была затруднена и дискредитирована проступками двух ее современных царей, Павсания, который, будучи лишь регентом, был практически равен царю, и Леотихида, - не говоря уже о быстром развитии Афин и Пейреуса. Но в 464 году до н. э., предшествовавшем сдаче Тасоса афинским войскам, Спарту постигло еще более страшное несчастье. В непосредственной близости от самой Спарты произошло сильное землетрясение, разрушившее большую часть города и унесшее множество жизней, в том числе и спартанских граждан. По мнению самих лакедемонян, это была кара сотрясающего землю бога Посейдона за недавнее нарушение его святилища в Тенаре, откуда незадолго до этого были утащены для наказания некоторые податливые гелоты, [611] - не исключено, что некоторые из тех гелотов, которых Павсаний подстрекал к восстанию. Настроение гелотов, всегда враждебное по отношению к своим хозяевам, в этот момент, по-видимому, было необычайно горячим, так что землетрясение в Спарте, особенно толкуемое как божественная месть за недавно пролитую кровь гелотов, было достаточным, чтобы многие из них сразу же восстали, вместе с некоторыми даже из периеков. Восставшие взяли в руки оружие и двинулись прямо на Спарту, которой они были готовы овладеть в первые минуты оцепенения, если бы храбрость и присутствие духа молодого царя Архидама не оживили оставшихся в живых граждан и не отразили нападение. Но хотя мятежники и были отбиты, они не покорились: некоторое время они держались против спартанских войск, и иногда со значительным преимуществом, так как Эимнект, воин, от руки которого Мардоний пал в Платее, был разбит и убит с тремя сотнями последователей на равнине Стениклера, подавленный превосходящим числом. [612] Потерпев поражение, они заняли и укрепили памятный холм Итома, древнюю цитадель своих мессенских предков. Здесь они долго и упорно оборонялись, поддерживая себя, несомненно, вторжениями в

Лаконию: оборона не была трудной, поскольку лакедемоняне в то время, по общему признанию, были неспособны атаковать даже самые несовершенные виды укреплений. После того как осада продолжалась около двух или трех лет без всякой перспективы на успех, лакедемоняне, начав отчаиваться в собственной достаточности для этого дела, призвали на помощь своих различных союзников, среди которых мы находим эгинетян, афинян и платейцев.[613] Афинские войска, как говорят, состояли из четырех тысяч человек под командованием Кимона; Афины все еще были включены в список союзников лакедемонян.

В то время средства штурма стен были настолько несовершенны даже для самых умных греков, что эти возросшие силы не произвели немедленного впечатления на укрепленный холм Итоме. А когда лакедемоняне увидели, что их афинские союзники не более успешны, чем они сами, то вскоре от удивления они перешли к сомнениям, недоверию и опасениям. Войска не давали оснований для таких чувств, а Кимон, их полководец, был печально известен своей привязанностью к Спарте; тем не менее лакедемоняне не могли не помнить о вечно бодрой энергии и честности этих ионийских чужеземцев, которых они ввели в глубь Лаконии, а также о своем собственном обещании - хотя, несомненно, тайном - вторгнуться в Аттику незадолго до этого на благо тасийцев. Они даже боялись, что афиняне могут ополчиться против них и выслушать уговоры выступить на стороне осажденных. Под влиянием таких опасений они немедленно распустили афинский контингент под предлогом того, что у них больше нет для этого повода; все остальные союзники были оставлены, и осада или блокада продолжалась, как и прежде[614].

Это увольнение, крайне нелюбезное и, вероятно, еще более оскорбительное из-за привычной грубости спартанцев, вызвало сильнейшее раздражение как среди афинских солдат, так и среди афинского народа, - раздражение, усиленное обстоятельствами, непосредственно предшествовавшими этому. Ведь решение послать вспомогательные войска в Лаконию, когда лакедемоняне впервые обратились за ними, было принято в Афинах не без серьезных споров: партия Периклеса и Эфиальтеса, обычно выступавшая против Кимона и являвшаяся сторонником передового демократического движения, решительно отвергала его и призывала своих соотечественников не содействовать обновлению и укреплению их самого грозного соперника. Возможно, им стало известно о предыдущем обязательстве лакедемонян вторгнуться в Аттику от имени тасийцев, хотя и не настолько официально, чтобы исключить отказ; и даже если предположить, что это обязательство оставалось неизвестным в то время для всех, не было недостатка в других основаниях, чтобы сделать политику отказа правдоподобной. Но Кимон, с искренностью, которую даже фило-лаконский Критий впоследствии охарактеризовал как жертвование величиим Афин ради выгоды Лакедемона,[615] использовал все свое доверие и влияние, чтобы поддержать заявление. Сохранение союза со Спартой на равных, мир между великими державами Греции и общая война против Персии, а также предотвращение любых дальнейших демократических изменений в Афинах - вот основные пункты его политического кредо. Пока еще его личное и политическое превосходство преобладало над его противниками: пока еще не было явного конфликта, который только начал проявляться в случае с Тасосом, между морской мощью Афин и объединением сухопутных сил Спарты; и Кимон мог еще рассматривать оба эти явления как сосуществующие необходимости эллинского благосостояния. Хотя он ничем не выделялся как оратор, он увлек за собой афинское собрание, взывая к большому и великодушному патриотизму, который не позволял им допустить унижения Спарты. "Не соглашайтесь видеть Элладу увечной на одну ногу, а Афины - без товарища по игу"[616] - таков был его язык, как мы узнаем от его друга и соратника, хианского поэта Иона: и в устах Кимона он оказался действенным. Эта речь представляет собой почти меланхолический интерес, поскольку прошло девяносто лет, прежде чем подобное обращение вновь прозвучало в афинском собрании.[617] Отправка вспомогательных войск была продиктована великодушным чувством, не

считаясь с политическим благоразумием: И мы можем представить себе бурную реакцию, которая произошла в афинском чувстве, когда лакедемоняне отплатили им, выделив их войска из всех других союзников как объект оскорбительного подозрения, - мы можем представить себе триумф Перикла и Эфиальтеса, которые противились миссии, и огромную потерю влияния Кимона, который ее осуществил, - когда Афины снова приняли в свои общественные собрания гоплитов, присланных из Итомака.

Как во внутренней конституции, о которой мы еще поговорим, так и во внешней политике Афин увольнение этих солдат было чревато последствиями. Афиняне немедленно приняли официальное постановление об отказе от союза между собой и Лакедемоном против персов. Но они сделали больше: они стали искать сухопутных врагов Лакедемонии, с которыми можно было бы заключить союз. Среди них, безусловно, первым, как по эллинскому рангу, так и по реальной силе, был Аргос. Этот город, нейтральный во время персидского нашествия, теперь оправился от последствий разрушительного поражения, нанесенного ему около тридцати лет назад спартанским царем Клеоменесом: сыновья древних граждан выросли до зрелого возраста, и временное господство *peῖrēki*, приобретенное в результате разорительной потери граждан в том поражении, было снова подавлено. По соседству с Аргосом и в зависимости от него находились Микенэ, Тиринс и Мидея - небольшие по силе и значению, но богатые мифической славой. Презрев бесславный пример Аргоса, в момент опасности эти города отправили контингенты в Фермопилы и Платею, которые их могущественный сосед не смог ни предотвратить в то время, ни отомстить после, опасаясь вмешательства Лакедемонии. Но как только последний оказался под угрозой и был занят у себя дома грозным мессенским восстанием, аргейцы воспользовались случаем и напали не только на Микены и Тиринс, но и на Орнею, Мидею и другие полузависимые города вокруг них. Несколько из них были разрушены, а жители, лишённые автономии, вошли в состав владений Аргоса; микенцы же, отчасти из-за высокой галантности своего сопротивления, отчасти из-за зависти к их мифической славе, были либо проданы в рабство, либо изгнаны.^[618] Благодаря этим победам Аргос теперь был могущественнее, чем когда-либо, а предложения о союзе, сделанные ей Афинами, одновременно усиливая обе стороны против Лакедемонии, открывали ей новый шанс вернуть утраченное главенство в Пелопоннесе. Фессалийцы стали членами этого нового союза, который был оборонительным союзом против Лакедемонии, и, несомненно, надеялись привлечь некоторых из привычных союзников последней.

Новый характер, который приобрели Афины, став конкурентом не только за морское превосходство, но и за земельные союзы, пришелся как нельзя кстати для защиты соседнего города Мегары. Оказывается, Коринф, возможно, подстрекаемый, как и Аргос, беспомощностью лакедемонян, совершал пограничные вторжения с одной стороны в Клеон, с другой - в Мегару:^[619] на основании чего последняя, вероятно, отчаявшись в защите со стороны Лакедемонии, отказалась от лакедемонийского союза и получила разрешение записать себя в союзники Афин.^[620] Это приобретение было очень ценным для афинян, так как открывало перед ними всю территорию от внешнего Коринфского перешейка до внутренней части Крисского залива, на котором находился мегарский порт Пегея, и давало им возможность владеть перевалами Геранеи, чтобы задержать продвижение пелопоннесской армии по перешейку и защитить Аттику от вторжения. Кроме того, это событие имело огромное значение для греческой политики: оно было расценено Лакедемоном как несправедливость, нанесло смертельную обиду коринфянам и разожгло пламя войны между ними и Афинами; их союзники, эпидавы и эгинеты, приняли в ней участие. Хотя Афины еще не были виновны в несправедливом посягательстве на какое-либо пелопоннесское государство, их честолюбие и энергия внушали всеобщий трепет, а приморские государства по соседству, такие как Коринф, Эпидав и Эгина, видели, что эти поразительные качества угрожают им у их собственных дверей, благодаря ее союзу с Аргосом и Мегарой. Кроме того, вероятно, древняя вражда между афинянами и эгинетянами, хотя и

затихшая незадолго до персидского нашествия, никогда не была умиротворена или забыта, так что эгинетяне, жившие в пределах видимости от Пирея, были одновременно способны оценить и скорее всего боялись огромной морской мощи, которой теперь обладали Афины. Периклес был склонен называть Эгину бельмом на глазу у Пейреуса:[\[621\]](#) но мы можем быть уверены, что Пейрей, превратившийся в огромный укрепленный порт в течение жизни одного поколения, был в гораздо большей степени бельмом на глазу у Эгины.

В это время афиняне активно участвовали в войне с Персией, имея флот из не менее чем двухсот кораблей, снаряженных конфедерацией или совместно с ней, который сейчас нес службу на Кипре и на феникийском побережье. Более того, восстание египтян под руководством Инароса, около 460 года до н. э., открыло им новые возможности для действий против Великого Царя; и их флот, по приглашению восставших, отправился вверх по Нилу к Мемфису, где, как казалось вначале, была хорошая перспектива сбросить персидское господство. Однако, несмотря на столь значительное сокращение сил, военные действия вблизи дома велись с неослабевающей энергией; сохранившаяся надпись - память о гражданах племени эрехтеидов, убитых в один и тот же год на Кипре, в Египте, Фенисии, Халии, Эгине и Мегаре, - убедительно демонстрирует нам ту энергию, которая удивляла и даже настораживала современников. Их первые действия в Мегаре носили совершенно новый характер для существующего состояния Греции. Афинянам было необходимо защитить своего нового союзника от превосходства сухопутных сил Пелопоннеса и обеспечить постоянное сообщение с ним по морю; но город, как и большинство древних эллинских городов, был расположен на холме на некотором расстоянии от моря, отделенный от порта Нисей почти одной милей. Одним из самых ранних мероприятий афинян было строительство двух линий стен, близко и параллельно друг другу, соединяющих город с Нисей, так что они образовывали одну непрерывную крепость, в которой содержался постоянный афинский гарнизон, имевший постоянную возможность получить помощь из Афин в случае необходимости. Эти "длинные стены", хотя впоследствии они были скопированы в других местах и в большем масштабе, в тот момент были гениальным изобретением, предназначенным для того, чтобы распространить морскую власть Афин на внутренний город.

Первые операции Коринфа, однако, не были направлены против Мегары. Афиняне, предприняв высадку на территорию Галии, население южной части Аргонического полуострова, граничащее с Трезеном и Гермией, было разбито на суше силами коринфян и эпидавров: возможно, именно в этой экспедиции они овладели Трезеном, который впоследствии мы находим в их зависимости, не зная, когда он стал таковым. Но в морском сражении, которое произошло у острова Кекрифалея, между Эгиной и Аргоническим полуостровом, афиняне одержали победу. После этой победы и поражения - ни одно из них, по-видимому, не было решающим - эгинцы стали принимать более энергичное участие в войне и вывели все свои морские силы вместе с союзниками - коринфянами, эпидаврами и другими пелопоннесцами; Афины же снарядили флот соответствующей величины, призвав и своих союзников, хотя мы не знаем их фактической численности с обеих сторон. В большом морском сражении, которое произошло у острова Эгина, превосходство новой морской тактики, приобретенной за двадцать лет практики афинян после Персидской войны, над старыми эллинскими кораблями и моряками, как было показано в тех государствах, где во время Марафонской битвы находилась морская мощь Греции, было продемонстрировано самой полной и решительной победой. Пелопоннесские и дорийские моряки еще не имели опыта знакомства с усовершенствованным афинским мореходством, и когда мы узнаем, как сильно оно их смущало даже двадцать восемь лет спустя, в начале Пелопоннесской войны, мы не будем удивляться его разрушительному воздействию на них в этой ранней битве. Морская мощь Эгины была безвозвратно разрушена: афиняне захватили семьдесят военных кораблей, высадили на остров большое войско и начали осаду города как с суши, так и с моря[\[622\]](#).

Если бы лакедемоняне не были заняты блокадой Итама, они, вероятно, были бы вынуждены вторгнуться в Аттику, чтобы отвлечь внимание эгинетян; тем более что в это время перс Мегабаз прибыл в Спарту по поручению Артаксеркса, чтобы убедить их сделать это, дабы вынудить афинян уйти из Египта: этот перс привез с собой большую сумму денег, но все же был вынужден вернуться, не выполнив своей миссии. [Коринфяне и эпидавры, доставив в Эгину подкрепление из трехсот гоплитов, постарались оказать ей дальнейшую помощь, напав на Мегару; предполагалось, что афиняне не смогут освободить это место, не выведя свои силы из Эгины, поскольку многие из их людей в то же время служили в Египте. Но афиняне, к большому разочарованию своих врагов, показали себя способными справиться со всеми этими тремя трудностями одновременно. Миронидес отправился из Афин в Мегару во главе граждан двух крайностей военного возраста, старых и молодых; это были единственные войска, находившиеся дома. Он сразился с коринфянами недалеко от города, одержав небольшое, но спорное преимущество, которое он отметил трофеем, как только коринфяне вернулись домой. Но, прибыв домой, коринфяне были так сильно упрекнуты своими же согражданами за то, что не победили отбросы афинской военной силы, [624] что по истечении двенадцати дней вернулись обратно и воздвигли на своей стороне трофей, претендующий на победу в прошлой битве. Афиняне, выйдя из Мегары, напали на них во второй раз и одержали на этот раз решительную победу. Побежденные коринфяне еще более неудачно отступили, так как часть их, потеряв дорогу, завязла на частной территории, окруженной со всех сторон глубоким рвом и имеющей только один узкий вход. Миронидес, заметив эту роковую ошибку, поставил своих гоплитов у входа, чтобы предотвратить их бегство, а затем окружил загон своими легковооруженными войсками, которые, используя свое ракетное оружие, уничтожили всех коринфских гоплитов, не давая им возможности ни бежать, ни сопротивляться. Основная часть коринфской армии отступила, но уничтожение этого отряда стало печальным ударом для города [625].

Как ни велики были успехи афинян в течение этого года как на суше, так и на море, им было легко предвидеть, что сила их врагов в скором времени увеличится за счет выхода на поле боя лакедемонян. Отчасти из-за этого, а отчасти из-за более энергичной фазы демократии и дальновидных взглядов Перикла, которые теперь становились главными в городе, афиняне начали грандиозную затею соединить Афины с морем при помощи длинных стен. Идея этой меры, несомненно, была впервые подсказана недавним возведением длинных стен, хотя и на гораздо меньшее расстояние, между Мегарой и Нисей: Ведь без такой промежуточной ступеньки идея возведения стены длиной в сорок стадий (равной четырем с половиной милям) для соединения Афин с Пиреем и еще одной стены длиной в тридцать пять стадий (равной примерно четырем милям) для соединения с Фалером показалась бы экстравагантной даже сангвиническому нраву афинян, - как, несомненно, она казалась несколькими годами ранее самому Фемистоклосу. Возникнув сразу после недавних побед, в то время как Гигина, великая дорийская морская держава, была повержена и находилась в блокаде, она вызвала крайнюю тревогу среди пелопоннесцев, считаясь вторым большим шагом в афинских амбициях, одновременно заметным и долговременным, после укрепления Пейреуса. Но помимо этого чувства в груди врагов, мера была также вплетена в грозное противостояние политических партий, происходившее в то время в Афинах. Кимон был недавно отстранен от власти, а демократическое движение, возглавляемое Периклесом и Эфиальтом, о котором мы еще расскажем, достигло своего полного успеха, но не без яростного и беспринципного сопротивления со стороны тех, кто поддерживал существующую конституцию. Длинные стены были частью внешней политики Перикла, продолжая в гигантских масштабах планы Фемистокла, когда он впервые задумал Пейреус. Они были построены для того, чтобы Афины могли вести войну против любого превосходства сухопутных войск и бросить вызов объединенным силам Пелопоннеса. Но хотя новые стены были рассчитаны на случай непредвиденных обстоятельств, которые дальновидный человек мог предвидеть вдали, они почти на тех же основаниях были нежелательны для

значительного числа афинян: для партии, недавно возглавленной Кимоном, которая была привязана к лакедемонской связи и желала прежде всего сохранить мир внутри страны, оставив силы государства для антиперсидского предприятия: многим землевладельцам в Аттике, которым они, казалось, угрожали приближающимся вторжением и уничтожением их территориальных владений: богачам и аристократам Афин, противящимся еще более тесному контакту и слиянию с морским народом в Пейре: наконец, возможно, определенной жилке старого аттического чувства, которая могла рассматривать объединение Афин с отдельными владениями Пейре и Фалерума как стирание особых ассоциаций, связанных со священной скалой Athênê. Если ко всем этим причинам противодействия добавить расходы и хлопоты, связанные с самим предприятием, вмешательство в частную собственность, особую жестокость партии, которая тогда бушевала, и отсутствие в Египте значительной части военных граждан, то мы вряд ли удивимся, обнаружив, что проектируемые длинные стены несли в себе риск самого серьезного характера как для Афин, так и для ее демократии. Если бы требовалось еще какое-нибудь доказательство огромного значения этих длинных стен в глазах как друзей, так и врагов, мы могли бы найти его в том факте, что их разрушение стало ярким признаком унижения афинян после битвы при Игосе Потамосе, а их восстановление - немедленным благом Фарнабаза и Конона после победы при Книде.

Под влиянием тревоги, вызванной действиями Афин, лакедемоняне были вынуждены предпринять экспедицию из Пелопоннеса, хотя гелоты в Итоме еще не были вынуждены сдаться. Их силы состояли из пятнадцати сотен собственных войск и десяти тысяч союзников под командованием регента Никомедеса. Предположительным мотивом или предлогом для этого похода была защита небольшой территории Дориса от фокийцев, которые недавно вторглись туда и захватили один из трех городов. Приближение столь крупных сил сразу же заставило фокийцев отказаться от завоевания, но вскоре стало ясно, что это лишь малая часть целей Спарты, а ее основные цели, подстрекаемые коринфянами, были направлены против возвышения Афин. От коринфян не ускользнуло, что афиняне могут в скором времени либо привлечь в свой союз города Беотии, либо принудить их к этому, так как недавно приобрели Мегару в дополнение к своему предыдущему союзнику Платье, ибо Беотийская федерация в это время была сильно дезорганизована, а Фивы, ее глава, так и не восстановили своего превосходства после дискредитации ее поддержки персидского нашествия. Укрепить Фивы и сделать их власть над беотийскими городами эффективной было лучшим способом обеспечить афинянам одновременно мощного и враждебного соседа, чтобы предотвратить их дальнейшее усиление на суше: это была та же политика, которую Эпаминондас проводил восемьдесят лет спустя при организации Аркадии и Мессены против Спарты. Соответственно, пелопоннесские силы теперь были направлены частично на расширение и укрепление укреплений самих Фив, частично на принуждение других беотийских городов к эффективному повиновению ее верховенству: возможно, путем передачи их правительства в руки граждан с известной олигархической политикой,^[627] а возможно, изгнания подозреваемых противников. Фиванцы со всей серьезностью отнеслись к этому плану, пообещав в будущем сдерживать своих пограничных соседей, чтобы избавить их от необходимости приводить армии из Спарты^[628].

Но спартанцы и коринфяне замыслили и другой, более важный план. Олигархическая оппозиция в Афинах была так яростно враждебна Длинным стенам, Периклосу и демократическому движению, что некоторые из них вступили в тайные переговоры с пелопоннесскими вождями, приглашая их в Аттику и умоляя помочь им в организации внутреннего восстания с целью не только остановить Длинные стены, но и подорвать демократию. А пелопоннесская армия, продолжая свои операции в Беотии, в надежде увидеть афинских недовольных с оружием в руках, расположилась лагерем в Танагре, на самой границе Аттики, с целью немедленного сотрудничества с ними. Этот момент, несомненно, представлял большую опасность для Афин, тем более что подвергнутый остракизму Кимон и его оставшиеся в городе друзья подозревались в

причастности к заговору. Но афинские вожди, зная о лакедемонских операциях в Беотии, понимали, что означает присутствие армии на их ближайших границах, и приняли решительные меры, чтобы предотвратить опасность. Получив подкрепление в тысячу аргейцев и несколько фессалийских лошадей, они отправились в Танагру с полным составом афинских войск, находившихся в то время дома; конечно, они должны были состоять в основном из старых и молодых, тех, кто сражался под Мегарой под командованием Миронида; ведь блокада Эгины все еще продолжалась. Лакедемонскому войску также не удалось вернуться в Пелопоннес без боя, так как афиняне, хозяева Мегариды, владели труднодоступным нагорьем Геранея, походной дорогой вдоль перешейки, а афинский флот, опираясь на гавань Пегеи, был готов перехватить их, если они попытаются пройти морем через Крисский залив, по которому, как оказалось, они и вышли. Под Танагрой между двумя армиями произошла кровавая битва, в которой лакедемоняне одержали победу, главным образом благодаря дезертирству фессалийских конников, перешедших на их сторону в самый разгар сражения. [629] Но хотя преимущество было на их стороне, оно не было достаточно решающим, чтобы способствовать задуманному восстанию в Аттике: пелопоннесцы не получили от него ничего, кроме спокойного отступления через Геранейское нагорье после частичного разорения Мегарид.

Хотя битва при Танагре была поражением, с ней были связаны обстоятельства, сделавшие ее последствия весьма благоприятными для Афин. Изгнанный Кимон явился на поле боя, как только армия перешла границы Аттики, и просил разрешить ему занять место гоплита и сражаться в рядах своего племени - *Ἐπείης*. Но члены сената и его политические враги были уверены, что он является соучастником заговора, о котором было известно, что он готовится, поэтому ему было отказано в разрешении, и он был вынужден удалиться. Уходя, он призвал своих личных друзей, Евтиппа из дема Анафлиста и других, вести себя так, чтобы смыть пятно, лежащее на его верности, а отчасти и на их. Его друзья сохранили его панагию и назначили ей место в строю, которое он сам бы занял: тогда они вступили в бой с отчаянной решимостью, и сто из них пали бок о бок в своих рядах. Периклес, находившийся среди гоплитов своего племени, акамантов, зная о таком применении и отпоре Кимону, счел нужным проявить не только обычную личную храбрость, но и необычное безрассудство по отношению к жизни и безопасности, хотя ему и удалось спастись без ранений. Все эти происшествия вызвали великодушное сочувствие и дух компромисса между враждующими сторонами в Афинах, а непоколебимый патриотизм Кимона и его друзей умерил и обезоружил тех заговорщиков, которые вступили в переписку с врагом, в то же время вызвав покаянное восхищение по отношению к самому изгнанному вождю. Так счастливо действовали эти новые настроения, что вскоре был предложен и проведен декрет, предложенный самим Периклесом, - отменить десятилетний ostracism Кимона и разрешить его немедленное возвращение. [630] Мы можем вспомнить, что при обстоятельствах, отчасти схожих с этими, Фемистоклес сам предложил восстановить своего соперника Аристеидеса после ostracism, немного раньше битвы при Саламине: [631] и в обоих случаях прекращение вражды между двумя лидерами было отчасти знаком, отчасти также вспомогательной причиной примирения и возобновления братства среди общей массы граждан. Это был момент, аналогичный тому благотворному импульсу компромисса и гармонии партий, который последовал за исчезновением олигархии Четырехсот, сорок шесть лет спустя, и о котором Фукидид с особой силой говорит как о спасении Афин в их бедственном положении, - момент, редкий в свободных сообществах вообще, не менее чем среди ревнивых конкурентов за политическое превосходство в Афинах [632].

Этот всплеск патриотизма и единодушия после битвы при Танагре, вызвавший отзыв Кимона, был настолько сильным и, похоже, перекрыл уже существовавший заговор, что афиняне быстро

смогли смыть с себя пятно поражения. Именно на шестьдесят второй день после битвы они предприняли агрессивный поход под командованием Миронида в Беотию: чрезвычайная точность этой даты - единственный случай во всей сводке событий между персидской и пелопоннесской войнами, когда Фукидид так точен, - показывает, какое сильное впечатление она произвела на память афинян. В битве при Ctenophyta, в которой участвовали объединенные силы фиванцев и беотийцев, - или, если верить Диодору, в двух битвах, из которых Ctenophyta была последней, - Фукидид одержал полную победу. Афиняне стали хозяевами Фив, а также остальных беотийских городов; они отменили все меры, недавно принятые Спартой, установили демократические правительства и вынудили аристократических лидеров, выступавших за фиванское господство и лакедемонские связи, стать изгнанниками. Афиняне приобрели не только Беотию: Фокис и Локрис были последовательно добавлены к списку их зависимых союзников - первые были в основном дружественны Афинам и не были склонны к переменам, в то время как последние были настолько решительно враждебны, что сто их вождей были задержаны и отправлены в Афины в качестве заложников. Таким образом, афиняне распространили свое влияние - поддерживаемое внутренним партийным управлением, подкрепленным страхом вмешательства извне в случае необходимости, - от границ коринфской территории, включая Мегару и Пекгес, до Фермопильского пролива[633].

Эти важные приобретения вскоре увенчались завершением строительства Длинных стен и завоеванием Эгины. Этот остров, несомненно, измученный голодом из-за длительной блокады, был вынужден капитулировать при условии разрушения своих укреплений, сдачи всех военных кораблей и уплаты ежегодной дани в качестве зависимого союзника Афин. Уничтожение этого некогда могущественного морского города ознаменовало Афины как владычицу моря на Пелопоннесском побережье не меньше, чем на Эгейском. Ее адмирал Толмидес продемонстрировал свою силу, совершив плавание вокруг Пелопоннеса и даже нанеся оскорбление - сжег лакедемонские порты Метона и Гитиума. Он взял Халкис, владение коринфян, и Наупактус, принадлежавший озолийским локрийцам, недалеко от устья Коринфского залива, - высадил войска у Сикиона, с некоторым преимуществом сразившись с противниками из этого города, - и либо завоевал, либо заставил вступить в афинский союз не только Закинф и Кефаллекнию, но и некоторые из городов Ахайи; впоследствии мы обнаруживаем, что эти последние присоединились к Афинам, не зная, когда началась эта связь[634].

В следующем году афиняне возобновили нападение на Сикион с тысячей гоплитов под командованием самого Периклеса, отплывшего из мегарийской гавани Пегæ в Крисском заливе. Однако этот выдающийся человек добился не большего успеха, чем Толмидес, - разгромил сикионцев в поле и загнал их в стены: после этого он предпринял экспедицию в Акарнанию, взяв с собой ахейских союзников в дополнение к собственным силам, но потерпел неудачу при нападении на Ceniadæ и ничего не добился. Не более успешным был и поход афинян на Фессалию, предпринятый в том же году с целью восстановления Ореста, одного из изгнанных принцев или вельмож Фарсала. Хотя они взяли с собой внушительное войско, включая союзников-беотийцев и фокийцев, мощная фессалийская конница заставила их держаться компактно и ограничила их территорией, фактически занятой их гоплитами; все их попытки напасть на город не увенчались успехом, а надежды на внутреннее восстание были разочарованы[635].

Если бы афиняне преуспели в Фессалии, они получили бы в свой союз почти всю внепелопоннесскую Грецию: но даже без Фессалии их сила была огромной и достигла максимальной высоты, с которой она никогда не менялась, разве что падала. В противовес столь многочисленным успехам, мы должны учитывать их губительное поражение в Египте после шестилетней войны с персами (460-455 гг. до н. э.). Сначала они добились блестящих успехов вместе с мятежным принцем Инаросом, изгнав персов из всего Мемфиса, кроме самой сильной

его части, называемой Белой крепостью; персидский царь Артаксеркс был так встревожен присутствием афинян в Египте, что послал Мегабаза с большой суммой денег в Спарту, чтобы склонить лакедемонян к вторжению в Аттику. Однако этот посланник потерпел неудачу, и усиленные персидские войска, отправленные в Египет под командованием Мегабазуса, сына Зопира,[636] после упорной борьбы изгнали афинян и их союзников из Мемфиса на остров Нила под названием Просопитис. Здесь они были заблокированы в течение восемнадцати месяцев, пока Мегабиз не повернул рукав реки, не пересох канал и не взял остров штурмом по суше. Лишь немногие афиняне спаслись по суше до Киренаиды: остальные были убиты или взяты в плен, а сам Инарос распят. Бедствие Афин еще более усугубилось прибытием пятидесяти новых афинских кораблей, которые, приплыв после поражения, но не зная о нем, вошли в Мендесский рукав Нила и таким образом попали во власть персов и финикийцев; мало кто из кораблей и людей спасся. Весь Египет снова стал подчиняться персам, за исключением Амиртея, который сумел, удалившись в недоступные болота, сохранить свою независимость. Таким образом, одна из самых больших армий, когда-либо отправленных Афинами и их конфедерацией, была полностью уничтожена[637].

Примерно в то время, когда афинская армия была уничтожена в Египте, а Толмидес обошел Пелопоннес, закончилась внутренняя война, которую вели лакедемоняне против гелотов или мессенцев в Итоме. Осажденные, не в силах больше противостоять длительной блокаде, были вынуждены оставить эту последнюю крепость древней мессенской независимости, договорившись о безопасном отступлении из Пелопоннеса со своими женами и семьями, с условием, что если кто-либо из них вернется в Пелопоннес, он станет рабом первого, кто его захватит. Толмидес поселил их в Наупакте, который афиняне недавно отбили у озолотых локрийцев,[638] где они сослужили хорошую службу Афинам в следующих войнах.

После победы при Танагре лакедемоняне в течение нескольких последующих лет не предпринимали дальнейших походов из Пелопоннеса, даже для того, чтобы предотвратить присоединение Беотии и Фокиды к афинскому союзу. Причина такого бездействия заключалась отчасти в их общем характере, отчасти в продолжающейся осаде Итоме, которая занимала их дома, но еще больше, возможно, в том, что афиняне, хозяева Мегарид, занимали дорогу через Геранейское нагорье и могли, таким образом, препятствовать походу любой армии из Пелопоннеса. Даже после сдачи Итома лакедемоняне бездействовали в течение трех лет, после чего пелопоннесцы заключили с Афинами официальное перемирие на пять лет. [Это перемирие было заключено в значительной степени благодаря влиянию Кимона,[640] который стремился возобновить эффективные операции против персов; в то время как политическим интересам Перикла не менее отвечало то, что его самый выдающийся соперник должен был отсутствовать на внешней службе,[641] чтобы не мешать его влиянию дома. Поэтому Кимон снарядил флот из двухсот трирем из Афин и их союзников и отплыл на Кипр, откуда отправил шестьдесят кораблей в Египет по просьбе мятежного принца Амиртея, который все еще держался против персов среди болот, - а с остальным вооружением осадил Кетиум. Во время этой осады он умер, то ли от болезни, то ли от раны. Вооруженные силы под командованием его преемника Анаксикрата оказались в таком затруднительном положении из-за недостатка провизии, что совсем отказались от этой затеи и отправились сражаться с феникийским и киликийским флотом у Саламиса на Кипре. Здесь они одержали победу, сначала на море, а затем на суше, хотя, вероятно, не в тот же день, что и при Эвримедоне; после этого они вернулись домой, за ними последовали шестьдесят кораблей, которые отправились в Египет для оказания помощи Амиртею[642].

С этого времени Афины и их конфедерация больше не предпринимали никаких действий против персов. По всей видимости, между ними был заключен договор, по которому великий царь со своей стороны обещал две вещи: оставить свободными, не беспокоить и не облагать налогами

азиатских приморских греков, не посылая войска на определенное расстояние от побережья: воздерживаться от посылки военных кораблей ни на запад от Фасеклиса (другие помещают границу у Хелидонских островов, скорее на запад), ни в пределах Кианейских скал при слиянии фракийского Босфора с Эвксинским. Со своей стороны, афиняне согласились оставить ему в беспрепятственном владении Кипр и Египет. Каллиас, афинянин из знатного рода, вместе с другими своими соотечественниками отправился в Сузы для переговоров об этом соглашении; некоторые посланники из Аргоса, находившегося тогда в союзе с Афинами, воспользовались случаем и отправились туда же, чтобы возобновить дружеские отношения, которые их город установил с Ксерксом во время его вторжения в Грецию[643].

Как это обычно бывает с договорами, заключенными после вражды, эта конвенция не более чем признавала существующее положение вещей, не создавая никаких новых преимуществ или недостатков для обеих сторон и не призывая к принятию каких-либо мер в связи с этим. Поэтому мы можем найти разумное объяснение молчанию Фукидида, который даже не упоминает о заключении конвенции: мы должны помнить, что в промежутке между персидской и пелопоннесской войнами он не стремится сделать больше, чем бегло просмотреть основные события. Но хвастливые и неточные авторы последующего столетия, ораторы, риторы и историки, предались стольким преувеличениям и неправде в отношении этой конвенции, как в отношении даты, так и в отношении деталей, - и превозносили как нечто столь славное тот факт, что наложил такие жесткие условия на великого царя, - что вызвали подозрение против себя. В частности, они заставили критиков задать вполне естественный вопрос, как это великолепное достижение Афин осталось незамеченным Фукидидом? Ответ на этот вопрос заключается в том, что сам договор на самом деле не имел большого значения: именно состояние фактов и отношений, подразумеваемых в договоре и существовавших по существу до его заключения, составляет настоящую славу Афин. Но для позднейших авторов договор выступал как разборчивое свидетельство фактов, которые в их время уже прошли и исчезли; в то время как Фукидид и его современники, жившие в период фактического расцвета Афинской империи, конечно, не стали бы обращаться к договору как к доказательству и вполне могли бы обойти его стороной, даже как событие, когда пытались бы сжать повествование. Хотя Фукидид не упоминает о договоре, он не говорит ничего, что опровергало бы его реальность, и многое, что находится в полной гармонии с ним. Ибо даже на его примере мы можем показать: 1. Что все открытые и прямые военные действия между Афинами и Персией прекратились после упомянутых побед афинян у Кипра; что Афины отказались от этого острова, не включенного Фукидидом в его каталог афинских союзников до Пелопоннесской войны;[644] и что Афины больше не оказывали помощи восставшему Амиртею в Египте. 2. Что вплоть до того времени, когда афинская держава была подорвана гибельной неудачей в Сиракузах, персидские сатрапы в Малой Азии не собирали дань с греческих городов на побережье, не позволяли персидским военным кораблям появляться в водах Эгейского моря,[645] и персидский царь не признавался государем страны вплоть до побережья. Допуская, таким образом, что из молчания Фукидида мы даже обязаны сделать вывод о том, что договор не был заключен, мы все же должны были бы также сделать вывод из его положительных утверждений, что состояние исторического факта, такое, как признавал и предписывал договор, стало реальным. Но если мы подумаем, что Геродот[646] подтверждает визит Каллиаса и других афинских посланников ко двору Суз, мы не сможем найти другого объяснения этому визиту, столь же вероятного, как реальность этого договора: конечно, ни один посланник не отправился бы туда в состоянии признанной войны; и хотя можно предположить, что они могли отправиться с целью заключить договор, но не добиться успеха, - это было бы превышением разумных пределов возможности[647].

Поэтому мы можем верить в реальность этого договора между Афинами и Персией, который неправильно называют Кимонским договором: правильно, поскольку он не только был заключен

после смерти Кимона, но и афинские победы, благодаря которым он был немедленно заключен, были одержаны после его смерти. Более того, есть вероятность, что если бы Кимон был жив, договор вообще не был бы заключен; ведь его интересы и слава заставляли его продолжать войну с Персией, поскольку он не мог сравниться со своим соперником Периклесом ни как государственный деятель, ни как оратор и мог поддерживать свою популярность только теми же средствами, которыми он ее заработал, - победами и грабежом за счет персов. Его смерть обеспечила более полное господство Периклему, чья политика и характер были совершенно противоположными:^[648] хотя даже Фукидид, сын Мелесия, сменивший Кимона, его родственника, в качестве лидера антипериклийской партии, был человеком сената и общественных собраний, а не походов и завоеваний. Перикл, не склонный к дальним предприятиям и шатким приобретениям, стремился лишь сохранить в неприкосновенности эллинское превосходство Афин, достигшее сейчас своего максимума: он прекрасно понимал, что для этой цели не будет лишней безраздельная сила и бдительность Афин - да и на деле они оказались недостаточными, как мы увидим в дальнейшем. С таким настроем он, естественно, был рад заключить мир, который отстранял персов от всех берегов Малой Азии к западу от Хелидонии, а также от всех вод Эгейского моря, при простом условии отказа Афин от дальнейших агрессий против Кипра, Феникии, Киликии и Египта. Великий царь, со своей стороны, имел достаточный опыт афинской энергии, чтобы опасаться последствий таких агрессий, если они будут продолжаться; он также много потерял, отказавшись формально от дани, на которую в то время мало надеялся и которую, конечно, намеревался возобновить при первой благоприятной возможности. Взвесив все эти обстоятельства, мы обнаружим, что мир, который неправомерно называть Кимонианским, естественно вытекает из положения и чувств договаривающихся сторон.

Под управлением Перикла Афины теперь жили в мире как за границей, так и внутри страны, имели великую империю, большой флот и огромные накопленные сокровища. Общий фонд, собранный из взносов конфедератов и первоначально хранившийся на Делосе, до этого времени был перенесен на акрополь в Афинах. В какое именно время произошел этот перевод, мы не можем сказать; мы также не можем определить последовательные этапы, на которых конфедерация, в основном по воле своих членов, превратилась из вооруженных и активных воинов под руководством Афин в разоруженных и пассивных плательщиков дани, защищаемых военной силой Афин, - из свободных союзников, собирающихся на Делосе и самостоятельно определяющих свое решение, в изолированных подданных, посылающих ежегодную дань и ожидающих афинских приказов. Но, судя по всему, изменения произошли еще до этого времени: некоторые из наиболее решительных союзников пытались отделиться, но Афины силой принудили их к этому и низвели до состояния плательщиков дани, без кораблей и защиты; и теперь Хиос, Лесбос и Самос были единственными союзниками, свободными и вооруженными на прежней основе. Каждая последующая смена вооруженного союзника на данника, каждое подчинение отделившегося - все это, конечно, сокращало численность и ослабляло авторитет Делийского синода; и, что еще хуже, меняло взаимные отношения и чувства Афин и их союзников, возвышая первых до чего-то похожего на деспота и низводя последних до простых пассивных подданных.

Конечно, очевидным проявлением этих перемен должен был стать перевод конфедеративного фонда с Делоса в Афины. Единственное известное нам обстоятельство, касающееся этого перевода, заключается в том, что он был предложен саамийцами^[649] - второй державой в конфедерации, уступавшей только Афинам и менее всего способной содействовать каким-либо корыстным или зловещим целям афинян. Далее говорится, что, когда саамы предложили это предложение, Аристеидес охарактеризовал его как предложение несправедливое, но полезное: мы можем, однако, сомневаться, было ли оно принято при его жизни. Когда синод на Делосе перестал быть столь посещаемым, чтобы вызывать уважение, - когда разгорелась война не только

с Персией, но и с Гигиной и Пелопоннесом, - саамийцы могли не без оснований полагать, что большой накопленный фонд с его постоянными ежегодными поступлениями будет в большей безопасности в Афинах, чем на Делосе, где острову требовался постоянный гарнизон и эскадра для защиты от нападений. Но какими бы ни были основания, на которых основывались саамийцы, когда мы видим, что они выступили с предложением о передаче, мы можем сделать разумный вывод, что это не вызвало недовольства и не показалось несправедливым более крупным членам конфедерации, и что это не было неправомерным и произвольным использованием власти, как это часто называют, со стороны Афин.

После завершения войны с Эгиной и последствий битвы при Энофите положение Афин все больше и больше менялось. Она приобрела большой список новых союзников, частично даннических, как Эгина, частично находившихся в таком же положении, как Хиос, Лесбос и Самос, то есть обязанных только к соответствию внешней политике и военной службе. К этой последней категории относились Мегара, беотийские города, фокийцы, локрийцы и т. д. Все они, хотя и были союзниками Афин, были чужды Делосу и конфедерации против Персии; соответственно, эта конфедерация незаметно ушла в историю, уступив место новой концепции имперских Афин с их обширным списком союзников, частично свободных, частично подвластных. Такой переход, возникший спонтанно из характера и обстоятельств самих конфедератов, был существенно ускорен приобретениями Афин вне конфедерации. Теперь она была не только первым морским государством Греции, но и, возможно, равной Спарте даже по сухопутной мощи, - в ее союз входили Мегара, Беотия, Фокида, Локрис, а также Ахейя и Трезен в Пелопоннесе. Как ни велика была эта совокупность, как на море, так и на суше, но величина ежегодной дани, а также характер самих афинян, превосходящих всех греков в сочетании энергии и дисциплины, которые являются главной причиной прогресса, грозили еще большим увеличением. Занимая мегарийскую гавань Пеге, афиняне имели все возможности для морских действий по обе стороны Коринфского перешейка: но, что было для них еще важнее, владея Мегаридами и Геранейским нагорьем, они могли сдерживать любые сухопутные силы, выходящие из Пелопоннеса, и, таким образом, учитывая их морское превосходство, были совершенно неприступны в Аттике. С тех пор как Афины получили отпор от Ксеркса, они непрерывно продвигались к власти и процветанию внутри страны, а также к победам и превосходству за рубежом, - и в этом не было исключения, за исключением разорительного предприятия в Египте. Поэтому, глядя на положение Греции в 448 году до н. э., после заключения пятилетнего перемирия между пелопоннесцами и Афинами и так называемого Кимонского мира между Персией и Афинами, проницательный грек вполне мог рассчитывать на дальнейшее усиление этого имперского государства как на тенденцию века; а поскольку каждый грек привык к концепции отдельной городской автономии, необходимой для свободного человека и гражданина, такая перспектива не могла не внушать ужаса и отвращения. Симпатии пелопоннесцев к островитянам и приморским государствам, составлявшим первоначальную афинскую конфедерацию, были невелики; но когда дорийский остров Эгина был также покорен и перешел в состояние беззащитного данника, они остро ощутили удар по всем основаниям. Древняя слава и выдающиеся заслуги этого памятного острова в битве при Саламине не смогли защитить его, а те великие эгинетские семьи, чьи победы на священных фестивальных играх Пиндар отмечает в значительной части своих од, распространяли язык жалоб и негодования среди своих многочисленных "гостей" в каждом эллинском городе. Конечно, такое же антиафинское чувство охватило бы и те пелопоннесские государства, которые были вовлечены в фактическую вражду с Афинами, - Коринф, Сикион, Эпидавр и т. д., а также Спарту, некогда признанную главу Эллады, но теперь молчаливо низложенную с ее главенствующей позиции, ущемленную в ее проектах относительно Беотии и подвергшуюся сожжению своего порта в Гифиуме, не имея возможности даже отомстить Аттике. Сложив все эти обстоятельства вместе, мы можем понять мощное чувство неприязни и опасения, которое теперь так широко распространилось по Греции против выскочки города-деспота; чье господство, недавно

приобретенное, поддерживаемое превосходящей силой и не признанное законным, грозило, тем не менее, еще более усилиться. Через шестнадцать лет эти же настроения вылились в Пелопоннесскую войну; но они укоренились в греческом сознании в тот период, которого мы сейчас достигли, когда Афины были гораздо более грозными, чем в начале этой войны: и мы не сможем в полной мере оценить идеи этого более позднего периода, если не будем воспринимать их как переданные с более ранней даты пятилетнего перемирия, примерно 451-446 гг. до н. э.

Как ни грозна была Афинская империя на самом деле и как ни казалась, однако широко распространенное чувство антипатии оказалось еще сильнее, так что вместо угрожавшего увеличения империя претерпела самое существенное уменьшение. Это произошло не из-за нападения открытых врагов; за пять лет перемирия Спарта предприняла только одно движение, и то не против Аттики: она послала войска в Дельфы в экспедиции, получившей название Священной войны, изгнала фокийцев, которые взяли на себя управление храмом, и вернула его родным дельфийцам. Афиняне не оказали прямого сопротивления: но как только лакедемоняне ушли, они сами выступили в поход и передали храм в руки фокийцев, которые тогда были их союзниками.^[650] Дельфы были членами Фокийской лиги, и между ними давно шел спор об управлении храмом - принадлежал ли он им отдельно или фокийцам вместе. Благосклонность тех, кто управлял храмом, была важным элементом греческой политики; симпатии ведущих дельфийцев склоняли их на сторону Спарты, но афиняне теперь надеялись противостоять этой тенденции за счет своего перевеса в Фокисе. Нам не говорят о том, что лакедемоняне предприняли какие-либо дальнейшие шаги в связи с тем, что их взгляды были расстроены Афинами, что является важным свидетельством политики того времени.

Удар, сваливший Афинскую империю с этого ее величайшего возвышения, был нанесен самими подданными. Афинское господство над Беотией, Фокисом, Локрисом и Эвбеей поддерживалось не гарнизонами, а внутренними партиями, благоприятными для Афин, и подходящей формой правления; точно так же, как Спарта поддерживала свое влияние на своих пелопоннесских союзников.^[651] После победы при Энофите афиняне разрушили правительства в беотийских городах, созданные Спартой до битвы при Танагре, и преобразовали их в демократии в Фивах и других местах. Многие из прежних лидеров были отправлены в изгнание, а поскольку тот же процесс произошел в Фокисе и Локрисе, в это время там было значительное скопление изгнанников, беотийцев, фокийцев, локрийцев, эвбейцев, эгинетян и т.д., все они были настроены враждебно к Афинам и готовы были присоединиться к любому нападению на ее власть. Кроме того, мы узнаем, что демократия,^[652] установленная в Фивах после битвы при Энофите, была плохо проведена и беспорядочна: эти обстоятельства еще больше открывали Беотию для планов нападающих, которые следили за каждым слабым местом. Различные изгнанники, объединив свои силы и согласовав действия со своими партизанами во внутренних районах, сумели овладеть Орхоменом, Херонеей и некоторыми другими менее важными местами в Беотии. Афинский полководец Толмидес отправился в поход, чтобы изгнать их, с тысячей афинских гоплитов и вспомогательным отрядом союзников. Судя по всему, этот поход был предпринят поспешно и опрометчиво: гоплиты Толмидеса, в основном молодые добровольцы и принадлежавшие к лучшим афинским семьям, слишком пренебрегали врагом, чтобы ожидать более крупного и более внушительного войска: люди не послушали даже Перикла, когда он предупредил их, что поход будет полон опасностей, и призвал не предпринимать его без большей численности и большей осторожности.^[653] Его предсказания, действительно, оправдались. Хотя Толмидес и добился успеха в своем первом предприятии - захвате Херонеи, где он разместил гарнизон, - однако в своем походе, вероятно неосторожном и беспорядочном, при отходе из этого места он был застигнут врасплох и атакован врасплох около Коронеи объединенным отрядом изгнанников и их партизан. Ни одно поражение в греческой истории не было более полным и губительным. Сам Толмидес был убит вместе со многими афинскими гоплитами, а большое количество их

попало в плен. Чтобы вернуть этих пленников, принадлежавших к лучшим семьям города, афиняне заключили договор, по которому согласились полностью эвакуировать Беотию: во всех городах этой страны были восстановлены изгнанники, демократическое правительство свергнуто, а Беотия из союзника Афин превратилась в их злейшего врага. [Роковой исход этого сражения надолго запечатлелся в памяти афинян^[655] и внушил им опасения относительно превосходства беотийцев в тяжелых сухопутных доспехах: но если бы гоплиты под командованием Толмидека были все убиты на поле, их смерть, вероятно, была бы отомщена и Беотия не была бы потеряна, тогда как в случае с живыми гражданами афиняне не считали жертву слишком большой, чтобы искупить их. В дальнейшем мы обнаружим у лакедемонян схожие чувства по отношению к своим братьям, захваченным в плен в Сфактерии.

Бедственные последствия этого поражения обрушились на Афины густой и быстрой чередой. Объединенные изгнанники, добившись своего в Беотии, принялись изгонять фило-афинское правительство из Фокисы и Локриса и нести пламя восстания на Эвбею. На этот важный остров немедленно отправился сам Периклес во главе мощного войска, но не успел он завершить завоевание, как был вызван домой известием еще более грозного характера. Мегаряне восстали из Афин: по заранее спланированному заговору в их город в качестве гарнизона была введена дивизия гоплитов из Коринфа, Сикиона и Эпидавра; афинские солдаты, сторожившие Длинные стены, были перебиты и убиты, за исключением нескольких человек, бежавших в укрепленный порт Ниссея. Чтобы афиняне сразу поняли, насколько серьезно их затронуло это бедствие, открыв дорогу через Геранею, было объявлено, что царь Спарты Флейстоанакс уже на марше для вторжения в Аттику. Он и в самом деле ввел армию, состоявшую из лакедемонян и пелопоннесских союзников, в Аттику, вплоть до окрестностей Элевсиса и Триасийской равнины. Он был очень молод, поэтому спартанец зрелых лет Клиандридес был приставлен к нему эфорами в качестве адъютанта и советника. Периклес, как говорят, убедил и того, и другого с помощью крупных взяток эвакуироваться из Аттики, не продвигаясь к Афинам. Мы можем усомниться в том, что у них было достаточно сил, чтобы зайти так далеко вглубь страны, и в дальнейшем мы увидим, с какими предосторожностями Архидам считал необходимым проводить свое вторжение в первый год Пелопоннесской войны, хотя и во главе более мощного войска. Тем не менее, по возвращении лакедемоняне, полагая, что они могли добиться своего, признали их обоих виновными в коррупции. Оба были изгнаны: Клиандридес так и не вернулся, а сам Плейстоанакс долгое время жил в святилище у храма Афины в Тегее, пока, наконец, не добился своего восстановления, подговорив пифийскую жрицу и принеся ей купленные увещевания действовать на власти в Спарте^[656].

Как только лакедемоняне отступили из Аттики, Периклес вернулся со своими войсками в Эвбею и полностью завоевал остров. С той осторожностью, которая всегда отличала его как военного человека, столь противоположной роковой опрометчивости Толмидеса, он взял с собой подавляющую силу из пятидесяти трирем и пяти тысяч гоплитов. Он признал капитуляцию большинства эвбейских городов, изменил управление Халкисом, изгнав богатую олигархию Гиппоботеев; но с жителями Гистиеи, на севере острова, которые захватили афинский торговый корабль и перебили весь экипаж, он расправился более сурово: свободное население было изгнано полностью или в значительной части, а земля распределена между афинскими клерухами, или переселенными гражданами^[657].

Но повторное завоевание Эвбеи далеко не восстановило положение Афин, которое они занимали до рокового сражения при Коронее. Ее сухопутная империя безвозвратно исчезла вместе с недавно приобретенным влиянием на дельфийский оракул, и она вернулась к своему прежнему состоянию исключительно морского владыки. Хотя она все еще

продолжала удерживать Нисей и Пегес, но связь с последней гаванью была прервана из-за потери Мегары и прилегающей к ней территории, так что она лишилась возможности действовать в Коринфском заливе и защищать, а также сдерживать своих союзников в Ахайе. Порт Нисей, оторванный от города, которому он принадлежал, также не представлял для нее особой ценности, разве что как пост для досады на этот город. Более того, шаткость ее власти над невольными союзниками была продемонстрирована таким образом, чтобы поощрить аналогичные попытки среди ее морских подданных, - попытки, которые теперь будут подкреплены вторжением пелопоннесских армий в Аттику. Страх перед таким сочетанием трудностей, и особенно перед неодолимым врагом, несущим разорение процветающей территории вокруг Элевсиса и Афин, был в этот момент преобладающим в афинском сознании. Мы увидим, как Периклес в начале Пелопоннесской войны, четырнадцать лет спустя, исчерпал все свои силы убеждения и не без труда добился успеха, чтобы убедить своих соотечественников вынести тяготы вторжения, даже в защиту своей морской империи, и когда события постепенно назревали так, что перспектива войны стала привычной, если не неизбежной. Но череда несчастий обрушилась на них так быстро и неожиданно, что лишила уверенности даже афинян и сделала перспективу продолжения войны полной мрака и опасности. Благоразумие Периклеса, несомненно, посоветовало бы сдать оставшиеся земельные владения или союзы, которые теперь стали невыгодными, чтобы купить мир; но мы можем быть уверены, что ничто, кроме крайнего временного уныния, не могло побудить афинское собрание прислушаться к такому совету и принять бесславный мир, который за этим последовал. В начале 445 года до н. э. со Спартой и ее союзниками было заключено тридцатилетнее перемирие, по которому Афины сдали Ниссею, Пегею, Ахайю и Трезен, - тем самым полностью отказавшись от Пелопоннеса,^[658] и оставив мегарян с их полной территорией и двумя портами в числе пелопоннесских союзников Спарты.

Именно мегарянам в особенности было обязано изменившееся положение Афин после этого перемирия: именно их отделение от Аттики и объединение с пелопоннесцами открыло Аттику для вторжения. Отсюда возникла смертельная ненависть афинян к Мегаре, проявлявшаяся в течение последующих лет, - чувство тем более естественное, что Мегара за несколько лет до этого спонтанно искала союза с Афинами в качестве защиты от коринфян, а затем, без всяких известных злоупотреблений со стороны Афин, разорвала союз и стала ее врагом, что привело к роковым последствиям, сделав ее уязвимой на суше. При таких обстоятельствах мы не должны удивляться тому, что антипатия афинян к Мегаре была сильно выражена, настолько, что система исключения, которую они приняли против нее, была одной из самых заметных причин Пелопоннесской войны.

Проследив то, что мы можем назвать внешними отношениями Афин до этого тридцатилетнего перемирия, мы должны обратить внимание на важные внутренние и конституционные изменения, которые она пережила за тот же период.

ГЛАВА XLVI. КОНСТИТУЦИОННЫЕ И СУДЕБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АФИНАХ ПРИ ПЕРИКЛЕ.

Период, который мы сейчас прошли, был, по-видимому, тем периодом, когда демократические черты афинской общественной жизни впервые проявились в полной мере в судебной, законодательной и административной сферах.

Великое судебное изменение было осуществлено путем методичного распределения значительной части граждан по отдельным судебным подразделениям, значительного расширения их непосредственной деятельности в этом ведомстве и назначения постоянного жалования каждому гражданину, занимающемуся этим. Уже упоминалось, что даже при демократии Клейстенеса и до времени, последовавшего за битвой при Платее, большие полномочия по-прежнему принадлежали как отдельным архонтам, так и Ареопагскому сенату, который состоял исключительно из архонтов, сменившихся после года пребывания в должности и заседавших в нем пожизненно, - хотя контроль, осуществляемый общим телом граждан, собранных для законотворчества в экклесии и для суда в гелиэе, был в то же время значительно усилен. Далее следует вспомнить, что различие между властью административной и судебной, столь высоко ценимое среди более развитых правительств современной Европы, начиная с политических спекуляций прошлого века, в ранней истории Афин было почти неизвестно. Подобно римским царям^[659] и римским консулам до назначения претора, афинские архонты не только управляли, но и осуществляли юрисдикцию, как добровольную, так и спорную, - решали споры, расследовали преступления и налагали наказания. Такую же смешанную природу имели функции сената Ареопага и даже ежегодного сената Пятисот, созданного Клейстенесом. Стратеги, как и архонты, несомненно, обладали двойной компетенцией - в отношении военных, морских и внешних дел - издавать приказы и наказывать своей властью непокорных: *imperium* магистратов в целом позволял им приводить в исполнение собственные мандаты, а также решать в сомнительных случаях, виновен или нет тот или иной частный гражданин в нарушении. Не существовало и апелляции на эти магистратские решения; хотя магистраты, согласно Клейстенской конституции, подлежали личной ответственности за свое общее поведение перед народом, собранным в судебном порядке, по истечении года их пребывания в должности, - и дальнейшему вразумлению со стороны экклесии, или общественного совещательного собрания, периодически собирающегося в течение этого года: на некоторых из таких экклесий мог быть официально поставлен вопрос о смещении любого магистрата еще до истечения года его полномочий.^[660] Тем не менее, несмотря на такие частичные сдержки, накопление в одних руках полномочий по управлению, судейству, наказанию и решению гражданских споров, без каких-либо других канонов, кроме нескольких существовавших тогда законов, и без какой-либо апелляции, - должно было болезненно ощущаться и часто приводить к коррупции, произволу и притеснениям: И если это верно в отношении отдельных магистратов, подвергающихся ежегодной ответственности, то вряд ли было менее верно в отношении сената Ареопага, который, действуя коллективно, едва ли мог быть подотчетен, и в котором члены заседали пожизненно.^[661]

Я уже упоминал, что вскоре после возвращения изгнанных афинян из Саламины Аристеидес был вынужден, благодаря сильным демократическим настроениям, которые он обнаружил среди своих соотечественников, предложить отменить все денежные требования для занятия магистратур, чтобы каждый гражданин имел законное право. Это нововведение, однако, было ценно главным образом как победа и как показатель преобладающих

настроений: несмотря на расширенное обещание права, на деле, вероятно, произошло мало изменений, и богатые люди по-прежнему чаще всего выбирались. Поэтому магистраты, обладавшие большими административными и судебными полномочиями, о которых говорилось выше, - и еще больше сенат Ареопага, заседавший пожизненно, - по-прежнему почти полностью принадлежавшие к богатому классу, оставались в большей или меньшей степени одушевленными теми же олигархическими интересами и симпатиями, которые проявлялись в злоупотреблении властью. В то же время демократические настроения среди массы афинян неуклонно росли со времен Аристейдеса до Периклеса: Афины становились все более морскими, население Пирея увеличивалось как по численности, так и по значению, и дух даже самого бедного гражданина стимулировался тем коллективным возвышением его города, в которое он сам вносил индивидуальный вклад. Не прошло и двадцати лет, считая от битвы при Платее, как новый пыл демократических настроений проявился в политических состязаниях Афин и нашел себе достойных поборников в лице Периклеса и Эфиальтеса, соперников той партии, которую можно назвать консервативной, возглавляемой Кимоном.

Мы не располагаем достоверными сведениями о том, что именно Периклес ввел жребий вместо выборов для выбора архонтов и других магистратов, но изменение, должно быть, было введено почти в это же время и с целью уравнивать шансы на должность каждого кандидата, как бедного, так и богатого, который решил назвать свое имя и соответствовал определенным личным и семейным условиям, установленным в ходе докимасии, или предварительного экзамена. Но именно Периклему и Эфиальту Афины, несомненно, обязаны продуманной конституцией своих народных дикастерий, или регулярно оплачиваемых судов присяжных, которые оказывали столь важное влияние на характер граждан. Эти два выдающихся человека лишили магистратов и сенат Ареопага всех судебных и уголовных полномочий, которыми они обладали до сих пор, за исключением права налагать небольшие штрафы. Эта судебная власть, как гражданская, так и уголовная, была передана многочисленным дикастам, или коллегиям присяжных, выбранных из граждан; шесть тысяч из них ежегодно выбирались по жребию и приводились к присяге, а затем распределялись на десять коллегий по пятьсот человек в каждой, а остальные составляли дополнение на случай вакансий. Магистрат, вместо того чтобы решать дела или назначать наказания своей властью, теперь был вынужден собирать присяжных, то есть передавать каждое конкретное дело, которое могло требовать наказания большего, чем небольшой штраф, на который он был правомочен, на суд того или иного из этих многочисленных народных дикастерий. Какую из десяти он должен принять, определялось по жребию, так что никто не знал заранее, какая дикастерия будет рассматривать то или иное дело: он сам председательствовал в ней во время процесса и передавал ей спорный вопрос с результатами своего собственного предварительного осмотра, в дополнение к речам обвинителя и обвиняемого, с показаниями их свидетелей. Так и гражданская юриспруденция, которая прежде осуществлялась в спорах между людьми архонтами, была изъята у них и передана этим дикастериям под председательством архонта. Следует отметить, что в Афинах широко применялась система обращения в арбитраж по частным делам[662]: ежегодно назначалось определенное число государственных арбитров, одному из которых - или другому гражданину, принятому по взаимному согласию сторон, - передавались все частные споры в первую инстанцию. В случае неудовлетворенности решением любая из сторон могла затем передать дело в дикастерий: но, судя по всему, во многих случаях решение арбитра принималось и без этого крайнего средства.

Здесь я не хочу утверждать, что до времен Перикла и Эфиальта никогда не было суда народа: Я не сомневаюсь, что до их времени многочисленное судебное собрание, называемое

Гелизей, выносило решения по обвинениям против подотчетных магистратов, а также по различным другим обвинениям общественной важности; и, возможно, в некоторых случаях отдельные их части могли быть выбраны по жребию для конкретных судебных разбирательств. Но не менее верно и то, что систематическое распределение и постоянная занятость многочисленных афинских дикастов не могли начаться раньше эпохи этих двух государственных деятелей, поскольку только тогда появилась практика их оплаты: ведь столь значительная жертва времени со стороны бедных людей, когда М. Бёхх утверждает, [663] несомненно в очень преувеличенных выражениях, что "почти одна треть граждан ежедневно заседала в качестве судей", не может быть представлена без гарантированного вознаграждения. Со времен Перикла и после него эти дикастерии были исключительными собраниями для разбирательства всех дел, как гражданских, так и уголовных, за некоторыми особыми исключениями, такими как дела об убийстве и некоторые другие: но до его времени большинство этих дел решалось либо отдельными магистратами, либо сенатом Ареопага. Поэтому мы можем представить себе, насколько велика и важна была революция, совершенная этим государственным деятелем, когда он впервые организовал эти дикастические собрания в систематическое действие и передал им почти всю судебную власть, которая до него осуществлялась магистратами и сенатом. Положение и влияние последних радикально изменились: самые властные функции архонта были упразднены, и он сохранил за собой лишь право принимать жалобы, расследовать их, осуществлять небольшое предварительное вмешательство в дела сторон для поддержания дела или обвинения, назначать день суда и председательствовать на дикастическом собрании, на котором выносился императивный приговор. Его административные функции остались неизменными, но инквизиторские и определяющие полномочия судьи исчезли [664].

В отношении сената Ареопага также произошли не менее значительные изменения. Этот сенат, предшествовавший демократии по дате возникновения и стоявший особняком в отношении пожизненного пребывания в должности, по-видимому, осуществлял неопределенный и обширный контроль, который длительное существование постепенно освятило. Он был наделен своего рода религиозным уважением и верил, что обладает таинственными традициями, исходящими из божественного источника: [665] в частности, рассмотрение умышленного убийства было частью старой аттической религии не в меньшей степени, чем судебной практики. Хотя после изгнания Писистратидов она на некоторое время отошла на задний план, но постепенно восстановилась, когда была привлечена новыми архонтами в соответствии с конституцией Клейстена; а во время бедственных страданий, связанных с персидским вторжением, ее бесстрашие и патриотизм были оценены так высоко, что обеспечили ей еще большую сферу влияния. Судебные процессы по делам об убийствах были лишь малой частью его полномочий: он осуществлял судебную компетенцию и во многих других случаях, и, что было еще более важным, он поддерживал своего рода цензурную полицию над жизнью и привычками граждан, - он исповедовал опекунскую и отеческую дисциплину, выходящую за рамки того, что могла обозначить строгая буква закона, над нерадивыми, блудными, непослушными и отступниками от старых обрядов и обычаев. В довершение всего Ареопагский сенат осуществлял надзор за общественными собраниями, следя за тем, чтобы ни одно из действий на них не нарушало установленных законов страны. Это были полномочия огромные и неопределенные, не вытекавшие из какого-либо формального пожалования народа, но уходящие корнями в незапамятную древность и поддерживаемые всеобщим благоговением и почитанием. Когда мы читаем серьезные выражения этого чувства в устах поздних ораторов - Демосфена, Эсхинеса или Дейнарха, - мы понимаем, насколько сильным оно должно было быть за полтора века до них, в период персидского вторжения. Исократес в своем "Рассуждении", обычно называемом "*Ареопагитиком*", написанном через столетие с четвертью после этого

вторжения, рисует картину того, каким был сенат Ареопага, пока его компетенция была еще не ослаблена, и приписывает ему власть вмешательства, мало чем уступающую отцовскому деспотизму, который, как он утверждает, был самым полезным и улучшающим в своем воздействии. То, что картина этого ритора неточна, - и в значительной степени действительно идеальна, вставляя свои собственные рекомендации под цветом прошлых реалий, - достаточно очевидно: но она позволяет нам в целом предположить обширную регулирующую власть сената Ареопага в делах как общественных, так и частных, в то время, которое мы сейчас описываем.

Такими полномочиями непременно злоупотребляли, и когда мы узнаем, что спартанский сенат[666] был прискорбно открыт для взяточничества, мы вряд ли можем предположить что-то лучшее о пожизненных старейшинах в Афинах. Но даже если бы их полномочия направлялись всеми теми благодетельными намерениями, о которых говорит Исократес, по своей природе они были такими, которые можно осуществлять только над пассивным и неподвижным народом: а ход событий в Афинах, в особенности в то время, создавал совершенно противоположные условия. Во время персидского нашествия сенат Ареопага, конечно, был вооружен более чем обычным авторитетом, который он использовал так успешно, что укрепил свое влияние и ужесточил надзор в течение всего последующего периода: но то же самое испытание вызвало в общей массе граждан новый всплеск демократических настроений и возросшее сознание силы, как индивидуальной, так и национальной. Таким образом, две силы, не только различные, но и противоположные и противоречивые, одновременно пришли в усиленное действие.[667] И это еще не все: новый оттенок афинской жизни и общественным привычкам придавали многие обстоятельства: расширение города, создание укрепленного порта и нового города Пейреуса, увеличение численности морского населения, активная деятельность Афин в качестве главы Делийской конфедерации и т. д. Все эти обстоятельства вскрывали в афинянах в 480-460 гг. до н. э. новые жилы надежд и чувств, новые направления действий и, как следствие, делали вмешательство ареопагского сената, по сути своей старомодного и консервативного, все более затруднительным. Но в то самое время, когда благоразумие подсказывало, что его следует смягчить или изменить, сенат, похоже, сделал его более строгим или, по крайней мере, попытался сделать это: что не могло не вызвать против них значительного числа врагов. Не только демократические новаторы, но и представители новых интересов в целом в Афинах стали выступать против сената как органа досадных репрессий, используемого в олигархических целях[668].

Судя по характеру ареопагского сената и древнему почитанию, которым он был окружен, он, естественно, служил центром действий олигархической или консервативной партии, той партии, которая желала сохранить клестинскую конституцию в неизменном виде, с ненарушенной властью, как административной, так и судебной, как для отдельных магистратов, так и для коллективного ареопага. В то время, о котором мы сейчас говорим, Кимон был самым заметным лидером этих настроений, и его блестящие победы при Эвримедоне, а также подвиги в других военных предприятиях, несомненно, очень укрепили его политическое влияние на родине. К этой же партии, вероятно, относилось и значительное большинство богатых и старых афинских семей, которые, пока магистратуры избирались, а не выбирались по жребию, обычно выбирали сами и были заинтересованы в том, чтобы власть на этих постах была как можно выше. Кроме того, партия еще больше укрепилась благодаря явной поддержке Спарты, оказанной главным образом через Кимона, проксена Спарты в Афинах. Конечно, такая помощь могла быть только косвенной, но, похоже, она имела немаловажное значение, ведь если учесть, что Гигина в древности враждовала с Афинами, а Коринф был настроен скорее враждебно, чем дружелюбно,

добрые чувства лакедемонян могли показаться афинским гражданам крайне желательными для сохранения: а фило-лаконский характер ведущих людей Афин способствовал ослаблению ревности Спарты в тот критический период, когда афинское морское превосходство находилось в процессе развития.[669]

Политическая оппозиция между Периклесом и Кимоном была наследственной, так как Ксантипп, отец первого, был обвинителем Мильтиадеса, отца второго. Оба они принадлежали к первым семьям города, и это, в сочетании с военными талантами Кимона и большим государственным превосходством Перикла, поставило и того, и другого во главе двух политических партий, разделивших Афины. Периклес, должно быть, начал свою политическую карьеру очень молодым, поскольку он сохранял сначала огромное влияние, а затем беспрецедентное моральное и политическое превосходство в течение долгих сорока лет, противостоя выдающимся соперникам, ожесточенным нападкам и недобросовестным клеветникам (около 467-428 гг. до н. э.). Его общественная жизнь началась примерно в то время, когда Фемистоклес был подвергнут ostracism, а Аристеидес сошел со сцены, и вскоре он проявил характер, сочетавший в себе денежную честность одного с находчивостью и широкими взглядами другого; к тому и другому добавились благоразумие и владение нравом, никогда не нарушавшиеся, - прекрасное музыкальное и литературное образование, полученное от Пифоклидеса, - красноречие, какого никто прежде не слышал и не задумывал, - и лучшая философия, которую мог предложить век. Его военные обязанности как молодого гражданина исполнялись добросовестно и упорно, но он был робок в своих первых политических обращениях к народу, что вполне соответствовало осторожности его темперамента, но некоторые из его биографов[670] объясняли это тем, что он боялся ostracism, и что его лицо напоминало лицо деспота Пейсистрата. Однако мы можем быть уверены, что это личное сходство, как и чудесный сон, приписываемый его матери[671], когда она была беременна от него, было выдумкой врагов, когда его правление уже было установлено, и что молодым новичкам не грозил ostracism. Со времен Фемистокла и Аристеиды политические партии в Афинах сильно изменились, так как Клейстенская конституция, хотя и расширенная последним после возвращения из Саламины до такой степени, что все граждане без исключения могли быть допущены к магистратуре, стала непопулярной среди более бедных граждан и более острого демократического чувства, которое теперь царило в Афинах и Пейре.

Именно этой демократической партии - партии движения против партии сопротивления, или реформаторов против консерваторов, если воспользоваться современной фразеологией, - Периклес посвятил свое высокое звание, характер и способности. От низких искусств, которые принято приписывать тому, кто отстаивает политические интересы бедных против богатых, он был замечательно свободен: он был неутомим в своем внимании к государственным делам, но мало бывал в обществе и пренебрегал почти до избытка воздухом популярности: Его красноречие производило неотразимое впечатление, но он ни в коем случае не расточал его, заботясь о том, чтобы, подобно саламинской триреме, приберечь себя для торжественных случаев, и предпочитая по большей части пользоваться услугами друзей и приверженцев: [Кроме того, он перенял от своего друга и учителя Анаксагора оттенок физической философии, что значительно укрепило его ум[673] и вооружило против многих царивших суеверий, но в то же время лишило его симпатий вульгарных людей, как богатых, так и бедных. Олигархический Кимон, чья открытая и добродушная манера поведения была воспета его личным другом поэтом Ионом, в отличие от сдержанной и величественной манеры его соперника Периклеса, на самом деле гораздо лучше владел искусством демагогии. Кимон использовал богатую добычу, полученную в морских походах, для украшения общественных мест, а также для помощи бедным

гражданам - он открывал свои поля и плоды для всех жителей своего дема и заставлял присутствовать на публике хорошо одетых рабов, которые предлагали свои теплые туники в обмен на нитяную одежду тех, кто казался нуждающимся; В то время как имуществом Периклеса распоряжался со строгой, хотя и благожелательной экономией его древний управляющий Эвангелус, - все продукты его земель продавались, а потребление его дома обеспечивалось покупкой на рынке.[674] Именно благодаря такой регулярности поддерживалась его совершенная и явная независимость от всех денежных соблазнов. По вкусу, таланту и характеру Кимон был полной противоположностью Периклему - храбрый и эффективный полководец, щедрый раздатчик, человек общительный и любвеобильный, но неспособный к постоянному вниманию к делу, необученный музыке или письму, с лаконичным отвращением к риторике и философии; в то время как восхождение Периклеса было основано на его восхитительном сочетании гражданских качеств - осторожности, твердости, трудолюбия, рассудительности, красноречия и умения вести за собой приверженцев. Как полководец, хотя ему и не хватало личной храбрости, он редко добивался выдающихся успехов и прославился главным образом тем, что заботился о жизни граждан, отказываясь от всех необдуманных и далеких предприятий: его личные привычки были трезвыми и затворническими, он больше всего общался с Анаксагором, Протагором,[675] Зеноном, музыкантом Дамоном и другими философами, а самая нежная домашняя привязанность связывала его с очаровательной и культурной Аспазией.

Это были два человека, которые в это время наиболее ярко проявили себя в афинском партийном противостоянии: растущая демократия против неподвижной демократии прошлого поколения, которая теперь носила название олигархии; честолюбивая и разговорчивая энергия, распространенная даже среди бедного населения, которая теперь все больше и больше становилась характерной чертой Афин, против неграмотной и беспросветной доблести завоевателей Марафона.[Эфиальтес, сын Софонидеса, был в это время ведущим помощником, равным Периклему и ничуть не уступавшим ему в личной порядочности, хотя и был бедным человеком:[677] что касается агрессивной политической войны, он был даже более активным, чем Периклес, который, кажется, на протяжении всей своей долгой общественной жизни проявлял мало ожесточения против политических врагов. К сожалению, наши скудные знания об истории Афин доносят до нас лишь некоторые общие причины и несколько отмеченных фактов: детали и конкретные лица нам недоступны: однако фактический ход политических событий везде зависит в основном от этих деталей, так же как и от общих причин. Прежде чем Эфиальт выдвинул свое основное предложение об ограничении компетенции Ареопагского сената, он, судя по всему, старательно пресекал практическое злоупотребление магистратской властью путем обвинений, выдвигаемых против магистратов в период их регулярной ответственности. После неоднократных попыток пресечь практическое злоупотребление магистратскими полномочиями Эфиальтес и Периклес, наконец, пришли к предложению окончательно их сократить и ввести новую систему.

Мы не удивляемся, что такие действия вызвали крайнее ожесточение партийных чувств, и вполне вероятно, что этот нрав мог отчасти продиктовать обвинение, выдвинутое против Кимона около 463 года до н. э., после сдачи Тасоса, за предполагаемое получение взяток от македонского принца Александра, - обвинение, по которому он был оправдан. В это время олигархическая партия, или партия Кимона, была наиболее влиятельной: когда был предложен вопрос о посылке войск для помощи лакедемонянам в усмирении восставших гелотов на Итоме, Кимон привлек народ к этому, взывая к его великодушным чувствам, несмотря на упорное сопротивление Эфиальтеса.[Но когда Кимон и афинские гоплиты вернулись домой, уволенные Спартой при обстоятельствах оскорбительного подозрения, о

чем говорилось в предыдущей главе, негодование граждан было крайним: они отказались от союза со Спартой и вступили в дружбу с Аргосом. Конечно, влияние Кимона и положение партии олигархов было существенно изменено этим инцидентом: И при существующем ожесточении политических партий неудивительно, что его противники воспользовались случаем и вскоре после этого предложили провести голосование об ostracism[680] - вызов, который, возможно, не без желания приняли Кимон и его партия, поскольку они все еще могли считать себя сильнейшими и полагать, что приговор об изгнании падет на Эфиальтеса или Периклеса. Однако голосование закончилось изгнанием Кимона - верное доказательство того, что его противники теперь в выигрыше. В этом случае, как и в предыдущем, мы видим, что ostracism был применен в период острого политического конфликта, жестокость которого он, по крайней мере, ослабил бы, устранив на время одного из спорящих лидеров.

Именно сейчас Периклес и Эфиальтес осуществили свой важный план судебной реформы. Ареопагский сенат был лишен дискреционной цензурной власти, а также всех судебных полномочий, кроме тех, которые касались убийств. Отдельные магистраты, как и сенат Пятисот, также были лишены своих судебных полномочий, за исключением права налагать небольшие штрафы,[681] которые были переданы вновь созданным коллегиям наемных дикастов, отбираемых по десять раз из совокупности гелизи. Эфиальт[682] впервые перенес законы Солона с акрополя на рыночную площадь, где заседали дикастерии, - наглядное доказательство того, что судебная власть теперь была популяризирована.

В представлениях многих авторов все последствия этого великого конституционного изменения представлены очень неадекватно. Обычно нам говорят, что Периклес был первым, кто назначил жалованье этим многочисленным дикастериям в Афинах; он подкупил народ общественными деньгами, говорит Плутарх, чтобы выступить против Кимона, который подкупил их из своего личного кошелька: как будто плата была главной чертой в этом деле, и как будто все, что сделал Периклес, - это сделал себя популярным, заплатив дикастам за судебную службу, которую они прежде оказывали безвозмездно. На самом деле эта многочисленная армия дикастов, разделенная на десять полков и призванная действовать систематически в течение года, теперь была впервые организована: начало выплаты им жалованья стало также началом их регулярной судебной деятельности. Что Периклес действительно сделал, так это впервые отделил от административной компетенции магистратов те судебные полномочия, которые первоначально шли вместе с ней. Великие люди, привыкшие занимать эти должности, понизили свое влияние и авторитет,[683] в то время как среди более бедных граждан зародилась новая жизнь, привычка и чувство власти. Истец, подающий гражданский иск, или обвинитель, требующий наказания граждан, виновных в нанесении ущерба себе или государству, по-прежнему должен был обращаться к тому или иному архонту, но только для того, чтобы в конце концов предстать перед дикастерией, который должен был рассматривать дело. Если магистраты, действующие индивидуально, ограничивались, таким образом, простым управлением и предварительной полицией, то в качестве членов Ареопага, по истечении года архонства, они еще более серьезно теряли свою власть. Вместо прежнего безмерного диапазона надзора и вмешательства они теперь были лишены всякой судебной санкции, кроме той небольшой власти штрафовать, которая по-прежнему оставалась как у отдельных магистратов, так и у сената пятисот. Но рассмотрение дел об убийстве все еще было явно зарезервировано за ними, - ибо процедура, в этом последнем случае религиозная, не менее чем судебная, была так тщательно освящена древним чувством, что ни один реформатор не мог решиться нарушить или отменить ее.[684] Вероятно, на этом же основании неподвижная партия защищала все прерогативы сената Ареопага, объявляя предложенные Эфиальтесом

сокращения нечестивыми и виновными нововведениями.[685] Насколько крайним было их негодование, когда эти реформы были проведены, и насколько ожесточенным было столкновение политических партий в этот момент, мы можем судить по результату. Враги Эфиальтеса организовали его частное убийство, совершенное рукой беотийца из Танагры по имени Аристоклус. Такое преступление - редкое в политических анналах Афин, поскольку впоследствии мы не встречаем ни одного известного случая, вплоть до олигархии Четырехсот в 411 году до н. э., - сразу же свидетельствует о серьезности вводимых перемен, о ярости оппозиции и беспринципности консервативной партии: Кимон находился в изгнании и не принимал участия в этом деле. Несомненно, убийство Эфиальтеса произвело эффект, во всех отношениях неблагоприятный для партии, которая его организовала: народная партия, в своем негодовании, должна была еще больше привязаться к судебным реформам, только что им гарантированным, в то время как руки Периклеса, высшего лидера, оставленного и теперь действующего в одиночку, должны были значительно укрепиться.

Именно с этого момента можно говорить о правлении этого великого человека: теперь он был главным советником, можно сказать, премьер-министром, афинского народа. Первые годы его правления были отмечены рядом блестящих успехов, о которых уже упоминалось, приобретением Мегары в качестве союзника и победоносной войной с Коринфом и Эгиной. Но когда он предложил великое и ценное усовершенствование Длинных стен, превратив таким образом Афины и Пирей в один город, та же олигархическая партия, которая выступала против его судебных преобразований и убила Эфиальтеса, вновь оказала яростное сопротивление. Оказавшись бессильными перед прямым сопротивлением, они не побрезговали вступить в изменническую переписку со Спартой, призывая на помощь иностранные силы для свержения демократии; настолько одиозной она стала в их глазах после недавних нововведений. О том, насколько серьезной была опасность, постигшая Афины во время битвы при Танагре, уже говорилось, а также о быстром и неожиданном примирении сторон после этой битвы, в основном благодаря великодушному патриотизму Кимона и его близких друзей. По этому случаю он был освобожден от остракизма до истечения срока, и соперничество между ним и Периклесом в дальнейшем смягчается или даже превращается в компромисс,[686] при котором внутренние дела города оставались за одним, а ведение иностранных экспедиций - за другим. Успехи Афин в течение последующих десяти лет были более блестящими, чем когда-либо, и она достигла максимума своего могущества, что, несомненно, имело существенный эффект в придании стабильности демократии, а также администрации Периклеса, и позволило как одной, так и другой выдержать удар тех больших общественных неудач, которые лишили афинян их зависимых земельных союзов, в промежутке между поражением при Коронее и тридцатилетним перемирием.

Наряду с важной судебной революцией, произведенной Периклесом, были введены и другие изменения, относящиеся к той же схеме и системе.

Так, общая власть надзора, как за магистратами, так и за общественным собранием, была возложена на семь магистратов, впервые названных номофилаками, или блюстителями закона, и, несомненно, менявшихся каждый год. Эти номофилаки заседали рядом с проэдрами, или президентами, как в сенате, так и в общественном собрании, и им вменялось в обязанность вмешиваться в любое действие или предложение, противоречащее существующим законам: они также были уполномочены принуждать магистратов действовать в соответствии с законом.[687] Мы не знаем, обладали ли они правом председательствовать в дикастерии, то есть могли ли они сами вызывать одну из коллегий присяжных и под своим председательством предавать суду предполагаемого

преступника, или же они ограничивались формальным протестом, ставя предполагаемую незаконность перед общественным собранием. Назначение магистратов, наделенных особым правом наблюдения и оповещения, было немаловажным шагом, поскольку это, вероятно, позволило Эфиальтесу удовлетворить многих противников, опасавшихся упразднить надзорную власть ареопага, не введя никакой замены. Номофилаки занимали почетное место на общественных процессиях и праздниках, и им даже разрешалось, как и архонтам, входить в сенат Ареопага по истечении года их полномочий, но они никогда не приобретали значительной власти, подобной той, которой обладал сам сенат. Их вмешательство, должно быть, было в значительной степени вытеснено введением и все более широким применением *Graphê Paranomôn*, о чем мы сейчас расскажем; они даже не упоминаются в описании того заблуждения, которое совершило собрание, осудившее шесть генералов после битвы при Аргинусе, грубо нарушив юридическую форму не меньше, чем содержательную справедливость.^[688] После изгнания Тридцати сенат Ареопага был снова наделен надзором за магистратами, хотя и без чего-либо похожего на его древнее превосходство.

Еще одно важное изменение, которое мы с большой долей вероятности можем отнести к Периклосу, - это учреждение номотетов. По сути, эти люди были дикастами, членами шести тысяч граждан, ежегодно приносивших присягу в этом качестве. Но они не были, подобно дикастам для разбирательства дел, распределены по коллегиям, или полкам, известным под определенной буквой, и действовали вместе в течение всего года: их отбирали, чтобы они заседали вместе только в особых случаях и по мере необходимости. Согласно введенной реформе, экклесия, или общественное собрание, даже с санкции сената пятисот, становилась некомпетентной ни для принятия нового закона, ни для отмены уже существующего; она могла принять только *псефизм*, то есть, правильно говоря, постановление, применимое только к конкретному случаю; хотя в Афинах это слово использовалось в очень широком смысле, иногда охватывая постановления как общего, так и постоянного применения. В отношении законов была установлена особая судебная процедура. Ежегодно тесмотетам предписывалось изучать существующие законы, отмечая любые противоречия или двойные законы по одному и тому же вопросу; а в первой притании (десятой части) аттического года, на одиннадцатый день, проводилась экклесия, на которой первым делом рассматривались законы *последовательно* и представлялись на утверждение или отклонение: сначала законы, касающиеся сената, затем более общие, особенно те, которые определяли функции и компетенцию магистратов. Если какой-либо закон осуждался голосованием общественного собрания или если кто-либо из граждан предлагал новый закон, то третье собрание пританов, прежде чем заняться какими-либо другими делами, занималось назначением номотетов и выделением средств на выплату им жалованья. Каждый гражданин, которому предстояло внести новые предложения, должен был публично уведомить об этом, чтобы время, необходимое для заседания номотетов, было соразмерно количеству вопросов, подлежащих их рассмотрению. Кроме того, были назначены общественные защитники, которые должны были взять на себя официальную защиту всех законов, подвергавшихся нападкам, а гражданин, предлагавший их отменить, должен был изложить свои аргументы против этой защиты, чтобы удовлетворить собравшихся номотетов. Эти последние брались из шести тысяч присягнувших дикастов и были разного числа в зависимости от обстоятельств: иногда мы слышим о них как о пятистах, иногда как о тысяче, и мы можем быть уверены, что их число всегда было значительным.

Следствием этого института было то, что принятие или отмена законов были связаны с теми же торжественными процедурами и гарантиями, что и рассмотрение дел или обвинений в суде. Мы должны помнить, что граждане, присутствовавшие в экклесии, или общественном

собрании, не приносили присягу, как дикасты; у них не было ни такой торжественности процедуры, ни такой уверенности в том, что они услышат обе стороны излагаемого вопроса, ни такого же полного предварительного уведомления. Насколько сильно клятва действовала на умы дикастов, можно судить по частым апелляциям к ней ораторов, которые противопоставляют их публичному собранию без присяги[689]. И нет никаких сомнений в том, что номотеты обеспечивали гораздо большую, чем публичное собрание, безопасность для принятия правильного решения. Эта безопасность зависела от того же принципа, который, как мы видим, пронизывает все конституционные механизмы Афин; от фракции народа, взятой случайно, но достаточно многочисленной, чтобы иметь тот же интерес, что и весь народ, - не постоянной, но делегированной на случай, - собранной под торжественной санкцией и снабженной полным изложением обеих сторон дела. Право принимать псефизмы, или специальные постановления, по-прежнему оставалось за общественным собранием, которое, несомненно, было гораздо более склонно к поспешным или необдуманным решениям, чем дикастерий или номотеты, - несмотря на необходимость предварительного получения полномочий от сената пятисот, прежде чем любое предложение могло быть представлено на его рассмотрение.

В качестве дополнительной защиты общественного собрания и номотетов от принятия решений, противоречащих действующему законодательству, следует упомянуть еще одно замечательное положение, которое, вероятно, было введено Периклесом одновременно с формальностями законотворчества с помощью специально делегированных номотетов. Это был *Graphê Paranómōn*, - обвинение в неформальности или незаконности, - которое могло быть выдвинуто на определенных основаниях против автора любого закона или псефизма и влекло за собой наказание со стороны дикастерия. Выдвигая новую меру, он должен был позаботиться о том, чтобы она не противоречила какому-либо ранее существовавшему закону, а если таковое противоречие имелось, то официально уведомить об этом, предложить отмену существовавшего закона и заранее публично изложить свое предложение, чтобы никогда не было двух противоречащих друг другу законов, действующих одновременно, или незаконного постановления, принятого либо сенатом, либо общественным собранием. Если он пренебрегал этой мерой предосторожности, то подлежал преследованию по *graphê paranómōn*, которое любой афинский гражданин мог возбудить против него в дикастерии при вмешательстве и под председательством тесмотетов.

Судя по названию этого обвинения, первоначально оно было ограничено особым основанием - формальным противоречием между новым и старым. Но оно имело естественную тенденцию к расширению: обвиняющий гражданин укреплял свое дело, показывая, что мера, на которую он нападает, противоречит не только букве, но и духу и цели существующих законов, - и отсюда он переходил к осуждению ее как в целом злонамеренной и позорной для государства. В этой безмерной широте мы находим *graphê paranómōn* во времена Демосфена: инициатор нового закона или псефизма, даже после его регулярного обсуждения и принятия, подлежал обвинению и должен был защищаться не только от предполагаемых неформальностей в своей процедуре, но и от предполагаемых бед в сути своей меры. Если дикастерий признавал его виновным, то назначаемое им наказание было не фиксированным, а менялось в зависимости от обстоятельств; Ибо обвинительный акт принадлежал к тому разряду, когда после вынесения обвинительного приговора сначала обвинитель предлагал определенную меру наказания, а затем обвиняемый называл против себя другую, более мягкую меру, - дикастерий был обязан сделать выбор между одним и другим, не допуская никаких третьих изменений, - так что даже обвиняемый был заинтересован том, чтобы назвать против себя меру наказания, достаточную для

удовлетворения чувств дикастов, чтобы они не предпочли более суровое предложение обвинителя. В то же время сам обвинитель, как и в других публичных обвинениях, подвергался штрафу в размере тысячи драхм, если обвинительный приговор не набирал хотя бы пятой части голосов дикастов. Однако личная ответственность обвинителя продолжалась только один год после введения его нового закона: если обвинение выдвигалось на большем расстоянии, чем один год, обвинитель не мог применить к обвинителю никакого наказания, а приговор дикастов не оправдывал и не осуждал ничего, кроме закона. Их осуждение закона, с автором или без, было *равносильно* его отмене.

Обвинение против автора закона или декрета могло быть выдвинуто либо на каком-то этапе до его окончательного принятия, например, после его принятия просто сенатом, если это был декрет, или после его утверждения народным собранием и до его рассмотрения номотетами, если это был закон, либо после того, как он достиг полного завершения по приговору номотетов. В первом случае обвинительный акт не продвигался дальше до вынесения приговора дикастами.

Это постановление составлено в консервативном духе, чтобы защитить существующие законы от полного или частичного аннулирования новым предложением. Как в процедуре номотетов, когда вносилось предложение о явной отмене какого-либо существующего закона, считалось небезопасным доверять защиту попираемого закона случайности, когда какой-нибудь оратор безвозмездно берется за это, и для этой цели назначались платные адвокаты; так и при внесении гражданином нового позитивного предложения не предполагалось достаточной безопасности от случайного появления противников; дополнительная гарантия заключалась в личной ответственности инициатора. То, что последний, прежде чем предложить новый указ или новый закон, должен был позаботиться о том, чтобы в нем не было ничего противоречащего существующим законам, - или, если это было так, он должен был сначала официально выдвинуть прямое предложение об отмене такого уже существующего закона, - ни в коем случае не было неразумным: оно налагало на него обязательства, которые он вполне мог выполнить, - оно служило сдерживающим фактором в использовании того права на свободу слова и инициативы в общественном собрании, которое принадлежало каждому афинянину без исключения^[690] и которое лелеялось демократией в той же мере, в какой осуждалось олигархическими мыслителями, - это была защита дикастов, призванных применять закон к конкретным делам, от недоумения, когда перед ними приводились противоречащие друг другу законы и они были вынуждены в своем вердикте отменять то один, то другой. В современных европейских правительствах, даже самых свободных и конституционных, законы принимаются и применяются либо избранными лицами, либо избранными ассамблеями, при такой организации, которая исключает идею личной ответственности автора нового закона. Более того, даже в таких собраниях частная инициатива либо вообще отсутствовала, либо была сравнительно малоэффективной в законотворчестве; в то время как при применении законов всегда существовал постоянный судебный орган, осуществляющий собственные действия, более или менее независимые от законодательной власти, и обычно толкующий текст противоречивых законов таким образом, чтобы поддерживать достаточно последовательный курс судебной традиции. Но в Афинах тот факт, что автор нового постановления или нового закона побудил сенат или общественное собрание принять его, ни в коем случае не отменял его личной ответственности, если предложение было незаконным: он обманул сенат или народ, намеренно скрыв от них факт, который он знал или, по крайней мере, мог и должен был знать.

Но хотя можно полностью оправдать *graphê paranomôn*, как это было задумано и предполагалось изначально, это вряд ли применимо к этому обвинению, примененному впоследствии во всей его широте и злоупотреблении. Так, Эсхинес обвиняет Ктесифона в том, что тот при определенных обстоятельствах предложил корону Демосфену. Вначале он доказывает, что предложение было незаконным, - ведь это главное основание для обвинения: затем в великолепной проповеди он доказывает, что Демосфен был гнусным человеком и озорным политиком: соответственно, если доводы справедливы, Ктесифон обманул народ еще более жестоким образом, - во-первых, предложив награду при обстоятельствах, противоречащих закону; во-вторых, предложив ее в пользу недостойного человека. Первая часть аргумента относится только к сути *graphê paranomôn*: вторая - к злоупотреблению, вытекающему из него, - проистекающему из того яда личной и партийной вражды, который в большей или меньшей степени неотделим от свободного политического действия и который с яростью проявился в Афинах, хотя и в рамках законности. То, что это обвинение, как один из самых прямых источников такой вражды, широко применялось и злоупотреблялось в Афинах, несомненно; но хотя оно, вероятно, удерживало непрактичных граждан от выдвижения новых предложений, оно не производило такого же эффекта на тех ораторов, которые сделали политику регулярным делом и могли, таким образом, и вычислить нрав народа, и рассчитывать на поддержку со стороны определенного круга друзей. Аристофон под конец своей политической жизни хвастался тем, что его обвиняли и оправдывали семьдесят пять раз. Вероятно, худший эффект, который он произвел, - это поощрение той жилки индивидуальности и горечи, которая пронизывает столь значительную часть аттического ораторского искусства, даже в его самых выдающихся проявлениях; превращение совещательного в судебное красноречие и переплетение обсуждения закона или указа с декламационной проповедью против личности его создателя. В то же время мы можем добавить, что *graphê paranomôn* часто был самым удобным способом добиться отмены закона или псефизма, так что он использовался даже тогда, когда годовой период уже прошел, и когда инициатор был вне опасности, - обвинение тогда выдвигалось только против закона или указа, как в случае, который составляет тему проповеди Демосфена против Лептинеса. Если оратор добивался приговора, он сразу же добивался отмены закона или указа, не предлагая вместо него никакого нового положения, что он должен был бы сделать, если не императивно, то, по крайней мере, по общепринятой практике, если бы он представил закон для отмены перед номотетами.

Дикастерии, созданные по системе Перикла, различались по количеству членов: мы никогда не слышали о менее чем двух гуннах дред, - чаще всего о пятистах, - а иногда и о тысяче, пятнадцати сотнях, двух тысячах членов, на важных процессах.^[691] Каждый человек получал от казначеев, называемых *Kolakretæ*, после окончания своего рабочего дня жалование в размере трех оболов, или половины драхмы: по крайней мере, именно столько платили в начале Пелопоннесской войны. М. Бёкх полагает, что первоначально Периклес предложил выплачивать один обол, который затем был утроен Клеоном; но его мнение вызывает большие сомнения. Необходимо было предложить меру оплаты, достаточную для того, чтобы побудить граждан приходить, и приходить часто, если не регулярно: теперь один обол, кажется, оказался впоследствии недостаточным искушением даже для еkkлeсиастов, или граждан, посещавших общественное собрание, которые были менее желанны и, должно быть, имели более легкие места, чем дикасты: гораздо меньше, следовательно, он был бы достаточен в случае последних. Я склоняюсь к мнению, что первоначально жалование составляло три обولا:^[692] тем более что эти новые учреждения, по-видимому, почти совпали по времени с перевозкой сокровищ конфедерации из Делоса в Афины, - так что казна могла бы показаться тогда в изобилии обеспеченной. Что касается количества дикастов, фактически присутствовавших в каждый день заседания, или минимального

числа, необходимого для формирования заседания, мы очень плохо осведомлены. Хотя каждая из десяти коллегий или отделов дикастов включала пятьсот человек, редко, вероятно, присутствовали все они; но также редко, вероятно, случалось, что все десять отделов заседали в один и тот же день: Поэтому была возможность восполнить недостаток в дивизии А, когда ее жребий был объявлен и когда ее дикасты не явились в достаточном количестве, за счет тех, кто принадлежал к дивизии В или Д, помимо дополнительных дикастов, которые не входили ни в одну из десяти дивизий: хотя по всем этим вопросам мы не можем выйти за рамки предположений. Несомненно, однако, что дикастерии всегда были многочисленны и что никто из дикастов не мог знать, для каких целей они будут использованы, так что невозможно было вмешаться в их деятельность заранее[693].

Таковы были великие конституционные нововведения Перикла и Эфиальта, - изменения, полные практических результатов, - преобразование, а также дополнение той демократической системы, которую начал Клейстенес и к которой в течение предыдущих двадцати лет постепенно подбирался прилив афинского чувства. Вся сила этих изменений обычно не осознается, потому что народные дикастерии и номотеты так часто представляются как учреждения Солона, а Периклес просто обеспечил их жалованьем. Это ошибочное предположение мешает ясно видеть рост афинской демократии, отбрасывая ее последние разработки к периоду ее раннего и несовершенного начала. Лишение магистратов всей их судебной власти, кроме права налагать небольшие штрафы, а ареопага - всей его юрисдикции, кроме случаев убийства, - предоставление народных, многочисленных и наемных дикастов для решения всех судебных дел в Афинах, а также для отмены и принятия законов - таково было завершение афинской демократии: никаких серьезных изменений в конституции - за исключением временных перерывов в Четыреста и Тридцать лет - впоследствии не было сделано вплоть до дней македонского вмешательства. Как Периклес создал ее, так она и осталась во времена Демосфена, хотя и с заметными изменениями в характере и ослаблением энергии народа, как богатого, так и бедного.

Чтобы оценить практическую работу этих многочисленных дикастерий в Афинах в сравнении с правосудием, которого можно было ожидать от отдельных магистратов, мы должны учитывать, во-первых, что личная и денежная коррупция, похоже, была общим пороком среди ведущих людей Афин и Спарты, когда они действовали индивидуально или в советах из нескольких членов, и нередко даже среди царей Спарты, - во-вторых, что в греческих городах вообще, как мы знаем даже из олигархического Ксенофонта (он особенно исключает Спарту), богатые и великие люди не только не подчинялись магистратам, но и делали парад, показывая, что им нет до них никакого дела.[694] Из того же неизвестного источника мы знаем[695], что если более бедные афинские граждане, служившие на кораблях, отличались строжайшей дисциплиной, то гоплиты, или мещане среднего достатка, составлявшие пехоту, были менее послушны, а богатые граждане, служившие верхом, были самыми непослушными из всех. Заставить богатых и влиятельных преступников эффективно подчиняться правосудию действительно было так трудно везде, вплоть до недавнего периода истории, что мы должны были бы удивиться, если бы в Греции было иначе. Когда мы следим за безрассудным поведением таких богачей, как Критий, Алкивиад[696] и Мейдиас, даже при полной демократии в Афинах, мы можем быть уверены, что их предшественники при Клейстенской конституции часто были бы слишком грозными, чтобы их мог наказать или удержать отдельный архонт обычной твердости,[697] даже если предположить, что он был честным и с хорошими намерениями. Дикастерии, созданные Периклесом, были недоступны как для коррупции, так и для запугивания: их количество, тайное голосование и невозможность заранее узнать, какие лица будут заседать в том или ином деле, препятствовали как одному, так и другому. И кроме того, что величина их числа,

экстравагантная, по нашим представлениям о судебном деле, была необходима для этого опекунского эффекта,[698] она еще служила для придания процессу торжественности, а приговору - внушительности для умов сторон и зрителей, как мы можем видеть из того факта, что в важных делах дикастерий удваивался или утраивался. Невозможно было и иными средствами, кроме численности,[699] придать достоинство собранию граждан, из которых многие были бедны, некоторые стары, и все они по отдельности презирали богатых обвиняемых, которые представляли перед ними, - как ясно дают нам понять Аристофан и Ксенофонт.[Если не считать строгой и своеобразной воспитательной дисциплины Спарты, эти многочисленные дикастерии были единственным органом, который греческая политика могла придумать, чтобы получить возмещение против могущественных преступников, как государственных, так и частных, и добиться искреннего и неподкупного приговора.

Если взять в целом работу дикастерий, то окажется, что они представляют собой не что иное, как суд присяжных, применяемый в широких масштабах, систематически, без посторонней помощи и контроля, за пределами всего исторического опыта, и что поэтому они в преувеличенных пропорциях демонстрируют как достоинства, так и недостатки, характерные для системы присяжных, по сравнению с решениями квалифицированных и профессиональных судей. Все похвалы, которые принято произносить в адрес суда присяжных, в еще большей степени будут относиться к афинским дикастериям: все упреки, которые с полным основанием можно адресовать дикастериям, будут относиться и к современным присяжным, хотя и в меньшей степени. Параллель не менее справедлива, хотя дикастерии, как наиболее демократическая черта самой демократии, обычно критикуются с заметным пренебрежением, - каждое порицание, или насмешка, или шутка в их адрес, которые можно найти у древних авторов, как комических, так и серьезных, принимаются как верные почти до буквы; в то время как присяжные - настолько популярный институт, что их достоинства, по крайней мере в Англии, преувеличиваются, а недостатки остаются незамеченными. Теория афинского дикастерия и теория суда присяжных в том виде, в каком она преобладает в Англии после революции 1688 года, - это одно и же: обращение к определенному числу частных граждан, взятых случайно или без возможности знать заранее, кто это будет, поклявшихся честно и беспристрастно выслушать истца и ответчика, обвинителя и обвиняемого и вынести верный вердикт, согласно их совести, по конкретному вопросу, стоящему перед ними. Но в Афинах эта теория была доведена до своих естественных последствий; в то время как английская практика в этом отношении, как и во многих других, расходится с английской теорией: присяжные, хотя и являются древней и постоянной частью судебной системы, никогда не были больше чем частью, - содержащейся в подчинении, бродяжничестве и воспитании, могущественной короной и судьями, председательствующими в искусственной системе права. В английских государственных процессах, вплоть до периода, предшествовавшего революции 1688 года, присяжные, вынесшие вердикт, противоречащий диктовке судьи, подлежали штрафу; а в более ранний период, если второе жюри, будучи созданным, выносило противоположный вердикт, то даже страшному наказанию в виде ареста.[701] И хотя в течение последних полутора столетий вердикт присяжных был свободным в вопросах фактов, новые судебные процессы заменили старый аттент, все же главенство председательствующего судьи над их разумом и его влияние на процедуру как авторитета в вопросах права всегда были таковы, что отменяли естественную игру их чувств и суждений как людей и граждан,[702] иногда в ущерб, гораздо чаще в пользу - всегда, за исключением политических процессов, - существенной справедливости. Но в Афинах дикасты судили не только о фактах, но и о законе: законы были немногочисленны и излагались в немногих, по большей части привычных словах. Определить, как обстоят дела с фактами, и если факты не вызывали споров, был ли закон, на который ссылались, должным образом применим к ним, было частью целостного вопроса,

представленного им, и включалось в их вердикт: более того, каждый дикастер толковал закон самостоятельно, не будучи обязан следовать решениям тех, кто предшествовал ему, за исключением тех случаев, когда такая аналогия могла действительно повлиять на убеждения членов. Это были свободные, самостоятельно судящие люди, которым не помогало обучение, но в то же время не мешало благоговейное главенство профессионального судьи, повинующиеся спонтанным побуждениям собственной совести и не признающие никаких авторитетов, кроме законов города, с которыми они были знакомы.

Суд присяжных, практикуемый в Англии с 1688 года, был политически наиболее ценным средством защиты от посягательств антинародной исполнительной власти: отчасти по этой причине, отчасти по другим, о которых здесь нет необходимости говорить, он пользовался большим доверием как инструмент судебной власти в целом, и предполагалось, что он производит гораздо больше хорошего в английском отправлении правосудия, чем действительно ему принадлежит. Среди безоговорочных похвал, столь часто воздаваемых честности, беспристрастной прямоте оценки, практическому инстинкту распознавания лжи и противостояния софистике, в двенадцати гражданах, взятых на риск и помещенных в ложе присяжных, - сравнительно мало внимания уделяется ни помощи, ни ограничениям, ни исправлениям в форме новых испытаний, под которыми они действуют, ни искусственной судебной среде, в которую они погружаются на время своей службы: так что теория дела предполагает, что они являются скорее спонтанными агентами и более похожими на афинских дикастов, чем подтверждает практика. Соответственно, когда мы читаем эти хвалебные отзывы у современных авторов, мы обнаруживаем, что как прямые преимущества, приписываемые суду присяжных в обеспечении чистого и справедливого правосудия, так и косвенные преимущества в улучшении и воспитании граждан в целом, могли бы быть изложены еще более категорично в хвалебной проповеди Перикла об афинских дикастериях. Если верно, что англичанин или американец больше рассчитывает на беспристрастный и неподкупный вердикт присяжных своей страны, чем на приговор постоянного профессионального судьи, то тем более так должен был думать простой афинянин, когда сравнивал дикастерии с архонтом. Присяжный слушает и судит в полной уверенности, что он сам, индивидуально, нуждается в той же защите или возмещении, на которые ссылаются другие: так же поступал и дикаст. Что касается влияния суда присяжных на уважение к законам и конституции, на личную заинтересованность каждого гражданина в обеспечении первых и поддержании вторых, на чувство собственного достоинства маленьких и бедных людей, на выполнение возвышенной и полезной функции, на пробуждение патриотических симпатий и упражнение умственных способностей каждого человека; Все эти эффекты были в еще большей степени произведены дикастериями в Афинах; от их большей частоты, количества и спонтанности умственных действий, без какого-либо профессионального судьи, на которого они могли бы переложить ответственность решать за них".[703]

С другой стороны, недостатки, присущие суду присяжных, в преувеличенном виде проявились и в ате нианской системе. И присяжный, и дикаст представляют собой обычных людей того времени и района, свободных, правда, от денежной коррупции или личного страха, принимающих решения в соответствии с тем, что он считает справедливостью, или с каким-то искренним чувством справедливости, милосердия, религии или патриотизма, которое применительно к рассматриваемому им делу он считает таким же хорошим, как и справедливость, - но не свободным от симпатий, антипатий и предрассудков, которые действуют тем сильнее, что часто не осознаются и даже кажутся существенными для его

представления о простом и прямолинейном здравом смысле. Если присяжные состоят из католиков или протестантов, ирландцев или англичан, торговцев, фермеров или жителей приграничных районов, где преобладает контрабанда, то среди них может преобладать соответствующая предвзятость: во времена великих национальных заблуждений, таких как Папский заговор, или сильных местных волнений, таких как толпы Церкви и Короля в Бирмингеме в 1791 году против доктора Пристли и диссидентов. Присяжные, как выяснилось, совершают то, что более спокойный век признает вопиющей несправедливостью. Присяжные, не одобряющие смертную казнь за то или иное преступление, оправдывают заключенных, несмотря на самые очевидные доказательства вины. Вполне вероятно, что преступник, обвиненный в любом государственном преступлении в дикастерии в Афинах, - имея только частного обвинителя, против которого он должен был выступать, с равными полномочиями говорить в свою защиту, вызывать свидетелей и привлекать друзей, - имел бы больше шансов на справедливый суд, чем в настоящее время где-либо, кроме Англии и Соединенных Штатов Америки; и лучше, чем он имел в Англии до семнадцатого века.[704] Присяжные выносят решение о применении закона к конкретным случаям, руководствуясь как общими чувствами, так и общим разумом общества, - или часто, действительно, только отдельными чувствами отдельных частей общества: они защищают от чего-то худшего, особенно от коррупции и раболепия, которые могут запятнать постоянных официальных лиц, но они, возможно, не могут достичь чего-то лучшего. Суд дикастов в Афинах преследовал ту же цель и содержал те же ингредиенты ошибок и неверных решений, что и английский суд присяжных, но в более сильной дозе,[705] без противодействующего авторитета судьи и без преимущества процедуры, подобной той, что была получена сейчас в Англии. чувства дикастов имели большее значение, а их доводы - меньшее: Не только потому, что их было больше, что, естественно, усиливало накал чувств в каждом человеке, но и потому, что выступления ораторов или сторон составляли главную часть процедуры, а показания свидетелей - лишь очень незначительную; дикаст,[706] таким образом, слышал мало голых фактов, подходящих предметов для его разума, - но он был в изобилии снабжен правдоподобной ложью, клеветой, неуместными заявлениями и предположениями и т. д., сторон, и притом в манере, искусно приспособленной к его нраву. Удерживать факты дела перед присяжными в стороне от лживости и прикрас сторон - самая полезная функция современного судьи, чье влияние также значительно в качестве сдерживающего фактора для соискателя. Таким образом, помощь разуму дикаста была существенно уменьшена, а воздействие на его чувства, как гнев, так и сострадание, было более острым, по сравнению с современным присяжным.[707] В оставшихся произведениях аттических ораторов мы видим, как много в них правдоподобного обмана, отхода от истинного вопроса и апелляции к симпатиям, антипатиям и предрассудкам всех видов, адресованных дикастерам.[708] Конечно, к таким приемам прибегали противоположные ораторы в каждом конкретном случае, и у нас нет возможности узнать, в какой степени они действительно извращали суждения слушателей.[709] Возможно, частая привычка заседать в дикастериях давала им проницательность в распознавании софистики, которой не часто обладали непрофессиональные граждане: тем не менее, нельзя сомневаться, что в значительной части случаев успех зависел не столько от внутренних достоинств дела, сколько от видимости невиновности и правдивости, ловкости изложения и хорошего общего характера сторон, их свидетелей и друзей, которые выступали в суде от их имени. Обвинительные речи в аттическом ораторском искусстве, в которых призывается наказание к предполагаемому преступнику, выражены с горечью, которая теперь изгнана из английской уголовной юриспруденции, хотя была обычной в государственных процессах двухвековой давности. В противовес им можно поставить бесстрастные и категоричные призывы обвиняемых и их

друзей к милосердию дикастов; призывы тем чаще оказывались успешными, что подавались последними, непосредственно перед оглашением решения. Это верно как для Рима, так и для Афин[710].

Как судебный орган, афинские дикастерии были простым и ярким проявлением суда присяжных, с присущими ему достоинствами и недостатками, представленными в преувеличенном свете: они обеспечивали решение, одновременно неподкупное, общественно значимое и внушительное, - вместе с лучшей безопасностью, которую допускало дело, против незаконных нарушений со стороны богатых и великих.[711] Их чрезвычайная публичность, а также простая и устная процедура, лишенная тех словесных и церемониальных формальностей, которыми отличалось римское право даже в самом начале своего существования, были немалым преимуществом: и поскольку решения дикастов, даже если они были ошибочными, зависели от причин заблуждения, общих для них с общей массой граждан, они никогда не выносили несправедливых решений и не теряли доверия своих сограждан в целом. Но каковы бы ни были их недостатки как судебных инструментов, как стимула для мысли и речи, их эффективность была беспрецедентной в условиях афинского общества. Несомненно, они не произвели бы такого же эффекта, если бы были учреждены в Фивах или Аргосе: восприимчивость афинского ума, а также предыдущая практика и экспансивные тенденции демократического гражданства были также необходимыми условиями, - и тот подлинный вкус к судейству и справедливому выслушиванию обеих сторон, который, как бы ни карикатурировал и ни высмеивал его Аристофан, был одинаково почетен и полезен для народа. Первое учреждение дикастерий почти совпадает с великим усовершенствованием аттической трагедии от Эсхила к Софоклу. То же развитие национального гения, готовившего теперь великолепные проявления как в трагической, так и в комической поэзии, было с удвоенной силой вызвано на путь ораторского искусства новой судебной системой. Определенная сила речи стала теперь необходима не только тем, кто намеревался играть видную роль в политике, но и частным лицам, чтобы отстаивать свои права или отражать обвинения в суде. Это было достижение величайшей практической пользы, даже отрыве от честолюбивых целей; вряд ли в меньшей степени, чем владение оружием или занятия в гимнастическом зале. Соответственно, учителя грамматики и риторики, а также составители письменных речей, которые должны были произносить другие, теперь стали множиться и приобретать небывалое значение - как в Афинах, так и при современной демократии Сиракуз,[712] в которой также была создана некоторая форма народного суда. Стил и речь стали сводиться к системе и передаваться по наследству: не всегда удачно, ибо некоторые из ранних риториков[713] приняли искусственную, вычурную и самодовольную манеру, от которой аттический хороший вкус впоследствии освободился, - но сам характер учителя риторики как искусства, человека, дающего наставления и выставляющего себя в показательных лекциях в качестве образца для других, впервые относится к периклийской эпохе и указывает на новые потребности в сознании граждан. В подрастающем поколении мы начинаем слышать о риториках и софистах как о людях влиятельных и знаменитых. Эти два имени обозначали людей с похожими моральными и интеллектуальными способностями, или часто одного и того же человека, рассматриваемого с разных точек зрения;[714] либо как исповедующих улучшение морального облика, либо как сообщающих силу и удобство выражения, либо как предлагающих предпосылки для убеждения, иллюстрации к общим местам морали и политики, аргументированное изобилие в вопросах обычного опыта, диалектическую тонкость в опровержении противника, и т. д.[715] Антифон из дема Рамнус в Аттике, Фрасимах из Халкедона, Тисий из Сиракуз, Горгий из Леонтины, Протагор из Абдеры, Продик из Кеоса, Феодор из Византии, Гиппиас из Элиды, Зенон из Элеи были одними из первых, кто отличился в этих областях преподавания. Антифон был автором самой ранней сочиненной

речи, действительно произнесенной в дикастерии и сохранившейся до позднейших критиков.[716] Эти люди в большинстве своем не были гражданами Афин, хотя многие из них принадлежали к городам, входившим в Афинскую империю, в то время, когда важные судебные дела, относящиеся к этим городам, часто переносились для рассмотрения в Афины, - и все они смотрели на этот город как на центральный пункт действия и отличия. Термин "*софист*", который Геродот[717] с искренним уважением применяет к людям выдающейся мудрости, таким как Солон, Анахарсис, Пифагор и т. д., теперь стал применяться к этим учителям добродетели, риторики, бесед и диспутов; многие из них исповедовали знакомство со всем кругом человеческих наук, как физических, так и моральных (тогда достаточно узких), настолько, насколько это было необходимо, чтобы убедительно и эффективно говорить о любой их части и отвечать на любой вопрос, который мог быть им предложен. Хотя эти люди переходили из одного греческого города в другой, частично в качестве посланников от своих сограждан, частично демонстрируя свои таланты многочисленным слушателям, с большой известностью и большим выигрышем[718], они, похоже, воспринимались с завистью и неприязнью значительной частью публики:[719] ведь в то время, когда каждый гражданин отстаивал свою правоту в дикастерии, они передавали тем, кто был достаточно богат, чтобы приобрести его, особое мастерство владения обычным оружием, что делало их похожими на мастеров фехтования или профессиональных фехтовальщиков среди общества необученных дуэлянтов.[Более того, Сократес - сам порождение той же эпохи и спорщик на те же темы, носящий то же имя *софиста*,[721] но презиравший политическую и судебную практику и стремящийся произвести на слушателей интеллектуальный стимул и моральное впечатление, - Сократес всю жизнь вел постоянную полемическую войну против софистов и риторов, в том негативном ключе, в котором ему не было равных. А поскольку сочинения этих последних не сохранились, мы знаем о них главным образом по замечаниям их противников, так что они находятся в таком положении, в каком оказался бы сам Сократес, если бы мы были вынуждены судить о нем только по "Облакам" Аристофана или по тем неблагоприятным впечатлениям о его характере, которые, как мы знаем даже из "Апологий" Платона и Ксенофонта, были в целом распространены в Афинах. Однако сейчас не тот случай, чтобы пытаться отличить добро от зла в деятельности софистов и риторов: достаточно того, что они были естественным продуктом эпохи, удовлетворяя те потребности и отвечая на те стимулы, которые возникали отчасти из обсуждений в экклесии, но еще больше из споров в дикастериях, в которых гораздо большее число граждан принимало активное участие, с их собственного согласия или без него. Публичные и частые дикастерии, учрежденные Периклесом, открыли афинскому уму именно тот путь совершенствования, который лучше всего соответствовал его природным способностям: они были необходимы для развития той потребности, из которой выросло не только греческое ораторское искусство, но и, как вторичные продукты, умозрительная моральная и политическая философия, а также дидактический анализ риторики и грамматики, которые долго сохранялись после того, как греческий творческий гений ушел из жизни.[722] И это была одна из первых мер олигархии Тридцати, запретившая прямым законом любое обучение ораторскому искусству. Аристофан высмеивает афинян за их любовь к разговорам и спорам, как будто это ослабляло их военную энергию: но в его время, несомненно, этот упрек не был верен; и он не стал верен даже частично, пока сокрушительные несчастья не ознаменовали завершение Пелопоннесской войны. Во время этой войны беспокойные и энергичные действия были характерны для Афин даже в большей степени, чем ораторское искусство или политические дискуссии, хотя до времени Демосфена произошли существенные изменения.

Таким образом, учреждение платных дикастерий в Афинах стало одним из самых важных и плодотворных событий во всей греческой истории. Плата помогала содержать пожилых граждан, вышедших из возраста военной службы. Пожилые люди лучше всего подходили для такой службы, и их предпочитали для судебных целей как в Спарте, так и, как кажется, в героической Греции: тем не менее, мы не должны полагать, что все дикасты были старыми или бедными, хотя значительная их часть была таковой, и хотя Аристофан выбирает эти качества в качестве наиболее подходящих предметов для своих насмешек. Периклеса часто порицали за это учреждение, как будто он первым обеспечил жалование дикастам, которые до этого служили бесплатно, и таким образом ввел бедных граждан в суды, состоявшие до этого из граждан более бедных. Но, во-первых, это предположение неверно с точки зрения фактов, поскольку ранее не существовало таких постоянных дикастерий, работавших без жалования; во-вторых, если бы оно было верным, то привычное исключение бедных граждан свело бы на нет народную работу этих органов и не позволило бы им впредь подчиняться царствующему в Афинах сентименту. Также нельзя было считать неразумным назначение регулярного жалования тем, кто таким образом оказывал регулярную услугу: это было, действительно, существенным пунктом всей схемы[723] и цели; так что подавление жалования само по себе, кажется, приостановило дикастерию, пока устанавливалась олигархия Четырехсот, - и это можно обсуждать только в этом свете. По факту мы можем предположить, что шесть тысяч гелиастов, заполнивших дикастерию, состояли из средних и бедных граждан без разбора, хотя ничто не исключало и более богатых, если они решали служить.

ФУТБОЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

[1] Herodot. vii, 3, 4.

[2] Herodot. vii, 1-4. Он упоминает - просто как сообщение и, похоже, сам не веря в это - что изгнанный царь Спарты Демарат находился в Сузах в тот момент, когда Дарий собирался выбрать преемника среди своих сыновей (это не может совпадать с Ктесиасом, Persic. c. 23): и что он предложил Ксерксу убедительный аргумент, с помощью которого можно было бы определить мнение его отца, ссылаясь на аналогию закона царского престолонаследия в Спарте, согласно которому сын царя, родившийся после того, как его отец стал царем, предпочитался старшему сыну, рожденному до этого события. В существовании такого обычая в Спарте можно не сомневаться.

Некоторые другие анекдоты, не менее трудные для понимания, чем этот, и также рассчитанные на то, чтобы придать Демарату надуманную важность, будут описаны на последующих страницах. Последний получил от персидского царя в дар Пергам и Тевфранию с их земельными владениями, которые его потомки долгое время после этого продолжали занимать (Xenoph. Hellen. iii, 1-6): и, возможно, эти потомки были среди тех, от кого Геродот получил информацию об экспедиции Ксеркса. См. vii, 239.

Плутарх (De Fraterno Amore, p. 488) дает во многом иной отчет об обстоятельствах, определивших наследование трона Ксерксом, а не его старшим братом.

[3] Herod. vii, 187. Подобная личная красота приписывается Дарию Кодоманну, последнему из персидских царей (Плутарх, Alexand. c. 21).

[4] Herodot. vii, 6; viii, 20, 96, 77. Ὀνομάκριτος-κατέλεγε τῶν χρησμῶν- εἰ μὲν τι ἐνέοι σφάλμα φέρον τῷ Πέρσῃ, τῶν μὲν ἔλεγε οὐδέν- ὁ δὲ τὰ εὐτυχέστατα ἐκλεγόμενος, ἔλεγε τὸν τε Ἑλλήσποντον ὡς ζευχθῆναι χρέον εἶη ὑπ' ἄνδρὸς Πέρσεω, τήν τε ἔλασιν ἐξηγεόμενος, etc.

Несколько любопытный намек на этот сборник пророчеств; он был чрезвычайно разнообразен и содержал обещания или угрозы на случай любой чрезвычайной ситуации, которая могла возникнуть.

[5] *Æschylus*, Pers. 761.

[6] Herodot. vii, 5. ὡς ἡ Εὐρώπη περικαλλὴς χώρα, καὶ δένδρεα παντοῖα φέρει τὰ ἡμέρα, βασιλεῖ τε μούνῳ θνητῶν ἀξίη ἐκτῆσθαι-χώρην παμφορωτέραν (vii, 8).

[7] Herodot. v, 49.

[8] Homer, *Iliad*, i, 3. Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή. Геродот характеризуется как Ὀμήρου ζηλωτῆς-Ὀμηρικώτατος (Dionys. Halic. ad Cn. Pompeium, p. 772, Reiske; Longinus *De Sublim.* p. 86, ed. Pearce).

[9] В то время как Плутарх - если трактат *De Herodoti Malignitate* действительно является работой Плутарха - рассматривает Геродота как нелицеприятного, злобного, продажного, клеветника великих людей и славных дел, - Дионисий Галикарнасский, напротив, с большим основанием рассматривает его как образец прекрасных качеств историка, противопоставляя его в этом отношении Фукидиду, которому он приписывает недоброжелательный дух в критике Афин, возникший из-за его долгого изгнания: Ἡ μὲν Ἡροδότου διάθεσις ἐν ᾗ πασιν ἐπιεικὴς, καὶ τοῖς μὲν ἀγαθοῖς συνηδομένη, τοῖς δὲ κακοῖς συναλγοῦσα- ἡ δὲ Θουκυδίδου διάθεσις αὐθέκαστος τις καὶ πικρὰ, καὶ τῇ πατρίδι τῆς φυγῆς μνησικακοῦσα- τὰ μὲν γὰρ ἁμαρτήματα ἐπεξέρχεται καὶ μάλα ἀκριβῶς, τῶν δὲ κατὰ νοῦν κεχωρηκότων καθάπαξ οὐ μέμνηται ἢ ὥσπερ ἠναγκασμένος. (Dionys. Hal. ad. Cn. Pompeium de *Præcip. Historicis Judic.* p. 774, Reisk.)

Точно такую же вину, которую Дионисий здесь вменяет Фукидиду (хотя в других местах он его оправдывает, ἀπὸ παντὸς φθόνου καὶ πάσης κολακείας, p. 824), Плутарх и Дион гораздо более сурово бросают Геродоту. Ни в том, ни в другом случае упрек не является заслуженным.

И моралисты, и риторы древности были очень склонны относиться к истории не как к ряду истинных фактов, иллюстрирующих законы человеческой природы и общества и расширяющих наши знания о них для будущих выводов, а как к отрасли художественной литературы, с которой можно обращаться так, чтобы угодить нашему вкусу или улучшить нашу мораль. Дионисий, упрекая Фукидида за выбор темы, заходит так далеко, что говорит, что Пелопоннесская война, период разрушительного раздора в Греции, следовало бы оставить в забвении и никогда не вводить в историю (σιωπῇ καὶ λήθῃ παραδοθεῖς, ὑπὸ τῶν ἐπιγιγνομένων ἡγνοῆσθαι, *ibid.* p. 768), - и что особенно Фукидид не должен был сваливать вину за это на свой собственный город, поскольку было много других причин, которые можно было бы вменить в вину (ἐτέραις ἔχοντα πολλὰς ἀφορμαῖς περιάψαι τὰς αἰτίας, p. 770).

[10] Herodot. viii, 99. Μαρδόνιον ἐν αἰτίῃ τιθέντες: ср. прим. 100.

[11] Herodot. vii, 9.

[12] Herodot. vii, 10.

[13] Herodot. vii, 15. Εἰ ὧν θεός ἐστι ὁ ἐπιπέμπων καὶ οἱ πάντως ἐν ἡδονῇ ἐστι γενέσθαι στρατηλασίην ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἐπιπτήσεται καὶ σοὶ τῷτὸ τοῦτο ὄνειρον, ὁμοίως καὶ ἐμοὶ

έντελλόμενον. Εύρίσκω δὲ ὥδε ἂν γινόμενα ταῦτα, εἰ λάβοις τὴν ἐμὴν σκευὴν πᾶσαν, καὶ ἐνδύς, μετὰ τοῦτο ἴζοιο ἐς τὸν ἐμὸν θρόνον, καὶ ἔπειτα ἐν κοίτῃ τῇ ἐμῇ κατυπνώσειας. Сравните vii, 8. Θεὸς τε οὕτω ἄγει и т. д.

[14] См. Brissonius, De Regno Persarum, lib. i, p. 27.

[15] Herodot. vii, 16. Οὐ γὰρ δὴ ἐς τοσοῦτό γε εὐηθείης ἀνήκει τοῦτο, ὅτι δὴ κοτέ ἐστι τὸ ἐπιφαινόμενόν τοι ἐν τῷ ὕπνῳ, ὥστε δόξει ἐμὲ ὀρῶν σὲ ὀρᾶν, τῇ σῇ ἐσθῆτι τεκμαιρόμενον. ... εἰ γὰρ δὴ ἐπιφοιτήσεϊέ γε συνεχέως, φαίην ἂν καὶ αὐτὸς θεῖον εἶναι.

[16] Herodot. vii, 18. Ἐπεὶ δὲ δαιμονίη τις γίγνεται ὀρμὴ, καὶ Ἕλληνας, ὡς ἔοικε, φθορὴ τις καταλαμβάνει θεήλατος, ἐγὼ μὲν καὶ αὐτὸς τράπομαι, καὶ τὴν γνώμην μετατίθεμαι. ... Ποίειε δὲ οὕτω ὅκως, τοῦ θεοῦ παραδίδοντος, τῶν σῶν ἐνδεήσεται μηδέν.

Выражение τοῦ θεοῦ παραδίδοντος в этом месте обозначает то, что выражено τὸ χρέον γίγνεσθαι, с. 17. Сон угрожает Артабану и Ксерксу за то, что они пытаются отклониться от течения судьбы, или, другими словами, противоречат предначертанной воле богов.

[17] Herodot. vii, 12. Καὶ δὴ κου ἐν τῇ νυκτὶ εἶδε ὄψιν τοιήνδε, ὡς λέγεται ὑπὸ Περσέων.

Геродот, по-видимому, употребляет ὄνειρον в среднем роде, а не ὄνειρος в мужском: ибо изменение Бэра (ad vii, 16) ἐῶντα вместо ἐῶντος, вовсе не оправдывается. Мужской род ὄνειρος обычно используется в Гомере; но есть случаи использования среднего рода ὄνειρον.

О влиянии сновидений на деятельность ранних турецких султанов см. Von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, book ii, vol. i, p. 49.

[18] Сравните сон Дария Кодоманна. Плутарх, Александр, с. 18. О наказании, которому Астиагес подверг магов за неправильное толкование его снов, см. Herodot. i, 128.

Филохор, искусный в гаданиях, утверждал, что Никиас дал совершенно неверное толкование тому роковому затмению луны, которое побудило его задержать отступление и стало причиной его гибели (Плутарх, Никиас, с. 23).

[19] *Æschylus*, Pers. 96, 104, 181, 220, 368, 745, 825: ср. Sophocl. Ajax, 129, 744, 775, и конец *Œdipus Tyrannus*; Euripid. Hecub. 58; Пиндар, Olymp. viii. 86; Isthm. vi, 39; Павсаний, ii, 33, 3. Сравните значение слова δεισιδαίμων у Ксенофонта, Agesilaus, с. 11, sect. 8, - "человек, который в разгар успеха боится завистливых богов", - в противоположность человеку, который верит в его продолжение; и Клаузен, Theologumena *Æschyli*, p. 18.

[20] То, как Геродот группирует факты своей истории, подчиняясь определенным религиозным и моральным чувствам в своем уме, хорошо изложено в Hoffmeister, Sittlich-religiöse Lebensansicht des Herodotos, Essen, 1832, особенно разделы. 21, 22, pp. 112, seqq. Хоффмайстер прослеживает жилы чувств, проходящие через значительную часть девяти книг и часто накладывающиеся на факты или преобразующие их. Возможно, он не уделяет достаточного внимания тому обстоятельству, что информаторы, от которых Геродот собирал факты, в большинстве своем были проникнуты чувствами, схожими с его собственными, так что религиозная и моральная жилка в большей или меньшей степени пронизывала его исходные материалы и не нуждалась в дополнении с его стороны. Можно не сомневаться, что жрецы, служители храмов и оракулов, экзегеты или толкователи, окружавшие эти святые места, были одними из главных источников его наставлений: чужестранец, посетивший столько разных городов, должен был постоянно оказываться в ситуации, когда у него не было

другого человека, с которым он мог бы посоветоваться. Храмы были интересны как сами по себе, так и по выставленным в них трофеям и подношениям, а принадлежащие к ним лица, как правило, были доступны и общительны с чужестранцами, как мы можем видеть из Павсания и Плутарха, - оба из которых, однако, имели перед собой книги, с которыми можно было посоветоваться, а у Геродота их не было вовсе. Геродот расспрашивал не только жрецов и служителей храмов в Египте, Херакла в Тире и Белуса в Вавилоне (i, 181; ii, 3, 44, 143), но и дельфийских (Δελφῶν οἶδα ἐγὼ οὕτως ἀκούσας γενέσθαι, i, 20: ср. i, 91, 92, 51); Додона (ii, 52); исменского Аполлона в Фивах (v, 59); Афонского Алеа в Тегее (i, 66); Деметра на Паросе (vi, 134 - если не жрецы, то по крайней мере лица, полные храмовых вдохновений); Халуса в Ахайской Фтиотиде (vii, 197); Кабеири во Фракии (ii, 51); лиц, связанных с Герооном Протесилая в Херсонесе (ix, 116, 120). Факты, которые эти люди сообщали ему, всегда были представлены вместе с ассоциациями, относящимися к их собственным функциям или религиозным чувствам, и Геродот не внес ничего нового, когда включил их как таковые в свою историю. В трактате Плутарха - "Cur Pythia nunc non reddat Oracula Carmine" - дается поучительное описание обширных и многообразных рассказов, которые давали толкователи в Дельфах, о выдающихся личностях и событиях греческой истории, так хорошо приспособленных для удовлетворения посетителей, которые приходили полные любопытства - φιλοθεάμονες, φιλόλογοι и φιλομαθεῖς (Плутарх, ib. p. 394), каковым в высокой степени был Геродот. Сравните с. 396, 397, 400, 407 того же трактата: также Плутарх, De Defectu Oraculorum, p. 417-οἱ Δελφῶν θεολόγοι и т. д. Плутарх отмечает, что в его время политическая жизнь в Греции была угашена и что вопросы, задаваемые пифийской жрице, касались исключительно частных и индивидуальных дел; в то время как в более ранние времена почти все политические события так или иначе попадали в поле ее зрения, либо в виде вопросов, на которые нужно было ответить, либо в виде памятных общественных жертвоприношений (p. 407). Во времена Геродота великие храмы, особенно в Дельфах и Олимпии, были вплетены во всю паутину греческой политической истории. См. диссертацию Преллера, приложенную к его изданию "Фрагментов Полемониса", т. 3, с. 157-162; De Historiâ atque Arte Periegetarum; также K. F. Hermann, Gottesdienstliche Alterthümer der Griechen, part 1, ch. 12, p. 52.

Религиозная интерпретация исторических явлений не свойственна Геродоту, а принадлежит ему в целом, как и его информаторам и его эпохе, как отмечает Хоффмайстер (стр. 31-136): хотя примечательно отметить откровенность, с которой он (как и современные поэты: см. ссылки в Monk ad Euripid. Alcestis, 1154) приписывает богам зависть и ревность в тех случаях, когда их поведение, по его мнению, действительно заслуживает такого названия у человека, - а именно такое поведение он сам приписывает деспоту (iii, 80): он не считает себя обязанным *называть* богов справедливыми и милосердными, приписывая им акты зависти и ревности в их отношениях с людьми. Но религиозная интерпретация не царит в одиночестве во всем повествовании Геродота: она встречается бок о бок с тщательным отбором фактов и уточнением положительных, определенных, ощутимых причин: и эта последняя тенденция - то, что действительно отличает историка от его эпохи, - формирует подготовку к Фукидиду, в котором она кажется преобладающей и почти исключительной. См. иллюстрацию этого момента в Creuzer, Historische Kunst der Griechen, Abschnitt iii, pp. 150-159.

Erep (Disputationes Herodoteæ, p. 16. Göttingen, 1828) утверждает, что обнаруживает признаки старости (senile ingenium) в морализаторской окраске, которая покрывает историю Геродота, но которую я считаю принадлежащей его среднему и зрелому возрасту не меньше, чем его последним годам, - если он действительно дожил до глубокой старости, что нигде не доказано,

кроме как по причинам, которые я уже оспаривал в моем предыдущем томе. См. Bähr, *Commentatio de Vitâ et Scriptis Herodoti*, в четвертом томе его издания, с. 6, р. 388.

[21] Herodot. vii, 19. χῶρον πάντα ἐρευνῶν τῆς ἡπείρου.

[22] Herodot. vii, 106. Κατέστασαν γὰρ ἔτι πρότερον ταύτης τῆς ἐξελάσιος (*m. e.* вторжение Ксеркса) ὕπαρχοι ἐν τῇ Θρηϊκῇ καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου πανταχῇ. vii, 108. ἐδεδούλωτο γὰρ, ὡς καὶ πρότερόν μοι δεδήλωται, ἡ μέχρι Θεσσαλίας πᾶσα, καὶ ἦν ὑπὸ βασιλῆα δασμοφόρος, Μεγαβάζου τε καταστρεψαμένου καὶ ὕστερον Μαρδονίου; также vii, 59, и Xenophon, *Memorab.* iii, 5, 11. Сравните *Æschylus Pers.* 871-896, и видение, приписываемое Киру в отношении его преемника Дария, покрывающего своими крыльями Европу и Азию (Herodot. i, 209).

[23] Herodot. vii, 26-31.

[24] Herodot. vii. 23-25.

[25] *Æschylus*, *Pers.* 731, 754, 873.

[26] Плутарх (*De Tranquillitate Animi*, р. 470), говорит о них как об отрезанных носах и ушах.

[27] Herodot. vii, 34, 35. ἐνετέλλετο δὴ ὦν ῥαπίζοντας, λέγειν βάρβαρά τε καὶ ἀτάσθαλα, ὧ πικρὸν ὕδωρ, δεσπότης τοι δίκην ἐπιτιθεῖ τήνδε, ὅτι μιν ἠδίκησας, οὐδὲν πρὸς ἐκείνου ἄδικον παθόν. Καὶ βασιλεὺς μὲν Ξέρξης διαβήσεταιί σε, ἦν τε σύ γε βούλῃ, ἦν τε καὶ μή- σοὶ δὲ κατὰ δίκην ἄρα οὐδεὶς ἀνθρώπων θύει, ὡς ἐόντι καὶ δολερῷ καὶ ἀλμυρῷ ποταμῷ.

Утверждение о том, что никто не имел привычки приносить жертвы Геллеспонту, кажется странным, если обратиться к последующему поведению самого Ксеркса (vii, 53): сравните vii, 113, и vi, 76. Эпитет "*соль*", использованный в качестве упрека, по-видимому, намекает на непитьевой характер воды.

[28] См. Stanley and Blomfield ad *Æschyl. Pers.* 731, и К. О. Мюллер (в своей рецензии на работу Бенджамина Констана "Религия"), *Kleine Schriften*, vol. ii, р. 59.

[29] См. Auguste Comte, *Traité de Philosophie Positive*, vol. v, leçon 52, pp. 40, 46.

[30] См. том ii, часть 2, с. i, р. 297 настоящей работы; и сравните Wachsmuth, *Hellenisch. Alterthümer*, 2, i, р. 320, и К. F. Hermann, *Griech. Staatsalterthümer*, sect. 104.

О том, как Кир поступил с рекой Гиндес, см. Herodot. i, 202. Персидский сатрап Фарнухес был сброшен с коня в Сардах и получил травму, от которой впоследствии умер: он приказал своим слугам привести коня к месту происшествия, отрубить ему все ноги и оставить его там умирать (Herodot. vii, 88). Цари Македонии еще во времена Геродота приносили жертвы реке, которая помогла сохранить жизнь их предку Пердиккасу; после того как он переправился через нее, поток вздулся и задержал его преследователей (Herodot. viii, 138): см. аналогичную историю о жителях Аполлонии и реке Аоус, Valerius Maxim. i, 5, 2.

После смерти великого боксера, борца и т. д., Теагенека из Фазуса, в его честь была воздвигнута статуя. Личный враг, возможно, один из четырнадцати сотен побежденных соперников, приходил каждую ночь, чтобы удовлетворить свой гнев и отомстить, избивая статую. Однажды ночью статуя упала на этого бичевателя и убила его, после чего его родственники предъявили статуе обвинение в убийстве: тасийцы признали ее виновной и бросили в море. Боги, однако, были очень недовольны этим поступком и навели на тасийцев постоянный голод, пока в конце концов один рыбак случайно не выловил статую, и она была возвращена на свое место (Pausan. vi, 11. 2). Сравните историю о статуе Гермеса в Babrius, *Fabul.* 119, издание мистера Льюиса.

[31] Herodot. vii, 35-54: сравните viii, 109. Аппиан, Exp. Alex. vii, 14. 9.

[32] Herodot. vii, 36. Язык, на котором Геродот описывает положение этих кораблей, образующих два моста, кажется мне ошибочно или несовершенно воспринятым большинством комментаторов: см. примечания Бэра, Крузе, Весселинга, Реннела и особенно Ларшера: Швейгхойзер наиболее удовлетворителен - τοῦ μὲν Πόντου ἐπικαρσίας, τοῦ δὲ Ἑλλησπόντου κατὰ ῥόον. Объяснение, данное Цецем слову ἐπικαρσίας словом πλάγίας, кажется мне не совсем точным: оно означает не *косой*, а *под прямым углом к нему*. Течение Босфора и Геллеспонта, вытекающих из Эвксинского моря, историк представляет себе как встречу с этим морем под прямым углом; и корабли, пришвартованные недалеко друг от друга вдоль течения пролива, принимая линию каждого из них от головы до кормы, были, следовательно, также под прямым углом к Эвксинскому морю. Кроме того, Геродот не хочет таким образом различать два моста и говорить, что корабли одного моста были τοῦ Πόντου ἐπικαρσίας, а другого - τοῦ Ἑλλησπόντου κατὰ ῥόον, как полагают Бэр и другие комментаторы: *оба* предиката одинаково применимы к *обоим* мостам, - ведь действительно, расположение кораблей, наилучшее для одного моста, должно было быть наилучшим и для другого. О значении ἐπικάρσιος у Геродота см. iv, 101; i, 180. В "Одиссее" (ix, 70: ср. Eustath. ad loc.) ἐπικάρσιαι означает не "косой", а "головой вперед по ветру": ср. ἐπίκαρ, "Илиада", xviii, 392. Обстоятельство, указанное Геродотом, - что на мосту, расположенном выше по течению или ближе к Эвксинскому заливу, было всего триста шестьдесят судов, в то время как на другом мосту их было не более трехсот четырнадцати, - вызвало недоумение комментаторов, и побудило их прибегнуть к неудобным объяснениям, например, что на более высоком мосту суда были пришвартованы не по прямой линии, а по наклонной, так что крайнее судно на европейской стороне находилось ниже по течению, чем крайнее судно на азиатской стороне. Это одно из ложных объяснений ἐπικαρσίας (*slanting, schräg*): а идея Гроновиуса и Ларшера, что суда на более высоком мосту были обращены *широкой стороной* к течению, еще более неприемлема. Но разница в количестве судов, занятых на одном мосту по сравнению с другим, кажется, допускает более простое объяснение. Мы не должны предполагать, да и Геродот не говорит, что два моста находились совсем рядом друг с другом: учитывая множество людей, которые должны были пересечь их, было бы удобно, чтобы они находились на определенном расстоянии друг от друга. Если они находились на расстоянии мили или двух, то можно предположить, что ширина пролива не была одинаковой в двух выбранных местах и что он мог быть шире в точке верхнего моста, который, кроме того, должен был быть более надежным, так как должен был встретить первую силу течения. Таким образом, большее количество судов на верхнем мосту объясняется простым и удовлетворительным образом.

В некоторых словах, используемых Геродотом, есть неясность: они выглядят так: -ἐξεύγνυσαν δὲ ὧδε- Πεντηκοντέρους καὶ τριήρεας συνθέντες, ὑπὸ μὲν τὴν (в издании Бэра эти слова напечатаны неправильно) πρὸς τοῦ Εὐξείνου Πόντου ἐξήκοντά τε καὶ τριηκοσίας, ὑπὸ δὲ τὴν ἐτέραν τέσσαρες καὶ δέκα καὶ τριηκοσίας (τοῦ μὲν Πόντου, ἐπικαρσίας, τοῦ δὲ Ἑλλησπόντου κατὰ ῥόον), ἵνα ἀνακωχεύῃ τὸν τόνον τῶν ὀπλων- συνθέντες δὲ, ἀγκύρας κατήκταν περιμήκας, etc.

Существует трудность в отношении слов ἵνα ἀνακωχεύῃ τὸν τόνον τῶν ὀπλων, - какой именительный падеж у этого глагола? Бэр в своем примечании говорит: ὁ ῥόος, и он истолковывает τῶν ὀπλων как тросы, с помощью которых крепились якоря. Но если мы прочтем дальше, то увидим, что τὰ ὀπλα означают не якорные тросы, а тросы, которые были протянуты от берега к берегу для создания моста; те же самые слова τῶν ὀπλων τοῦ τόνου, примененные к этим последним тросам, встречаются несколькими строками позже. Я думаю, что именительный падеж, относящийся к ἀνακωχεύῃ, - это ἡ γεφύρα (а не ὁ ῥόος), и что слова от τοῦ μὲν Πόντου до ῥόον следует читать парентетически, как я напечатал их выше: "Мост должен был выдержать натяжение тросов, протянутых от берега до берега, для чего и были пришвартованы корабли." Я

допускаю, что мы, естественно, должны были бы ожидать ἀνακωχεύωσι, а не ἀνακωχεύη, поскольку предложение было бы справедливо для *обоих* мостов; но хотя это делает неудобную конструкцию, она не является недопустимой, поскольку каждый мост был ранее описан в единственном числе.

Бредоу и другие обвиняют Геродота в невежестве и неправильности в этом описании мостов, но, похоже, ничто не подтверждает это обвинение.

Геродот (iv, 85), Страбон (xiii, p. 591) и Плиний (Н. Н. iv, 12; vi, 1) называют семь стадий шириной Геллеспонта в самой узкой его части. Д-р Покок также приписывает такую же ширину: Турнефор допускает лишь милю (т. ii, вып. 4). Некоторые современные французские измерения дают расстояние значительно большее - семьсот тридцать или одиннадцать сто пятьдесят тоисов (см. примечание Миота к его переводу Геродота). Герцог Рагузы утверждает, что оно составляет семьсот туазов (Voyage en Turquie, vol. ii, p. 164). Если предположить, что ширина составляет одну милю, или пять тысяч двести восемьдесят футов, то триста шестьдесят судов при средней ширине в четырнадцать и две трети фута точно заполняют это пространство. Реннел говорит: "Одиннадцать футов - это ширина баржи: суда размером с самое маленькое каботажное судно были адекватны цели моста". (О географии Геродота, стр. 127.)

Последние измерения или оценки, приведенные Миотом, идут гораздо дальше Геродота: измерения герцога Рагузы почти совпадают с ним. Но мы не должны полагать, что суда заполняли всю ширину, не оставляя между собой никаких промежутков: мы только знаем, что не оставалось промежутков, достаточно больших, чтобы через них могло проплыть судно в плавании, за исключением трех определенных мест.

[33] О давней знаменитости этих тросов см. эпиграмму Архимекла, написанную через два с половиной века после этого, во времена Иеронима Второго, из Сиракуз, ар. Athenæum, v, 209.

Геродот утверждает, что по толщине и компактности (παχυτής καὶ καλλονή) льняные канаты были равны папирусным, но по весу превосходили первые, ибо каждый локоть длины льняного каната весил талант: Мы не можем рассуждать об этом, поскольку не знаем, какой талант он имеет в виду - аттический, эвбейский или эгинейский; и если он имеет в виду аттический талант, то является ли он аттическим талантом торговли или денежным стандартом.

Тросы, содержащиеся в афинской верфи, различаются как σχοίνια ὀκτωδάκτυλα, ἑξδάκτυλα, - в этих выражениях, однако, М. Бёхх не может точно определить, имеется ли в виду окружность или диаметр: он думает, что, вероятно, первое. См. его книгу "Das Seewesen der Athener", гл. x, с. 165.

[34] Образец разрушительных бурь у Афонского мыса см. в Ephorus, Fragment. 121, ed. Didot; Diodor. xiii, 41.

[35] Herodot. vii, 22, 23, 116; Diodor. xi. 2.

[36] Herodot. vii, 24: ὡς μὲν ἐμὲ συμβαλλεόμενον εὕρισκεῖν, μεγαλοφροσύνης εἶνεκα αὐτὸ Ξέρξης ὀρύσσειν ἐκέλευε, ἐθέλων τε δύναμιν ἀποδείκνυσθαι, καὶ μνημόσυνα λιπέσθαι- παρεὼν γὰρ, μηδένα πόνον λαβόντας, τὸν ἰσθμὸν τὰς νέας διεῖρύσαι, ὀρύσσειν ἐκέλευε διώρυχα τῇ θαλάσῃ, εὖρος ὡς δύο τριήρεας πλέειν ὁμοῦ ἐλαστρευμένας.

Согласно Геродоту, выкопанная земля передавалась от человека к человеку от дна канала до верха - все это делалось вручную, без помощи кранов или курганов.

Мнимая работа по повороту русла реки Галис, которую греки приписывают Крёзу по совету Фалеса, была гораздо более масштабной, чем прорубка на Афоне (Herodot. i, 75).

Поскольку этот корабельный канал через Афонский перешеек часто рассматривался как басня как древними (Juvenal, Sat. x), так и современными (Cousinéry, Voyage en Macédoine), я привожу наблюдения полковника Лика. Этот замечательный наблюдатель указывает на явные следы ее прошлого существования: но, по моему мнению, даже если бы таких следов не осталось, одного свидетельства Геродота и Фукидида (iv, 109) было бы достаточно, чтобы доказать, что она действительно существовала. Наблюдения полковника Лика в то же время иллюстрируют мотивы, по которым возник канал: "Канал (говорит он), похоже, был не более шестидесяти футов в ширину. Поскольку в истории нет упоминаний о том, что его когда-либо ремонтировали после времен Ксеркса, воды с окрестных высот, естественно, с течением веков частично заполнили его грунтом. Однако его можно было бы без особого труда восстановить, и нет сомнений, что он был бы полезен для навигации по Эгейскому морю: Ибо греческие лодочники так опасаются сильных и неопределенных течений вокруг горы Афон, штормов и открытого моря, которым окрестности горы подвержены в течение половины года и которые становятся еще более грозными из-за недостатка гаваней в Орфанском заливе, что я не мог, пока находился на полуострове, и хотя предлагал высокую цену, уговорить ни одно судно перевезти меня с восточной стороны полуострова на западную. Таким образом, Ксеркс был совершенно оправдан, проложив этот канал, как с точки зрения безопасности, которую он обеспечивал его флоту, так и с точки зрения удобства работы и преимуществ местности, которая, похоже, специально создана для того, чтобы соблазнить его. Опыт потерь, которые понесла предыдущая экспедиция под командованием Мардония, подсказал эту идею. Обход мысов Амπεла и Καναστρεя был гораздо менее опасен, так как в заливах есть хорошие гавани, и Ксеркс намеревался собрать силы из греческих городов в этих заливах по мере прохождения. Если и есть какая-то трудность, вытекающая из повествования Геродота, то она заключается в том, чтобы понять, как эта операция должна была занять столько времени, как три года, когда в распоряжении царя Персии было такое множество людей, и среди них египтяне и вавилоняне, привыкшие к строительству каналов". (Leake, Travels in Northern Greece, vol. iii, ch. 24, p. 145.)

Эти замечания по поводу предприятия более благоразумны, чем у майора Реннела (Geogr. of Herodot. p. 116). Я могу заметить, что Геродот не утверждает, что фактическая прокладка канала заняла три года, - он относит это время к прокладке со всеми предварительными приготовлениями, включая ее, - *προετομάζετο ἐκ τριῶν ἐτέων καὶ μάλιστα τὰ ἐς τὸν Ἀθῶν* (vii, 22).

[37] Herodot. vii, 22: ὥρουσον ὑπὸ μασιγῶν παντοδαποὶ τῆς στρατιῆς- διάδοχοι δ' ἐφοίτων.-vii, 56: Ξέρξης δὲ, ἐπεὶ τε διέβη ἐς τὴν Εὐρώπην, ἐθηεῖτο τὸν στρατὸν ὑπὸ μασιγῶν διαβαίνοντα:- сравните vii, 103, и Ксенофонт, Анабасис, iii, 4-25.

Необходимость и обильное применение кнута по отношению к подданным, как считали древние персы, находит свою параллель у современных турок. См. Mémoires du Baron de Tott, vol. i, p. 256, seqq., и его диалог на эту тему со своим турецким проводником Али-Ага.

[38] Herodot. vii, 57. Τέρας σφί ἐφάνη μέγα, τὸ Ξέρξης ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐποίησατο, καίπερ εὐσύμβλητον ἐόν- ἵππος γὰρ ἔτεκε λαγόν. Εὐσύμβλητον ὦν τῇδε ἐγένετο, ὅτι ἔμελλε μὲν ἐλᾶν στρατιὴν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα Ξέρξης ἀγαυρότατα καὶ μεγαλοπρεπέστατα, ὁπίσω δὲ περὶ ἐωυτοῦ τρέχων ἦξειν ἐς τὸν αὐτὸν χῶρον.

Причуда заключалась в том, что кобыла родила зайца, что означало, что Ксеркс отправится в поход в Грецию с силой и великолепом, но вернется робким и позорным бегством.

Неизменная вера Геродота, во-первых, в реальность факта, во-вторых, в уверенность его толкования, заслуживает внимания как иллюстрация его канона веры и канона его эпохи. Толкование, несомненно, является здесь порождающей причиной интерпретируемой истории: изобретательный человек после окончания экспедиции придумывает подходящий образ для ее

гордого начала и бесславного окончания (*Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus*), и этот образ пересказывается либо им самим, либо каким-то слушателем, которого он поразил, как если бы он был реальным предшествующим фактом. Склонность этого предполагаемого предшествующего факта предвещать великое персидское нашествие (τὸ εὐσύμβλητον Геродота) служит предположительным доказательством, подтверждающим утверждение свидетеля; в то время как отход от установленных аналогий природы не дает мотивов для неверия человеку, признающему, что боги иногда посылают особые знаки и предупреждения.

[39] Сравните описание процессионного марша Кира, приведенное в "Киропедии" Ксенофонта, viii, 2, 1-20.

[40] Herodot. vii, 41. Μετὰ δὲ τὴν ἵππον διελέλειπτο καὶ δύο σταδίου, καὶ ἔπειτα ὁ λοιπὸς ὄμιλος ἦεν ἀναμίξ.

[41] Инцидент, касающийся Пифия, приводится в Herodot. vii, 27, 28, 38, 39. Я не доверяю оценке богатства Пифия; но в других отношениях эта история кажется вполне заслуживающей доверия.

[42] Herodot. vii, 42.

[43] Herodot. vii, 43. θεησάμενος δὲ, καὶ πυθόμενος κείνων ἕκαστα, etc.

[44] Herodot. vii, 45, 53, 56. Ὡ Ζεῦ, τί δὴ ἀνδρὶ εἰδόμενος Πέρσῃ, καὶ οὖνομα ἀντὶ Διὸς Ξέρῃην θέμενος, ἀνάστατον τὴν Ἑλλάδα ἐθέλεις ποιῆσαι, ἄγων πάντας ἀνθρώπους; καὶ γὰρ ἄνευ τούτων ἐξῆν τοι ποιεῖν ταῦτα.

[45] Tacitus, Histor. iii, 24. "Undique clamor, et orientem solem, ita in Syriâ mos est, consalutavêre", - в его поразительном описании ночного сражения под Кремоной между римскими войсками Вителлия и Веспасиана и восхода солнца, когда бой еще не был закончен: сравните также Квинта Курция (iii, 3, 8, p. 41, ed. Mützel).

[46] Herodot. vii, 54. ταῦτα οὐκ ἔχω ἀτρεκέως διακρίναι, οὔτε εἰ τῷ Ἡλίῳ ἀνατιθεὶς κατῆκε ἐς τὸ πέλαγος, οὔτε εἰ μετεμέλησέ οἱ τὸν Ἑλλήσποντον μαστιγώσαντι, καὶ ἀντὶ τούτων τὴν θάλασσαν ἐδωρέετο.

[47] Herodot. vii, 55, 56. Διέβη δὲ ὁ στρατὸς αὐτοῦ ἐν ἑπτὰ ἡμέρησι καὶ ἐν ἑπτὰ εὐφρόνησι, ἐλινύσας οὐδένα χρόνον.

[48] Herodot. vii, 58-59; Pliny, H. N. iv, 11. См. некоторые ценные замечания о топографии Дорискуса и окрестностей города, который до сих пор называется Энос, в Grisebach, Reise durch Rumelien und nach Brussa, ch. vi, vol. i, pp. 157-159 (Göttingen, 1841). Он дает основания полагать, что изгиб побережья, обозначенный на карте как залив Энос, не существовал в древности, как не существует он и сейчас.

[49] Herodot. vii, 20-21.

[50] См. перечисление в Herodotus, vii, 61-96. В главе 76 из текста выпало одно имя (см. примечание Весселинга и Швайгхойзера), которое, в дополнение к указанным под заголовком "сухопутные войска", составляет ровно сорок шесть. Именно из этого источника Геродот берет хвастовство, которое он вкладывает в уста афинян (ix, 27) по поводу битвы при Марафоне, в которой они претендуют на победу над сорока шестью народами, -ἐνίκησαμεν ἔθνεα ἕξ καὶ τεσσαράκοντα: хотя нет оснований полагать, что столь многочисленный контингент был задействован Датисом при Марафоне.

Сравните хвастовство Антиоха, царя Сирии. (192 г. до н. э.) о своем огромном азиатском войске, переброшенном в Грецию, а также презрительные комментарии римского консула Квинкция (Livy, xxxv, 48-49). "Varia enim genera armorum, et multa nomina gentium inauditarum, Dahas, et Medos, et Cadusios, et Elymæos-Syros omnes esse: haud paulo mancipiorum melius, propter servilia ingenia, quam militum genus:" и резкое замечание аркадского посланника Антиоха (Ксенофонт, Hellen. vii, 1, 33). У Квинта Курция также есть несколько риторических оборотов о количестве народов, чьи имена даже едва ли были известны, давших дань Персидской империи (iii, 4, 29; iv, 45, 9), "ignota etiam ipsi Dario gentium nomina" и т. д.

[51] Herodot. vii, 89-93.

[52] Herodot. vii, 61-81.

[53] Армия, которую Дарий повел против Скифии, как говорят, была подсчитана по подразделениям по десять тысяч в каждом, но этот процесс не описан подробно (Herodot. iv, 87).

[54] Herodot. vii, 60, 87, 184. Этот же грубый способ перечисления использовал Дарий Кодоманн полтора века спустя, перед тем как вывести свою армию на Иссусское поле (Quintus Curtius, iii, 2, 3, p. 24, Mutzel).

[55] Herodot. vii, 89-97.

[56] Herodot. vii, 185-186. ἐπάγων πάντα τὸν ἥϊον στρατὸν ἐκ τῆς Ἀσίης (vii, 157). "Vires Orientis et ultima secum Bactra ferens", говоря языком Вергилия об Антонии в Актиуме.

[57] Даже Дальманн, у которого есть много хороших замечаний в защиту Геродота, едва ли отдает ему справедливость (Herodot, Aus seinem Buche sein Leben, ch. xxxiv, p. 176).

[58] Только сто двадцать военных кораблей упоминаются Геродотом (vii, 185) как присоединившиеся после этого из морских портов Фракии. Но четыреста были уничтожены, если не больше, во время страшной бури на побережье Магнесии (vii, 190); эскадра из двухсот кораблей, отряженная персами вокруг Эвбеи, также погибла (viii, 7); кроме того, сорок пять были захвачены или уничтожены во время различных морских боев у Артемизиума (vii, 194; viii, 11). Указываются и другие потери (viii, 14-16).

Поскольку данные Эсхила о количестве персидских трирем при Саламине вполне заслуживают доверия, мы должны предположить, что либо число трирем Дориска было больше, чем упомянул Геродот, либо что к ним присоединилось число, превышающее указанное им.

См. хорошее примечание Амерсфорда, ad Demosthen. Orat. de Symmoriis, p. 88 (Leyden, 1821).

[59] См. по этому вопросу Volney, Travels in Egypt and Syria, ch. xxiv, vol. ii, pp. 70, 71; ch. xxxii, p. 367; и ch. xxxix, p. 435, (англ. перевод).

Kinneir, Geographical Memoir of the Persian Empire, pp. 22-23. Бернье, который следил за походом Аурунзебе из Дели в 1665 году, говорит, что некоторые оценивали число людей в лагере в триста тысяч, другие - в разные суммы, но никто не знал, и их никогда не подсчитывали. Он говорит: "Вы, несомненно, не можете понять, как можно содержать в поле такое огромное количество людей и животных. Лучшее решение этой проблемы можно найти в воздержанности и простой диете индейцев". (Бернье, Путешествия по Могольской империи, перевод Брока, т. ii, Приложение, стр. 118).

Так же и Пти де ла Крюа говорит об огромном войске Чингиз-хана: "Les hommes sont si sobres, qu'ils s'accoutument de toutes sortes d'alimens."

Этот автор, кажется, оценивает самую большую армию Чингиса в семьсот тысяч человек (Histoire de Genghis, liv. ii, ch. vi, p. 193).

[60] Thucyd. v, 68. Ксенофонт называет войско Ксеркса *бесчисленным*, -ἀναρίθμητον στρατιάν (Anab. iii, 2, 13).

По-видимому, не считалось необходимым, чтобы турецкий министр знал численность собранной турецкой армии. Во время войны между русскими и турками в 1770 году, когда турецкая армия стояла лагерем в Бабадаге у Балкан, барон де Тотт рассказывает: "Визирь потребовал от меня в один прекрасный день, чтобы османская армия была многочисленной. Я обращаюсь к вам, говорит он, если мне интересно знать. Я не обращаю внимания, - отвечаю я. Если вы меня игнорируете, то как я могу вас инструктировать? Читая *"Венскую газету"*, я ответил ему. Je restai confondu."

Герцог Рагузский (в своем путешествии в Гонконг, Турцию и т. д.), упомянув о чрезвычайно преувеличенных заявлениях о количестве убитых во время подавленного восстания янычар в Константинополе в 1826 году, замечает: "Говорили и повторяли, что число янычар равнялось huit ou dix mille, и это мнение подтвердилось (на самом деле их было около пятисот). Однако восточные люди в целом и турки в частности не имеют никакого представления о численности: они используют ее без точности и по характеру склонны к преувеличению. С другой стороны, правительство должно поддерживать это народное мнение, чтобы распалить воображение и вдохновить на создание более грандиозной территории". (Vol. ii, p. 37.)

[61] Ktesias, Persica, c. 22, 23; Ælian, V. H. xiii, 3; Diodorus, xi, 2-11.

Относительно различных числовых утверждений в этом случае см. примечание Боса ad Cornel. Nepot. Themistocl. c. 2, pp. 75, 76.

Саамский поэт Херилус, на несколько лет моложе Геродота и современник Фукидида, написал эпическую поэму об экспедиции Ксеркса против Греции. Сохранились лишь два или три коротких фрагмента: он перечислил все отдельные народы, которые предоставили контингент Ксерксу, и среди них мы находим не только саков, но и солим (очевидно, евреев, так их трактует Иосиф). См. Фрагменты, iii и iv, в издании Неке "Chœrilus", стр. 121-134. Josephus cont. Apion. p. 454, ed. Havercamp.

[62] Æschylus, Pers. 14-124, 722-737. Хеерен (в своем научном труде о торговле древнего мира, Über den Verkehr der alten Welt, part 1, sect. 1, pp. 162, 558, 3-е издание) полагает, что Геродот видел подлинную ведомость о численности армии в Дорискусе, составленную персами. Я не могу считать это вероятным: гораздо разумнее полагать, что все его сведения были получены от греков, сопровождавших экспедицию. Он наверняка видел и общался со многими из них. Персидские царские писцы, или секретари, сопровождали царя и отмечали любой факт или человека, который мог случайно привлечь его внимание (Herodot. vii, 100; viii, 90) или проявить выдающуюся храбрость. Похоже, что они были специально приставлены к царю как служители его любопытства и развлечений, а не как хранители достоверных и непрерывных записей.

Херен, на мой взгляд, слишком легко соглашается с численными итогами, приведенными Геродотом в отношении армии Ксеркса: он не прав, полагая, что контингенты персидской армии шли с женами и семьями (стр. 557-559).

[63] Когда Геродот указывает своих информаторов - к большому сожалению, он не указывает их чаще, - это, по-видимому, часто греки, такие как Дикей, афинский изгнанник, Терсандр из Орхомена в Беотии, Архиас из Спарты и т. д. (iii, 55; viii, 65; ix, 16.) Он часто упоминает спартанского царя Демарата, и обычно при обстоятельствах как достойных, так и драматических: весьма вероятно, что он мог общаться с самим царем или с его потомками, которые надолго поселились в Тевтрании, недалеко от эолийского побережья Малой Азии (Xenoph. Hellenica, iii, 1, 6), и таким образом он мог слышать о представлениях, которые изгнанный спартанский царь предлагал Ксерксу. Тем не менее, замечания Хоффмайстера по поводу речей, приписываемых Геродотом Демарату, заслуживают внимания (Sittlich-religiöse Lebensansicht des Herodotos, p. 118).

"Геродот всегда вводит в связь с наглыми царями того или иного человека, через которого он дает понять свои собственные уроки мудрости. К Крёзу, на вершине его славы, приходит мудрый Солон: Сам Крёз, исправившийся после плена, исполняет ту же роль по отношению к Киру и Камбису: Дарий, как человек благоразумный и честный, не нуждается в таком советнике; но Ксеркс в своей гордыне приставил к нему язвительного Артабана и проницательного Демарата, а Амасис, царь Египта, нанимается передавать разумные советы Поликрatesу, деспоту Самоса. Поскольку все эти люди говорят на одном и том же языке, представляется несомненным, что они введены Геродотом лишь в качестве выразителей его собственной критики поведения и характера различных монархов, - критики, которая представляет собой не что иное, как общие максимы, моральные и религиозные, высказанные Солоном, Крезом или Артабаном по случаю конкретных событий. Речи, вплетенные Геродотом, в основном имеют не ту же цель, что и у Тацита, - познакомить читателя с существующим положением дел или с характером действующих лиц, - а другую, совершенно чуждую истории: они воплощают в повествовании его личные убеждения относительно человеческой жизни и божественного правления".

Это последнее мнение Гоффмейстера в значительной степени верно, но слишком абсолютно.

[64] Herodot. vii, 101-104. Насколько уступает сцена между Дарием и Харидемом в "Квинте Курции"! (iii, 2, 9-19, p. 20, ed. Mutzel.).

Геродот берет на вооружение практически те же чувства и те же антитезы, что и в "Персах" Эсхила; но он обращается с ними как социальный философ, с глубоким пониманием истинных причин греческого превосходства.

Не исключено, что костяк разговора между Ксерксом и Демаратом был реальностью, услышанной Геродотом от самого Демарата или его сыновей; ведь крайняя специализация, с которой лакедемонский изгнанник ограничивает свои похвалы спартанцами и дорийцами, не включая других греков, вряд ли отражает чувства самого Геродота.

Незначительность повествования Геродота о низложении и семейных обстоятельствах Демарата (vi, 63 и далее), а также его взгляд на смерть Клеоменеса как на искупление царевича за нанесенную обиду, могут показаться основанными на семейных сведениях (vi, 84).

[65] Herodot. vii, 109, 111, 118.

[66] Эта сумма в четыреста талантов была эквивалентна всей ежегодной дани, взимаемой персидским царем с сатрапии, включающей западное и южное побережье Малой Азии, куда входили все ионийские и эолийские греки, а также ликийцы, памфилийцы и т. д. (Herodot. iii, 90.)

[67] Herodot. vii, 118-120. Он приводит (vii, 187) расчет количества кукурузы, которое потребовалось бы для ежедневного потребления, принимая огромные количества, как он предполагает, и считая, что на ежедневное потребление каждого человека приходился один

ченикс пшеницы, равный одной восьмой медимна. Нет необходимости рассматривать расчеты, основанные на таких недопустимых данных.

[68] Herodot. vii, 108, 109.

[69] Herodot. vii, 114. Он называет эту дикую практику специально персидской. Старая и жестокая персидская царица Аместрис, жена Ксеркса, пыталась продлить свою жизнь, похоронив заживо четырнадцать жертв, детей знаменитых людей, в качестве подношения подземному богу.

[70] Herodot. viii, 116.

[71] Herodot. vii, 122-127.

О названии Пиерия и географии этих регионов см. предыдущий том, т. iv, гл. xxv. с. 14.

[72] Herodot. vii, 116.

[73] Herodot. vi, 74, 75.

[74] Herodot. vi, 84.

[75] Herodot. vi, 61. Κλεομένεα, ἔοντα ἐν τῇ Αἰγίνῃ, καὶ κοινὰ τῇ Ἑλλάδι ἀγαθὰ προεργαζόμενον, etc.

[76] Herodot. vi, 85: сравните vi, 49-73, и предыдущий том этой истории, с. xxxvi, pp. 437-441.

[77] Herodot. vi, 87, 88.

Вместо ἧν γὰρ δὴ τοῖσι Ἀθηναίοισι πεντήρης ἐπὶ Σουνίῳ (vi, 87) я следую чтению, предложенному Шёманом и одобренному Бозком - πεντετηρίς. Вряд ли можно представить себе, чтобы у афинян в то время были корабли с пятью банками весел (πεντήρης): кроме того, помимо этого возражения, слово πεντήρης вносит значительную неловкость в предложение; см. Voëckh, Urkunden über das Attische Seewesen, гл. vii, с. 75, 76.

Старший Дионисий из Сиракуз, как говорят, был первым греком, построившим πεντήρεις или квинкверемные корабли (Diodor. xiv, 40, 41).

Среди религиозных обычаев Афин было много отдельных пентаэтерид, или торжеств, отмечавшихся каждый пятый год: см. Аристотель, Πολιτ. Fragm. xxvii, ed. Neumann; Pollux, viii, 107.

[78] См. Thucyd. i, 8.

Афинский акрополь, будучи первым заселенным городом, носил название "Город" даже во времена Фукидида (ii, 15), когда Афины и Пирей занимали столь обширную территорию вокруг и около него.

[79] Herodot. vi, 91. χεῖρες δὲ κεῖναι ἐμπεφυκυῖαι ἦσαν τοῖσι ἐπισπαστῆρσι. Слово κεῖναι для ἐκεῖναι, "эти руки", кажется настолько мало подходящим в этой фразе, что я скорее представляю себе, что настоящим чтением было κειναὶ (ионический диалект для κεναὶ), "руки, к которым ничего не было привязано". Сравните фразу, не очень похожую на эту, Гомер, Илиада, iii, 376, κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἄμ' ἔσπετο, и т.д.

Сравните рассказ об аресте спартанского царя Павсания и о том, как с ним обращались, когда он находился в святилище в храме Афоньки Халкиекского (Thucyd. i, 134).

[80] Herodot. vi, 91. Ἀπὸ τούτου δὲ καὶ ἄγος σφι ἐγένετο, τὸ ἐκθύσασθαι οὐκ οἷοί τε ἐγένοντο ἐπιμηχανώμενοι, ἀλλ' ἔφθησαν ἐκπεσόντες πρότερον ἐκ τῆς νήσου ἢ σφι ἵλεον γενέσθαι τὴν θεόν.

Сравните Thucyd. ii, 27 об окончательном изгнании из Эгины. Лакедемоняне назначили этим изгнанным эгинетянам новое место жительства в Тирее, на восточном побережье Пелопоннеса, где они подверглись нападению, были взяты в плен и преданы смерти афинянами на восьмом году войны (Thucyd. iv, 57). Геродот, упоминая об изгнании, не упоминает об их последующей и еще более ужасной судьбе. Если бы он знал этот факт, он вряд ли мог бы не отметить его как еще одно завершение божественного суда. Мы можем обоснованно предположить, что в этом случае он не знал, что подтверждает мнение, высказанное в моем предыдущем томе (глава xxxiii, стр. 225, примечание) относительно даты написания его истории - в самые ранние годы Пелопоннесской войны.

[81] Herodot. ix, 75.

[82] Herodot. vi, 90-93. Thucyd. i, 41. О Софанесе см. ix, 75.

О том, какой ущерб нанесла такая каперская война между столь близкими странами, как Эгина и Аттика, можно судить по более подробному описанию более поздней войны того же рода в 388 году до н. э. (Ксенофонт, Hellenic. v. 1.).

[83] Plutarch, Themist. c. 19.

[84] См. интересный рассказ г-на Галта о гидриотских моряках в "Путешествиях по Средиземноморью", pp. 376-378 (Лондон, 1802).

"Город Гидра возник из небольшой колонии лодочников из Мореи, которые укрылись на острове от тирании турок. Около сорока лет назад они размножились до значительного числа, их маленькая деревушка стала принимать вид города, а грузы доходили до Константинополя. В своих торговых операциях гидрионцы приобрели репутацию более честных, чем другие греки, а также самых бесстрашных мореплавателей на Архипелаге; разумеется, им регулярно отдавали предпочтение. Их трудолюбие и честность были вознаграждены. Острова Специя, Парос, Микони и Ипсара похожи на Гидру по своему устройству и обладают тем же характером коммерческой деятельности. При оплате труда моряков Гидра и родственные ей острова придерживаются особого обычая. Вся сумма фрахта рассматривается как общий фонд, из которого вычитаются расходы на пропитание корабля. Оставшаяся часть делится на две равные части: одна распределяется между экипажем и делится поровну, без учета возраста и звания; другая часть предназначена для корабля и капитана. Грузовой капитал является доверием, переданным капитану и команде на определенных условиях. Характер и манеры гидриотских моряков, благодаря моральному воздействию этих обычаев, значительно превосходят по регулярности те представления, которые мы склонны иметь о моряках. Они степенны, хорошо одеты, воспитаны, проницательны, информированы и спекулятивны. Кажется, что они образуют класс, который не существует среди нас. Благодаря своим путешествиям они приобретают либеральность понятий, которую мы ожидаем только от джентльменов, а в быту их поведение соответствует их положению. Все греки - традиционные историки и обладают большим количеством знаний, к которым обычно применяют термин "*образованность*". Это, в сочетании с другими сведениями о гидрионах, придает им тот благоприятный характер ума, которым, как мне кажется, они обладают".

[85] Plato, Legg. iv, pp. 705, 706. Плутарх, Фемистоклос, с. 19. Isokratês, Panathenaic, c. 43.

Плутарх, Philopœmen. c. 14. Πλὴν Ἐπαμεινώνδαν μὲν ἔνιοι λέγουσιν ὀκνοῦντα γεῦσθαι τῶν κατὰ θάλασσαν ὠφελειῶν τοὺς πολίτας, ὅπως αὐτῷ μὴ λάθωσιν ἀντὶ μονίμων ὀπλιτῶν, κατὰ Πλάτωνα, ναῦται γενόμενοι καὶ διαφθαρέντες, ἄπρακτον ἐκ τῆς Ἀσίας καὶ τῶν νήσων ἀπελθεῖν ἐκουσίως: сравнить vii, стр. 301.

[86] См. замечательный отрывок у Ксенофонта (Memorab. iii, 5, 19), свидетельствующий о том, что гоплиты и гиппеи, первые по рангу в городе, были также самыми непослушными на военной службе.

[87] Thucyd. i, 93. ἰδὼν (Themistoklês) τῆς βασιλέως στρατιᾶς τὴν κατὰ θάλασσαν ἔφοδον εὐπορωτέραν τῆς κατὰ γῆν οὖσαν.

[88] Thucyd. i, 14. Herodot. vii, 144.

[89] Thucyd. i, 93.

[90] Herodot. vii, 144. Οὗτος γὰρ ὁ πόλεμος συστάς ἔσωσε τότε τὴν Ἑλλάδα, ἀναγκάσας θαλασσίους γενέσθαι Ἀθηναίους.

Thucyd. i, 18. ναυτικοὶ ἐγένοντο.

[91] *Æschylus*, *Persæ*, 235.

[92] Горный район Лауриума изредка посещался современными путешественниками, но никогда тщательно не исследовался до 1836 года, когда д-р Фидлер обследовал его с минералогической точки зрения по распоряжению нынешнего греческого правительства. См. его "Reisen durch Griechenland", vol. i, pp. 39, 73. В настоящее время эта местность представляет собой не более чем пустыню, но Фидлер особенно отмечает большое естественное плодородие равнины возле Торикуса, а также хорошую гавань в этом месте, - оба обстоятельства имели большое значение в то время, когда здесь работали шахты. Здесь можно увидеть множество остатков шахт, пройденных в древние времена, причем пройденных так мастерски, что они удовлетворят глаз современного шахтера.- с. 76.

[93] Herodot. vii, 144. "Ὅτε Ἀθηναίοισι γενομένων χρημάτων μεγάλων ἐν τῷ κοινῷ, τὰ ἐκ τῶν μετάλλων σφί προσῆλθε τῶν ἀπὸ Λαυρείου, ἔμελλον λάξεσθαι ὀρχηδὸν ἕκαστος δέκα δραχμάς.

[94] Вся информация - к сожалению, очень скудная - которой мы располагаем относительно древних рудников Лаврии, собрана в ценной диссертации М. Боэка, переведенной и приложенной к английскому переводу его "Общественной экономики Афин". Он обсуждает факт, изложенный в этой главе Геродота, в разд. 8 этой "Диссертации": но есть много его замечаний, с которыми я не могу согласиться.

Умножив десять драхм на предполагаемое число в двадцать тысяч афинских граждан, получив общую сумму распределения в тридцать три и одну треть таланта, он продолжает: "То, что раздача производилась ежегодно, можно было бы предположить, исходя из принципов афинской администрации, и без свидетельства Корнелия Непоса. Поэтому мы не должны полагать, что имеются в виду накопления за несколько лет или просто излишки, но что все общественные деньги, полученные от рудников, поскольку они не требовались ни на какие другие цели, были разделены между членами общины" (с. 632).

Из этого отрывка Геродота мы вряд ли вправе заключить, что вся сумма, полученная от рудников, должна была быть распределена: казна была очень богата, и распределение должно было состояться, - но из этого не следует, что после распределения в казне ничего не должно было остаться. Соответственно, все расчеты общей добычи рудников, основанные на этом отрывке Геродота, являются неопределенными. Неясно также, что существовало какое-либо регулярное ежегодное распределение, если только мы не примем за доказательство этого отрывок Корнелия Непоса: но он говорит скорее о том, что магистраты использовали эти деньги для подрядов, а не о регулярном распределении: "Nam cum pecunia publica quæ ex metallis redibat, largitione

magistratuum quotannis periret." Corn. Nep. Themist. c. 2. Полиэн, у которого он это скопировал, рассказывает историю о сумме в сто талантов в казне, которую Фемистокл уговорил народ передать ста богачам, чтобы они расходовали ее по своему усмотрению, с обязательством вернуть деньги, если народ не будет доволен расходами: эти богачи использовали каждый присужденную ему сумму на строительство нового корабля, к большому удовольствию народа (Polyæn. i, 30). Эта история существенно отличается от истории Геродота, и мы не можем решиться ни смешивать их вместе, ни полагаться на Полиэна в отдельности.

Я полагаю, что сумма в тридцать три таланта или пятьдесят талантов, необходимая для раздачи, была частью более крупной суммы, лежавшей в казне и полученной от рудников. Фемистокл убедил народ использовать *всю* сумму на строительство кораблей, что, конечно, подразумевало отказ от раздачи. Были ли подобные раздачи в прежние годы, как утверждает М. Боэкс, - вопрос, по которому у нас нет никаких доказательств. Мне кажется, что М. Боэкс не учитывает тот факт, о котором он сам говорит незадолго до этого, что существовало два источника поступления в казну: первоначальные деньги, уплаченные за покупку, и зарезервированная ежегодная рента. Именно из первого источника, как я полагаю, и была получена крупная сумма, лежащая в казне: небольшая зарезервированная рента, вероятно, входила в ежегодные статьи государственного бюджета.

[95] Herodot. vii, 239.

[96] Herodot. vii, 8-138.

[97] Herodot. vii, 145. Φρονήσαντες εἴ πως ἔν τε γένοιτο τὸ Ἑλληνικὸν, καὶ εἰ συγκύψαντες τωὐτὸ πρήσσοιεν πάντες, ὡς δεινῶν ἐπιόντων ὁμοίως πᾶσι Ἕλλησι.

[98] Herodot. viii, 92.

[99] Herodot. vii, 145.

[100] Plutarch, Themistokl. c. 10. О Хейлеосе, Herodot. ix, 9.

[101] Herodot. vii, 203. οὐ γὰρ θεὸν εἶναι τὸν ἐπιόντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλ' ἄνθρωπον, etc.: ср. также vii, 56.

[102] Herodot. vii, 140.

Ἄλλ' ἴτον ἐξ ἀδύτοιο, κακοῖς δ' ἐπικίδνατε θυμόν.

Общий смысл и сфера применения оракула в данном случае представляются мне ясными. Это предложение не несет ничего, кроме опустошения и печали; хотя Бэр и Швайгхойзер, как и другие комментаторы, пытаются привнести в него что-то ободряющее, толкуя θυμόν как *стойкость*. Перевод Валлы и Шульца ближе к истине. Но даже если общий смысл оракула ясен (а это почти никогда не бывает), конкретные фразы всегда дики и туманны.

[103] Herodot. vii, 141.

Οὐ δύναται Παλλὰς Δί' Ὀλύμπιον ἐξιλάσασθαι

Λισσομένη πολλοῖσι λόγοις καὶ μήτιδι πυκνῇ.

Сравните с этим заявление Аполлона Крёзу Лидийскому (i, 91).

[104]

... Τεῖχος Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεὺς

Μοῦνον ἀπόρθητον τελέθειν, τὸ σὲ τέκνα τ' ὀνήσει.

.....

.....

ἽΘ θείη Σαλαμῖς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέκνα γυναικῶν и т. д.

(Herodot. vii, 141).

[105] Herodot. vii, 143. Ταύτη Θεμιστοκλέους ἀποφαινομένου, Ἀθηναῖοι ταῦτά σφι ἔγνωσαν αἰρετώτερα εἶναι μᾶλλον ἢ τὰ τῶν χρησμολόγων, οἳ οὐκ εἶων ναυμαχίην ἀρτέεσθαι, ἀλλὰ ἐκλιπόντας χώραν τὴν Ἀττικὴν, ἄλλην τινὰ οἰκίζειν.

Есть все основания принять утверждение Геродота за истину в отношении этих оракулов, переданных афинянам, и их дискуссионного толкования. Они должны были публично обсуждаться в афинском собрании, и Геродот вполне мог беседовать с теми, кто слышал эти обсуждения. Что касается другого оракула, который, по его словам, был доставлен спартамцам, - о том, что либо Спарта должна быть завоевана, либо царь Спарты должен погибнуть, - мы можем сомневаться, существовал ли он до битвы при Фермопилах (Herodot. vii, 220).

Более поздние авторы, Юстин (ii, 12), Корнелий Непос (с. 2) и Полиэн (i, 30), дают рассказ о действиях Фемистокла, уступающий Геродоту как в живости, так и в точности.

[106] Herodot. vii, 139. οὐδὲ σφέας χρηστήρια φοβερὰ, ἐλθόντα ἐκ Δελφῶν, καὶ ἐς δεῖμα βαλόντα, ἔπεισε ἐκλιπεῖν τὴν Ἑλλάδα и т. д.

По обилию оракулов и пророчеств из разных источников, которые могли бы быть актуальны в такой тревожный момент, можно сравнить аналогию начала Пелопоннесской войны, описанную современным историком (Thucyd. ii, 8).

[107] Herodot. vii, 139. Ἐνθαῦτα ἀναγκαίῃ ἐξέργομαι γνώμην ἀποδέξασθαι, ἐπίφθονον μὲν πρὸς τῶν πλεόνων ἀνθρώπων- ὅμως δὲ, τῇ γέ μοι φαίνεται εἶναι ἀληθές, οὐκ ἐπισχῆσω. Εἰ Ἀθηναῖοι, καταρρώδησαντες τὸν ἐπιόντα κίνδυνον, ἐξέλιπον τὴν σφετέρην, etc. ... Νῦν δὲ, Ἀθηναίους ἂν τις λέγων σωτῆρας γενέσθαι τῆς Ἑλλάδος, οὐκ ἂν ἀμαρτάνοι τὸ ἀληθές и др.

Вся эта глава заслуживает особого внимания, так как она показывает нам чувства тех современников, которым адресована его история, и способ суждения, с которым они оглядывались на персидскую войну. Мы склонны неосознанно полагать, что древний историк пишет для людей абстрактных, а не для людей с определенными чувствами, предрассудками и убеждениями. Люди, к которым обращался Геродот, - это те, кто был полон восхищения Спартой, приписывая ей главным образом честь отбить персов, и утверждая, что даже без помощи Афин спартанцы и пелопоннесцы могли бы защитить и защитили бы Коринфский перешеек, укрепленный специально построенной стеной. Пелопоннесские союзники того времени забыли, что они открыты для нападения как с моря, так и с суши.

[108] Herodot. vii, 139. ἐλόμενοι δὲ τὴν Ἑλλάδα περιεῖναι ἐλευθέρην, τοῦτο τὸ Ἑλληνικὸν πᾶν τὸ λοιπὸν, ὅσον μὴ ἐμήδισε, αὐτοὶ οὗτοι ἦσαν οἱ ἐπεγείραντες, καὶ βασιλέα μετὰ γε θεοῦς ἀνωσάμενοι.

[109] Herodot. viii, 2, 3: сравните vii, 161.

[110] Herodot. vii, 144.

[111] Thucyd. iii, 56. ἐν καιροῖς οἷς σπάνιον ἦν τῶν Ἑλλήνων τινὰ ἀρετὴν τῇ Ξέρξου δυνάμει ἀντιτάξασθαι.

Такой взгляд на дело гораздо более соответствует истории, чем хвастовство более поздних ораторов по поводу широкого распространения патриотизма в эти времена. См. Демосфен. Philipp. iii, 37, p. 120.

[112] Herodot. vii, 147-150.

[113] Мнение Геродота изложено примечательным образом, без упоминания имени аргейцев и с явной неохотой. Перечислив все греческие контингенты, собранные для обороны перешейка, и различных жителей Пелопоннеса, классифицированных по этническому признаку, он продолжает: *Τούτων ὧν τῶν ἑπτὰ ἔθνέων αἱ λοιπαὶ πόλεις, πάρεξ τῶν κατέλεξα, ἐκ τοῦ μέσου ἑκατέατο- εἰ δὲ ἐλευθέρως ἔξεστι εἰπεῖν, ἐκ τοῦ μέσου κατήμενοι ἐμήδιζον* (viii, 73). Это утверждение включает аргейцев, не называя их.

Там, где он говорит об аргейцах по имени, он отнюдь не столь свободен и категоричен; Сравните vii, 152, - он не высказывает собственного мнения, отличающегося от утверждения самих аргейцев, - он упоминает другие истории, несовместимые с этим утверждением, но не гарантируя их точности, - он дает общее наставление, которое обычно находят те, кто считает, что у них есть большие основания жаловаться на поведение других, "и, таким образом, поведение Аргоса было не *намного хуже, чем у других*", - οὕτω δὴ οὐκ Ἀργείοισι αἴσχιστα πεποίηται.

В начале Пелопоннесской войны, когда, вероятно, была написана история Геродота, аргейцы находились в особенно благоприятном положении. Они не принимали участия ни в войне с Афинами, ни с Лакедемоном, каждый из которых боялся их обидеть. Историк, который открыто поддержал серьезное обвинение в измене, выдвинутое против них в памятной предрешенной битве с Ксерксом, мог навлечь на себя одиозные нападки со стороны обеих партий в Греции.

Комментарии Плутарха к Геродоту по этому поводу малоценны (De Herodoti Malignit. c. 28, p. 863), да и несправедливы, поскольку он представляет аргейскую версию фактов как общепринятую (ἄπαντες ἴσασι), а это, очевидно, не так.

[114] Herodot. vii, 169.

[115] Herodot. vii, 168.

[116] Thucyd. i, 32-37. Возможно, необычно, что коринфские посланники у Фукидида не делают никаких намеков на двуличие коркирян в отношении персидского вторжения в сильной инвективе, которую они произносят против Коркиры перед афинским собранием (Thucyd. i, 37-42). Поведение самого Коринфа, однако, по тому же поводу было не совсем без упрека.

[117] Herodot. vii, 158-167. Diodor. xi, 22.

[118] См. Schol. ad Aristeid., Anathenaic. p. 138.

[119] Herodot. vii, 172: сравните с. 130.

[120] Herodot. vii, 173.

[121] Herodot. vii, 172. τὴν ἐσβολὴν τὴν Ὀλυμπικὴν. См. описание и план Темпе в "Путешествиях доктора Кларка", т. iv, гл. ix, стр. 280; а также диссертацию Кригга, в которой собраны и сопоставлены все факты об этом интересном дефиле (Das Thessalische Tempe. Frankfurt, 1834).

Описание Темпе у Ливия (xliii, 18; xliv, 6) кажется более точным, чем у Плиния (Н. N. iv, 8). Можно отметить, что и то, и другое относится ко времени, последовавшему за формированием и организацией Македонской империи, когда она попала в своеобразную зависимость от Греции. Македонские князья после Александра Македонского, хотя и усугубили естественные трудности

Темпека укреплениями, в то же время сделали дорогу более удобной в качестве военного сообщения. Во времена Ксеркса к этим естественным трудностям никогда не приближалась рука искусства, и они, несомненно, были намного больше.

Нынешняя дорога через перевал имеет ширину около тринадцати футов в самой узкой части и от пятнадцати до двадцати футов в других местах, - длина перевала составляет около пяти английских миль (Kriegk, pp. 21-33).

[122] Herodot. vii, 173.

[123] Herodot. viii, 140-143.

[124] Herodot. vii, 173, 174.

[125] Diodor. xi, 3. ἔτι παρούσης τῆς ἐν τοῖς Τέμπεσι φυλακῆς, etc.

[126] Herodot. vii, 131, 132, 174.

[127] Herodot. vii, 177

[128] Herodot. vii, 132; Diodor. xi, 3.

[129] Herodot. viii, 15-60. Сравните Исократес, Панегирик, Or. iv, p. 59.

У меня еще будет случай отметить переворот, который произошел в афинском чувстве по этому вопросу между персидской и пелопоннесской войнами.

[130] Слово "перевал" обычно означает путь, проложенный между горами. В данном случае оно используется для обозначения узкого прохода, с одной стороны которого находятся горы, а с другой - вода (или болотистая местность).

[131] Согласно одной из многочисленных гипотез, направленных на превращение религиозной легенды в исторический и физический факт, Геракл, как предполагается, был инженером, или водоискателем, в очень ранние времена, - δεινὸς περὶ ζήτησιν ὑδάτων καὶ συναγωγῇν. См. Плутарх, Cum principibus viris philosopho esse disserendum, c. i, p. 776.

[132] О Фермопилах см. Herodot. vii, 175, 176, 199, 200.

Ἡ δὲ αὖ διὰ Τρηχῖνος ἔσοδος ἐς τὴν Ἑλλάδα ἔστι, τῇ στευνότατον, ἡμίπλεθρον- οὐ μέντοι κατὰ τοῦτό γ' ἔστι τὸ στευνότατον τῆς χώρας τῆς ἄλλης, ἀλλ' ἔμπροσθε τε Θερμοπυλέων καὶ ὀπισθε- κατὰ τε Ἀλφεινοῦς, ὀπισθε ἑόντας, ἐοῦσα ἀμαξιτὸς μούνη- καὶ ἔμπροσθε κατὰ Φοίνικα ποταμὸν, ἀμαξιτὸς ἄλλη μούνη.

Сравните Павсаний, vii, 15, 2. τὸ στενὸν τὸ Ἡρακλείας τε μεταξὺ καὶ Θερμοπυλέων; Страбон, ix, p. 429; и Ливий, xxxvi, 12.

Геродот говорит о Фермопиле -στευνότερῃ γὰρ ἐφαίνετο ἐοῦσα τῆς εἰς Θεσσαλίην, т. е. чем осквернен Темпек.

Если бы у нас не было четких топографических указаний, данных Геродотом, было бы почти невозможно понять памятное событие, о котором идет речь; ведь конфигурация побережья, течение рек и общие местные явления теперь настолько изменились, что современные путешественники скорее вводят в заблуждение, чем помогают. В глубине Малиакского залива три или четыре мили новой земли образовались в результате постепенного накопления речных отложений, так что сам залив стал гораздо меньше, а гора, граничащая с воротами Термопиле, теперь не приближается к морю. Река Сперхей существенно изменила свое русло; вместо того

чтобы впадать в море в восточном направлении значительно севернее Фермопил, как это было во времена Геродота, она была отведена на юг в нижней части своего течения, со многими извилинами, так что достигает моря значительно южнее перевала: а реки Дирас, Мелас и Асопус, которые во времена Геродота впадали в море по отдельности между устьем Сперхей и Термопиле, теперь вообще не впадают в море, а впадают в Сперхей. Кроме того, постоянное течение термальных источников способствовало накоплению отложений и повышению уровня почвы на всем протяжении перевала. Геродот, похоже, считает, что дорога между двумя воротами Фермопила идет на север и юг, тогда как она должна была бы идти скорее на восток и запад. Он ничего не знает о названии Каллидрома, которое Ливий и Страбон применяют к неопределенному участку восточного хребта Ἰῆτα.

О прошлом и настоящем Термопиле см. ценные наблюдения полковника Лика, Путешествия по Северной Греции, т. ii, гл. х, с. 7-40; Гелла, Маршрут по Греции, с. 239; Крузе, Эллада, т. iii, гл. х, с. 129. Доктор Кларк отмечает: "Горячие источники бьют главным образом из двух устьев у подножия известняковых обрывов Ἰῆτα, слева от мостовой, которая здесь проходит вплотную под горой и на этом участке едва ли позволяет двум всадникам ехать вровень друг с другом, а справа, между мостовой и морем, такая опасная трясина, что мы чуть не оказались погребены вместе с нашими лошадьми из-за неосторожности, когда отважились пройти несколько шагов по ней от мощеной дороги". (Clarke's Travels, vol. iv, ch. viii, p. 247.)

[133] Herodot. vii, 177, 205. ἐπιλεξάμενος ἄνδρας τε τοὺς κατεστεῶτας τριηκοσίους, καὶ τοῖσι ἐτύγχανον παῖδες ἑόντες.

Отбирая людей для опасной службы, спартанцы отдавали предпочтение тем, у кого уже были семьи: если такого человека убивали, он оставлял после себя сына для исполнения обязанностей перед государством и для поддержания непрерывности семейных священных обрядов, исчезновение которых считалось большим несчастьем. В наших представлениях жизнь отца семейства в зрелом возрасте считалась бы более ценной, а его смерть - большей потерей, чем жизнь молодого и неженатого мужчины".

[134] Herodot. vii, 205; Thucyd. iii, 62; Diodor. xi, 4; Plutarch, Aristeides, c. 18.

Отрывок Фукидида здесь очень важен, поскольку в значительной степени подтверждает утверждение Геродота и позволяет нам оценить критику Плутарха, в данном конкретном случае весьма правдоподобную (De Herodoti Malign. pp. 865, 866). Последний, по-видимому, скопировал у потерянного беотийского автора по имени Аристофан, который пытался представить более почетное дело для своих соотечественников в связи с их поведением в персидской войне.

Утверждение Диодора, -Θηβαίων ἀπὸ τῆς ἐτέρας μέριδος ὡς τετρακόσιοι, - иллюстрируется действиями коркирского правительства (Thucyd. iii, 75), когда они призвали на службу своих врагов, чтобы прогнать их прочь: также и у итальянских кумæ (Dionys. Hal. vii, 5).

[135] Diodor. xi, 4.

[136] Herodot. viii, 30.

[137] Herodot. vii, 203. λέγοντες δι' ἀγγέλων, ὡς αὐτοὶ μὲν ἤκοιεν πρόδρομοι τῶν ἄλλων, οἱ δὲ λοιποὶ τῶν συμμάχων προσδόκιμοι πᾶσάν εἰσι ἡμέρην- ... καὶ σφί εἴη δεινὸν οὐδέν- οὐ γὰρ θεὸν εἶναι τὸν ἐπίοντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλ' ἄνθρωπον- εἶναι δὲ θνητὸν οὐδένα, οὐδὲ ἔσεσθαι, τῷ κακὸν ἐξ ἀρχῆς γινομένῳ οὐ συνεμίχθη, τοῖσι δὲ μεγίστοισι αὐτέων, μέγιστα- ὀφείλιν ὦν καὶ τὸν ἐπελαύνοντα, ὡς ἑόντα θνητὸν, ἀπὸ τῆς δόξης πεσέειν ἄν.

[138] Herodot. vii, 206. Только дорийские государства (Лакедемон, Аргос, Сикион и др.) были обязаны воздерживаться от агрессивных военных действий в течение месяца карнейского праздника: другие государства (даже в Пелопоннесе), Элис, Мантинея и т. д., и, конечно, Афины, не были подвержены подобным ограничениям (Thucyd. v, 54, 75).

[139] Josephus, Bell. Judaic. i, 7, 3; ii, 16, 4; ibid. Antiqq. Judaic. xiv, 4, 2. Если на их тела нападали в субботу, евреи защищались; но они не нарушали религиозных обязанностей этого дня, чтобы помешать военным действиям осаждающих. См. Reimar. ad Dion. Cass. lxvi, 7.

[140] Herodot. vii, 206; viii, 40.

[141] Herodot. vii, 212, 216, 218.

[142] Herodot. vii, 207.

[143] Herodot. viii, 1, 2, 3. Диодор (xi, 12) увеличивает число афинян на двадцать трирем.

[144] Herodot. vii, 180. τάχα δ' ἂν τι καὶ τοῦ ὀνόματος ἐπαύροιτο.

Относительно влияния имени и его этимологии, в данном случае несчастливой для обладателя, сравните Herodot. ix, 91; и Tacit. Hist. iv, 53.

[145] Для использования огненных сигналов, сравните Ливий, ххviii, 5; и открытие Агамемнона Эсхила, и той же пьесы, v. 270, 300; также Фукидид, iii, 22-80.

[146] Herodot. vii, 181, 182, 183.

[147] Herodot. vii, 184. μέχρι μὲν δὴ τούτου τοῦ χώρου καὶ τῶν Θερμοπυλέων, ἀπαθὴς τε κακῶν ἦν ὁ στρατὸς, καὶ πλῆθος ἦν τηνικαῦτα ἔτι τόσον, etc.-viii, 13. ἐποίετο δὲ πᾶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ὅπως ἂν ἐξισωθείη τῷ Ἑλληνικῷ τὸ Περσικόν, μηδὲ πολλῷ πλέον εἶη. Сравните viii, 109; и Diodor. xi, 13.

[148] Herodot. vii, 178. Δελφοὶ δὲ δεξάμενοι τὸ μαντήϊον, πρῶτα μὲν, Ἑλλήνων τοῖσι βουλομένοισι εἶναι ἐλευθέροισι ἐξηγγείλαν τὰ χρησθέντα αὐτοῖσι- καὶ σφι δεινῶς καταρρώδέουσι τὸν βάρβαρον ἐξαγγείλαντες, χάριν ἀθάνατον κατέθεντο.

[149] Herodot. vii, 189. Язык историка в этой главе примечателен: его недоверчивый разум скорее берет верх над религиозным согласием.

Клеменс Александрин, перечисляя этот случай вместе с некоторыми другими чудесами Икуса, Аристия, Эмпедокла и т. д., обличает своих языческих противников в непоследовательности, когда они, веря им, отвергают чудеса Моисея и пророков (Stromat. vi, pp. 629, 630).

[150] Перевал, через который прошел Ксеркс, находился у Петры, Пифии и Олооссона, - "saltum ad Petram", "Perrhaebiae saltum" (Livy, xlv, 21; xlv, 27.) Петра находилась недалеко от того места, где дорога проходила из Пиерии, или нижней Македонии, в верхнюю Македонию (см. Livy, xxxix, 26).

Сравните с этим перевалом и общими чертами соседней страны полковника Лика, Путешествия по Северной Греции, том iii, гл. xviii, стр. 337-343, и гл. xxx, стр. 430; также Буэ, La Turquie en Europe, том i, стр. 198-202.

Фракийский царь Ситалкес, как и Ксеркс в этом случае, в начале Пелопоннесской войны был вынужден вырубить леса, чтобы проложить дорогу для своей армии (Thucyd. ii, 98).

[151] Herodot. vii, 130, 131. То, что Ксеркс, пораженный видом Олимпа и Оссы, отправился посмотреть на узкий провал между ними, достаточно вероятно; но замечания, вложенные в его уста, вероятно, являются фантазией какого-то изобретательного современного грека, навеянной

сопоставлением такого пейзажа и такого монарха. Предположить, что это узкое ущелье обнесено стеной, было легко для воображения любого зрителя: предположить, что *он* мог приказать это сделать, было в характере монарха, который распоряжался неограниченным количеством ручного труда и только что закончил вырубку Афона. Такого драматического соответствия было вполне достаточно, чтобы превратить то, что *могло быть* сказано, в то, что *было* сказано, и обеспечить ему место среди исторических анекдотов, дошедших до Геродота.

[152] Персидский флот покинул Термы только через одиннадцать дней после Ксеркса и его сухопутного войска (Herodot. vii, 183); он прибыл через день на Sêrias Aktê, или юго-восточное побережье Магнесии (ibid.), затем подвергся нападению урагана и бедствовал в течение трех дней (vii, 191), и сразу после этого направился к Aphetæ (vii, 193). Когда он прибыл в эти места, сам Ксеркс *уже три дня* находился на территории Малии (vii, 196).

[153] Эта точка зрения изложена Хоффмайстером, Sittlich-religiöse Lebensansicht des Herodotos, Essen, 1832, sect. 19, p. 93.

[154] Herodot. vii, 196, 197, 201.

[155] Diodor. xi, 12.

[156] Диодор (xi, 12), Плутарх (Themistoklês, 8) и Маннерт (Geogr. der Gr. und Römer, vol. vii, p. 596), по-видимому, рассматривают Скепиас как *мыс*, юго-восточный угол Магнезии: Это отличается от Геродота, который упоминает его как линию некоторой протяженности (ἄπασα ἡ ἀκτὴ ἡ Σηπιάς, vii, 191), и отдельно отмечает τὴν ἄκρην τῆς Μαγνησίας, vii, 193.

География Аполлония Родия (i, 560-580) кажется печально неточной.

[157] Herodot. vii, 189-191.

[158] Herodot. vii, 191. В этом случае, как и в отношении молитв, обращенных афинянами к Борею, Геродот допускает слабый намек на скептицизм, чтобы избежать его: ἡμέρας γὰρ δὴ ἐχεΐμαζε τρεῖς-τέλος δὲ, ἔντομά τε ποιεῦντες καὶ καταεΐδοντες γόοισι τῷ ἀνέμῳ οἱ Μάγοι, πρὸς τε τοῦτοις, καὶ Θέτι καὶ τῇσι Νηρηΐσι θύοντες, ἔπαυσαν τετάρτη ἡμέρῃ- ἢ ἄλλως κως αὐτὸς ἐθέλων ἐκόπασε.

[159] Herodot. vii, 194.

[160] Herod. vii, 208, 210. πέμπει ἐς αὐτοὺς Μήδους τε καὶ Κισσίου θυμωθεὶς, ἐντειλάμενός σφεας ζωγρήσαντας ἄγειν ἐς ὄψιν τὴν ἐωῦτοῦ.

[161] Diodor. xi, 4.

[162] Herodot. vii, 174; viii, 29-32.

[163] Diodor. xi, 6.

[164] Herodot. vii, 211; ix, 62, 63; Diodor. xi, 7: сравните Æschyl. Pers. 244.

[165] Herodot. vii, 212. Ἐν ταύτῃσι τῇσι προσόδοισι τῆς μάχης λέγεται βασιλέα, θεούμενον, τρεῖς ἀναδραμεῖν ἐκ τοῦ θρόνου, δείσαντα περὶ τῇ στρατίῃ. См. Гомер, Илиада, xx, 62; Æschyl. Pers. 472.

[166] Herodot. vii, 213, 214; Diodor. xi, 8.

Ктесий утверждает, что именно два могущественных человека из Трахиса, Каллиадес и Тимафернес, открыли Ксерксу горную тропу (Persica, c. 24).

[167] Herodot. vii, 217, 218. ἡὼς τε δὴ διέφαινε-ἦν μὲν δὴ νηνεμία, ψόφου δὲ γενομένου πολλοῦ и т. д.

Не могу удержаться, чтобы не переписать замечание полковника Лика: "*Спокойствие рассвета*, которое спасло фокийцев от неожиданности, очень характерно для климата Греции в тот сезон, когда это произошло, и, как и многие другие пустяковые обстоятельства, встречающиеся в истории персидского вторжения, является интересным доказательством точности и правдивости историка". (Путешествия по Северной Греции, т. ii, с. x, p. 55).

[168] Herodot. vii, 216, 217.

[169] Diodor. xi, 9.

[170] Herodot. vii, 219. ἐνθαῦτα ἐβουλευόντο οἱ Ἕλληνες, καὶ σφεων ἐσχίζοντο αἱ γυνῶμαι.

[171] Herodot. vii, 104.

[172] Herodot. vii, 220. Ταύτη καὶ μᾶλλον τῇ γνώμῃ πλεῖστός εἰμι, Λεωνίδην, ἐπεὶ τε ἦσθετο τοὺς συμμάχους ἐόντας ἀπροθύμους, καὶ οὐκ ἐθέλοντας συνδιακινδυνεύειν, κελεῦσαί σφεας ἀπαλλάσσεσθαι- αὐτῷ δὲ ἀπιέναι οὐ καλῶς ἔχειν- μένοντι δὲ αὐτοῦ κλέος μέγα ἐλείπετο, καὶ ἡ Σπάρτης εὐδαιμονίῃ οὐκ ἐξηλείφετο.

Сравните аналогичный акт благородной самоотверженности, совершенный при менее заметных обстоятельствах лакедемонским полководцем Анаксибием, когда афиняне под командованием Ификрата застали его врасплох на территории Абида (Xenophon. Hellenic. iv, 8, 38). Он и двенадцать лакедемонских гарматов отказались думать о безопасности бегства. Он сказал своим людям, когда сопротивление было безнадежным: Ἄνδρες, ἐμοὶ μὲν καλὸν ἔνθαδε ἀποθανεῖν- ὑμεῖς δὲ, πρὶν συμμίζειν τοῖς πολεμίοις, σπεύδετε εἰς τὴν σωτηρίαν.

[173] Herodot. vii, 221. Согласно Плутарху, там же находились два человека, принадлежавшие к роду Гераклидов, которых Леонид хотел укрыть в безопасности и поэтому дал им депешу, чтобы отнести домой. Они с негодованием отказались и остались, чтобы погибнуть в бою (Plutarch. Herodot. Malign. p. 866).

[174] Последующее бедственное положение выживших феспийцев болезненно иллюстрируется тем фактом, что в битве при Платее в следующем году у них не было тяжелых доспехов (Herodot. ix, 30). После окончательного отпора Ксеркса они были вынуждены набирать свой город за счет приема новых граждан (Herodot. viii, 75).

[175] Herodot. vii, 222. Θηβαῖοι μὲν ἀέκοντες ἔμενον, καὶ οὐ βουλόμενοι, κατεῖχε γὰρ σφεας Λεωνίδης, ἐν ὁμήρων λόγῳ ποιεύμενος. Как могли эти фиванцы служить заложниками? От какого зла они должны были охранять Леонида или какие преимущества они могли ему дать? Невольные товарищи в таком случае были бы отнюдь не желательны. Плутарх (De Herodot. Malign. p. 865) сурово критикует это утверждение Геродота, причем на весьма благовидных основаниях: среди множества несправедливых критических замечаний в его трактате это - одно из немногих исключений.

Сравните Диодор, xi, 9; и Pausan. x, 20, 1.

Конечно, фиванцы, принимавшие впоследствии активное участие в сражении с Ксерксом, были заинтересованы в том, чтобы представить, что их контингент сделал как можно меньше против него, и, возможно, распространили историю о том, что Леонид держал их в качестве заложников. Политика Фив *перед* битвой при Фермопилах была по сути двуличной и двусмысленной: они не решались открыто выступить против греков до прихода Ксеркса.

Восемьдесят микенцев, как и другие пелопоннесцы, имели за спиной Коринфский перешеек как пост, дававший хорошие шансы на оборону.

[Рассказ Диодора (xi, 10) о том, что Леонид напал на персидский лагерь ночью и почти проник в царский шатер, из которого Ксеркс был вынужден внезапно бежать, чтобы спасти свою жизнь, а греки, устроив огромную резню в лагере, были в конце концов побеждены и убиты, - не согласуется с Геродотом и должен быть решительно отвергнут. Юстин, однако (ii, 11), и Плутарх (De Herodot. Malign. p. 866), следуют ему. Риторика Диодора не способствует укреплению доказательств в его пользу. Плутарх написал или собирался написать биографию Леонида (De Herodot. Mal. ibid.); но она не сохранилась.

[177] Herodot. vii, 225.

[178] Herodot. vii, 226.

[179] Herodot. vii, 224. ἐπιθόμην δὲ καὶ ἀπάντων τῶν τριακοσίων. Pausanias, iii, 14, 1. Ежегодные празднества с панегирической орацией и гимнастическими состязаниями все еще отмечались даже в его время в честь Леонида, совместно с Павсанием, чья последующая измена запятнала его лавры, приобретенные в Платее. Примечательно и не совсем соответствует спартанским чувствам, что два царя должны были стать партнерами в одних и тех же общественных почестях".

[180] Herod. vii, 229. Ἀριστόδημον-λεῖποψυχέοντα λειφθῆναι-ἀλγήσαντα ἀπονοστήσαι ἐς Σπάρτην. Комментаторы недоброжелательно относятся к Аристодексу, переводя эти эпитеты как "animo deficientem, timidum, pusillanimum", считая, что ἐλειποψύχησθαι предсказывается Фукидидом (iv, 12) даже в отношении галантного Брасидаса. Геродот вряд ли намеревался подразумевать что-то похожее на пассионарность, а скорее эффект сильных физических страданий. Однако, похоже, существуют разные версии о причине, которая не позволила Аристодеку принять участие в битве.

История другого солдата, по имени Пантитес, который, будучи послан Леонидом в Фессалию, не вернулся вовремя к битве и был так опозорен, вернувшись в Спарту, что повесился, - приведенная Геродотом в качестве отчета, мало заслуживает доверия. Маловероятно, чтобы Леонид отправил посланника в Фессалию, занятую персами: кроме того, позор Аристодема Геродот объясняет разницей между его поведением и поведением его товарища Эврита, тогда как Пантиц стоял особняком.

[181] См. историю об одиноком афинском гражданине, который вернулся домой один, после того как все его товарищи погибли в злополучной экспедиции на остров Эгина. Вдовы убитых воинов столпились вокруг него, каждая спрашивала, что случилось с ее мужем, и в конце концов предали его смерти, уколов своими личинами (Herodot. v, 87).

В страшной битве при святом Иакове на Бирсе, близ Базеля (август 1444 года), где пятнадцать сотен швейцарцев переправились через реку и напали на сорок тысяч французов и немцев под командованием дофина Франции, несмотря на сильные уговоры своих командиров, - все они были убиты, после подвигов непревзойденной доблести и больших потерь для врага, кроме шестнадцати человек, которые отступили от своих соотечественников при переправе через реку, считая предприятие отчаянным. Эти шестнадцать человек по возвращении подверглись невыносимому презрению и едва избежали казни (Vogelin, Geschichte der Schweizer Eidgenossenschaft, vol. i, ch. 5, p. 393).

[182] Herodot. vii, 233; Plutarch, Herodot. Malign. p. 867. Беотийская история Аристофана, цитируемая последним, утверждает, что она частично основана на мемориях, расположенных в соответствии с последовательностью магистратов и генералов -ἐκ τῶν κατὰ ἄρχοντας ὑπομνημάτων ἱστορήσθαι.

[183] Herodot. vii, 235.

[184] Herodot. vii, 236.

[185] Herodot. vii, 237. "Гражданин, - замечает Ксеркс, - действительно по природе своей завидует другому, более удачливому, чем он сам, и, если к нему обращаются за советом, утаивает то, что ему больше по душе, если только он не человек очень редкой добродетели. Но иностранный друг обычно искренне сочувствует удаче другого иностранца и даст ему лучший совет, какой только в его силах, когда его попросят".

[186] Plutarch, Themistoklês, c. 7; Herodot. viii, 5, 6.

[187] Несколько примечательно выражение Геродота: Οὔτοί τε δὴ πληγέντες δώροισι (Eurybiadês, Adeimantus, etc.), ἀναπεπαισμένοι ἦσαν, καὶ τοῖσι Εὐβοέεσι ἐκεχάριστο- αὐτός τε ὁ Θεμιστοκλῆς ἐκέρδηνε, ἐλάνθανε δὲ τὰ λοιπὰ ἔχων.

[188] Геродот. viii, 20. Ибо эвбейцы, злоупотребляя оракулом Бацида, не сказали ничего, ни того, что они сделали, ни того, что они сделали, ни того, чего они не сделали, как будто они были на пути войны; и они сами сделали разрывы в своих руках. Ибо оракул не имеет прорицания относительно этих вещей.

Фразео, варварский голос, когда он тяжел во всем мире.

Библинон, Эвбея находится за много миль.

И не бывает такого, и не употребляется такая вещь в такое время, тогда она будет сделана, и ожидание будет дурным, и это будет превосходнейшее употребление".

[189] Herodot. viii, 6. и пусть они (греки) уйдут; и пусть они не будут сожжены, из-за тех (персов).

[190] Herodotus. viii, 7, 8. Замечательные истории рассказывались о мастерстве Скиллии как ныряльщика.

[191] Диодор, xi, 12.

[192] Herodot. viii, 9. сохранив дневной косой пример, они вернулись на варваров, пытаясь убить их, остановив битву и состязание.

[193] Сравните описание в Thucyd. ii, 84 морского сражения между афинским флотом под командованием Формиона и лакедемонским флотом, где корабли последнего выстроены в таком же порядке.

[194] Herodot. viii, 11. πολλὸν παρὰ δόξαν ἀγωνισάμενοι-εὐεργετικῶς ἀγωνιζομένους, etc.

[195] Herodot. viii, 12, 13, 14; Diodor. xi, 12.

[196] Herodot. viii, 17, 18.

[197] Herodot. viii, 18. пустыня, т.е. пустыня в пределах Греции.

[198] Herodot. viii, 19, 21, 22; Plutarch, Themistoklês, c. 9.

[199] Herodot. viii, 24, 25. Ты, однако, не заставил провозгласителей Ксеркса провозгласить эти вещи относительно мертвой Евдокии, ибо даже так, и это было смешно, и т.д.

[200] О численности греков в Фермопилах см. Herodot. vii, 202; Diodorus, xi, 4; Pausanias, x, 20, 1; и Manso's Sparta, vol. ii, p. 308; Бейладж 24.

Исократес говорит об одной тысяче спартанцев с несколькими союзниками, Панегирик, Ор. iv, p. 59. Он также упоминает только шестьдесят афинских военных кораблей при Артемизиуме: на самом деле, его численные данные не заслуживают особого внимания.

[201] Herodotus. vii, 228.

[202] Herodotus. viii, 40, 71, 73.

[203] Herodot. viii, 66. Диодор называет битву при Фермопилах *Кадмейской победой* Ксеркса, что верно только по букве, но не по духу: он, несомненно, потерял больше людей на перевале, чем греки, но преимущество, которое он получил, было огромным (Diodor. xi, 12); и сам Диодор описывает ужас греков после этого события (xi, 13-15).

[204] Plutarch, De Herodot. Malignit. p. 864; Herodotus. viii, 34.

[205] Herodotus. viii, 44, 50.

[206] Herodotus. viii, 66.

[207] Thucyd. i, 69. мы видели, как те же мидоны, прежде чем прийти в Пелопоннес, сами пришли с концов земли, до того, как там появились достойные их вещи.

[208] Herodot. viii, 71.

[209] Herodot. viii, 74.

[210] Herodot. vii, 139.

[211] Plutarch, Themistoklês, с. 9. если гнев предательства овладел афинянами, но если недовольство и уныние овладели людьми.

Herodot. viii, 40. ибо они не знали пелопоннесцев, которых в Беотии заменили варвары, и один из них не оказал никакой пощады, но в их руках был Пелопоннесский перешеек, а остальные были в тюрьме, а остальные были в тюрьме.

Thucyd. i, 74. οτε γουν ημεν (мы, афиняне) ετι σωοι, ου παρεγινεσθεθε (спартанцы).

И Лисий (Oratio Funebr. с. 8), и Исократес гордятся тем, что афиняне, несмотря на предательство, никогда не думали о том, чтобы заключить с Ксерксом отдельные условия (Panegyric, Or. iv. p. 60). Но нет оснований полагать, что Ксеркс предоставил бы им отдельные условия: его особая месть была направлена именно против них. Исократес спутал в своем сознании поведение афинян, когда они отказались от предложений Мардония в год, следующий за битвой при Саламине, с их поведением перед битвой при Саламине против Ксеркса.

[212] Herodotus. viii, 40-42.

[213] Plato, Legg. iii, p. 699.

[214] Herodot. viii, 66, 67. Таким образом, было мало времени для разбора и выноса мебели, о чем упоминает Фукидид, i, 18-διανοηθέντες εκλίπτειν το πόλιν και ανασκευασάμενοι, etc.

[215] Herodot. viii, 41; Plutarch, Themistoklês, с. x.

В 1821 и 1822 годах, во время борьбы, предшествовавшей освобождению Греции, афиняне были вынуждены трижды покидать свою страну и искать убежища в Саламине. Об этих инцидентах интересно и поучительно рассказывает д-р Уоддингтон в своем "Визите в Грецию" (Лондон, 1825), Письма, vi, vii, x. Он говорит, стр. 92: "Трижды афиняне эмигрировали в полном составе и искали убежища от сабли среди бездомных скал Саламиса. В этих случаях, я уверен, многие жили в пещерах, а многие в жалких хижинах, построенных на склоне горы их собственными слабыми руками. Многие погибли также от воздействия нестерпимого климата; многие - от болезней, вызванных отвратительностью их жилищ; многие от голода и нищеты. Когда турки отступили, оставшиеся в живых вернулись в свою страну, но в какую страну они вернулись? В страну запустения и голода; и на самом деле, при первом повторном захвате Афин, после ухода Омера Бриони, несколько человек, как известно, некоторое время питались травой, пока в Пирей из Сиры и Гидры не поступили поставки кукурузы".

Полтора века назад, также во время войны между турками и венецианцами, население Аттики было вынуждено эмигрировать в Саламин, Игину и Коринф. М. Бушон отмечает: "Албанские трупы, посланные в 1688 году турками (во время войны с венецианцами), обрушились на Аттику, встречая все в огне и пении. В 1688 году в хрониках Атена рассказывается, что его злосчастные жители были вынуждены бежать в Саламин, Эгин и Коринф, и что только через три года они смогли арендовать часть своего города и своих полей. Многие деревни в Аттике до сих пор населены отступниками из этих черных врагов, и до последней революции они говорили только на албанском языке: но их физиономия отличается от физиономии греческой расы". (Buchon, *La Grèce Continentale et la Morée*. Paris, 1843, ch. ii, p. 82.)

[216] Павсаний, кажется, считает этих бедняг несколько самонадеянными за то, что они претендовали на понимание оракула лучше, чем Фемистоклес, - Афинею им теперь что ες χρησμον η Θεμιστοκλῆς εἰδέναι νομίζοντας (i, 18, 2).

[217] Herodotus. viii, 50.

[218] Thucyd. ii, 16, 17.

[219] Плутарх, Фемистоклес, с. 10, 11; и Кимон, с. 5.

[220] Был ли это тот случай, который имел в виду Аристотель (Politic. v, 3, 5), мы не можем определить.

[221] Плутарх, Фемистоклос, с. х.

[222] Herodotus. ix, 99.

[223] Herodotus. viii, 43-48.

[224] *Æschylus*, *Persæ*, 347; [224] *Æschylus*, *Persæ*, 347; Геродот, viii, 48; vi, 9; Павсаний, i, 14, 4. Общее число, которое Геродот объявляет, - триста семьдесят восемь; но предметы, которые он приводит, при суммировании составляют только триста шестьдесят шесть. Кажется, нет способа примирить это несоответствие, кроме как путем какого-то насильственного изменения, которое мы не можем оправдать.

Ктесий утверждает, что число военных кораблей персов в Саламине превышало тысячу, а греков - семьсот (Persica, с. 26).

Афинский оратор в Фукидиде (i, 74) называет общую численность греческого флота при Саламине "почти четырьмястами кораблей, а афинский контингент несколько меньше *двух частей от* этого общего числа (ναὺς μὲν γὰρ ἐς τὰς τετρακοσίας ὀλίγω ἐλάσσους τῶν δύο μοιρῶν)".

Схолиаст, а также Поппо и большинство комментаторов этого отрывка трактуют τῶν δύο μοιρῶν как означающее, несомненно, *две части из трех*: и если смысл таков, то я должен согласиться с д-ром Арнольдом, считая это утверждение простым преувеличением оратора, вовсе не пользующимся авторитетом самого Фукидида. Но я не думаю, что здесь нас подталкивают к такой необходимости; ибо конструкция Дидо и Гёллера, хотя доктор Арнольд и называет ее "самой несомненной ошибкой", представляется мне вполне приемлемой. Они утверждают, что αἱ zweί μοῖραι не обязательно означает две части *из трех*: в Thucyd. i, 10, мы находим καὶ τοὶ Πελοποννήσου из пяти τὰς δύο μοῖρας νέμονται, где эти слова означают *две части из пяти*. Теперь в рассматриваемом нами отрывке мы имеем ναὺς μὲν γὰρ ἐς τὰς τετρακοσίας ὀλίγω ἐλάσσους τῶν zweί μοιρῶν: и Дидо и Гёллер утверждают, что в слове τετρακοσίας подразумевается четвертичное деление всего числа, - четыре *сотых* или *сотых частей*: так что весь смысл был бы: "В совокупность *четырёх сотен* кораблей мы внесли нечто меньшее, чем *два*." Слово τετρακοσίας, эквивалентное τέσσαρας εκατοντάδας, естественно, включает общую идею τέσσαρας μοῖρας: и это привело бы отрывок в точную аналогию с приведенным выше, - τῶν πέντε τὰς δύο μοῖρας. При всем уважении к суждению доктора Арнольда об авторе, которого он так долго изучал, я не могу войти в основания, на которых он объявил это толкование Дидо и Гёллера "несомненной ошибкой". Преимущество этого толкования в том, что оно приводит утверждение оратора Фукидида в гармонию с Геродотом, который утверждает, что афиняне снарядили сто восемьдесят кораблей при Саламине.

Там, где такая гармония может быть обеспечена допустимой конструкцией существующих слов, это несомненное преимущество, и оно должно считаться причиной в деле, если есть сомнения между двумя допустимыми конструкциями. Но с другой стороны, я протестую против изменения числовых утверждений одного автора, просто для того, чтобы привести его в согласие с другим, и без какого-либо существенного основания в самом тексте. Так, например, в этом самом отрывке Фукидида Блумфилд и Поппо предлагают изменить τετρακοσίας на τριακοσίας, чтобы Фукидид был в согласии с Эсхилом и другими авторами, но не с Геродотом; в то время как Дидо и Гёллер изменили бы τριακοσίῳ на τετρακοσίῳ в Demosthenes de Coronâ (с. Подобные правки кажутся мне недопустимыми в принципе: мы не должны приводить в согласие разных свидетелей, ретушируя их высказывания.

[225] Геродот. viii, 26. Παπай, Μαρδωνίη, Κεῖ ο σπαρασσόμενοι ἐν τῇ ὁρῶντι τῶν ἀνδρῶν, οἵτινες σπαρασσόμενοι οὐκ ἐπὶ χρήματι, ἀλλ' ἐπὶ ἀρετῇ".

[226] Herodotus. viii, 30.

[227] Herodotus. viii, 28, 29.

[228] Herodotus. viii, 32-34.

[229] Herodot. viii, 38, 39; Diodor. xi, 14; Pausan. x, 8, 4.

Сравните рассказ Павсания (x, 23) о последующем отступлении Бреннуса и галлов из Дельф: в его рассказе отступление не является исключительно делом рук богов, как у Геродота: в защите храма участвует большее число людей, хотя и с большой помощью божественного

вмешательства: есть потери с обеих сторон. Упоминается аналогичный спуск по скалам с вершины.

Описание дороги, по которой шли персы, и крайнего срока их продвижения см. в Ulrichs, *Reisen und Forschungen in Griechenland*, ch. iv, p. 46; ch. x, p. 146.

Вблизи этого места до сих пор можно увидеть множество огромных каменных и скальных глыб, которые скатились с вершины и напоминают путешественнику об этих проходах.

Описанное здесь нападение на Дельфийский храм, совершенное по приказу Ксеркса, нелегко согласовать со словами Мардония, Herodot. ix, 42: еще меньше его можно согласовать с утверждением Плутарха (Numa, c. 9), который говорит, что Дельфийский храм был сожжен мидянами.

[230] Herodotus. viii, 52.

[231] Pausanias, i, 22, 4; Kruse, *Hellas*, vol. ii, ch. vi, p. 76. Эрнст Курциус (*Die Akropolis von Athens*, p. 5, Berlin, 1844) говорит, что плато акрополя выше города на четыреста футов: Фидлер утверждает, что оно на сто семьдесят восемь саженей, или тысячу шестьдесят восемь футов выше уровня моря (*Reise durch das Königreich Griechenland*, i, p. В ценной "Топографии Афин" полковника Лика я не нашел никаких четких данных о высоте акрополя. Мы должны понимать заявление Крузе, если он и Курций правы, как относящееся только к обрывистой и труднодоступной части всей скалы.

[232] Афинская легенда представляет амазонок как занявших пост на Ареопаге и укрепивших его в качестве средства для нападения на акрополь, -ἀντεπύρωσαν (Æschyl. *Eumenid.* 638).

[233] Herodot. viii, 52, 53. ... Продвинувшись перед акрополем, он вернулся к воротам и подъему, не тронул их и не надеялся, что народ не поднимется к ним, но они поднялись к железу Кекопоса, дочери Аглауры, дочери Кекопоса, которая покинула все место.

То, что Аглаурион находился на северной стороне акрополя, представляется очевидным; см. Leake, *Topography of Athens*, ch. v, p. 261; Kruse, *Hellas*, vol. ii, ch. vi, p. 119; Forchhammer, *Topographie Athens*, pp. 365, 366; in *Kieler Philologischen Studien*, 1841. Siebelis (в *Плане Афин*, приложенном к его изданию Павсания, и в его примечании к Павсанию, i, 18, 2) ошибочно помещает Аглаурион на восточной стороне акрополя.

Выражение εἰς τὴν ἀκροπόλιν, по-видимому, относится к положению персидской армии, которая, естественно, должна была занять северный и западный фронты акрополя: поскольку они достигли Афин с севера, а западная сторона обеспечивала единственный регулярный доступ. Холм, называемый Ареопагом, таким образом, находился бы почти в центре их позиции. Форххаммер неудовлетворительно объясняет эти выражения.

[234] Herodotus. viii, 52, 53.

[235] Herodot. i, 84.

[236] Herodot. v, 102; viii, 53-99; ix, 65. он видел в теопорте всю Аттику, которая родилась на континенте под Персией.

[237] Herodotus. viii, 55-65.

[238] Herodot. viii, 66. Полковник Лик замечает по поводу этого утверждения (*Athens and the Demi of Attica*, App. vol. ii, p. 250): "*Около тысячи кораблей* - это наибольшая точность, на которую мы можем претендовать при определении силы персидского флота при Саламине:

из них следует вычесть, при оценке количества кораблей, участвовавших в битве, те, что были посланы занять Мегарический пролив Саламины, в количестве двухсот штук".

Оценка полковника Лика кажется несколько ниже вероятной реальности. Я также не верю утверждению Диодора, что корабли были отряжены для занятия Мегарического пролива: см. [примечание](#) ниже.

[239] Картина, нарисованная в "Киропедии" Ксенофонта, представляет подданных Персии как бездуховных и не обученных войне (ἀνάλκιδες καὶ ἀσύντακτοι) и даже намеренно оставленных такими, образуя контраст с коренными персами (Xenophon, Cyropæd. viii, 1, 45).

[240] Herodotus. viii, 68, 69, 70.

[241] Herodotus. viii, 70.

[242] Herodotus. viii. 49, 50, 56.

[243] Herodotus. viii, 57. Поэтому, если вы не оскверните острова от Саламина, то не будете сражаться ни за одну из своих родин; ибо у города каждый боится и т. д. Сравни vii, 139, и Thucyd. i, 73.

[244] Herodotus. viii, 58, 59. Рассказ Геродота об этих памятных дебатах, предшествовавших битве при Саламине, в основном отчетлив, поучителен и последователен. Он более правдоподобен, чем рассказ Диодора (xi, 15, 16), который утверждает, что Фемистоклу удалось полностью убедить Эврибиадеса и пелопоннесских вождей в целесообразности сражения при Саламине, но, несмотря на все их усилия, вооружение не послушалось их и настаивало на отходе к перешейку. И это заслуживает еще большего уважения, если мы сравним его с вольными и небрежными рассказами Плутарха и Корнелия Непоса. Плутарх (Themist. c. 11) описывает сцену так, будто Эврибиадес был человеком, который хотел сдержать бесцеремонность и ораторское искусство Фемистокла, и с этой целью сначала сделал ему замечание, приведенное в моем тексте из Геродота, на что Фемистокл ответил тем же, - затем поднял свою палку, чтобы ударить Фемистокла, на что тот обратился к нему с известным замечанием: "Ударь, но выслушай меня" (Πάταξον μεν, ἀκουσον δέ.) Ларшер выражает удивление, что Геродот *умолчал* о столь впечатляющем анекдоте, как этот последний: но из характера его рассказа ясно видно, что он не мог его слышать. В рассказе Геродота Фемистокл не наносит Эврибиадесу никакой обиды, и тот нисколько не недоволен им: более того, Эврибиадес даже поддается уговорам Фемистокла и склоняется к его взглядам. Те, кого Геродот изображает разгневанными на Фемистокласа, - это пелопоннесские вожди, особенно Адеимант Коринфский. Они тоже разгневаны, и, надо сказать, не без веской причины: только что большинство после всестороннего обсуждения приняло официальное решение; и вот вождь меньшинства уговаривает Эврибиадеса возобновить все прения: небезосновательный повод для недовольства. Более того, именно *Адеймант*, а не *Эврибиадес*, обращается к Фемистоклу с замечанием, что "тех, кто встает до надлежащего сигнала, бичуют": он делает это замечание потому, что Фемистокл продолжает говорить с различными вождями, пытаясь их убедить, *до того, как* дела собрания были официально открыты. Фемистокл навлекает на себя порицание тем, что грешит против порядка ведения дел и говорит раньше положенного времени. Но Плутарх вкладывает это замечание в уста Эврибиадеса без каких-либо предшествующих обстоятельств, оправдывающих его, и без всякого соответствия. Его рассказ представляет Эврибиадеса как человека, который стремился как перевести корабли на перешеек, так и помешать Фемистоклу выступить против этого: хотя такая попытка пресечь аргументированное

противодействие со стороны командующего афинской эскадрой не заслуживает никакого доверия.

Д-р Бломфилд (ad Æschyl. Pers. 728) полагает, что история об Эврибиаде, угрожавшем Фемистоклесу своей палкой, возникла из рассказа Геродота, хотя самому Геродоту она была неизвестна. Я не могу считать это правильным, поскольку рассказ не вписывается в повествование этого историка: он не соответствует его представлению об отношениях между Эврибиадом и Фемистоклесом.

[245] Herodotus. viii, 61, 62. Выпейте из него, и вам будет хорошо; а если не выпьете, то низвергнете Грецию".

Все лучшие комментаторы рассматривают это как эллиптическую фразу - некоторые слова, такие как $\sigma\acute{\omega}\sigma\epsilon\iota\varsigma\ \tau\eta\nu\ \text{Ελλάδα}$ или $\kappa\alpha\lambda\omega\varsigma\ \alpha\nu\ \epsilon\chi\omicron\iota$, понимаются после $\alpha\gamma\alpha\theta\acute{o}\varsigma$. Я принимаю их конструкцию, не сомневаясь, что она верна.

[246] Herodotus. viii, 64. Даже перисаламитяне, находившиеся в Саламине, были на грани срыва, в то время как Эврибиадис был восхищен, и они приплыли к нему как потерпевшие кораблекрушение.

[247] Herodotus. viii, 74. До сих пор не было ни одного человека, и они пасли мерзости Еврибиадиса; наконец он вырвался на середину, и их было много, и о них много говорили и т. д. Сравни Плутарх, Фемист. с. 12.

[248] Ликург (cont. Leokrat. с. 17, р. 185) причисляет эгинетян к тем, кто стремился бежать из Саламина ночью, и им помешала только хитрость Фемистокла. Это большая ошибка, так как эти ораторы постоянно искажают факты своей прошлой истории. У эгинетян был не менее сильный интерес, чем у афинян, в сохранении флота вместе и в сражении при Саламине.

[249] Плутарх (Themistoklês, с. 12) называет Сикинна *персом по происхождению*, что не может быть правдой.

[250] Herodotus. viii, 75.

[251] Thucyd. i, 137. Любопытно сравнить это с Æschylus, Persæ, 351, seq. См. также Herodotus. viii, 109, 110.

О конечной награде, которую персы дали Фемистоклесу, вполне мог бы сказать Исократес: $\Theta\epsilon\mu\iota\sigma\tau\omicron\kappa\lambda\acute{\epsilon}\alpha\ \delta',\ \sigma\varsigma\ \upsilon\pi\epsilon\rho\ \tau\eta\varsigma\ \text{Ελλάδος}\ \alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon\varsigma\ \kappa\alpha\tau\epsilon\nu\alpha\upsilon\rho\acute{\alpha}\chi\eta\sigma\epsilon,\ \tau\omega\nu\ \mu\epsilon\gamma\acute{\iota}\sigma\tau\omega\nu\ \delta\omega\rho\acute{\epsilon}\omega\nu\ \eta\acute{\xi}\iota\omega\sigma\alpha\nu$ (Panegyric, Or. iv, р. 74), - хотя этот оратор говорит так, будто ничего не знает о хитрости, с помощью которой Фемистоклес заставил греков сражаться при Саламине против их желания. См. ту же Орацию, с. 27, р. 61.

[252] Æschylus, Persæ, 370.

Геродот не упоминает об этой угрозе генералам и даже не замечает личного вмешательства Ксеркса, если речь идет о ночном движении персидского флота. Он рассматривает сообщение Сикиннуса как сделанное персидским генералам, а ночное движение - как предпринятое ими. Заявление современного поэта кажется более вероятным из двух: но он, как и следовало ожидать, опускает все упоминания об опасном разладе в греческом лагере.

[253] Диодор (xi, 17) утверждает, что египетская эскадра в составе флота Ксеркса была отряжена, чтобы перекрыть выход между Саламином и Мегаридой, то есть обогнуть юго-западный угол острова до северо-западного пролива, где северо-западный угол острова

отделен узким проливом от Мегары, недалеко от места, где впоследствии, во время Пелопоннесской войны, находился форт Будорум.

Геродот ничего не упоминает об этом движении, и его рассказ, очевидно, подразумевает, что греческий флот был закрыт к северу от города Саламис, а правое крыло персов оказалось между этим городом и Элевсисом. Движение, о котором сообщает Диодор, кажется мне ненужным и невероятным. Если бы египетская эскадра была размещена там, она была бы действительно далеко от места действия, но мы можем видеть, что Геродот считал, что они приняли фактическое участие в битве вместе с остальными (viii, 100).

[254] Herodotus. viii, 76. И так как сказанное было правдой, то на острове Пситалея, между Саламином и континентом, многие из персов были отброшены; и это потому, что они были в середине ночи, И рог вечерний пошел кругом к Саламину, и два, поставленные у Кеона и Киносира, и заняли весь пролив острова до Мунихи.

Ранее он указывал Фалерум как главную стоянку персидского флота, не обязательно имея в виду, что весь он находился там. В отрывке, который я только что переписал, говорится о том, что сделали персы для достижения своей цели - окружить греков в гавани Саламины, и первая его часть, где он говорит о западном (правильнее северо-западном) крыле, не представляет особых трудностей, хотя мы не знаем, как далеко простиралось западное крыло до начала движения. Вероятно, оно простиралось до гавани Пейреуса и оттуда начало свое ночное движение вдоль аттического побережья, чтобы выйти за город Саламис. Но вторую часть отрывка понять нелегко, где он говорит, что "те, кто стоял у Кеоса и Киносиры, тоже двинулись, и обложили своими кораблями весь пролив вплоть до Мунихии". Что это за места - Кеос и Киносира, и где они находились? Единственные известные места с такими названиями - это остров Кеос, расположенный недалеко к югу от мыса Суний в Аттике, и мыс Киносира на северо-восточном побережье Аттики, сразу к северу от Марафонского залива. Вряд ли можно предположить, что Геродот имел в виду этот последний мыс, который был бы слишком удален, чтобы сделать описанное им движение практически осуществимым: даже остров Кеос в некоторой степени подвержен тому же возражению, хотя и не в такой большой степени, поскольку он слишком удален. Поэтому Бартелими, Крузе, Бер и д-р Тирлуолл применяют названия Кеос и Киносира к двум мысам (самому южному и самому юго-восточному) острова Саламис, а Киперт воплотил их идею в своих недавно опубликованных картах. Но, во-первых, нет никаких оснований давать эти названия двум мысам на острове, и критики делают это только потому, что, по их словам, это необходимо для придания разумного смысла этому отрывку Геродота. Далее, если мы примем их предположение, то должны будем предположить, что *до начала этого ночного движения* персидский флот уже находился на части *острова Саламис*, что представляется мне крайне маловероятным. Какое бы место ни занимал этот флот перед ночным движением, мы можем быть уверены, что он не находился на острове, которым в то время владел враг: он был где-то на побережье Аттики, а названия Кеос и Киносира должны относиться к каким-то неизвестным пунктам в *Аттике*, а не в Саламисе. Поэтому я не могу принять предположение этих критиков, хотя, с другой стороны, Ларчер неудовлетворительно пытается устранить возражения, которые относятся к предположению о Кеосе и Киносире в общепринятом понимании. В этом случае трудно согласовать заявление Геродота с географическими соображениями, и я скорее подозреваю, что в данном случае историк был введен в заблуждение слишком большим желанием найти оракул Бакиса действительно исполненным. Именно с Бакиса он копирует имя Киносира (viii, 77).

[255] Herodotus. viii, 79, 80.

Геродот утверждает, несомненно правильно, что Аристеидес, сразу после того как он сделал сообщение синоду, ушел, не претендуя на участие в дебатах: Плутарх представляет его присутствующим и принимающим в них участие (Aristeidês, с. 9). Согласно Плутарху, Фемистокл желает, чтобы Аристеидес помог ему убедить Эврибиадеса: согласно Геродоту, Эврибиадес уже был убежден: это были пелопоннесские вожди, которые выступали против.

Подробности Геродота будут более достоверными и более последовательными, чем у Плутарха и более поздних авторов.

[256] [Æschylus](#), Pers. 473; [256] [Æschylus](#), Pers. 473; Геродот. viii, 90. Трон с серебряными ножками, на котором восседал Ксеркс, долгое время сохранялся в афинском акрополе, - его оставили при его отступлении. Арпократион, Ἀρποκράτιον δῖφρος.

Писатель, на которого ссылается Плутарх, - Акестодорус - утверждал, что резиденция Ксеркса была возведена не под горой Игалеос, а гораздо дальше к северо-западу, на границах Аттики и Мегарид, под горами, называемыми Керата (Плутарх, Фемистоклус, 13). Если этот писатель был знаком с топографией Аттики, мы должны предположить, что он приписал Ксерксу поразительно длинный вид: но мы, вероятно, можем принять это утверждение за образец той небрежности в географии, которой отличаются многие древние писатели. Ктесий признает Ἡρακλείου (Persica, с. 26)

[257] Herodotus. viii, 85; Diodorus. xi, 16.

[258] Herodotus. viii, 83; Плутарх (Themistoklês, с. 13; Aristeidês, с. 9; Pelopidas, с. 21). Плутарх рассказывает историю из Фании о происшествии за мгновение до действия, которую приятно найти достаточное основание для отвержения. Фемистокл вместе с пророком Евфрантидом приносил жертву у борта адмиральской галеры, когда на нее привели трех прекрасных юношей, племянников Ксеркса. Так как огонь в это время ярко пылал, а справа слышалось чихание, пророк велел Фемистоклу принести этих трех пленников в жертву Дионису Омкстесу, что под шум зрителей он и вынужден был сделать против своей воли. Так утверждает Плутарх в своей жизни Фемистокла; в своей жизни Аристеидеса он утверждает, что эти юноши были приведены пленниками из Пситалеи, когда Аристеидес напал на нее в начале действия. Аристеидес не нападал на Пситалею, пока морское сражение не было почти закончено, так что никакие пленники не могли быть приведены оттуда в начале действия: поэтому не могло быть персидских пленников для жертвоприношения, и эта история может быть отклонена как выдумка.

[259] Herodotus. viii, 84. и казалось, что они сражаются, так что, услышав лагерь греков, они заранее мечтали: "О бесноватые, до какого мира вы вернете сурны?"

Эсхил (Pers. 396-415) прекрасно описывает боевой клич греков и ответ персов: по очень веским причинам он не замечает зарождающейся отсталости греков, которую доносит до нас Геродот.

Военный крик, описанный здесь Эсхилом, воином, который действительно участвовал в сражении, показывает нам разницу между морским боем того времени и усовершенствованной тактикой афинян пятьдесят лет спустя, в начале Пелопоннесской войны. Формион особенно настойчиво внушает своим людям необходимость молчания (Thucyd. ii, 89).

[260] Simonides, Epigram 138, Bergk; Plutarch, De Herodot. Malignitate, с. 36.

Согласно Плутарху (Themist. 12) и Диодору (xi, 17), именно корабль персидского адмирала был первым обвинен и захвачен: если бы это было так, Эсхил, вероятно, уточнил бы это.

[262] Эсхил в "Персах", хотя и приводит длинный список имен тех, кто сражался против Афин, не упоминает ни ионийцев, ни других греков, которые входили в этот каталог. См. Blomfield ad Æschyl. Pers. 42. Такое молчание легко поддается объяснению: однако оно дает дополнительные основания полагать, что те, кто был упомянут, сражались не очень искренне.

[262] Herodot. viii, 86; Diodor. xi, 17. Свидетельство первого, как о храбрости, проявленной персидским флотом, так и о полном отсутствии у них порядка и системы, является решающим, как и эффект личного превосходства Ксеркса.

[263] Simonides, Epigr. 138, Bergk.

[264] Многочисленные имена персидских вождей, о которых Эсхил сообщает как об убитых, вероятно, по большей части являются его собственными выдумками, чтобы порадовать слух своей аудитории. См. Blomfield, Præfat. ad Æschyl. Pers. p. xii.

[265] Herodotus. viii, 90.

[266] Сравните возмущенный язык Демосфена столетие спустя, касающийся второй Артемисии, царицы Карики, как врага Афин, -*υμεις δ' οντες Αθηναιοι βάρβαρον ανθρωπον, και ταυτα γυναικα, φοβηθήσεσθε* (Demosthenes, De Rhodior. Libertat. с. x, p. 197).

[Рассказ Геродота об уловке, с помощью которой Артемисия спаслась, кажется достаточно вероятным; возможно, он услышал его от своих сограждан, которые были на борту ее судна. Хотя Плутарх обвиняет его в экстравагантной склонности делать комплименты этой царице, очевидно, что ему самому не нравится эта история и он не считает ее комплиментом, поскольку он сам выражает сомнение: "Я не знаю, намеренно ли она сбила калиндский корабль или случайно столкнулась с ним". Поскольку удар был настолько разрушительным, что калиндийский корабль был полностью сбит и затонул, а все члены его команды погибли, мы можем быть уверены, что это было намеренно; историк лишь предлагает возможную гипотезу, чтобы смягчить акт великого вероломства. Хотя история о потоплении калиндийского корабля носит оттенок правды, мы не можем сказать того же о наблюдении Ксеркса и о том, что он, как сообщается, принял к сведению этот акт: все это похоже не более чем на романтику.

Мы должны сожалеть (как замечает Плутарх, De Malign. Herodot. p. 873), что Геродот рассказывает нам о других гораздо меньше, чем об Артемисии; но он, несомненно, *слышал* о ней больше, чем о других, и, возможно, его собственные родственники были среди ее контингента.

[268] Herodotus. viii, 95; Plutarch, Aristid. с. 9; Æschyl. pers. 454-470; Diodor. xii, 19.

[269] Herodotus. viii, 96.

[270] Победам греков над персами в значительной степени способствовала личная робость Ксеркса и Дария Кодомана при Иссе и Арбеле (Арриан, ii, 11, 6; iii, 14, 3).

[271] См. это чувство особенно в речи Мардония к Ксерксу (Herodot. viii, 100), а также в том, что историк вкладывает в уста Артемисии (viii, 68), что указывает на общую концепцию самого историка, полученную из различных сведений, которые дошли до него.

[272] Herodotus. vii, 10.

[273] Этот важный факт не указан Геродотом: но он четко приведен у Диодора, xi, 19. Он кажется достаточно вероятным.

Если бы сохранилась трагедия Фриниха под названием "*Фениссы*", мы должны были бы больше знать о положении и поведении финикийского контингента в этом вторжении. Он был представлен в Афинах только через три года после битвы при Саламине, в 477 или 476 г. до н. э., с Фемистоклесом в качестве хорега, на четыре года раньше "*Персов*" Эсхила, которые, как утверждает Глейх, были (παράτετοίητοίησθαι) переделаны из него. Хор в "*Финикии*" состоял из финикийских женщин, возможно, вдов тех финикийцев, которых Ксеркс приказал обезглавить после битвы (Herodot. viii, 90, как полагает д-р Бломфилд, Præf. ad Æsch. Pers. p. ix), или только из финикийцев, отсутствовавших в экспедиции. Сохранившиеся фрагменты этой трагедии, получившей приз, слишком скудны, чтобы можно было строить какие-либо предположения относительно ее плана или деталей (см. Welcker Griechische Tragœd. vol. i, p. 26; и Droysen, Phrynichos, Æschylos, und die Trilogie, pp. 4-6).

[274] Herodotus. ix, 32.

[275] Herodot. viii, 97-107. Таков был ужас этих отступающих моряков, что они, как говорят, приняли выступающие скалы мыса Зостер (примерно на полпути между Пейреем и Суниумом) за корабли и удвоили поспешность своего бегства, как будто за ними гнался враг, - история, которую мы можем рассматривать как не более чем глупое преувеличение афинских информаторов Геродота.

Ктесий, Pers. с. xxvi; Страбон, ix, p. 395; оба последних говорят о намерении переправить крота из Аттики в Саламин, как будто оно было задумано до битвы.

[276] Сравните Геродот. vii, 10.

[277] Herodotus. viii, 101, 102.

[278] Herodotus. viii, 109, 110; [278] Herodotus. viii, 109, 110; Thucyd. i, 137. Слова ην ψευδῶς προσεποίησάτο, вероятно, можно понимать в несколько большем смысле, чем тот, который они естественно несут в Фукидиде. На самом деле, не только ложно, что Фемистокл был человеком, который отговаривал греков от похода в Геллеспонт, но также ложно, что греки когда-либо имели серьезное намерение идти туда. Сравните Корнелий Непос, Фемистокл. с. 5.

[279] Herodot. viii, 111. epei Andrius gee geopines belonging to the greatest, and two gods of no use to the island, but ever to be loved - Peninus and Achanin.

Сравните Alkæus, Fragm. 90, ed. Bergk, и Herodot. vii, 172.

[280] Herodot. viii, 112; Plutarch, Themistoklês, с. 21, - который цитирует несколько горьких строк современного поэта Тимокреона.

[281] Herodotus. viii, 112-121.

[282] Herodotus. viii, 114-126.

[283] Рассказ Эсхила об этом отступном походе кажется мне преувеличенным и в некоторых моментах невероятным (Persæ, 482-513). То, что они сильно страдали во время похода от недостатка провизии, несомненно, правда, и что многие из них умерли от голода. Но мы должны принять во внимание: 1. Что этот поход состоялся в октябре и ноябре, то есть вскоре

после сбора урожая. 2. Что Мардоний всю зиму держал в Фессалии большую армию и весной вывел ее в боевом состоянии. 3. Что Артабаз также с другой большой дивизией всю зиму находился во Фракии, после того как проводил Ксеркса в безопасное место.

Если принять во внимание эти факты, кажется, что к заявлениям Эсхила, даже в отношении страданий от голода, следует относиться с большим пониманием. Но его заявление о переправе через Стримон кажется мне невероятным, и я с сожалением обнаружил, что в этом вопросе расхожусь с мнением д-ра Тирлволла, который считает, что это не так. (Hist. Greece, ch. xv, p. 351, 2d ed.) "Река замерзла ночью достаточно прочно, чтобы выдержать тех, кто прибыл первым, но лед внезапно расступился под утренним солнцем, и многие погибли в водах", - так утверждает д-р Тирвол. Тирлуолл утверждает после Эсхила, добавляя в примечании: "Немного удивительно, что Геродот, описывая страдания отступающих, не замечает этого бедствия, которое занимает столь видное место в рассказе о персидском посланнике у Эсхила. Однако сомнений в этом факте быть не может, и, возможно, это может послужить полезным предостережением, чтобы не делать слишком большой упор на молчание Геродота, как основание для отказа даже от важных и интересных фактов, которые упоминаются только более поздними авторами" и т.д.

То, что большая река, такая как Стримон, недалеко от своего устья (ширина 180 ярдов, широта около 40° 50' северной широты), в период, который не мог быть позже начала ноября, должна была замерзнуть за одну ночь настолько прочно и быстро, что часть армии могла переправиться через нее на рассвете, до того как солнце стало теплым, - это утверждение, несомненно, требует более ответственного свидетеля, чем Эсхил, чтобы подтвердить его. Если верить его словам, никто из беглецов не спасся, кроме тех, кому посчастливилось перейти Стримон по льду в промежутке между рассветом и солнечным теплом. Можно было бы предположить, что по их следу идет преследующий их враг, оставляющий им лишь короткое время для бегства, но на самом деле у них не было врага, с которым они могли бы бороться, - ничего, кроме трудностей с поиском пропитания. Во время наступления Ксеркса через Стримон был переброшен мост из лодок, и нет никаких причин, по которым этот мост не мог бы существовать до сих пор: Артабаз должен был переправиться через него после того, как он сопровождал монарха к Геллеспонту. Добавлю, что город и крепость Эйон, расположенные в устье Стримона, оставались важным опорным пунктом персов еще несколько лет после этого события и были взяты афинянами и их союзниками под командованием Кимона только после отчаянного сопротивления.

Афинские слушатели "Персов" не стали бы критиковать ни историческую достоверность того, что рассказывал им Эсхил о страданиях отступающего врага, ни его географическую достоверность, когда он поместил гору Пангею по ту сторону Стримона для людей, шедших из Греции ("Персы", 494). Но я должен признаться, что, на мой взгляд, все его повествование об отступлении несет на себе печать поэта и религиозного деятеля, а не исторического свидетеля. И мое доверие к Геродоту возрастает, когда я сравниваю его в этом вопросе с Эсхилом - как в том, что он говорит, так и в том, чего он не говорит.

[284] Ювенал, Сатир. x, 178.

Ille tamen qualis rediit, Salamine relictâ,

In Caurum atque Eurum solitus sævire flagellis, etc.

[285] Herodotus. viii, 130.

[286] См. рассказ об отступлении Ксеркса в Herodotus, viii, 115-120, со многими историями, которые он упоминает только для того, чтобы отвергнуть. Описание, данное в Persæ Эсхила (v, 486, 515, 570), задумано в том же духе. Напряжение достигает своей громкости у Юстина (ii, 13), который говорит нам, что Ксеркс был вынужден пересечь пролив в рыбацкой лодке. "Ipse cum paucis Abydon contendit. Ubi cum solutum pontem hibernis tempestatibus offendisset, piscatoriâ scaphâ trepidus trajecit. Erat res spectaculo digna et, æstimatione sortis humanæ, rerum varietate miranda-in exiguo latentem videre navigio, quem paulo ante vix æquor omne capiebat: carentem etiam omni servorum ministerio, cujus exercitus propter multitudinem terris graves erant."

[287] Herodot. viii, 109. и мы, найдя их и Грецию в наше время, не будем преследовать людей бегством.

[288] Herodot. viii, 93-122; Diodor. xi, 27.

[289] Herodotus. viii, 94; Thucyd. i, 42, 103. ожесточенную половину от Коринфа в сторону Афин. Об Аристее, Thucyd. ii, 67.

Плутарх (De Herodot. Malignit. p. 870) использует много гневных слов, опровергая этот афинский скандал, который сам историк не считает правдой. История, выдвинутая Дионом Хризостомом (Or. xxxvii, p. 456), что Геродот попросил вознаграждения у коринфян и, получив отказ, вставил этот рассказ в свою историю, чтобы отомстить им, не заслуживает внимания без каких-либо разумных доказательств: заявление Диилла, что он получил десять талантов от афинян в качестве награды за свою историю, было бы гораздо менее невероятным, так как факт денежного вознаграждения, помимо величины суммы: но и это требует доказательства. Дион Хризостом не довольствуется тем, что отвергает этот рассказ об афинянах, но идет дальше, утверждая, что коринфяне унесли пальму первенства в храбрости и были причиной победы. Эпиграммы Симонида, которые он цитирует, не доказывают ничего подобного (p. 459). Марцеллин (Vit. Thucyd. p. xvi), вменяет Геродоту обвинение, подобное тому, которое выдвинули Плутарх и Дион.

[290] Herodotus. viii, 123. Плутарх (Themist. c. 17: ср. De Herodot. Malign. p. 871) утверждает, что *каждый отдельный* вождь отдал свой второй голос Фемистоклосу. Чем больше мы проверяем Геродота сравнением с другими, тем больше мы находим его свободным от духа преувеличения.

[291] Herodotus. viii 124; Plutarch, Themist. c. 17.

[292] Diodor. xi, 27; сравните Herodotus. viii, 125, и Thucyd. i, 74.

[293] Herodotus. viii, 85.

[294] Herodotus. viii, 130; Diodorus xi. 27.

[295] Herodotus. viii, 131, 132: сравните Thucyd. iii, 29-32.

Геродот говорит, что хианские посланники с большим трудом уговорили Леотихида дойти даже до Делоса, - ибо личное все видно эплинам, и места не эмпирические, и войско всегда на пути; и Самон был возвращен, и колонны Гераклеи на расстоянии.

Это последнее выражение Геродота было ошибочно истолковано некоторыми комментаторами как показатель географического невежества либо самого Геродота, либо тех, кого он описывает. По моему мнению, на нем не следует основывать никаких выводов такого рода: оно свидетельствует скорее о страхе перед вражеской страной, которую они не

привыкли посещать и где они не могли заранее рассчитать риск, чем о каком-либо серьезном сравнении между одним расстоянием и другим. Говоря о наших предках, тех из них, кто мало привык к морю, мы могли бы сказать: "Путешествие в Бордо или Лиссабон казалось им таким же далеким, как путешествие в Индию", - и этим мы просто утверждаем что-то об их состоянии чувств, а не об их географических знаниях.

[296] Геродот. ix, 1, 2, 67; viii, 136.

[297] Herodotus. viii, 128, 129.

[298] Herodotus. viii, 134, 135; Pausanias, ix, 24, 3.

[299] Herodotus. viii. 141. Лакедемоняне ипоминается учеными, как обвинение в грехе, если какой-нибудь другой дориец падет из Пелопоннеса при медах и афинянах, а карта не будет признана персидскими афинянами и т. д.

Такие пророчества должны были быть порождены надеждами *посреднической* партии в Греции в этот конкретный момент: нет другого момента времени, к которому они могли бы быть приспособлены, - нет другого, в котором изгнание всех дорийцев из Пелопоннеса объединенными персами и афинянами могло бы даже присниться. Лакедемонянам действительно говорят здесь, "чтобы они вспомнили пророчества", - как будто эти пророчества были старыми, а не произнесены впервые. Но мы должны помнить, что фабрикант пророчеств, такой как Ономакрит, по всей вероятности, сразу же распространил бы их как старые, то есть как часть какого-то старого сборника, как у Бакиса или Мусея. И Геродот, несомненно, сам считал их старыми, так что он, естественно, отдавал должное лакедемонянам за то же знание и предполагал, что они встревожились, "вызвав эти пророчества на ум".

[300] Herodotus. ix, 7.

[301] Herodotus. viii, 142.

[302] Herodotus. viii, 142. Мы пришли вместе с вами (говорят спартанские посланники афинянам), и что вы уже лишены плодов, и что вы уже долгое время тратите их впустую. Поскольку это говорится перед вторжением Мардония, потеря *двух урожаев* должна включать семена предыдущей осени; и совет Фемистокла к его соотечественникам, -καί τις οἰκίην τε ἀναπλασάσθω, καὶ σπόρου ἀνακῶς εἰχέτω (viii, 109), - должен был быть найден неосуществимым в большинстве случаев для выполнения.

[303] Афинский оратор Ликург, ссылаясь на этот инцидент полтора столетия спустя, представляет афинян как находящихся "на грани побивания камнями Александра", -μικροῦ δειν κατέλευσαν (Lykurg. cont. Leokrat. с. 17. р. 186) - один из многих примеров небрежной манеры, в которой эти ораторы обращаются с историей прошлого.

[304] Herodot. viii, 143, 144; Plutarch, Aristeidês, с. 10. Согласно Плутарху, именно Аристеидес предложил и подготовил ответ для выступления. Но здесь, как и в других местах, свободный, преувеличенный стиль Плутарха невыгодно отличается от простоты и прямоты Геродота.

[305] Herodotus. ix, 7. синтез и синтез ἡμῖν το Πέρσῃν ἀντίσσεσθαι ἐς τοοῖωτίιν, etc.

Диодор приводит рассказ об этом посольстве в Афины в основном в том же ключе, связывая его, однако, с некоторыми ошибочными мотивами (xi, 28).

[306] Herodot. ix, 7. ἐπιστάμενοί τε что κερδαλεώτερόν ἐστι ὁμολογέειν к персам μάλλον ἢ πολεμέειν и т. д.

Ораторы не всегда довольствуются тем, что отдают Афинам должное, которое они действительно заслужили: они осмеливаются представить афинян как отказавшихся от этих блестящих предложений Ксеркса при его первом вторжении, а не от Мардония в последующее лето. Ксеркс никогда не делал им никаких предложений. См. Исократес, Ор. iv, Панегирик, с. 27, р. 61.

[307] Herodotus. ix, 10.

[308] Herodotus. ix, 7. Ибо в то время лакедемоняне были лакедемонянами, и они сделали стену Гиацинта; большую часть ее они сделали для богов, но когда сделали стену Иштмо, то уже заняли боевые укрепления".

Спустя почти столетие после этого нам рассказывают, что амиклесские гоплиты всегда отправлялись домой на празднование Гиакинфа, в какой бы экспедиции они ни находились (Xenoph. Hellen. iv, 5, 11).

[309] Diodor. xi, 28; Геродот. ix, 2, 3, 17. другие все взяли войско и собрались в Афинах, те, кто укрывал греков из завоевавшего их народа, и т. д.

[310] Herodotus. ix, 4.

[311] Herodot. ix, 5. Я не смею отвергать эту историю о Ликиде (см. Lykurgus cont. Leokrat. с. 30, р. 222), хотя другие авторы рассказывают о том, что тот же случай произошел с человеком по имени Кирсиль в предыдущем году, когда афиняне покинули Афины: см. Demosthen. de Coronâ, р. 296, с. 59; и Cicero de Officiis, iii, 11. То, что афиняне совершили два таких действия, в наши дни вполне вероятно: и если выбирать между ними, то рассказ Геродота гораздо более вероятен. Во время переселения предыдущего года мы знаем, что некоторое количество афинян действительно осталось на акрополе, и Кирсил мог бы быть среди них, если бы решил. Кроме того, Ксеркс не делал никаких предложений и не давал повода для размышлений; в то время как предложения Мардония действительно могли показаться благонамеренному гражданину заслуживающими внимания.

Исократ (Or. iv, Panegyric. р. 74, с. 42) утверждает, что афиняне осудили на смерть многих людей за *медизм* (несомненно, имея в виду Фемистоклеса), но добавляет, что "даже сейчас они проклинают любого гражданина, который вступает в дружеские переговоры с персами" - ἐν τοῖς συλλόγοις ἐτι καὶ νῦν ἀρὰς ποιοῦνται, εἰς ἐπικηρυκεῖται Πέρσαις τῶν πολιτῶν. Трудно поверить, что в его время какое-либо подобное проклятие могло быть включено в торжественные мероприятия, которыми открывались афинские собрания.

[312] Herodot. ix, 10, 11; Plutarch, Aristeidês, с. 10. Плутарх читал указ, приписываемый Аристеиде, в котором Кимон, Ксантипп и Миронидес были названы посланниками в Спарту. Но невозможно, чтобы Ксантипп мог принять участие в посольстве, так как он теперь командовал флотом.

Вероятно, за ними последовали и гелоты: вряд ли можно понять, как такое огромное количество людей могло внезапно собраться и уйти в одну ночь, ведь никаких приготовлений не было сделано заранее.

Д-р Тирлуолл (Hist. Gr. ch. xvi, р. 366) подозревает правильность рассказа Геродота на основаниях, которые не кажутся мне убедительными. Мне кажется, что, в конце концов,

буквальный рассказ более вероятен, чем все, что мы можем подставить вместо него. Внешняя политика спартанцев зависела от пяти эфоров; не было никаких общественных обсуждений или критики. Поведение этих эфоров последовательно и разумно, хотя они эгоистичны, узколобы и нечувствительны к любым опасностям, кроме тех, что существуют и очевидны. Я также не могу согласиться с доктором Тирлуоллом, что принятая в конечном итоге манера общения носит характер шутки.

[313] Herodotus. ix, 12.

[314] В Мегаре, даже во времена Павсания, ходили рассказы о некоторых из этих персов, которые, как говорили, были уничтожены благодаря вмешательству Артемиды (Pausan. i, 40, 2).

[Положение аттического дема Сфендале, или Сфендалеи, кажется, точно не известно (Ross, Über die Deme von Attika, p. 138); но полковник Лик и мистер Финлей считают, что он стоял "около Айо Меркурио, который сейчас дает название проходу, ведущему из Декелеи через хребты Парнеса на край Танагрийской равнины, в месте под названием Малакаса". (Leake, Athens and the Demi of Attica, vol. ii, sect. iv, p. 123.)

Мистер Финлей (Oropus and the Diakria, p. 38) говорит, что "Малакаса - единственное место на этой дороге, где может удобно остановиться значительное количество кавалерии".

Возможно, даже территория Оропа в это время еще входила в состав Беотии: мы не знаем точно, в какой период она была впервые завоевана афинянами.

Бои между афинянами и беотийцами чаще всего происходили в этом юго-восточном регионе Беотии - Танагре, CEnophyta, Делиуме и т. д.

[316] Herodotus. ix, 15.

[317] Сильный город Фивы оказал ему большую услугу (Thucyd. i, 90).

[318] Herodotus. ix, 40, 45, 67; Plutarch, Aristeidês, c. 18.

[319] Herodot. ix, 16. Терсандр, хотя и орхоменец, проходит как фиванец - Ρέρσῳ τε καὶ Θηβαίων ἐν κλίνῃ ἐκάστῃ - доказательство тесной связи между Фивами и Орхоменом в это время, что далее иллюстрируется Пиндаром, Isthm. i, 51 (ср. Scholia ad loc. и в начале оды), касающийся фиванской семьи Геродота и Асоподоруса. Древняя мифическая вражда, похоже, уснула, но в более поздние времена между этими двумя городами будет расти смертельная ненависть.

[320] Herodotus. ix, 16, 17. Последнее цитируемое замечание поразительно и выразительно - враждебные и ненавистные муки - это муки тех, кто в человечестве, πολλὰ φρονέοντα μηδενὸς кратέειν. Это должно быть более тщательно рассмотрено в более поздний период этой истории, когда мы коснемся научной жизни греков и философии счастья и долга, как она была задумана Аристотелем. Если это положение будет полностью выполнено, то оно будет прямым отрицанием того, что Аристотель излагает в своей Этике, относительно высшего счастья βίος θεωρητικός, или жизни научного наблюдения и размышления.

[321] Herodotus. ix, 66.

[322] Herodot. ix, 17. διεξήλθε φήμη, ὡς κατακοντίει σφέας. Относительно φήμη см. примечание немного дальше, о битве при Микале, в этой же главе.

Сравните случай с Делийцами при Адрамитиуме, которых персидский сатрап окружил и зарубил ракетами, хотя они не были его врагами -περιστήσας τοὺς ἑαυτοῦ κατηκόντισε (Thucyd. viii, 108).

[323] Не было мне сказано и о том, что я пришел к фокейцам от аполлонийцев, приняв фессалийцев, и т. д. (Herodot. ix, 18.)

Это признание в неуверенности относительно мотивов и планов, разграничивающее их и видимые факты, которые он описывает, не лишено важности для укрепления нашего доверия к историку.

[324] Сравните этот список Геродота с перечислением, которое Павсаний прочитал на статуе Зевса, воздвигнутой в Олимпии греками, участвовавшими в битве при Платее (Pausan. v, 23, 1).

Павсаний нашел начертанными все имена, указанные здесь Геродотом, кроме Палеса из Кефаллении; кроме того, он обнаружил элейцев кеанов, кифнийцев, тенийцев, наксийцев и мелийцев. Пять последних названий - жители островов в Эгейском море: их контингент, отправленный в Платею, должен был быть, во всяком случае, очень небольшим, и удивительно слышать, что они отправили хоть один, - особенно если вспомнить, что в этот момент на службе находился греческий флот, к которому, естественно, они должны были присоединиться, предпочитая сухопутную службу.

Что касается имени элейцев, то подозрение Бронштедта вполне правдоподобно: возможно, Павсаний перепутал имя Палеса из Кефаллении с их именем, и ему показалось, что он прочитал ΦΑΛΕΙΟΙ, когда на самом деле было написано ΠΑΛΕΙΣ, в надписи, которой в то время было около шестисот лет. Место в серии, где Павсаний помещает имя элейцев, усиливает подозрение. Если это не будет признано, мы будем вынуждены, как наиболее вероятный вариант, предположить мошенничество, совершенное тщеславием элейцев, которое легко могло заставить их изменить имя, первоначально принадлежавшее Палесу. Читатель вспомнит, что элейцы сами были начальниками и кураторами в Олимпии.

Плутарх, по-видимому, читал ту же надпись, что и Павсаний (De Herodoti Malignit. p. 873).

[325] Herodotus. ix, 19, 28, 29.

[326] Herodot. ix, 28. выпускников и первых греков.

[327] О ракетном оружии и мастерстве персов см. Herodot. i, 136; Ксенофонт, Анабас. iii, 4, 17.

Кир Младший был выдающимся в использовании как лука, так и копья (Xenoph. Anab. i, 8, 26; i, 9, 5: ср. Cyropæd. i, 2, 4).

[328] См. Квинт Курций, iii, 11, 15; и примечание Мютцеля.

[329] Herodotus. ix, 21, 22, 23; Plutarch, Aristeidês, c. 14.

[330] Herodot. ix, 24, 25. οἰμῶν τε χρεώμενοι ἀπλέτω; ἀπασαν γὰρ τὸ Βοιωτὶν κατεῖχεχε ἡχώ, etc.

Преувеличенные проявления скорби, приписываемые Ксерксу и Атоссе в "Персах" Эсхила, часто порицались критиками: из этого отрывка видно, насколько они соответствуют нравам восточных людей того времени.

[331] Herodot. ix, 25-30; Plutarch, Aristeidês, c. 11. герой Андрократа εγγυς αλσει πυκνων ἐς συσκίων δένδρων περιεχόμενον.

Выражение Геродота относительно этой позиции, занятой Павсанием, Ουτοι μετοι μεν ουν ταχθέντες επι τω Ασορo εστρατοπεδεύοντο, а также слова, которые следуют в следующей главе (31) - Варвары, πυθόμενοι είναι το Ελληνας εν Πλαταιησι, παρησαν και αυτι επι τον Αστρον τον ταύτη ρέοντα, - ясно показывают, что греческие войска расположились вдоль Асопа на платейской стороне, тогда как персы на второй позиции заняли место на противоположной, фиванской стороне реки. Какая бы армия ни начала атаку, она должна была начать с прохождения Асопа (с. 36-59).

Топографию этого региона и позиции, занимаемые двумя армиями, см. в Squire, in Walpole's Turkey, p. 338; Kruse, Hellas, vol. ii, ch. vi, p. 9, seq, и гл. viii, с. 592 и далее: и еще более обширные и точные сведения полковника Лика, "Путешествия по Северной Греции", гл. xvi, т. ii, с. 324-360. Оба они дали планы этой области; тот, который я прилагаю, заимствован из карт Киперта. Я не могу не думать, что фонтан Гаргафия еще не идентифицирован, и что Крузе и Лик помещают греческую позицию дальше от реки Асоп, чем это согласуется со словами Геродота; эти слова, кажется, указывают на точки вблизи двух крайних точек, указывая, что фонтан Гаргафия был у реки справа от греческой позиции, а часовня Андрократеса также у реки слева от этой позиции, где были размещены афиняне. Такое местоположение часовни Андрократеса также не согласуется с Фукидидом (iii, 24), который просто упоминает эту часовню как находящуюся по правую руку от первой мили дороги из Платеи в Фивы.

Учитывая, сколько времени прошло со времени битвы, было бы неудивительно, если бы источник Гаргафии перестал быть узнаваемым. Во всяком случае, ни фонтан, указанный полковником Ликом (стр. 332), ни фонтан Вергутиани, который предполагали полковник Сквайр и доктор Кларк, не кажутся мне подходящими для Гаргафии.

Ошибки того плана битвы при Платее, который сопровождает "Путешествие Анахарсиса", теперь хорошо понятны.

[Судя по сражениям при Коринфе (396 г. до н. э.) и Мантинее (418 г. до н. э.), тегейцы, похоже, впоследствии отказались от претензий на занятие левого крыла и предпочли место в линии рядом с лакедемонянами (Xenoph. Hellen. iv, 2, 19).

[333] Herodotus. ix, 31, 32.

[334] Herodot. ix, 36, 38.

Эти пророки были людьми, имевшими большое личное значение, как видно из подробностей, которые Геродот приводит об их приключениях: сравните также историю Евения, ix, 93.

[335] Plutarch, Aristeidês, c. xi; [335] Plutarch, Aristeidês, c. xi; Thucyd. ii, 74.

[336] Плутарх, Аристеидес, с. 13.

[337] Herodot. ix, 40, 49, 50. фонтан Гаргафина, из которого орошались все греческие войска; и они пришли из Асопа даже к фонтану, так как из реки они не могли носить воду, даже для лошадей и стрельбы из лука.

Диодор (xi, 30) утверждает, что греческая позиция была так хорошо защищена по характеру местности и так трудна для атаки, что Мардоний не смог использовать свое превосходство в

численности. Из рассказа Геродота видно, что это совершенно неверно. Позиция, похоже, не имела никакой защиты, кроме той, которую она получала от реки Асоп, и греки в конечном итоге были вынуждены оставить ее из-за непрерывных атак персидской кавалерии. Весь рассказ Диодора об этой битве (xi, 30-36), одновременно расплывчатый и неинформативный, составляет сильный контраст с ясным, впечатляющим и косвенным рассказом Геродота.

[338] Herodotus. ix, 38, 39.

[339] Herodotus. ix, 40, 41.

[340] Herodotus. ix, 42.

[341] Herodotus. ix, 42.

[342] Herodotus ix, 43. И он принес ему оракул, который, по словам Мардония, *был у него* против персов, против иллирийцев и *против войска* Эгера, но не против персов. Но бакидяне были убиты в этой битве и т. д.

[343] Herodotus. ix, 44-45. Примечателен язык жертвоприношений: "И я говорю ему, что для Мардония и армии *туши* не могут *быть памятником*, ибо если ты отнял жертвы и т. д."

Мардоний много раз безуспешно пытался добиться лучших жертвоприношений: это было невозможно.

[344] Herodotus. ix, 47; Plutarch, Aristeidês, с. 16. Здесь, как и во многих других случаях, Плутарх скорее портит, чем помогает повествованию Геродота.

[345] Herodotus. ix, 71.

[346] Сравните упреки Гектора в адрес Диомеда (Илиада, viii, 161).

[347] Herodotus. ix, 49, 50. Павсаний упоминает, что платейцы восстановили фонтан Гаргафии после победы (το ὕδωρ ἀνεσώσαντο); но вряд ли он говорит так, как будто сам видел его (ix, 4, 2).

[348] См. хорошее описание местности в книге полковника Лика "Путешествия по Северной Греции", гл. xvi, т. ii, с. 358.

[349] Herodotus. ix, 51. Они отчаялись в этом месте и взяли воду и воду, а всадники не взяли сенну, а всадники не взяли сенну, так как взяли воду.

Последние слова относятся к расположению двух враждебных армий, растянувшихся фронтом к фронту вдоль русла Асопа.

[350] Herodot. ix, 52. В тот день, когда они сидели на лошади, у них болела спина.

[351] Herodotus. ix, 56. Павсаний-Семен послал колонов ко всем остальным; и они сказали: и Тегеет. Афиняне же, взявшись за дело, были императорами или лакедемонянами. Ибо они находились на берегу реки и в предместьях Китерона. И афиняне, сбившись в поле.

С этим следует объединить другой отрывок, с. 59, в котором говорится, что путь афинян заставил их свернуть и скрыться за холмами, из-за чего Мардоний не смог их увидеть, хотя они шли по равнине: Mardonius-Epeihe ἐπὶ Lacedaemonians and Tegeites mounus; Athenians γὰρ Αθηναίους τραπομένους εἰς το πεδίον ὅπου τῶν οὐκ ὄντων οὐ κατεώρα.

[352] В этом вопросе Фукидид и Геродот расходятся во мнениях: первый утверждает, что никогда не было спартанского лоха, называемого так (Thucyd. i, 21).

У нас нет возможности примирить это различие, и мы не можем быть уверены, что Фукидид прав в своем отрицании всего прошедшего времени - ος ουδ' εὔνετο πώποτε.

[353] Herodot. ix, 53, 54.

[354] Herodotus. ix, 52, 53.

[355] Herodot. ix, 54, афиняне - атеисты, присоединившиеся к этим людям, которых привлекли лакедемонские настроения, как заботящихся об одном и говорящих другое.

[356] Herodotus. xi. 56, 57.

[357] Herodotus. ix, 59. Они были устроены так, что у каждого был свой путь, ни мирской, ни упорядоченный. И пошли они вперед с помощью и единодушием, как поднялись греки".

Геродот особенно останавливается на безрассудстве и беспорядке, с которыми персы продвигались вперед: Плутарх, напротив, говорит о Мардонии, - ἡεχων συντεγγυόμηνην την δύναμιν επεφέρετο τοῖς Λακεδαιμονίοις и т. д. (Plutarch, Aristeid. с. 17.).

Плутарх также говорит, что Павсаний вел другой отряд к *Платеям* и т. д., что совершенно противоречит реальному рассказу Геродота. Павсаний намеревался идти на остров, а не к Платеям: он не достиг ни того, ни другого.

[358] Herodotus. ix, 60, 61.

[359] О персидском луке см. Xenoph. Anabasis. iii, 4, 17.

[360] Herod. ix, 72.

[361] Herodotus. ix, 62. А лакедемонское ухо по желанию Павсания было принесено в жертву хорошим тушам. Плутарх преувеличивает долготерпение Павсания (Aristeid. с. 17, ad finem).

Геродот (ix, 61) ясно указывает на возвышенное и заметное место Геренона, которое было видно Павсанию с того расстояния, где он находился.

Случаи, иллюстрирующие трудности, которые испытывала греческая армия из-за нежелания двигаться без благоприятных жертвоприношений, см. в Ксенофоне, Анабасис, vi, 4, 10-25; Hellenic. iii, 2, 17.

[362] Herodotus. ix, 62, 63. Примечательны его слова о мужестве персов: Персы не были похожи на персов: но они были безоружны и неумелы, и не были похожи на персов, и не были похожи на персов в противоположном направлении... ибо пустыня очагов была закрыта шарами, а пустыня очагов была пустыня оружием; ибо нагие люди, которые были нагими, сражались с оружием. Сравните поразительный разговор между Ксерксом и Демаратом (Herodotus. vii, 104).

Описание Геродотом галантного натиска плохо вооруженных персов на строй лакедемонян с копьями можно сравнить с описанием Ливия (xxxii, 17), где римляне атакуют македонскую фалангу, и с битвой при Семпахе (июнь 1386 года), в которой четырнадцать сотен полувооруженных швейцарцев одолели большой корпус полностью вооруженных австрийцев с непробиваемым фронтом выступающих копий; В течение некоторого времени им не удавалось прорваться внутрь, пока, наконец, один из их воинов, Арнольд фон

Винкельрид, не схватил охапку копий и не набросился на них, проложив путь своим соотечественникам через свое мертвое тело. Описание этого памятного инцидента см. в Vogelin, Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ch. vi, p. 240, или в любой другой истории Швейцарии.

[363] О вооружении персов см. Herodot. vii, 61.

В другом месте Геродот сообщает, что персидские войска приняли египетские нагрудные знаки (θώρακας): вероятно, это произошло после битвы при Платее. Даже в этой битве персидские вожди на лошадях имели крепкие защитные доспехи, как [мы можем видеть на](#) примере Масистия, о котором говорилось выше: ко времени битвы при Кунаксе эта привычка стала более распространенной (Xenoph. Anab. i, 8, 6; Brisson, De Regno Persarum, lib. iii, p. 361), по крайней мере для кавалерии.

[364] Herodotus. ix, 64, 65.

[365] Herodotus. ix, 67, 68.

[366] Herodotus. ix, 67, 68. И о других греках после царя добровольно умерших... и о других союзниках все речи не оспаривали и ничего не принимали".

[367] Herodotus. ix, 66.

[368] Herodot. ix, 69.

[369] Herodot. ix, 70; Demosthenês cont. Тимократ. p. 741, с. 33. Павсаний (i, 27, 2) сомневается, действительно ли это был циметр Мардония, утверждая, что лакедемоняне никогда бы не позволили афинянам взять его.

[370] Herodot. ix, 70: сравните Æschyl. Pers. 805-824. Он выделяет "дорийское копье" как великое оружие, уничтожившее персов в Платее, - очень справедливо. Д-р. Бломфилд удивлен этим комплиментом; но следует помнить, что вся предыдущая часть трагедии была посвящена славе Афин при Саламине, и он вполне может позволить себе воздать пелопоннесцам по заслугам, которые они получили при Платее. Пиндар распределяет почести между Спартой и Афинами подобным образом (Pyth. i, 76).

[371] Плутарх, Аристеидес, с. 19. Клейдем, которого цитирует Плутарх, утверждает, что все пятьдесят два погибших афинянина принадлежали к племени Æantis, которое выделялось в рядах афинян. Но невозможно поверить, что не были убиты граждане, принадлежавшие к другим девяти племенам.

[372] Диодор, правда, утверждает, что Павсаний был настолько обеспокоен численностью персов, что запретил своим солдатам давать четверть или брать пленных (xi, 32); но этому вряд ли можно верить, несмотря на его утверждение. Его заявление о том, что греки потеряли десять тысяч человек, еще менее приемлемо.

[373] Herodotus. ix, 89. Ссылки Демосфена на Пердиккаса, царя Македонии, который, как говорят, напал на персов во время их бегства из Платеи и сделал их гибель полной, слишком свободны, чтобы заслуживать внимания; тем более что Пердиккас *не был тогда* царем Македонии (Demosthenês cont. Aristokrat. pp. 687, с. 51; и τῆρι Συντάξεως, p. 173, с. 9).

[374] Herodotus. ix, 84. Геродот действительно приписывает это второе захоронение только другим *спартанцам*, помимо Избранных. Он не обращает внимания на лакедемонян, не спартанцев, ни в битве, ни в отношении захоронения, хотя он сообщил нам, что пять тысяч из

них были включены в армию. Что касается слова ἱρέας, или εἰρενας, или ἱππῆας (два последних варианта являются предположительными), то здесь невозможно прийти к какому-либо определенному выводу: мы не знаем, как назывались эти избранные воины.

[375] Herodotus. ix, 85. Из других, которые также кажутся могилами в Платее, и это, как *мне* кажется, те, которые остались после битвы, каждая из них с грязью и землей, И есть еще могила Эгинетов, которая называется так, как я слышал, и в десяти верстах после них, Эгинетов, и Клеада Автодика, человека из Платеи, который был самым главным из них".

Это любопытное утверждение, полученное Геродотом, несомненно, в результате личных расспросов в Платее.

[376] Herodotus. ix, 78, 79. Это предположение, столь отвратительное для греческого чувства, историк вкладывает в уста эгинетянина Лампона. В моем предыдущем примечании я уже упоминал о другом заявлении Геродота, не очень похвальном для эгинетян: есть, кроме того, третье (ix, 80), в котором он представляет их как обманувших гелотов в приобретении добычи. Можно предположить, что все эти анекдоты он услышал в Платее: в то время, когда он, вероятно, посетил это место, незадолго до Пелопоннесской войны, его жители были самым тесным образом связаны с Афинами и, несомненно, сочувствовали ненависти афинян к Эгине. Отсюда не следует, что все эти истории неправдивы. Я не верю, конечно, в совет Лампона распять тело Мардония, который больше похож на поэтическую выдумку для привлечения внимания к благородным чувствам, чем на реальное происшествие. Но, кажется, нет причин сомневаться в правдивости двух других историй. Геродот слишком редко указывает своих информаторов: интересно проследить, по какому пути шли его расследования.

После битвы при Кунаксе и смерти Кира Младшего у его мертвого тела по приказу Артаксеркса отрубили голову и руки и прибили к кресту (Xenoph. Anab. i, 10, 1; iii, 1, 17).

[377] Herodotus. ix, 84; Pausanias, ix, 2, 2.

[378] Herodotus. ix, 80, 81: сравните vii, 41-83.

[379] Диодор (xi, 33) утверждает это пропорциональное распределение. Геродот только говорит - каждый из заслуг заслуг (ix, 81).

[380] Herodotus. ix, 76, 80, 81, 82. Судьба этих спутниц персидских вельмож при захвате лагеря врагом представляет собой меланхоличную картину как здесь, так и в Иссе, и даже в Кунаксе: см. Диодор. xvii, 35; Квинт Курций, iii, xi, 21; Ксеноф. Anab. i, 10, 2.

[381] Плутарх сурово осуждает Геродота (De Malign. Herodot. p. 873; ср. Plut. Aristeid. c. 19) за то, что тот утверждает, будто никто из греков не участвовал в битве при Платее, кроме лакедемонян, тегейцев и афинян: оратор Лисий повторяет то же утверждение (Oratio Funebr. c. 9).

Если это так (спрашивает Плутарх), то как получилось, что в надписях и стихах того времени подвиг признается совершенным всей греческой армией, включая коринфян и других? Но эти надписи на самом деле не противоречат тому, что утверждает Геродот. В реальной битве участвовала лишь часть коллективного греческого войска, но это произошло в значительной степени случайно; остальные находились на расстоянии не более мили и до нескольких часов занимали часть той же непрерывной линии позиции; более того, если бы битва

продолжалась чуть дольше, они успели бы подойти и оказать реальную помощь. Поэтому, естественно, они считались бы вправе участвовать в славе всего результата.

Однако, когда впоследствии незнакомец посещал Платею и видел лакедемонские, тегейские и афинские гробницы, но ни коринфских, ни игинетских и т. д., он, естественно, спрашивал, как случилось, что никто из этих последних не пал в битве, и получал ответ, что они действительно не присутствовали при ней. Отсюда и побуждение этих городов воздвигнуть на месте битвы пустые могильные памятники, как это, по словам Геродота, впоследствии сделали или заставили сделать отдельных платейцев.

[382] Herodot. ix, 77.

[383] См. [чуть выше](#) в этой главе обращение с женой и детьми афинского сенатора Ликида (Herodot. ix, 5). Сравните также Herodot. iii, 116; ix, 120.

[384] Herodot. ix, 87, 88.

[385] Thucyd. i, 131. καὶ πλοτεῦων χρήμασι διαλύσειν τὴν διαβολήν. Сравните Thucyd. viii, 45, где он утверждает, что триерархи и генералы лакедемонского и союзного флота, все, кроме Гермocrates из Сиракуз, получили взятки от Тиссаферна за предательство интересов как своих моряков, так и своей страны: также с. 49 той же книги о лакедемонском генерале Астиехе. О взятках, полученных спартанскими царями Леотихидесом и Плейстоанаксом, говорится (Herodot. vi, 72; Thucyd. ii, 21).

[386] Plutarch, Aristeidês, c. 20; De Herodot. Malign. p. 873.

[387] Herodot. iv, 71, 72.

[388] Thucyd. ii, 71, 72. Так, римский император Вителлий, посетив поле Бебриакум, где его войска недавно одержали победу, "установил *sacrum Diis loci*". (Tacitus, Histor. ii, 70.)

[389] Thucyd. ii, 71; Plutarch, Aristeidês, c. 19-21; Strabo, ix, p. 412; Pausanias, ix, 2, 4.

Элевтерии праздновались в четвертый день аттического месяца Боэдромион, в который происходила сама битва; ежегодное украшение гробниц и церемонии в честь усопших происходили в шестнадцатый день аттического месяца Мæмактерион. К. Ф. Герман (Gottesdienstliche Alterthümer der Griechen, ch. 63, note 9) рассматривает эти два праздника так, как если бы они были одним.

[390] Plutarch, Aristeidês, c. 21.

[391] Thucyd. i, 90.

[392] Именно к этому общему и торжественному собранию, состоявшемуся в Платее после победы, можно было бы отнести другую клятву, отмеченную историками и ораторами последующего века, если бы эта клятва не была подозрительной по подлинности. Греки, пообещав верность и мирные отношения между собой, а также обязавшись в то же время отдать десятину своего имущества всем, кто *оказывал помощь*, поклялись, что не будут ремонтировать или восстанавливать храмы, которые сжег персидский захватчик, а оставят их в полуразрушенном состоянии как памятник его святотатства. Некоторые из пострадавших храмов в окрестностях Афин видел в полусожженном состоянии даже путешественник Павсаний (х, 35, 2), в свое время. Периклес, спустя сорок лет после битвы, попытался созвать в Афинах общеэллинское собрание, чтобы обсудить, что делать с этими храмами (Плутарх, Периклес, с. 17). Однако Теопомп назвал эту клятву выдумкой, хотя оратор

Ликург и Диодор утверждают, что она дословно передана. Мы можем с уверенностью утверждать, что клятва, *как они ее передают*, не является подлинной; но, возможно, клятва о выплате десятины тем, кто добровольно присоединился к Ксерксу, которую Геродот относит к более раннему периоду, когда успех был сомнительным, теперь могла быть возобновлена в момент победы: см. Diodor. ix, 29; Lykurgus cont. Leokrat. c. 19, p. 193; Polybius, ix, 33; Isokrates, Or. iv; Panegyri. c. 41, p. 74; Theopompus, Fragm. 167, ed. Didot; Suidas, v. Δεκατέθειν, Cicero de Republicâ, iii, 9, и начало предпоследней главы этой истории.

[393] Herodot. ix, 91, 92, 95; viii, 132, 133. Пророк Мардоний в Платее носил то же имя и, вероятно, был более почитаем за это (Herodot. ix, 37).

Диодор сообщает, что флот состоял из двухсот пятидесяти трирем (xi, 34).

Любопытны и интересны анекдоты об аполлонийце Евении, отце Деифона (Herodot. ix, 98, 94). Евений, в воздаяние за то, что был несправедливо ослеплен своими соотечественниками, получил от богов дар пророчества, передававшийся его потомкам: так возник новый пророческий род, наряду с Иамидами, Теллиадами, Клитиадами и т. д.

[394] Herodot. ix, 96. ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο τῆς Σαμῖος πρὸς Καλάμοισι, οἱ μὲν αὐτοῦ ὁρμισάμενοι κατὰ τὸ Ἡραῖον τὸ ταύτη, παρεσκευάζοντο ἐς ναυμαχίην.

Ни в коем случае нельзя с уверенностью утверждать, что указанный здесь Гергеум - это знаменитый храм, стоявший у города Самос (iii, 80): слова Геродота, скорее, указывают на то, что имеется в виду другой храм Херека, в какой-то другой части острова.

[395] Геродот описывает положение персов по топографическим признакам, известным его читателям, но не открытым для нашего определения, - Гесон, Сколопис, часовня Деметра, построенная Филистом, одним из первобытных колонистов Милета, и т. д. (ix, 96): из языка Геродота можно предположить, что Гесон - название города, а также реки (Erphonas ap. Athenæ vi. (ix, 96): исходя из языка Геродота, можно предположить, что Гесон был названием города, а также реки (Erphonas ap. Athenæ. vi, p. 311).

Восточный мыс (мыс Посейдион) Самоса отделяло от Микале всего семь стадий (Strabo, xiv, p. 637), недалеко от места, где находился Глаук (Thucyd. viii. 79), - современные наблюдатели считают, что расстояние составляет более мили (Porro, Prolegg. ad Thucyd. vol. ii, p. 465).

[396] Herodot. ix, 96, 97.

[397] Herodot. ix, 98, 99, 104.

[398] Herodot. ix, 100, 101. ἰοῦσι δὲ σφι (Ἑλλησι) φήμη τε ἐσέπτατο ἐς τὸ στρατόπεδον πᾶν, καὶ κηρυκὴν ἐφάνη ἐπὶ τῆς κυματωγῆς κείμενον. ἡ δὲ φήμη διήλθε σφι ὧδε, ὡς οἱ Ἕλληνες τὴν Μαρδονίου στρατιὴν νικῶεν ἐν Βοιωτίῃ μαχόμενοι. Δῆλα δὲ πολλοῖσι τεκμηρίοις ἐστὶ τὰ θεῖα τῶν πρηγμάτων- εἰ καὶ τότε τῆς αὐτῆς ἡμέρης συμπίπτουσης τοῦ τε ἐν Πλαταιῇσι καὶ τοῦ ἐν Μυκάλῃ μέλλοντος ἔσεσθαι τρώματος, φήμη τοῖσι Ἑλλήσι τοῖσι ταύτη ἐσαπρίκετο, ὥστε θαρσῆσαι τε τὴν στρατιὴν πολλῶ μᾶλλον, καὶ ἐθέλειν προθυμότερον κινδυνεύειν ... γεγονέναι δὲ νίκην τῶν μετὰ Πausανίῳ Ἑλλήνων ὀρθῶς σφι ἡ φήμη συνέβαινε ἐλθοῦσα- τὸ μὲν γὰρ ἐν Πλαταιῇσι πρῶτ' ἔτι τῆς ἡμέρης ἐγίνετο- τὸ δὲ ἐν Μυκάλῃ, περὶ δεῖλην ... ἦν δὲ ἀρρωδίη σφι πρὶν τὴν φήμην ἐσαπρίκεσθαι, οὐτὶ περὶ σφένων αὐτῶν οὕτω, ὡς τῶν Ἑλλήνων, μὴ περὶ Μαρδονίῳ πταίσῃ ἡ Ἑλλάς, ὡς μέντοι ἡ κληδὼν αὕτη σφι ἐσέπτατο, μᾶλλον τι καὶ ταχύτερον τὴν πρόσοδον ἐποιεῦντο: сравните Плутарх, Павел. Эмилий, с. 24, 25, о битве при Пидне. Распространившееся среди собранного в Беотии войска Мардония φήμη о намерении убить фокийцев оказалось неверным (Herodot. ix, 17).

Два отрывка у Эсхина (Cont. Timarchum. с. 27, р. 57, и De Fals. Legat. с. 45, р. 290) особенно ценны как иллюстрация древней идеи Φήμη, божественного голоса или вокальной богини, обычно рассматриваемой как сообщающая толпе людей сразу или движущая их всех одним и тем же единоклубным чувством, - Vox Dei, переходящий в Vox Populi. В Афинах был алтарь Φήμη (Pausan. i, 17, 1); сравните Гесиод. Opp. Di. 761, и Ὅσσα у Гомера, что по сути является той же идеей, что и Φήμη: Илиада, ii, 93. μετὰ δὲ σφισιν Ὅσσα δεδήκει Ὀτρύνουσι' ἰέναι, Διὸς ἄγγελος; также Одиссея, i, 282 - против идеи отдельного человеческого оратора или информатора - ἥν τις τοι εἴπησι βροτῶν, ἧ Ὅσσαν ἀκούσης Ἐκ Διὸς, ἥτε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι; и Odys. xxiv, 412. Ὅσσα δ' ἄρ' ἄγγελος ὦκα κατὰ πτόλιν ὥχετο πάντη, Μνηστήρων στυγερὸν θάνατον καὶ κῆρ' ἐνέπουσα. Слово κληδών в том же значении употребляется Софоклом, Philoktet. 255 (см. Andokides de Mysteriis, с. 22, р. 64): а Геродот в рассматриваемом нами отрывке считает их идентичными, - сравните также Herodot. v, 72: оба слова используются также для обозначения предзнаменования, передаваемого каким-то незамысловатым человеческим словом или речью, которая в этом конкретном случае считается определенной особым вмешательством богов для сведения того, кто ее слышит: см. Гомер, Odys. xx, 100: сравните также Aristophan. Aves, 719; Sophoklês, Œdip. Tyr. 43-472; Ксенофонт, Symposion, с. 14, s. 48.

Описания *Фамы* у Вергилия, Энеида, iv, 17 6, и далее, и Овидия, Метаморф. xii, 40, и далее, более расплывчаты и перегружены, отступая от простоты греческой концепции.

В качестве частичной иллюстрации того, что здесь имеется в виду, мы можем отметить те внезапные, безотчетные впечатления панического ужаса, которые иногда пробегали по древним армиям или собранным толпам, и которые, как предполагалось, производились Паном или нимфами - действительно, внезапные, бурные и заразные впечатления любого рода, а не только страха. Ливий, x, 28. "Victorem equitatum velut *lymphaticus* pavor dissipat." ix, 27. "Milites, incertum ob quam causam, *lymphatis* similes ad arma discurrunt," - по-гречески, νυμφόληπτοι: сравните Polyæn, iv. 3, 26, и поучительную заметку Mutzel, ad Quint. Curt. iv, 46, 1 (iv, 12, 14).

Но я не могу лучше проиллюстрировать эту идею, которую греки наделили божественностью под именем Φήμη, чем пересказ поразительного отрывка из "Истории Французской революции" М. Мишле. Иллюстрация тем более поучительна, что религиозная точка зрения, преобладающая в Геродоте, - и которая для верующего разума дает объяснение, в высшей степени удовлетворительное, - ушла в прошлое у историка XIX века и уступила место графическому описанию реального явления, имеющего большое значение в человеческих делах; общая восприимчивость, общее вдохновение и общий спонтанный импульс множества людей, стирающий на время индивидуальность каждого человека.

М. Мишле описывает это вечно памятное событие - взятие Бастилии 14 июля 1789 года (гл. vii, т. I, с. 105).

"Версаль, с организованным правительством, королем, министрами, генералом, армией, не вызывал ни тревоги, ни сомнений, ни неуверенности, ни моральной анархии.

"Париж, раздвинутый, лишенный всякой государственной власти, в условиях очевидного раздора, 14 июля расправился с тем, что в моральном отношении представляет собой глубокий порядок, единоклубные чувства.

"13 июля Париж не собирался защищаться. Le 14, il attaque.

"Le 13, au soir, il y avoit encore des doutes, il n'y en eut plus le matin. Le soir étoit plein de troubles, de fureur désordonnée. Утро было светлым и ужасным.

"С каждым днем в Париже зарождалась одна идея, и все видели одно и то же сияние. Люмьер в душах, и в каждом сердце голос: "Ва, и ты возьмешь Бастилию!"

"Cela étoit impossible, insensé, étrange à dire;... И все они в одночасье разбились. И вот что получилось.

"Бастилия, будучи старинной крепостью, не была столь уж неприступной, чтобы уложиться в несколько часов, да еще с большим количеством артиллерии. В этом кризисе у народа не было ни времени, ни средств для принятия правильного решения. Бастилия не могла покинуть город, в ней было столько живых людей, чтобы обеспечить безопасность в такой близости, и огромное количество боеприпасов. Его болота высотой в шесть фунтов в верхней части туров, а в нижней части - в три десятка и четыре десятка, могли надолго вывести из строя все булеты: а его батареи, расположенные рядом с ней, из которых падал огонь на Париж, могли в любой момент обезлюдить весь Марэ и весь фобур Сент-Антуан.

"Нападение на Бастилию не было ничем не оправданным актом. Это был поступок, совершенный из хулиганских побуждений.

"Никто не предлагал. Но все страдают и все стареют. По всей длине улиц, кварталов, понтонов, бульваров, на улицах, в Бастилии, в Бастилии, в Бастилии. И под звуки набата все выкрикивали: à la Bastille.

"Человек, - говорю я, - не давал импульса". Парламентарии Пале-Рояля тратят время на составление проскрипционного списка, приговаривая к смерти королеву, Полиньяка, Артуа, прево Флесселя и многих других. Имена мстителей за взятие Бастилии не были единственными в списке. Пале-Рояль не был пунктом отправления, и не только в Пале-Рояле, но и в Пале-Рояле воины разгромили депутатов и заключенных.

"Вряд ли избиратели, проживавшие в отеле "Виль", имели представление о нападении. Не доходя до этого места, чтобы предотвратить резню, которую Бастилия могла бы устроить с особой жестокостью, они пообещали губернатору, что если он уберет свои пушки, то атаковать не будет. Les électeurs ne trahissoient pas comme ils en furent accusés; mais ils n'avoient pas la foi.

"Qui l'eut? Тот, кому нужна сила, чтобы выполнить свою волю. Кто? Le peuple, tout le monde."

[399] Diodor. xi, 35; Polyæn. i, 33. Юстин (ii, 14) удивляется тому, что "tantam famæ velocitatem".

[400] Herodot. ix, 102, 103. Οὔτοι δὲ (Πέρσαι), κατ' ὀλίγους γινόμενοι, ἐμάχοντο τοῖσι αἰεὶ ἐς τὸ τεῖχος ἐσπίπτουσι Ἑλλήνων.

[401] Herodot. ix, 104, 105. Диодор (xi, 36), по-видимому, следует авторитетам, отличным от Геродота: его утверждение отличается во многих деталях, но менее вероятно.

Геродот не уточняет потери ни одной из сторон, а Диодор - потери греков; но последний говорит, что было убито сорок тысяч персов и союзников.

[402] Herodot. ix, 105.

[403] Herodot. ix, 107. Не знаю, можно ли считать, что Геродот слышал это от своего соотечественника Ксенагора.

[404] Herodot. ix, 108-113. Он приводит эту историю в значительном объеме: она убедительно и болезненно иллюстрирует интерьер персидского царского дворца.

[405] Herodot. viii, 132.

[406] Herodot. ix, 106; Diodor. xi, 37. Последний представляет ионийцев и иолийцев как фактически согласившихся на переселение в европейскую Грецию, а также самих афинян как сначала согласившихся на это, хотя последние впоследствии раскаялись и выступили против этого плана.

[407] Такие оптовые перевозки населения с одного континента на другой всегда были в большей или меньшей степени в привычках восточных деспотов, персов в древние времена и турок в более современные времена: для союза свободных государств, таких как греки, они должны были быть неосуществимы.

См. Von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, vol. i, book vi, p. 251, о насильственных переселениях людей из Азии в Европу под руководством турецкого султана Баджазета (1390-1400 гг. н. э.).

[408] Herodot. viii, 115, 117; ix, 106, 114.

[409] См. предыдущий том этой истории, гл. xxx, стр. 119; гл. xxxiv, стр. 271; гл. xxxv, стр. 307.

[410] Xenoph. Hellen. i, 5. 17. τὰ ἑαυτοῦ τείχη.

[411] Herodot. vii, 147. Schol. ad Aristophan. Equites, 262.

В качестве иллюстрации того, как Афины ценили владение Геллеспонтом, см. Демосфен, De Fals. Legat. с. 59.

[412] Herodot. ix, 114, 115. Σηστὸν-φρούριον καὶ φυλακὴν τοῦ παντὸς Ἑλλησπόντου-Thucyd. viii, 62: ср. Xenophon, Hellenic. ii, 1, 25.

[413] Thucyd. viii, 102.

[414] Herodot. ix, 116: compare i, 4. Ἀρταῦκτης, ἀνὴρ Πέρσης, δεινὸς δὲ καὶ ἀτάσθαλος- ὃς καὶ βασιλέα ἐλαύνοντα ἐπ' Ἀθήνας ἐξηπάτησε, τὰ Πρωτεσίλεω τοῦ Ἰφίκλου χρήματα ἐξ Ἑλαιοῦντος ὑφελόμενος. Сравните Herodot. ii, 64.

[415] Herodot. ix, 118, 119, 120. Οἱ γὰρ Ἑλαιοῦσιοι τιμωρέοντες τῷ Πρωτεσίλεω ἐδέοντό μιν καταχρησθῆναι καὶ αὐτοῦ τοῦ στρατηγοῦ ταύτῃ ὁ νόος ἔφερε.

[416] Herodot. ix, 121. Должно быть, либо к объединенному греческому вооружению этого года, либо к вооружению предыдущего года Плутарх намеревается применить свой знаменитый рассказ о предложении Фемистокла, осужденном Аристеидесом (Plutarch, Themistoklês, с. 20; Aristeidês, с. 22). Он рассказывает, что греческий флот был в сборе, чтобы провести зиму в фессалийской гавани Пагасе, когда Фемистоклос придумал сжечь все греческие корабли, кроме афинских, чтобы ни один город, кроме Афин, не имел военно-морских сил. Фемистокл, рассказывает он, сообщил народу, что у него есть предложение, очень выгодное для государства, но что оно не может быть публично объявлено и обсуждено; тогда они попросили его упомянуть о нем в частном порядке Аристеидесу. Фемистокл сделал это, и Аристеидес сказал народу, что проект одновременно чрезвычайно выгоден и не менее чрезвычайно несправедлив. После чего народ сразу же отказался от него, не спрашивая, в чем дело.

Учитывая огромную известность, которую получила эта история, на нее необходимо было сделать какое-то упоминание, хотя она уже давно перестала восприниматься как исторический факт. Она совершенно не согласуется с повествованием Геродота, а также со всеми условиями того времени: Пагасэ был *фессалийским* и, как таковой, скорее враждебным греческому флоту, чем иным: флот, похоже, никогда не был там: кроме того, мы можем добавить, что, принимая ситуацию такой, какой она была тогда, когда страх со стороны Персии еще не был прекращен, афиняне потеряли бы больше, чем приобрели, сжигая корабли других греков, так что Фемистоклес вряд ли мог придумать этот план, а Аристеидес - описать его на языке, вложенном в его уста.

Эта история, вероятно, является выдумкой какого-то грека платоновской эпохи, который хотел противопоставить справедливость целесообразности, а Аристеидеса - Фемистоклесу, а также одновременно воздать панегирик Афинам в дни их славы.

[417] Все, что когда-либо говорилось о Фаларисе, отмечено и обсуждено в ученой и острой диссертации Бентли о письмах Фалариса: сравните также Seyffert, *Akragas und sein Gebiet*, pp. 57-61, который, однако, относится к притворным письмам Фалариса с меньшим вниманием, чем читатели доктора Бентли обычно склонны одобрить.

История о медном быке Фалариса, кажется, опирается на достаточные доказательства: она прямо упоминается Пиндаром, а сам бык, после того как был унесен в Карфаген, когда карфагеняне взяли Агригентум, был возвращен агригентинцам Сципионом, когда он взял Карфаген. См. Aristot. *Polit.* v, 8, 4; Пиндар, *Pyth.* i, 185; Polyb. xii, 25; Diodor. xiii, 90; Цицерон в *Verr.* iv, 33.

Не похоже, что Тимей действительно ставил под сомнение историческую реальность буллы Фалариса, хотя ошибочно считается, что он это сделал. Тимей утверждал, что бык, который был показан в его время в Агригентуме, не был идентичной машиной: это верно, поскольку он должен был *тогда* находиться в Карфагене, откуда его вернули в Агригентум только после 146 года до н. э. См. примечание Боэция о *Scholia ad Pindar. Pyth.* i, 185.

[418] Thucyd. vi, 5; Schol. ad Pindar. *Olymp.* v, 19; cp. Wesseling ad Diodor. xi, 76.

[419] В Геле, Herodot. vii, 153; в Сиракузах, Aristot. *Politic.* v, 3, 1.

[420] Aristot. *Politic.* v, 8, 4; v, 10, 4. Καὶ εἰς τυραννίδα μεταβάλλει ἐξ ὀλιγαρχίας, ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ σχεδὸν αἱ πλεῖσται τῶν ἀρχαίων- ἐν Λεοντίνοις εἰς τὴν Παναϊτίου τυραννίδα, καὶ ἐν Γέλᾳ εἰς τὴν Κλεάνδρου, καὶ ἐν ἄλλαις πολλαῖς πόλεσιν ὡσαύτως.

[421] Диодор приписывает основание Гераклеи Дорию; это, кажется, не согласуется с рассказом Геродота, если только не предположить, что город Гераклея, основанный Дорием, был разрушен карфагенянами, и что название Гераклея было дано после этого Эврилеоном или его преемниками тому, что прежде называлось Миноа (Diodor. iv, 23).

Погребальный памятник в честь Афиней, одного из поселенцев, погибших вместе с Дорием, Павсаний видел в Спарте (Павсаний, iii, 16, 4).

[422] Herodot. v, 43, 46.

[423] Herodot. vii, 158. Крайняя краткость его упоминания вызывает недоумение, поскольку у нас нет никаких сопутствующих сведений, которые могли бы его проиллюстрировать.

[424] Polyænus, v, 6.

[425] См. о Телинесе и этом наследственном жречестве в Herodot. vii, 153. τούτους ὧν ὁ Τηλίνης κατήγαγε ἐς Γέλην, ἔχων οὐδεμίαν ἀνδρῶν δύναμιν, ἀλλ' ἰρὰ τούτων τῶν θεῶν- ὅθεν δὲ αὐτὰ ἔλαβε, ἢ αὐτὸς ἐκτήσατο, τοῦτο οὐκ ἔχω εἶπαι. τοῦτοις δὲ ὧν πίσυνος ἔων, κατήγαγε, ἐπ' ᾧ τε οἱ ἀπόγονοι αὐτοῦ ἱεροφάνται τῶν θεῶν ἔσονται: сравни предыдущий отрывок этой истории, т. i, гл. i, стр. 26.

Из Пиндара следует, что Иеро осуществлял это наследственное священство (Olymp. vi, 160 (95), с Scholia ad loc. и Scholia ad Pindar. Pyth. ii, 27).

О том, как Фик олицетворял Афины, см. выше, т. iv этой истории, гл. xxx, с. 105.

Древние религиозные культы были обращены больше к зрению, чем к слуху; произносимые слова имели меньшее значение, чем выставленные напоказ вещи, выступающие лица и совершаемые действия. Расплывчатый смысл греческого и латинского среднего рода, ἱερὰ, или *sacra*, включает в себя всю церемонию, и его трудно перевести на современный язык: но связанные с ним глаголы, ἔχειν, κεκτήσθαι, κομίζειν, φαίνειν, ἱερὰ-ἱεροφάντης, и т.д., относятся к экспозиции и действию. Так было, в частности, с мистериями (или торжествами, которые не устраивались для широкой публики, а были доступны только тем, кто прошел через определенные предварительные формы и при определенных ограничениях) в честь Деметры и Персефоны, а также других божеств в разных частях Греции. λεγόμενα, или слова, *сказанные* по этим поводам, имели меньшее значение, чем δρώμενα и δεικνύμενα, или *показанные и сделанные вещи* (см. Павсаний, ii, 37, 3). Геродот говорит об озере Саис в Египте: Ἐν δὲ τῇ λίμνῃ ταύτῃ τὰ δείκνυται τῶν παθέων αὐτοῦ (Осириса) νυκτὸς ποιεῦσι, τὰ καλέουσι μυστήρια Αἰγύπτιοι: Далее он утверждает, что Тесмофории, отмечаемые в честь Деметры в Греции, были такого же характера, и высказывает мнение, что они были завезены в Грецию из Египта. Гомер (Hymn. Cerer. 476): ср. Pausan. ii, 14, 2.

Δεῖξεν Τριπτολέμῳ τε, Διόκλει τε πληξίππῳ

Δρημοσύνην ἱερῶν- καὶ ἐπέφραδεν ὄργια παισὶ

Πρεσβυτέρῃς Κελέοιο...

Ὀλβιος, ὃς τὰδ' ὅπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων и др.

Сравните Эврипид. Hippolyt. 25; Пиндар, Fragm. xcvi; Sophocl. Frag. lviii, ed. Brunck; Плутарх, De Profect. in Virtute, с. 10, р. 81: De Isid. et Osir. р. 353, с. 3. ὥς γὰρ οἱ τελούμενοι κατ' ἀρχὰς ἐν θορύβῳ καὶ βοῇ πρὸς ἀλλήλους ὠθούμενοι συνίασι, δρωμένων δὲ καὶ δεικνυμένων τῶν ἱερῶν, προσέχουσιν ἤδη μετὰ φόβου καὶ σιωπῆς: и Isokratês, Panegyric. с. 6, о Элевсисе, τὰ ἱερὰ καὶ νῦν δεικνυμεν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν. Таким образом, эти мистерии состояли главным образом из демонстрации и действия, обращенного к глазам причащающихся, и Клеменс Александрийский называет их мистической драмой-Δηῶ καὶ Κόρη δράμα ἐγενέσθην μυστικόν, καὶ τὴν πλάνην καὶ τὴν ἀρπαγὴν καὶ τὸ πένθος ἢ Ἑλευσίς δαδουχεῖ. Слово ὄργια первоначально было не более чем освященным выражением для ἔργα-ἱερὰ ἔργα (см. Pausanias, iv, 1, 4, 5), хотя впоследствии оно стало обозначать всю церемонию, как показанные, так и сделанные дела - τὰ ὄργια κομίζων-ὀργίων παντοίων συνθέτης и т.д.: ср. Плутарх, Алкивиад. 22-34.

Выставленные священные предметы составляли существенную часть церемонии, вместе с сундуком, в котором их выносили -τελετῆς ἐγκύμονα μυστίδα κίστην (Nonnus, ix, 127). Эсхинес, помогая в религиозных обрядах, совершаемых его матерью, был носителем ларца-κιστόφορος καὶ λικνόφορος (Demosthen. de Coronâ, с. 79, р. 313). Клеменс Александрийский (Cohort. ad Gent. р. 14) описывает предметы, которые содержались в этих мистических сундуках во время Элевсинских мистерий, - пирожные определенной формы, гранаты, соль,

ферулы, плющ и т. д. В рамках церемонии причащающемуся разрешалось достать их из ларца и положить в корзину, а затем вернуть обратно: "Jejunavi et ebibi cyceonem: ex cistâ sumpsi et in calathum misi: accepi rursus, in cistulam transtuli" (Arnobius ad Gent. v, 175, ed. Elmenherst), в то время как непосвященным было запрещено видеть это и смотреть на это "даже с крыши дома".

Τὸν κάλαθον κατιόντα χαμαὶ θασεῖσθε βέβαλοι

Μήδ' ἀπὸ τῷ τέγεος.

(Kallimachus, Hymn. in Cererem, 4.)

Лобек, в своем ученом и превосходном трактате "Аглаофам" (i, p. 51), говорит: "Sacrorum nomine tam Græci, quam Romani, præcipuè signa et imagines Deorum, omnemque sacram suppellectilem dignari solent. Quæ res animum illuc potius inclinât, ut putem Hierophantas ejusmodi ἱερὰ in conspectum hominum protulisse, sive deorum simulacra, sive vasa sacra et instrumenta aliave priscæ religionis monumenta; qualia in sacrario Eleusinio asservata fuisse, etsi nullo testimonio affirmare possumus, tamen probabilitatis speciem habet testimonio similem. Namque non solum in templis ferè omnibus cimelia venerandæ antiquitatis condita erant, sed in mysteriis ipsis talium rerum mentio occurrit, quas initiati summâ cum veneratione aspicerent, non initiatis ne aspicere quidem liceret.... Ex his testimoniis efficitur (p. 61) sacra quæ Hierophanta ostendit, illa ipsa fuisse ἅγια φάσματα sive simulacra Deorum, eorumque aspectum qui præbeant δεῖξαι τὰ ἱερὰ vel παρέχειν vel φαίνειν dici, et ab hoc quasi primario Hierophantæ actu tum Eleusiniarum sacerdotum principem nomen accepisse, tum totum negotium esse nuncupatum."

Сравните также K. F. Hermann, Gottesdienstliche Alterthümer der Griechen, part ii, ch. ii, sect. 32.

Отрывок из Cicero de Haruspicum Responsis (с. 11), который почти полностью переписан Arnobius adv. Gentes, iv, p. 148, демонстрирует точность, которую требовали в Риме при проведении праздника Мегалесии: предполагалось, что малейшее упущение или изменение сделает праздник негодным богам.

Памятная история Святой туники в Тревезе в 1845 году показывает, какое огромное и широкое воздействие на человеческий разум может оказывать даже в XIX веке ἱερὰ δεικνύμενα.

[426] Herodot. vii, 154.

[427] Herodot. vi, 22, 23. Σκύθην μὲν τὸν μούναρχον τῶν Ζαγκλαίων, ὡς ἀποβαλόντα τὴν πόλιν, ὃ Ἴπποκράτης πεδήσας, καὶ τὸν ἀδελφεὸν αὐτοῦ Πυθογένεα, ἐς Ἴνυκον πόλιν ἀπέπεμψε.

Слова ὡς ἀποβαλόντα, по-видимому, означают отношения, существовавшие между Гиппократом и Скифой, как между начальником и подданным, и наказание, наложенное первым на второго за потерю важной должности.

[428] Herodot. vi, 23, 24. Аристотель (Politic. v, 2, 11) представляет саамийцев как сначала фактически принятых в Занкле, а затем изгнавших прежних жителей: его краткое сообщение не следует противопоставлять проницательному рассказу Геродота.

[429] Thucyd. vi, 4; Schol. ad Pindar. Pyth. ii, 84; Diodor. xi, 48.

[430] Herodot. vii, 155; Thucyd. vi, 5. Девятая Немейская ода Пиндара (v, 40), адресованная Хромию, другу Гиеро из Сиракуз, отмечает, среди прочих подвигов, его поведение в битве при Гелорусе.

[431] Herodot. vii, 155. Ὁ γὰρ δῆμος ὁ τῶν Συρηκοσίων ἐπιόντι Γέλωνι παραδίδοι τὴν πόλιν καὶ ἑωυτόν.

Аристотель (Politic. v, 2, 6) упоминает сиракузскую демократию до деспотии Гелона как пример демократии, погубленной собственным беззаконием и беспорядком. Но вряд ли так было на самом деле, если верить рассказу Геродота. Изгнание гамори было не актом незаконной демократии, а восстанием свободных подданных и рабов против правящей олигархии. После изгнания Гамори у демократии не было времени, чтобы сформироваться или показать, в какой степени она способна к управлению, поскольку, согласно повествованию Геродота, восстановление Гело последовало сразу за изгнанием. А превосходящей силы, которую Гело привел на помощь изгнанным гаморийцам, вполне достаточно, чтобы объяснить покорность сиракузского народа, если бы он когда-либо был так хорошо управляем. Возможно, Аристотель имел перед собой сведения, отличные от Геродотовых: если только мы не осмелимся предположить, что имя *Гело* появилось у Аристотеля по забывчивости вместо имени *Дионисия*. Весьма вероятно, что частичный беспорядок, в который впала сиракузская демократия непосредственно перед деспотизмом Дионисия, был одним из главных обстоятельств, позволивших ему получить верховную власть; но подобное утверждение вряд ли можно применить к ранним временам, предшествовавшим Гелону, когда демократия в Греции только зарождалась.

Путаница, часто производимая поспешными историками между именами Гело и Дионисия, строго комментируется Дионисием Галикарнасским (Antiq. Roman. vii, 1, p. 1314): последний, однако, в своем собственном утверждении относительно Гело не совсем свободен от ошибки, поскольку он описывает Гиппократеса как *брата* Гело. Мы должны принять предположение Ларшера, что Павсаний (vi, 9, 2), утверждая, что датирует занятие Гелом *Сиракуз*, на самом деле указал дату занятия Гелом *Гелы* (см. M. Fynes Clinton, Fast. Hellen. ad ann. 491 B. C.).

[432] Herodot. vii, 156. Μεγαρέας τε τοὺς ἐν Σικελίῃ, ὡς πολιορκεόμενοι ἐς ὁμολογίην προσεχώρησαν, τοὺς μὲν αὐτῶν παχέας, ἀειραμένους τε πόλεμον αὐτῷ καὶ προσδοκέοντας ἀπολέεσθαι διὰ τοῦτο, ἄγων ἐς τὰς Συρακούσας πολιήτας ἐποίησε- τὸν δὲ δῆμον τῶν Μεγαρέων, οὐκ ὄντα μεταίτιον τοῦ πολέμου τούτου, οὐδὲ προσδεκόμενον κακὸν οὐδὲν πείσεσθαι, ἀγαγὼν καὶ τούτους ἐς τὰς Συρακούσας, ἀπέδοτο ἐπ' ἐξαγωγῇ ἐκ Σικελίης. Τῷ αὐτῷ δὲ τούτου καὶ Εὐβοέας τοὺς ἐν Σικελίῃ ἐποίησε διακρίνας. Ἐποίηε δὲ ταῦτα τούτους ἀμφοτέρους, νομίσας δῆμον εἶναι συνοίκημα ἀχαριτώτατον.

[433] Diodor. xi, 21.

[434] Pausan. v, 27, 1, 2. Мы находим у старца Дионисия, примерно через столетие после этого, перевод всего свободного населения завоеванных городов (Каулония и Гиппоний в Италии и т. д.) в Сиракузы (Diodor. xiv, 106, 107).

[435] См. шестую олимпийскую оду Пиндара, обращенную к сиракузцу Агесию. Схолиаст на ст. 5 этой оды, утверждающий, что не сам Агесий, а кто-то из его предков переселился из Стимфала в Сиракузы, опровергается не только схолиастом на ст. 167, где Агесий справедливо назван и Ἀρκᾶς, и Συρακόσιος; но и по лучшему свидетельству собственных выражений Пиндара, -συνοικιστὴρ τε τᾶν κλεινᾶν Συρακοσσᾶν, -οἴκοθεν οἴκαδε, со ссылкой на Стимфала и Сиракузы, -δὲ ἄγκύραι (v, 6, 99, 101 = 166-174).

Эрготелес, изгнанник из Кносса в Кретах, должно быть, примерно в это время переселился в Гимеру на Сицилии. См. двенадцатую олимпийскую оду Пиндара.

[436] Herodot. viii, 26.

[437] Herodot. vii, 157. σὺ δὲ δυνάμιός τε ἤκεις μεγάλης, καὶ μοῖρά τοι τῆς Ἑλλάδος οὐκ ἐλαχίστη μέτα, ἄρχοντί γε Σικελίης: и даже еще сильнее, с. 163. ἐὼν Σικελίης τύραννος.

Слово ἄρχων соответствует ἀρχή, например, у афинян, и является менее сильным, чем τύραννος.

Численное утверждение содержится в речи, составленной Геродотом для Гелона (vii, 158).

[438] Herodot. vii, 145. τὰ δὲ Γέλωνος πρήγματα μέγала ἐλέγετο εἶναι- οὐδαμῶν Ἑλληνικῶν τῶν οὐ πολλὸν μέζω.

[439] Herodot. vii, 158. Гело говорит посланцам из Пелопоннеса: -Ἄνδρες Ἕλληνες, λόγον ἔχοντες πλεονέκτην, ἐτολήσατε ἐμὲ σύμμαχον ἐπὶ τὸν βάρβαρον παρακαλέοντες ἐλθεῖν. Αὐτοὶ δὲ, ἐμεῦ πρότερον δεηθέντος βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεπάψασθαι, ὅτε μοι πρὸς Καρχηδονίους νεῖκος συνῆπτο, ἐπισκήπτοντός τε τὸν Δωριέος τοῦ Ἀναξανδρίδεω πρὸς Ἑγεσταίων φόνον ἐκπρήξασθαι, ὑποτείνοντός τε τὰ ἐμπόρια συνελευθεροῦν, ἀπ' ὧν ὑμῖν μεγάλα ὠφελία τε καὶ ἐπαυρέσεις γεγόνασι- οὔτε ἐμεῦ εἵνεκα ἦλθετε βοηθήσοντες, οὔτε τὸν Δωριέος φόνον ἐκπρηξόμενοι- τὸ δὲ κατ' ὑμέας τάδε ἅπαντα ὑπὸ βαρβάροισι νέμεται. Ἀλλὰ εὖ γὰρ ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὸ ἄμεινον κατέστη- νῦν δὲ, ἐπειδὴ περιελήλυθε ὁ πόλεμος καὶ ἀπῖκται ἐς ὑμέας, οὕτω δὴ Γέλωνος μνήστις γέγονε.

К большому сожалению, у нас нет более подробной информации о событиях, на которые указывают эти слова. Они, по-видимому, указывают на то, что карфагеняне и эгестейцы совершили несколько вторжений и угрожали совершить еще больше, и что Гелон отразил их реальной и успешной войной. Однако мне кажется странным, что его заставили сказать: "Вы (пелопоннесцы) извлекли из этих морских портов большие и значительные выгоды"; выгода, полученная пелопоннесцами от последних, никогда не могла быть столь велика, чтобы выделять ее таким образом. Я скорее должен был ожидать, что ἀπ' ὧν ἡμῖν (а не ἀπ' ὧν ὑμῖν), - что, должно быть, было верно на самом деле и вполне согласуется с общим смыслом речи Гелона.

[440] Herodot. vii, 161, 162. Полибий (xii, 26), похоже, не читал это посольство в изложении Геродота, - по крайней мере, он должен был предпочесть какой-то другой рассказ о нем; он дает другой рассказ об ответе, который они дали Гелону: ответ (не дерзкий, но) деловой и уклончивый, -πραγματικώτατον ἀπόκριμα, и т.д. См. Timæus, Fragm. 87, ed. Didot.

[441] Ephorus, Fragment. 111, ed. Didot; Diodor. xi, 1, 20. Митфорд и Дальманн (Forschungen, Herodotus, etc., sect. 35, p. 186) ставят под сомнение этот союз или взаимопонимание между Ксерксом и карфагенянами; но, по моему мнению, без достаточных оснований.

[442] Herodot. vii, 165; Diodor. xi, 23: сравните также xiii, 55, 59. Подобным образом Регия и Мессене составляли противоположный интерес Сиракузам при Дионисии Старшем (Diodor. xiv, 44).

[443] Геродот (vii, 165) и Диодор (xi, 20) приводят численность сухопутных войск: только последний приводит численность флота.

[444] Herodot. vii, 165. Лигии пришли с южного соединения Италии и Франции, с Лионского и Генуэзского заливов. Гелисики не могут быть удовлетворительно проверены: Нибур считает, что они были *вольсками*: гениальная догадка.

[445] Polyb. i, 67. Его описание мятежа карфагенских наемников после окончания первой Пунической войны весьма поучительно.

[446] Diodor. xi, 21-24.

[447] Herodotus, vii, 167. σώματα ὅλα καταγίζων. Этот отрывок из Геродота иллюстрирует ученый комментарий Мёверса к феникийской надписи, недавно обнаруженной в Марселе. Обычным обычаем евреев, а в старые времена и финикийцев (Porphyr. de Abstin. iv, 15), было сжигать жертву целиком: финикийцы отошли от этой практики, но отход, похоже, считался не совсем правильным, и во времена больших несчастий или тревог старая привычка возобновлялась (Mövers, Das Opferwesen der Karthager. Breslau, 1847, pp. 71-118).

[448] Herodot. vii, 166, 167. Гамилькар был сыном сиракузской матери: любопытное доказательство *коннубиума* между Карфагеном и Сиракузами. В момент, когда старший Дионисий объявил войну Карфагену в 398 году до н. э., в Сиракузах и других греко-сицилийских городах проживало множество карфагенских купцов с кораблями и другим имуществом. Дионисий разрешил сиракузянам в первый же момент, когда они решили объявить войну, разграбить все это имущество (Diodor. xiv, 46). Такое быстрое умножение карфагенян с товарами в греческих городах, так скоро после завершения кровопролитной войны, является убедительным доказательством спонтанных тенденций торговли.

[449] Diodor. xiii, 62. Согласно Геродоту, битва при Гимере произошла в тот же день, что и при Саламине; согласно Диодору, в тот же день, что и при Фермопилах. Если мы вынуждены выбирать между этими двумя свидетельствами, можно без колебаний отдать предпочтение первому: но более вероятным кажется, что ни одно из них не является верным.

Насколько мы можем судить по кратким упоминаниям Геродота, он, должно быть, представлял себе битву при Гимере совершенно иначе, чем Диодор. При таких обстоятельствах я не могу доверять деталям, приведенным последним".

[450] Я предполагаю, что это обращение Гело с Анаксилаем должно быть упомянуто в Диодоре, xi, 66: по крайней мере, трудно понять, какое еще "великое благо" Гело оказал Анаксилаю.

[451] Diodor. xi, 26.

[452] Schol. ad Pindar. Pyth. ii, 3; Плутарх, De Serâ Numinis Vindictâ, p. 552, c. 6.

[453] Diodor. xx, 14.

[454] Пиндар, Nem. ix, 67 (= 28 B.) со схолиями.

[455] Simonidês, Epigr. 141, ed. Bergk.

[456] Herodot. vii, 163-165: ср. Diodor. xi, 26; Ephorus, Fragm. 111, ed. Didot.

[457] Diodor. xi, 25. αἱ δὲ πόλεις εἰς πέδας κατέστησαν τοὺς διαίρεθέντας αἰχμαλώτους, καὶ τὰ δημόσια τῶν ἔργων διὰ τούτων ἐπεσκεύαζον.

Аналогичные случаи, когда захваченные на войне пленники были заняты на общественных работах, а сами трудились в цепях, см. в Геродоте: i, 66; iii, 39, случаи Тегеи и Самоса.

[458] Diodor. xi, 25. Что касается рабов, принадлежащих обществу и сдаваемых в наем отдельным работодателям, сравните крупный финансовый проект, задуманный Ксенофонтom, De Vectigalibus, capp. 3 и 4.

[459] Diodor. xi, 38, 67; Plutarch, Timoleon, c. 29; Aristotle, Γελῶων Πολιτεία; Fragm. p. 106, ed. Neumann.

[460] Diodor. xi, 49.

[461] Diodor. xi, 72, 73.

[462] Diodor. xi, 67; Aristotel. Politic. v, 9, 3. Несмотря на комплименты, прямо высказанные Пиндаром в адрес Гиеро (πραῦς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ θαυμαστός πατήρ, Pyth. iii, 71 = 125), его косвенные наставления и намеки достаточно свидетельствуют о реальном характере (см. Dissen ad Pindar. Pyth. i, и ii, pp. 161-182).

[463] Diodor. xi, 48; Schol. Pindar, Olymp. ii, 29.

[464] Schol. ad Pindar. Olymp. ii, 173. О тех немногих фактах, которые можно выяснить относительно семьи и генеалогии Тиро, см. Göller, De Situ et Origine Syracusarum, ch. vii, pp. 19-22. Схолиасты Пиндара иногда полезны для объяснения его кратких исторических аллюзий; но, похоже, у них было очень мало достоверных материалов для этого.

[465] Diodor. xi, 48, 49.

[466] Медный шлем, найденный недалеко от Олимпии, с именем Иеро и надписью о победе при Кумæ, все еще остается интересной реликвией в память об этом событии: он был среди подношений, принесенных Иеро олимпийскому Зевсу: см. Boeckh, Corp. Inscriptt. Græc. No. 16, part i, p. 34.

[467] Diodor. xi, 51; Pindar, i, 74 (= 140); ii, 17 (= 35) c Scholia; Epicharmus, Fragment, p. 19, ed. Krusemann; Schol. Пиндар. Pyth. i, 98; Strabo, v, p. 247.

[468] Ἱέρων οἰκιστῆς ἀντὶ τυράννου βουλόμενος εἶναι, Κατάνην ἐξελὼν Αἴτην μετωνόμασε τὴν πόλιν, ἑαυτὸν οἰκιστὴν προσαγορεύσας (Schol. ad Pindar. Nem. i, 1).

Сравните последующий случай с основанием Фурий, среди жителей которых возникли ожесточенные споры при определении того, кто должен быть признан экистом этого места. Обратившись к оракулу, Аполлон велел им прославить себя как экиста (Diodor. xii, 35).

[469] Хромий ἐπίτροπος τῆς Αἴτης (Schol. Pind. Nem. ix, 1). О дорийских учреждениях Этны и т. д. - Пиндар, Pyth. i, 60-71.

Дейноменес пережил своего отца и отмечал олимпийские победы последнего дорогими подношениями в Олимпии (Pausan. vi, 12, 1).

[470] Pindar, Pyth. i, 60 (= 117); iii, 69 (= 121). Pindar. ap. Strabo. vi, p. 269. Сравните Немю, ix, 1-30, адресованное Хромиусу. В некоторых одах Иеро провозглашается сиракузянином; но Сиракузы и новообразованная Итна тесно связаны друг с другом: см. Немю, i, *init.*

[471] Юстин, iv, 2.

[472] Так, по моему мнению, следует понимать слова Диодора: -πλεῖστοι τῶν παρатаξαμένων Ἑλλήνων πρὸς Ἑλληνας ἔπεσον (Diodor. xi, 53).

[473] Diodor. xi, 53. ἐκεῖ θανάτου καταγνωσθεὶς ἐτελεύτησεν. Это замечательный пример того, как в чужом городе относятся к деспотичному τύραννος. Мегарийцы Собственной Греции были тесно связаны с Сицилией через Гиблею Мегару, а также Селина.

[474] Diodor. xi, 76. Οἱ κατὰ τὴν Ἱέρωνος δυναστείαν ἐκπεπτωκότες ἐκ τῶν ἰδίων πόλεων-τούτων δ' ἦσαν Γελῶοι καὶ Ἀκραγαντῖνοι καὶ Ἱμεραῖοι.

[475] Иеро женился на дочери Анаксилая, но у него, кажется, было еще две жены - сестра или двоюродная сестра Теро и дочь сиракузянина по имени Никоклес: эта последняя была матерью его сына Дейноменеса (Schol. Pindar. Pyth. i, 112).

Мы читаем о Клеофроне, сыне Анаксилая, который управлял Мессеной при жизни отца: вероятно, этот юноша умер, иначе Микиф не смог бы стать его преемником (Schol. Pindar. Pyth. ii, 34).

[476] Diodor. xi, 66.

[477] Aristotel. Politic. v, 8, 19. Диодор не упоминает сына Гело.

Г-н Файнс Клинтон (Fasti Hellenici, App. chap. 10, p. 264, seq.) обсудил все основные моменты, связанные с сиракузской и сицилийской хронологией.

[478] Xenophon, Hiero, iii, 8. Εἰ τοίνυν ἐθέλεις κατανοεῖν, εὐρήσεις μὲν τοὺς ἰδιώτας ὑπὸ τούτων μάλιστα φιλουμένους, τοὺς δὲ τυράννους πολλοὺς μὲν παῖδας ἑαυτῶν ἀπεκτονηκότας, πολλοὺς δ' ὑπὸ παίδων αὐτοὺς ἀπολωλότας, πολλοὺς δὲ ἀδελφοὺς ἐν τυραννίσιν ἀλληλοφόνους γεγενημένους, πολλοὺς δὲ καὶ ὑπὸ γυναικῶν τῶν ἑαυτῶν τυράννους διεφθαρμένους, καὶ ὑπὸ ἐταίρων γε τῶν μάλιστα δοκούντων φίλων εἶναι: сравните Isokratês, De Pace, Orat. viii, p. 182, § 138.

Также Тацит (Hist. v, 9) говорит о местных царях Иудеи после изгнания сирийской династии: "Sibi ipsi reges imposuere: qui, mobilitate vulgi expulsi, resumptâ per arma dominatione, fugas civium, urbium eversiones, -fratrum, conjugum, parentum, neces, - aliaque solita regibus ausi," etc.

[479] Diodor. ix, 67, 68.

[480] Aristotel. Politic. v, 8, 23.

[481] Diodor. xi, 68.

[482] Diodor. xi, 76.

[483] Diodor. xi, 73. τὴν τε Ἀхраδινὴν καὶ τὴν Νήσον- ἀμφοτέρων τῶν τόπων τούτων ἔχόντων ἴδιον τεῖχος, καλῶς κατεσκευασμένον.

Далее Диодор говорит, что общая масса граждан τὸ πρὸς τὰς Ἐπιπόλας τετραμμένον αὐτῆς ἐπετείχισαν...,-если бы мы рискнули жестко истолковать это последнее слово, то могли бы предположить, что части города, *выходящие* к Ахрадине и острову, до этого были не укреплены.

Аристотель (Politic. v, 2, 11) в качестве одной из иллюстраций вредности приема новых граждан упоминает, что сиракузяне после династии Гелонов принимали в гражданство иностранных наемников, отчего возникали смуты и вооруженные конфликты. Но этот инцидент не может быть справедливо процитирован в качестве иллюстрации того принципа, который он приводит в качестве доказательства. Наемники, пока длилась династия, были первыми гражданами в обществе: после ее свержения они стали низшими и оказались

недопустимы к почестям. Вряд ли стоит удивляться тому, что столь значительное изменение положения побудило их к восстанию; но это не тот случай, который можно использовать для доказательства трудности урегулирования отношений с новоприбывшими гражданами.

После изгнания Агатоклеса из Сиракуз, спустя почти два столетия после этих событий, те же самые распри и смута возобновились, поскольку его наемники были исключены из магистратуры и почетных должностей (Diodor. xxi, Fragm. p. 282).

[484] Diodor. xi, 72, 73, 76.

[485] Diodorus, xiv, 7.

[486] Диодор, xi, 76; Страбон, vi, 268. Сравните, как аналогичное событие, разрушение гробницы Агнона, экиста Амфиполя, после восстания этого города из Афин (Thucyd. v, 11).

[487] Diodor. xi, 76. μετὰ δὲ ταῦτα Καμαρίναν μὲν Γελῶοι κατοικίσαντες ἐξ ἀρχῆς κατεκληροῦχσαν.

См. примечание Весселинга к этому отрывку. Можно не сомневаться, что в Фукидиде (vi, 5) исправление κατωκίσθη ὑπὸ Γελῶων (вместо ὑπὸ Γέλωνος) является правильным.

[488] Herodot. vii, 155.

[489] См. четвертую и пятую олимпийские оды Пиндара, относящиеся к Олимпиаде 82, или 452 г. до н. э., примерно через девять лет после того, как гелоны вновь установили Камарину. Τὰν νέοικον ἔδραν (Olymp. v, 9); ἀπ' ἀμαχανίας ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον ἀστῶν (Olymp. v, 14).

[490] Diodor. xi. 86. πολλῶν εἰκῇ καὶ ὥς ἔτυχε πεπολιτογραφημένων.

[491] Herodot. vii, 170; Diodor. xi, 52. Последний утверждает, что иапигианские победители разделили свои силы, часть из них преследовала регийских беглецов, остальные - тарентинцев. Те, кто преследовал первых, были так стремительны в своих передвижениях, что, по его словам, вместе с беглецами вошли в город Региум и даже стали его хозяевами.

Не говоря уже о том, что Региум и после этого, как и прежде, находится под властью Микифа, можно отметить, что Диодор, должно быть, составил себе странное представление о географии Южной Италии, говоря о преследовании и бегстве *из Иапигии в Региум*.

[492] Aristotel. Polit. v, 2, 8. У Аристотеля есть еще один отрывок (vi, 3, 5), в котором он комментирует правительство Тарентума: и О. Мюллер применяет этот второй отрывок для иллюстрации конкретных конституционных изменений, которые были сделаны после Иапигийской катастрофы. Я считаю такое сопоставление двух отрывков недопустимым: их вообще ничто не связывает вместе. См. "История дорийцев", iii, 9, 14.

[493] "Письма из Греции" г-на Уоддингтона, описывающие греческую революцию 1821 года, дадут хорошее представление о глупости турецкой войны: сравните также второй том "Мемуаров" барона де Тотта, часть iii.

[494] Thucyd. i, 69. ἐπιστάμενοι καὶ τὸν βάρβαρον αὐτὸν περὶ αὐτῷ τὰ πλείω σφαλέντα, etc.: compare Thucyd. vi, 33.

[495] Thucyd. i, 142. πλήθει τὴν ἀμαθίαν θρασύνοντες и т. д.

[496] См. примечательный отрывок в третьем Филиппике Демосфена, с. 10, р. 123.

[497]

Ἀμφότερον, βασιλεύς τ' ἀγαθός, κρατερός τ' αἰχμήτης.

Гомер, Илиада, iii, 179.

[498] Thucyd. i. 89.

[499] Thucyd. i, 90. τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὀρῶντες μήτε ἐκείνους μητ' ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα, τὸ δὲ πλεόν, τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος, ὃ πρὶν οὐχ ὑπῆρχε, καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην.

[500] Thucyd. i. 91, τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπέειποντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ.

[501] Thucyd. i. 91, Οὐ γὰρ οἶόν τε εἶναι μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς ὁμοῖόν τι ἢ ἴσον ἐς τὸ κοινὸν βουλευέσθαι. Ἦ πάντας οὖν ἀτειχίστους ἔφη χρῆναι συμμαχεῖν ἢ καὶ τάδε νομίζειν ὀρθῶς ἔχειν.

[502] Нам повезло, что мы располагаем этим рассказом о восстановлении стен Афин, пересказанным Фукидидом. Это первый инцидент, о котором он рассказывает в общем очерке событий между Персидской и Пелопоннесской войнами, который предшествует его исповедуемой истории (i, 89-92). Диодор (xi, 39, 40), Плутарх ("Фемистоклос", с. 19) и Корнелий Непос ("Фемист", с. 6, 7), похоже, следовали Фукидиду, хотя Плутарх также отмечает высказывание Феопомпа о том, что Фемистоклос достиг своей цели, подкупив эфоров. Само по себе это не кажется невероятным, но и не противоречит рассказу Фукидида; однако последний либо не слышал, либо не верил этому.

[503] Thucyd. i, 69. Καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι (говорит коринфский посланник, обращаясь к лакедемонянам), τό τε πρῶτον ἔασαντες αὐτοὺς (афиняне) τὴν πόλιν μετὰ τὰ Μηδικὰ κρατῆναι, καὶ ὕστερον τὰ μακρὰ στῆσαι τεῖχη, и т. д.

[504] Thucyd. i, 93. Корнелий Непос (Themist. с. 7) преувеличивает это до глупой самонадеянности.

[505] О размерах и направлении Фемистокловых стен Афин см. особенно превосходный трактат Форххаммера "Топография Афин", опубликованный в Kieler Philologische Studien. Kiel, 1841.

План Афин, подготовленный Кипертом после его собственных исследований и опубликованный среди его последних карт, по большей части принимает идеи Форххаммера в отношении хода стен.

[506] Thucyd. i. 93. ἔπεισε δὲ καὶ τοῦ Πειραιέως τὰ λοιπὰ ὁ Θεμιστοκλῆς οἰκοδομεῖν (ὑπῆρκετο δ' αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τῆς ἐκείνου ἀρχῆς, ἧς κατ' ἐνιαυτὸν Ἀθηναίοις ἦρξε).

На эти слова схолиаст замечает (Κατ' ἐνιαυτὸν)-κατὰ τινα ἐνιαυτὸν ἡγεμῶν ἐγένετο- πρὸ δὲ τῶν Μηδικῶν ἦρξε Θεμιστοκλῆς ἐνιαυτὸν ἕνα.

Вряд ли возможно, не имея более полных доказательств, определить, к какому из предшествующих лет Фукидид хотел отнести этот ἀρχὴ Фемистоклаза. Г-н Файнс Клинтон, обсудив мнения Додуэлла и Корсини (см. Fasti Hellenici, ad ann. 481 В. С. и Preface, p. xv), вставляет Фемистоклеса в качестве archon eponymus в 481 г. до н. э., за год до вторжения Ксеркса, и полагает, что в этом году был начат Пейреус. Это само по себе не является невероятным: но он ссылается на Схолиаста, утверждавшего то же самое до него (πρὸ τῶν Μηδικῶν ἦρξε Θεμιστοκλῆς ἐνιαυτὸν ἕνα), в чем, как я полагаю, его не поддерживает аналогия

языка: ἐνιαυτὸν ἕνα в винительном падеже обозначает только продолжительность ἀρχῇ, а не положение года (ср. Thucyd. iii, 68).

Я не уверен, что Фукидид хотел обозначить Фемистоклеса как архонта-эпонима или как одного из девяти архонтов. Возможно, он имел в виду "в тот год, когда Фемистокл был стратегом (или генералом)", и объяснение схолиаста, который использует слово ἡγεμῶν, скорее предполагает, что он понимал это именно так. Стратеги были годовыми, как и архонты. Теперь мы знаем, что Фемистокл был одним из генералов в 480 году до н. э. и что он командовал в Фессалии, в Артемисии и при Саламине. Возможно, Пирей был начат в начале 480 года до н. э., когда Ксеркс уже находился в походе или, по крайней мере, в Сардах.

[507] Thucyd. ii, 13.

[508] Thucyd. i, 93.

[509] Thucyd. i, 93. Τὸ δὲ ὕψος ἥμισυ μάλιστα ἐτελέσθη οὗ διανοεῖτο- ἐβούλετο γὰρ τῷ μεγέθει καὶ τῷ πάχει ἀφιστάναι τὰς τῶν πολεμίων ἐπιβουλὰς, ἀνθρώπων δὲ ἐνόμιζεν ὀλίγων καὶ τῶν ἀχρειοτάτων ἀρκέσειν τὴν φυλακὴν, τοὺς δ' ἄλλους ἐς τὰς ναῦς ἐσβήσεσθαι.

[510] Thucyd. i, 93. Выражения принадлежат полковнику Лику и получены в результате осмотра скудных остатков этих знаменитых стен, которые еще можно увидеть - Topography of Athens, ch. ix, p. 411: см. edit. p. 293, нем. перевод. Сравните с Аристофаном. Aves, 1127, о ширине стены Нефилоккигии.

[511] Thucyd. i, 93 (ср. Cornel. Nepos, Themistok. c. 6) ταῖς ναυσὶ πρὸς ἅπαντας ἀνθίστασθαι.

[512] Diodor. xi, 43.

[513] См. живую картину ахарнийских демонов в комедии Аристофана под таким названием.

Что касается преимуществ, получаемых от проживания метисов и от иностранных гостей, сравните наблюдения Исократеса, более чем через столетие после этого периода, Orat. iv, De Pace, p. 163, и Ксенофонта, De Vectigalibus, c. iv.

[514] Diodor. xi, 43.

[515] Diodor. xi, 41, 42, 43. Я имею в виду, что факт отправки такого посольства в Спарту достаточно вероятен, если отделить его от предварительных обсуждений, которые Диодор описывает как предшествовавшие ему в афинском собрании и которые кажутся бессмысленными, равно как и невероятными. Его рассказ о том, что Фемистокл сказал собранию, что у него есть задуманный план, имеющий большое значение для государства, но не позволяющий обнародовать его заранее, после чего собрание назначило Аристеидеса и Ксантиппа, чтобы они конфиденциально выслушали его и рассудили, - похоже, Диодор читал известную историю о проекте Фемистокла сожжения греческого флота в гавани Пагаса и соединил его в своей памяти с другим проектом расширения и укрепления Пейреуса.

[516] Thucyd. i, 94; Plutarch, Aristeidês, c. 23. Диодор (xi, 44) говорит, что пелопоннесских кораблей было пятьдесят: его утверждение нельзя принять, в отличие от Фукидида.

[517] Thucyd. i, 94.

[518] См. непосредственно предшествующий том этой истории, гл. xxxvi, с. 372.

[519] Herodot. ix, 81.

[520] В афинских надписях на votivных приношениях, посвященных взятию Эйона, а также после великих побед у реки Эвримедон, имя полководца Кимона даже не упоминается (Плутарх, Кимон, с. 7; Диодор. xi, 62).

Решительный протест, очевидно, знакомый греческому чувству, против того, чтобы выделять полководца особо, чтобы получить почести за победу, появляется в Euripid. Andromach. 694: поразительные стихи, которые, как говорят, с негодованием повторял Клит во время опьянения на пиру, где он был убит Александром (Quint. Curtius, viii, 4, 29 (viii, 4); Plutarch, Alexand. с. 51).

[521] Эти письма Фукидид приводит дословно (i, 128, 129): он видел их или получил копии (ὡς ὕστερον ἀνευρέθη) - они, несомненно, были переданы вместе с последними откровениями конфиденциального аргильского раба. Поскольку это автографы, я перевел их буквально, сохранив тот резкий переход от третьего лица к первому, который является одной из их особенностей. Корнелий Непос, который переводит письмо Павсания, устранил эту особенность и переносит третье лицо с начала в конец (Cornel. Nep. Pausan. с. 2).

[522] Diodor. xi, 44.

[523] Арриан. Exp. Alex. iv, 7, 7; vii, 8, 4; Quint. Curt. vi, 6, 10 (vi, 21, 11).

[524] Плутарх, Кимон, с. 6; также Плутарх, De Ser. Numin. Vind. с. 10, р. 555. Павсаний, iii, 17, 8. Примечательно, что последний услышал историю о смерти Клеоники из уст византийского гражданина своего времени и, похоже, считает, что она не нашла места ни в одном письменном произведении.

[525] Thucyd. i, 95-131: сравните Duris и Nymphis apud Athenæum, xii, р. 535.

[526] Herodot. viii, 2, 3. Сравните язык афинского посланника, как он изложен у Геродота (vii, 155), обращенный к Гелону.

[527] Thucyd. i, 95. ἡγεῖον αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γενέσθαι κατὰ τὸ συγγενές καὶ Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν ἣν ποὺ βιάζεται.

[528] 2 Plutarch, Aristeidēs, с. 23.

[529] Thucyd. i, 95; Diodorus, xi, 44-47.

[530] Thucyd. i, 95. Следуя Фукидиду в его концепции этих событий, я включил в рассказ столько, сколько кажется согласующимся с ним у Диодора (xi, 50), который, очевидно, не копировал здесь Фукидида, но, вероятно, руководствовался Эфором. Имя Хетаймарида, как влиятельного спартанского государственного деятеля в этом случае, достаточно вероятно; но его предполагаемая речь о вреде морской империи, которую Диодор, кажется, имел перед собой, составленная Эфором, вероятно, представляла взгляды и чувства 350 года до н. э., а не 476 года до н. э., а не 476 г. до н. э. Этот вопрос рассматривался бы так же, как его рассматривает Исократес, учитель Эфора, в своем Crat. viii, De Pace, pp. 179, 180.

[531] Ксенофонт, Hellen. vi, 5, 34. Это было в тот момент, когда спартанцы просили помощи у афинян после поражения при Лейктре. ὑπομιμνήσκοντες μὲν, ὡς τὸν βάρβαρον κοινῇ ἀπεμαχέσαντο-ἀναμιμνήσκοντες δὲ, ὡς Ἀθηναῖοι τε ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἡρέθησαν ἡγεμόνες τοῦ ναυτικοῦ, καὶ τῶν κοινῶν χρημάτων φύλακες, τῶν Λακεδαιμονίων ταῦτα συμβουλομένων- αὐτοὶ τε κατὰ γῆν ὁμολογουμένως ὑφ' ἀπάντων τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνες προκριθείσαν, συμβουλομένων αὖ ταῦτα τῶν Ἀθηναίων.

[532] Herodot. vi, 72; Diodor. xi, 48; Pausanias, iii, 7, 8: сравните Plutarch, De Herodoti Malign. c. 21, p. 859.

Леотихид умер, согласно Диодору, в 476 г. до н. э.: он командовал в Микале в 479 г. до н. э. Экспедиция в Фессалию, следовательно, должна была состояться в один из двух промежуточных годов, если хронология Диодора в данном случае заслуживает доверия. Но Г-н Клинтон (Fasti Hellenici, Appendix, ch. iii, p. 210) показал, что Диодору противоречит Плутарх в отношении даты воцарения Архидам, а также другие источники в отношении даты восстания в Спарте. Г-н Клинтон помещает воцарение Архидам и изгнание Леотихидеса (разумеется, следовательно, и экспедицию в Фессалию) в 469 г. до н.э. Я склонен считать, что экспедиция Леотихида против фессалийских алеуадов состоялась в год или во второй год после битвы при Платее, поскольку они были горячими и сердечными союзниками Мардония в Беотии, и потому что война, по-видимому, не могла быть завершена без их изгнания и преобладания противоположной партии в Фессалии.

Учитывая, насколько плохо мы знаем лакедемонскую хронологию этого времени, вполне возможно, что в случае с Леотихидесом могла возникнуть некоторая путаница из-за разницы между датой его *изгнания* и датой его *смерти*. Впоследствии царь Плейстоанакс, будучи изгнанным за то же преступление, что и Леотихид, и прожив много лет в изгнании, был восстановлен, и годы, которые он провел в изгнании, были засчитаны как часть его царствования (Fast. Hellen. l. c. p. 211). Дата правления Архидам, возможно, в одном случае отсчитывается от *изгнания* Леотихида, в другом - от его *смерти*; тем более, что Архидам, должно быть, был очень молод, поскольку он царствовал сорок два года даже после 469 г. до н. э. А дата, которую Диодор назвал смертью Леотихида, на самом деле может быть только датой его изгнания, в котором он прожил до 469 г. до н. э.

[533] Thucyd. i, 18.

[534] Thucyd. i, 18. Καὶ μεγάλου κινδύνου ἐπικρεμασθέντος οἱ τε Λακεδαιμόνιοι τῶν συμπολεμούντων Ἑλλήνων ἡγήσαντο δυνάμει προὔχοντες, καὶ οἱ Ἀθηναῖοι, διανοηθέντες ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀνασκευασάμενοι, ἐς τὰς ναῦς ἐμβάντες ναυτικοὶ ἐγένοντο. Κοινῇ δὲ ἀπώσάμενοι τὸν βάρβαρον, ὕστερον οὐ πολλῶ διεκρίθησαν πρὸς τε Ἀθηναίους καὶ Λακεδαιμονίους, οἱ τε ἀποστάντες βασιλέως Ἑλλήνες καὶ οἱ συμπολεμήσαντες. Δυνάμει γὰρ ταῦτα μέγιστα διεφάνη- ἴσχυον γὰρ οἱ μὲν κατὰ γῆν, οἱ δὲ ναυσί. Καὶ ὀλίγον μὲν χρόνον συνέμεινεν ἡ ὁμαίχμία, ἔπειτα δὲ διενεχθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπολέμησαν μετὰ τῶν συμμάχων πρὸς ἀλλήλους- καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων εἰπίνες που διασταίεν, πρὸς τούτους ἤδη ἐχώρουν. Ὡστε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε ἀεὶ τὸν πόλεμον, etc.

Это четкое и краткое изложение великого переворота в греческих делах, сравнение периода до и после персидской войны. Далее Фукидид кратко прослеживает последствия этого разделения греческого мира на две великие лиги, - растущее совершенствование военного мастерства и увеличение военных усилий с обеих сторон с момента персидского вторжения до Пелопоннесской войны; он также отмечает разницу между Спартой и Афинами в их отношении к своим союзникам соответственно. Затем он констатирует поразительный факт, что военные силы, выставленные отдельно Афинами и их союзниками с одной стороны, и Спартой и ее союзниками с другой стороны во время Пелопоннесской войны, были больше, чем все силы, которые были задействованы обеими сторонами вместе в самый мощный период их конфедерации против персидских захватчиков, - Καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἐς τόνδε τὸν πόλεμον ἡ ἰδίᾳ παρασκευὴ μείζων ἢ ὥς τὰ κράτιστά ποτε μετὰ ἀκραίφνοῦς τῆς συμμαχίας ἦνθησαν (i, 19).

Я особенно обращаю внимание на этот последний отрывок (истолковывая его так, как это делает схолиаст) не столько потому, что он передает интересное сравнение, сколько потому, что он был понят д-ром Арнольдом, Гёллером и другими комментаторами в смысле, который кажется мне ошибочным. Они толкуют так: αὐτοῖς означает только афинян, а не лакедемонян, - ἡ ἰδία παρασκευὴ обозначает силы, снаряженные самими Афинами, помимо их союзников, - а ἄκραίφνοῦς συμμαχίας относится "только к афинскому союзу", в период немного раньше заключения тридцатилетнего договора, когда афиняне были хозяевами не только островов и азиатских греческих колоний, но и присоединили к своей конфедерации Беотию и Ахайю на самом греческом континенте." (Прим. д-ра Арнольда.) Теперь, пока речь идет о словах, значение, придаваемое д-ром Арнольдом, может быть приемлемым; но если мы проследим нить идей Фукидида, то увидим, что сравнение, как его представляют себе эти комментаторы, между Афинами в одиночку и Афинами при поддержке ее союзников - между Афинской империей, какой она была во время Пелопоннесской войны, и той же империей, какой она была до тридцатилетнего перемирия, - совершенно чуждо его мыслям. Фукидид не сказал ни слова, чтобы сообщить читателю, что Афинская империя в начале Пелопоннесской войны уменьшилась в размерах и, таким образом, больше не была ἄκραίφνης: без этого предварительного уведомления сравнение, предполагаемое доктором Арнольдом, не может быть ясно понято. Я полагаю, что есть два периода и два ряда обстоятельств, которые Фукидид хотел противопоставить во всем этом отрывке: во-первых, конфедеративная Греция во время персидской войны; во-вторых, разделенная Греция в состоянии войны, под двойным руководством Спарты и Афин. Αὐτοῖς относится столько же к Спарте, сколько и к Афинам - ἄκραίφνοῦς τῆς συμμαχίας означает то, что раньше выражалось ὁμαχμία-и поте в сравнении с τόνδε τὸν πόλεμον, эквивалентно выражению, которое было использовано ранее - ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε ἀεὶ τὸν πόλεμον.

[535] Thucyd. v, 18; Plutarch, Aristeidês, c. 24. Плутарх утверждает, что союзники прямо просили афинян прислать Аристеидеса для оценки дани. Это совершенно неправдоподобно: Аристеидес, как командующий афинским контингентом под командованием Павсания, находился в Византии, когда произошел мятеж ионийцев против Павсания, и был тем человеком, к которому они обратились за защитой. Как таковой, он был естественным человеком, чтобы взять на себя обязанности, которые возлагались на Афины, без необходимости предполагать, что его специально просили об этом.

Плутарх также утверждает, что еще во времена правления Спарты с греков взимался определенный взнос на ведение войны. Это утверждение также крайне неправдоподобно. Управление Спартой охватывает только одну кампанию, в которой командовал Павсаний: ионийские греки отправляли свои корабли на флот, которого было бы достаточно, и не было времени для измерения взносов в деньги.

Павсаний утверждает, но, как мне кажется, весьма ошибочно, что имя Аристеидеса было лишено должной чести, потому что он был первым человеком, который ἔταξε φόρους τοῖς Ἑλλήσι (Pausan. viii, 52, 2). Ни оценка, ни имя Аристеидеса не были иначе как популярными.

Аристотель использует имя Аристеидеса как символ непревзойденной честности (Риторика. ii, 24, 2).

[536] Thucyd. i, 95, 96.

[537] Herodot. vii, 106. ὕπαρχοι ἐν τῇ Θρηϊκῇ καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου πανταχῇ. Οὗτοι ὦν πάντες, οἳ τε ἐκ Θρηϊκῆς καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου, πλὴν τοῦ ἐν Δορίσκῳ, ὑπὸ Ἑλλήνων ὕστερον ταύτης τῆς στρατηλασίης ἐξηρέθησαν, etc.

[538] Thucyd. v, 18. Τὰς δὲ πόλεις, φερούσας τὸν φόρον τὸν ἐπ' Ἀριστείδου, αὐτονόμους εἶναι.... εἰσὶ δὲ, Ἀργίλος, Στάγειρος, Ἀκανθος, Σκῶλος, Ὀλυνθος, Σπάρτωλος.

[539] Корнелий Непос утверждает, что он был оштрафован (Pausanias, c. 2), чего не замечает Фукидид, и что вообще вероятно, глядя на последующие обстоятельства, связанные с ним.

[540] Thucyd. i, 130, 131. Καὶ ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἐκπολιορκηθεὶς и т. д.: эти слова, кажется, означают, что он приобрел сильное положение в городе.

[541] Именно к этому времени я отношу миссию Артмия из Зелеи (азиатский город, расположенный между горой Ида и южным побережьем Пропонтиды) по завоеванию тех греков, которых он мог заполучить с помощью персидского золота. Во время своего визита в Грецию Артмий отправился в Афины: его замысел был раскрыт, и он был вынужден бежать, а афиняне по приказу Фемистокла приняли возмущенное постановление, объявив его и его род врагами Афин и всех афинских союзников, и объявив, что тот, кто убьет его, будет невиновен, поскольку он привез персидское золото, чтобы подкупить греков. Этот указ был выгравирован на медной колонне и помещен в акрополь, где он стоял рядом с великой статуей Афины Промехос, еще во времена Демосфена и современных ему ораторов. См. Демосфен. Philippic. iii, c. 9, p. 122, и De Fals. Legat. c. 76, p. 428; Æschin. cont. Ktesiphont. ad fin. Harpokrat. v. Ἀτιμος-Deinarchus cont. Aristogeiton, sects. 25, 26.

Плутарх (Themistoklēs, c. 6, and Aristeidēs, tom. ii, p. 218) рассказывает, что Фемистокл предложил этот указ против Артмия и добился его принятия. Но Плутарх относит его к тому времени, когда Ксеркс уже собирался вторгнуться в Грецию. Теперь мне кажется, что этот инцидент не может относиться к тому времени. Ксеркс полагался не на взятки, а на другие, отличные от них средства завоевания Греции: кроме того, сама суть постановления показывает, что оно должно было быть принято после образования Делосской конфедерации, - ведь в нем Артмий объявляется врагом Афин и всех афинских союзников. Для уроженца Зелеи могло быть серьезным наказанием быть исключенным и проскрибированным из всех городов в союзе с Афинами, многие из которых находились на побережье Азии. Я не знаю времени, к которому можно было бы так удобно отнести миссию Артмия, - когда Павсаний и Артабаз были заняты в этой самой части Азии, придумывая заговоры, чтобы поднять партию в Греции. Павсаний занимался этим несколько лет, до изгнания Фемистокла.

[542] Thucyd. i, 131. Ὁ δὲ βουλόμενος ὡς ἤκιστα ὑποπτος εἶναι καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν τὴν διαβολὴν, ἀνεχώρει τὸ δεύτερον ἐς Σπάρτην.

[543] Thucyd. i, 131. Καὶ ἐς μὲν τὴν εἰρκτὴν ἐσπίπτει τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν ἐφόρων- ἔπειτα διαπραξάμενος ὕστερον ἐξῆλθε, καὶ καθίστησιν ἑαυτὸν ἐς κρίσιν τοῖς βουλομένοις περὶ αὐτῶν ἐλέγχειν.

Слово διαπραξάμενος указывает, во-первых, на то, что Павсаний сам инициировал попытки освободиться, - во-вторых, на то, что он пришел к тайному соглашению: весьма вероятно, с помощью взятки, хотя слово не обязательно подразумевает это. Схолиаст говорит об этом совершенно определенно: -χρήμασι καὶ λόγοις διαπραξάμενος δηλόνоти διακρουσάμενος τὴν κατηγορίαν. Доктор Арнольд переводит διαπραξάμενος как "уладив дела".

[544] Aristotel. Politic. iv, 13, 13; v, 1, 5; v, 6, 2; Herodot. v, 32. Аристотель называет Павсания царем, хотя он был только *регентом*: на самом деле он обладал всей властью спартанского царя и, кажется, даже больше, если сравнить его обращение с обращением проклидского царя Леотихидеса.

[545] Thucyd. i, 132. ὁ μέλλων τὰς τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς πρὸς Ἀρτάβαζον κομιεῖν, ἀνὴρ Ἀργίλιος, etc.

[546] Diodor. xi, 45; Cornel. Nepos, Pausan. c. 5; Polyæn. viii, 51.

[547] Thucyd. i, 133, 134; Pausanias, iii, 17, 9.

[548] Плутарх, Кимон, с. 8.

[549] Aristotel. Politic. v, 3, 5. Καὶ πάλιν ὁ ναυτικὸς ὄχλος, γενόμενος αἴτιος τῆς περὶ Σαλαμίνα νίκης, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἡγεμονίας καὶ διὰ τὴν κατὰ θάλασσαν δύναμιν, τὴν δημοκρατίαν ἰσχυροτέραν ἐποίησεν.

Ὁ ναυτικὸς ὄχλος (Thucyd. viii, 72 и *passim*).

[550] О конституции Клейстенеса см. т. iv этой "Истории", гл. xxxi, с. 142 и след.

[551] Herod. vi, 109.

[552] Aristotel. Πολιτειῶν Fragm. xlvii, ed. Neumann; Harpokration, v. Πολέμαρχος; Pollux, viii, 91: ср. Meier und Schömann, Der Attische Prozess, ch. ii, p. 50, *seqq.*

[553] См. Аристотель. Πολιτειῶν Fragm. ii, v, xxiii, xxviii, l, ed. Neumann; Schömann, Antiqq. Jur. Publ. Græc. c. xli, xlii, xliii.

[554] Plutarch, Kimon, c. 16; Scholion 2, ad Aristophan. Equit. 84.

[555] Плутарх (Фемистоклес, с. 22; Кимон, с. 5-8; Аристеидес, с. 25); Диодор, xi, 54.

[556] Плутарх, Фемист. с. 21

[557] Об этом обвинении в измене, выдвинутом против Фемистокла в Афинах, *перед его ostrakizmom* и по наущению лакедемонян, упоминает Диодор (xi, 54). Фукидид и Плутарх обращают внимание только на второе обвинение, *после* его ostrakizma. Но Диодор внес путаницу в свое повествование, предположив, что первое обвинение, предпочтительное в Афинах, последовало после полного разоблачения Павсания и обнародования его переписки; в то время как эти последние события, произошедшие после первого обвинения, предоставили новые доказательства, ранее неизвестные, и таким образом привели ко второму, после того как Фемистоклес был подвергнут ostrakizmu. Но Диодор сохранил для нас важное известие об этом первом обвинении в Афинах, за которым последовал суд, оправдание и временное прославление Фемистокла, - и которое предшествовало его ostrakizmu.

Обвинение, которое, по словам Плутарха, было выдвинуто против Фемистокла Леоботасом, сыном Алкмеона, по просьбе спартанцев, вероятно, относится к первому обвинению, по которому Фемистокл был оправдан. Ведь когда Фемистоклесу предъявили обвинение после разоблачения Павсания, он не решил остаться, и не было никакого фактического суда: поэтому вряд ли сохранилось бы имя обвинителя, - Ὁ δὲ γραψάμενος αὐτὸν προδοσίας Λεωβώτης ἦν Ἀλκμαίωνος, ἅμα συνεπαίτωμένων τῶν Σπαρτιατῶν (Plutarch, Themist. c. 23).

Сравните второй Схолион на Аристофана. Equit. 84, и Aristeidês, Orat. xlvî, Ὑπὲρ τῶν Τεττάρων (vol. ii, p. 318, ed. Dindorf, p. 243, Jebb).

[558] Плутарх, Аристеидес, с. 25.

[559] Diodor. xi, 54. τότε μὲν ἀπέφυγε τὴν τῆς προδοσίας κρίσιν- διὸ καὶ τὸ μὲν πρῶτον μετὰ τὴν ἀπόλυσιν μέγας ἦν παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις- ἡγάπων γὰρ αὐτὸν διαφερόντως οἱ πολῖται- μετὰ δὲ ταῦτα, οἱ μὲν, φοβηθέντες αὐτοῦ τὴν ὑπερβολὴν, οἱ δὲ, φθονήσαντες τῇ δόξῃ, τῶν μὲν εὐεργεσιῶν ἐπελάθοντο, τὴν δὲ ἴσχυν καὶ τὸ φρόνημα ταπεινοῦν ἔσπευδον.

[560] Thucyd. i, 137. ἦλθε γὰρ αὐτῷ ὕστερον ἕκ τε Ἀθηνῶν παρὰ τῶν φίλων, καὶ ἐξ Ἀργούς ἃ ὑπεξέκειτο и т. д.

Я следую за г-ном Файнсом Клинтоном, считая 471 год до н. э. датой ostracism Фемистоклеса. Возможно, так оно и есть, и нет никаких доказательств, которые бы этому противоречили: но я думаю, что г-н Клинтон утверждает это слишком уверенно, поскольку он признает, что Диодор включает в главы, которые он посвящает одному архонту, события, которые должны были произойти в несколько разных лет (см. Fast. Hellen. В. С. 471).

После экспедиции под командованием Павсания в 478 году до н. э. у нас нет ни одной одновременно определенной и точной даты, пока мы не дойдем до смерти Ксеркса, где Диодор подтверждается Канон персидских царей, 465 год до н. э. Это последнее событие определяет, путем близкого приближения и умозаключений, бегство Фемистокла, осаду Наксоса и смерть Павсания: в отношении других событий этого периода мы ограничены более туманным приближением и можем установить лишь порядок их следования.

[561] Thucyd. i, 135; Ephorus ap. Plutarch. de Malign. Herodoti, с. 5, p. 855; Diodor. xi, 54; Plutarch, Themist. с. 23.

[562] Diodor. xi, 55.

[563] Thucyd. i, 137. Корнелий Непос (Themist. с. 8) по большей части следует Фукидиду и исповедует его; однако он не очень точен, особенно в отношениях между Фемистоклесом и Адметом. Диодор (xi, 56), кажется, следует в основном другим руководствам: также в значительной степени Плутарх (Themist. с. 24-26). Очевидно, существовали различные рассказы о его путешествии, которые представляли его как достигшего не Эфеса, а Эолийского Кима. Диодор не упоминает о его морском путешествии.

[564] Плутарх, Themist. с. 25; также Kritias ap. Ælian. V. Н. x, 17: ср. Herodot. viii, 12.

[565] Diodor. xi, 56; Plutarch, Themist. с. 24-30.

[566] "Proditionem *ultrò imputabant* (говорит Тацит, Hist. ii, 60, относительно Paullinus и Proculus, генералов армии Otho, когда они сдались Вителлию после поражения при Bebricum), *spatium longi ante prœlium itineris, fatigationem Othonianorum, permixtum vehiculis agmen, ac pleraque fortuita fraudi suæ assignantes*.-Этот Вителлий верил в то, что он совершил преступление, и мошенничество абсолютизировалось".

[567] Plutarch, Themist. с. 28.

[568] Thucyd. i, 138; Diodor. xi, 57. Кроме трех вышеупомянутых мест, Неантес и Фаний описали дарение еще полнее и конкретнее: они заявили, что Перкотэ был предоставлен Фемистоклесу для

постельных принадлежностей, а Палæскесис - для одежды (Плутарх, Фемист. с. 29; Athenæus, i, p. 29).

Похоже, что это была частая форма пожалований персидских и египетских царей своим царицам, родственникам или друзьям, - пожалований, номинально предназначенных для удовлетворения определенных потребностей или вкусов: см. примечание д-ра Арнольда к отрывку из Фукидида. Однако я сомневаюсь в его утверждении относительно земельного налога или ренты; я не думаю, что Фемистоклу была пожалована десятая или пятая часть урожая земли в этих районах, а часть царского дохода, или дани, взимаемой в них. Персидские цари не утруждали себя оценкой и сбором дани: вероятно, они оставляли это на усмотрение самих жителей, при условии, что общая сумма выплачивалась должным образом.

[569] Плутарх, Themistoklēs, с. 31. πλανώμενος περὶ τὴν Ἀσίαν: это утверждение кажется достаточно вероятным, хотя Плутарх его отвергает.

[570] Thucyd. i, 138. Νοσήσας δὲ τελευτᾷ τὸν βίον- λέγουσι δὲ τινες καὶ ἐκούσιον φαρμάκῳ ἀποθανεῖν αὐτὸν, ἀδύνατον νομίσαντα εἶναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ᾧ ὑπέσχετο.

Эта история, старая еще со времен Аристофана (Equit. 83, ср. Схолии), утверждавшего, что Фемистокл отравился, выпив бычью кровь (см. Diodor. xi, 58), который придает этому акту принятия яда еще более возвышенный патриотический характер, делая его частью замысла Фемистокла удержать персидского царя от войны против Греции.

Плутарх (Themist. с. 31, и Kimon, с. 18) и Диодор утверждают, как неоспоримый факт, что Фемистоклес умер, отравив себя, опуская даже заявление Фукидида, что он умер от болезни. Корнелий Непос (Themist. с. 10) следует Фукидиду. Цицерон (Брут, с. 11) относит историю о самоубийстве ядом к Клитарху и Стратоклесу, признавая ее противоречащей Фукидиду. Он вкладывает в уста своего товарища по диалогу, Аттика, справедливое обличение той легкости, с которой историческая правда приносится в жертву риторическим целям.

[571] Thucyd. i, 138. τὰ δὲ ὅσα φασὶ κομισθῆναι αὐτοῦ οἱ προσήκοντες οἷκαδε κελεύσαντος ἐκείνου, καὶ τεθῆναι κρύφα Ἀθηναίων ἐν τῇ Ἀττικῇ- οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν, ὥς ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος.

Корнелий Непос, который здесь копирует Фукидида, приводит это утверждение по ошибке, как будто Фукидид сам его утверждал: "Idem (sc. Thucydidēs) ossa ejus clam in Atticā ab amicis sepulta, quoniam legibus non concederetur, quod prodicionis esset damnatus, memoriæ prodidit." Это свидетельствует о поспешности или неточности, с которой эти второстепенные авторы так часто цитируют: Фукидид, конечно, не является *свидетелем* этого факта: если и можно сказать, что он несколько противоречит ему.

Плутарх (Themist. с. 32) показывает, что место захоронения Фемистокла, предположительно в Аттике, до его времени так и не было проверено: однако в последующем столетии проводники Павсания стали более уверенными (Pausanias, i, 1, 3).

[572] Относительно честности Аристеидеса см. интересный фрагмент Евполиса, комического писателя (Δῆμοι, Fragm, iv, p. 457, ed. Meineke).

[573] Плутарх, Arist. с. 26, 27; Cornelius Nepos. Arist. с. 3: ср. Aristophan. Vesp. 53.

[574] Плутарх, Фемист. с. 5-32.

[575] Thucyd. i, 94. ἐξεπολιόρκησαν (Βυζάντιον) ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ, т. е. при спартанской гегемонии, до того как афинянам было предложено принять гегемонию: ср. ἡγησάμενοι, i, 77, и Herodot. viii, 2, 3. Далее, мы имеем (i, 95) φοιτῶντές τε (ионийцы и т. д.) πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἡξίουσαν αὐτοῦς

ἡγεμόνας σφῶν γενέσθαι κατὰ τὸ συγγενές. Опять же, когда спартанцы посылают Доркиса вместо Павсания, союзники οὐκέτι ἐφίεσαν τὴν ἡγεμονίαν. Затем, что касается последующих действий афинян (i, 96)-παραλαβόντες δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν ἡγεμονίαν τοῦτω τῷ τρόπῳ ἐκόντων τῶν συμμάχων διὰ τὸ Πausανίου μῖσος, и т. д.: ср. i. 75,-ἡμῖν δὲ προσελθόντων τῶν συμμάχων καὶ αὐτῶν δεηθέντων ἡγεμόνας καταστήναι, и vi, 76.

Затем переход от ἡγεμονία к ἀρχή (i, 97)-ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων τὸ πρῶτον τῶν συμμάχων καὶ ἀπὸ κοινῶν ξυνόδων βουλευόντων, τόσαδε ἐπῆλθον πολέμῳ τε καὶ διαχειρίσει πραγμάτων μεταξὺ τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ τοῦ Μηδικοῦ.

Далее Фукидид говорит, что он обратит внимание на эти "многочисленные шаги вперед", которые сделали Афины, начиная с их первоначальной гегемонии, чтобы показать, каким образом Афинская империя, или ἀρχή, была первоначально образована, -ἅμα δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς ἀπόδειξιν ἔχει τῆς τῶν Ἀθηναίων, ἐν οἷῳ τρόπῳ κατέστη. Такой же переход от ἡγεμονία к ἀρχή описан в оратории афинского посланника в Спарте незадолго до Пелопоннесской войны (i, 75): Но поскольку афинский оратор был скорее заинтересован в том, чтобы запутать разницу между ἡγεμονία и ἀρχή, то, после того как он ясно изложил, каковы были отношения Афин к своим союзникам вначале, и как оно потом совершенно изменилось, Фукидид заставляет его перечеркнуть это различие и сказать: -οὕτως οὐδ' ἡμεῖς θαυμαστὸν οὐδὲν πεποιήκαμεν εἰ ἀρχὴν τε δεδομένην ἐδεξάμεθα καὶ ταύτην μὴ ἀνεῖμεν и т. д.; и затем он продолжает защищать право Афин на командование на основании превосходства силы и достоинства: это последнее утверждение выдвигается через несколько лет после этого, еще более нагло и оскорбительно, афинскими ораторами. Почитайте также язык афинского Эвфема в Камарине (vi, 82), где наблюдается подобная путаница, как подходящая для аргументации.

Следует помнить, что слово "гегемония", или "главенство", является чрезвычайно общим, обозначающим любой случай следования за лидером и повиновения, пусть временного, квалифицированного или даже не более чем почетного. Так фиванцы выражают свое отношение к объединившимся городам Беотии (ἡγεμονεύεσθαι ὑφ' ἡμῶν, Thuc. iii, 61, где Dr. Арнольд обращает внимание на различие между этим глаголом и ἄρχειν и проводит формулировку в отношении афинского ἀρχή, более точную, чем его формулировка в примечании ad Thucyd. i, 94), а у коринфян для выражения своих притязаний на звание митрополии Коркиры, которые на самом деле были не более чем почетными, -ἐπὶ τῷ ἡγεμόνες τε εἶναι καὶ τὰ εἰκότα θαυμάζεσθαι (Thucyd. i, 38): ср. vii, 55. Действительно, иногда оно означает просто проводника (iii, 98; vii, 50).

Но слова ἀρχή, ἄρχειν, ἄρχεσθαι, voc. pass., гораздо менее обширны по значению и подразумевают как высшее достоинство, так и принудительную власть в большей или меньшей степени: ср. Thucyd. v, 69; ii, 8 и т. д. πόλις ἀρχὴν ἔχουσα аналогичен ἀνὴρ τύραννος (vi, 85).

Геродот менее осторожен в различении значений этих слов, чем Фукидид: см. обсуждение лакедемонских и афинских посланников с Гелоном (vii. 155-162). Но следует заметить, что он заставляет Гело просить ἡγεμονία, а не ἀρχή, - облакая требование в наименее оскорбительную форму: сравните также требование аргейцев о ἡγεμονία (vii, 148).

[576] Thucyd. i, 97. τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς ἦν τοῦτο τὸ χωρίον, καὶ ἡ τὰ πρὸ τῶν Μηδικῶν ξυγετίθεσαν ἢ αὐτὰ τὰ Μηδικά- τοῦτων δὲ ὅσπερ καὶ ἡψατο ἐν τῇ Ἀττικῇ συγγραφῇ Ἑλλάνικος, βραχέως τε καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκριβῶς ἐπεμνήσθη.

Элланик, таким образом, сделал не больше, чем коснулся событий этого периода: и он нашел так мало хорошей информации в пределах его досягаемости, что впал в хронологические ошибки.

[577] Thucyd. i, 93. τῆς γὰρ δὴ θαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὡς ἀνθεκτέα ἐστὶ, καὶ τὴν ἀρχὴν εὐθύς ξυγκατεσκεύαζεν.

Доктор Арнольд в своем примечании говорит: "εὐθύς означает, вероятно, сразу после отступления персов". Я же думаю, что оно относится к более раннему периоду - тому времени, когда Фемистокл впервые посоветовал строить флот или, по крайней мере, когда он посоветовал им оставить свой город и возложить все свои надежды на флот. Только при таком предположении мы получаем разумное значение слов ἐτόλμησε εἰπεῖν, "он *первый* осмелился сказать", что подразумевает совет необычайной смелости. "Ибо он первым осмелился посоветовать им ухватиться за море и с этого момента помог основать их империю". Слово ξυγκατεσκεύαζε, по-видимому, обозначает побочное следствие, не предусмотренное непосредственно Фемистоклесом, хотя, возможно, и предвиденное им.

[578] Thucyd. i, 97 ἔγραψα δὲ αὐτὰ καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιήσάμην διὰ τόδε, etc.

[579] Herodot. vii, 106, 107. Κατέστασαν γὰρ ἔτι πρότερον ταύτης τῆς ἐλάσιος ὕπαρχοι ἐν τῇ Θρηϊκῇ καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου πανταχῇ. Οὗτοι ὦν πάντες, οἳ τε ἐκ Θρηϊκῆς καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου, πλὴν τοῦ ἐν Δορίσκῳ, ὑπὸ Ἑλλήνων ὕστερον ταύτης τῆς στρατηλασίης ἐξηρέθησαν- τὸν δὲ ἐν Δορίσκῳ Μασκάμην οὐδαμοὶ κω ἐδυνάσθησαν ἐξελεῖν, πολλῶν πειρησαμένων.

Свободной хронологии Плутарха мало кто доверяет; но и он признает продолжение персидской оккупации Фракии с помощью местных жителей до периода, более позднего, чем битва при Эвримедоне (Plutarch, Kimon, c. 14).

Ошибочно полагать, как и д-р Арнольд в своем примечании к Thucyd. viii, 62, "что Сест был почти последним местом, удерживаемым персами в Европе".

Вейссенборн (Hellen oder Beiträge zur genaueren Erforschung der altgriechischen Geschichte, Jena, 1844, p. 144, note 31) обратил внимание на этот важный отрывок Геродота, а также на отрывок Плутарха; но он не видит, насколько он затрудняет все попытки установить определенную хронологию для тех двух или трех событий, которые Фукидид дает нам между 476-466 гг. до н. э.

[580] Kutzén (De Atheniensium Imperio Cimonis atque Periclis tempore constituto. Grimæ, 1837. Commentatio, i, p. 8) имеет все основания поставить под сомнение приписываемую Павсанием (viii, 8, 2) Кимону хитрость при взятии Эйона.

[581] На эти "оставшиеся операции против персов" ссылается афинский посланник в Лакедемоне, в своей речи перед началом Пелопоннесской войны - ὑμῶν μὲν (вы, спартанцы) οὐκ ἐθελησάντων παραμεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν δὲ προσελθόντων τῶν συμμάχων καὶ αὐτῶν δεηθέντων ἡγεμόνας καταστῆναι и др. (Thucyd. i, 75:) и еще раз, iii, 11. τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἔργων.

Сравните также Платон, Menexen. c. 11. αὐτὸς δὲ ἡγγέλλετο βασιλεὺς διανοεῖσθαι ὡς ἐπιχειρήσων πάλιν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας, etc.

[582] Морская подготовка афинян начинается непосредственно после отпора персам. Τὸ δὲ τῆς θαλάσσης ἐπιστήμονας γενέσθαι (говорит Периклес о пелопоннессцах, как раз в начале Пелопоннесской войны) οὐ ῥαδίως αὐτοῖς προσγενήσεται- οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς, μελετῶντες αὐτὸ εὐθύς ἀπὸ τῶν Μηδικῶν, ἐξείργασθέ πω (Thucyd. i, 142).

[583] Plutarch. Aristeidês. c. 24.

[584] Такое согласие общего синода фактически подразумевается в речи, вложенной Фукидидом в уста митиленских посланников в Олимпии, на третьем году Пелопоннесской войны: речь, произнесенная сторонами, совершенно враждебными Афинам (Thucyd. iii, 11)- ἄμα μὲν γὰρ

μαρτυρίῳ ἐχρῶντο (афиняне) μὴ ἂν τοὺς γε ἰσοψήφους ἄκοντας, εἰ μὴ τι ἡδίκουν οἷς ἐπήεσαν, ξυστρατεύειν.

[585] Thucyd. i, 97-99. Αἰτίαι δὲ ἄλλαι ἦσαν τῶν ἀποστάσεων, καὶ μέγισται, αἱ τῶν φόρων καὶ νεῶν ἐκδεῖται καὶ λιποστράτιον, εἴ τῳ ἐγένετο- οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι ἀκριβῶς ἔπρασσον, καὶ λυπηροὶ ἦσαν, οὐκ εἰωθόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαιπωρεῖν προσάγοντες τὰς ἀνάγκας. Ἦσαν δὲ πῶς καὶ ἄλλως οἱ Ἀθηναῖοι οὐκέτι ὁμοίως ἐν ἡδονῇ ἄρχοντες, καὶ οὔτε ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου, ῥάδιόν τε προσάγεσθαι ἢν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους- ὧν αὐτοὶ αἵτιοι ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι- διὰ γὰρ τὴν ἀπόκνησιν ταύτην τῶν στρατειῶν, οἱ πλείους αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀπ' οἴκου ὦσι, χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ τῶν νεῶν τὸ ἰκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν, καὶ τοῖς μὲν Ἀθηναίοις ἤϋξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῆς δαπάνης ἢν ἐκεῖνοι συμφέροιν, αὐτοὶ δὲ ὅποτε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ ἄπειροι ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο.

[586] См. презрительные замечания Перикла по поводу дебатов лакедемонских союзников в Спарте (Thucyd. i, 141).

[587] Речь афинского посланника в Спарте, немного раньше Пелопоннесской войны, описывает рост Афинской империи, в основном, с совершенной справедливостью (Thucyd. i, 75, 76). Он признает и даже преувеличивает ее непопулярность, но показывает, что эта непопулярность была в значительной степени и, конечно, в отношении ее первого происхождения, неизбежной, а также незаслуженной. Разумеется, он, как и следовало ожидать, опускает те другие действия, которыми Афины сами усугубили ее.

Καὶ γὰρ αὐτὴν τήνδε (τὴν ἀρχὴν) ἐλάβομεν οὐ βιασάμενοι ... ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάσθημεν τὸ πρῶτον προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, ἔπειτα δὲ καὶ τιμῆς, ὕστερον καὶ ὠφελείας. Καὶ οὐκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς πολλοῖς ἀπηχθημένους, καὶ τινων καὶ ἤδη ἀποστάντων κεχειρωμένων, ὁμῶν τε ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων, ἀλλ' ὑπόπτων καὶ διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν- καὶ γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς ἐγίνοντο- πᾶσι δὲ ἀνεπίφθονον τὰ συμφέροντα τῶν μεγίστων περὶ κινδύνων εὔ τίθεσθαι.

Вся речь заслуживает внимательного изучения: сравните также речь Перикла в Афинах, во второй год Пелопоннесской войны (Thucyd. ii, 63).

[588] Thucyd. i, 141. σώμασι δὲ ἐτοιμότεροι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀνθρώπων ἢ χρήμασι πολεμεῖν, etc.

[589] См. Herodot. vi, 12, и предыдущий том этой истории, гл. xxxv, т. iv, с. 301.

[590] Thucyd. ii, 13.

[591] Thucyd. i, 108; Plutarch, Periklēs, с. 20.

[592] Xenophon, Hellenic, v, 1, 31.

[593] Г-н Файнс Клинтон (Fasti Hellenic. ad ann. 476 В. С.) помещает завоевание Скироса Кимоном в 476 г. до н. э. Он говорит, цитируя отрывок из Thucyd. i, 98 и из Плутарха, Theseus, с. 36, а также предложенное исправление Бентли, которое он справедливо отвергает: "На самом деле остров был завоеван в год архонта Федона, 476 год до нашей эры. Это мы знаем из Thucyd. i, 98, и Diodor. xi, 41-48, вместе взятых. Плутарх назвал архонта Федоном, имея в виду *завоевание* острова: затем, по несвойственной ему небрежности, связал оракул с этим фактом, как с современной сделкой: хотя на самом деле оракул был получен только через шесть или семь лет после этого".

Плутарх имеет много прегрешений против хронологической точности, но обвинение, выдвинутое против него, незаслуженно. Он утверждает, что оракул был дан в (476 г. до н. э.) в год правления архонта Федона; и что тело Тесея было доставлено в Афины в (469 г. до н. э.) в год правления архонта Афепсиона. Ни одно из этих утверждений не противоречит другому; отрывки из Фукидида

и Диодора, которые приводит мистер Клинтон, также не доказывают того, что он утверждает. Два отрывка Диодора, действительно, не имеют никакого отношения к событию: и если Диодор в данном случае вообще является авторитетом, он противоречит г-ну Клинтону, поскольку утверждает, что Скирос был завоеван в 470 году до н. э. (Diodor. xi, 60). Фукидид лишь сообщает нам, что операции против Эйона, Скироса и Карыста происходили в указанном порядке и в некоторые периоды между 476 и 466 гг. до н. э.; но он не дает нам возможности точно определить дату ни одной из них. На каком основании г-н Клинтон утверждает, что "оракул был получен только через шесть или семь лет после этого" (*то есть* после завоевания), я не знаю: рассказ Плутарха скорее показывает, что он был получен за шесть или семь лет *до* завоевания: и это может оставаться верным, пока не появится лучшее свидетельство, чтобы опровергнуть его. По нашим сведениям, у нас нет никаких свидетельств о годе завоевания, кроме Диодора, который относит его к 470 году до н. э., но поскольку он относит к тому же году и завоевание Эйона, и походы Кимона в Карию и Памфилию с победами при Эвримедоне, мы не можем сильно доверять его авторитету. Тем не менее, я склонен верить ему в отношении даты завоевания Скироса, поскольку мне кажется весьма вероятным, что это завоевание произошло в год, непосредственно предшествующий тому, в котором тело Тесея было привезено в Афины, а это последнее событие можно с большой уверенностью отнести к 469 году до н. э., в связи с интересным анекдотом, рассказанным Плутархом о первом призе, полученном поэтом Софоклесом.

В своем Приложении (№ vi-viii, стр. 248-253) г-н Клинтон приводит две диссертации, касающиеся хронологии периода от Персидской войны до окончания Пелопоннесской войны. Он оказал большую услугу, исправив ошибку Додвелла, Весселинга и Митфорда (основанную на неточном толковании отрывка из "Исократеса") в предположении, что после персидского вторжения в Грецию спартанская гегемония, длившаяся десять лет, предшествовала началу афинской гегемонии. Он показал, что последнюю следует считать начавшейся в 477 или 476 году до н. э., сразу после мятежа союзников против Павсания, - чье командование, однако, не должно быть императивно ограничено одним годом, как утверждают г-н Клинтон (стр. 252) и Додуэлл: ведь слова Фукидида, ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ, ничего не подразумевают о годовой продолжительности и обозначают просто "гегемонию, которая предшествовала афинской".

Но опровержение этой ошибки не позволяет нам установить какую-либо хорошую позитивную хронологию для периода между 477 и 466 гг. до н. э. Не стоит толковать *Πρῶτον μὲν* (Thuc. i, 98) применительно к афинскому завоеванию Эйона, как будто оно обязательно должно означать "*год после*" 477 г. до н. э. Если бы мы могли представить, что Фукидид рассказал нам обо всех военных операциях между 477-466 гг. до н. э., мы были бы вынуждены признать наличие большого количества "интервала бездействия", против которого так резко протестует мистер Клинтон (стр. 252). К несчастью, Фукидид рассказал нам лишь малую часть событий, которые действительно произошли.

Мистер Клинтон сравнивает различные периоды продолжительности, которые древние авторы приписывают тому, что неправомерно называют афинской "империей", - между 477-405 гг. до н. э. (с. 248, 249). Признаюсь, я скорее согласен с доктором Гиллисом, который широко и неприкрыто признает расхождения между этими авторами, чем с мистером Клинтоном, который пытается привести их к сравнительному согласию. Его объяснение успешно только в отношении одного из них - Демосфена, чьи два утверждения (сорок пять лет в одном месте и семьдесят три года в другом) показаны как согласующиеся друг с другом, так и хронологически справедливые. Но, конечно, неразумно исправлять текст оратора Ликурга с ἐννεήκοντα на ἑβδομήκοντα, а затем говорить, что "Ликург может быть добавлен к числу тех, кто описывает этот период как семьдесят лет" (с. 250.) Мы также не должны приводить Андокидеса в согласие с другими, полагая, что "его

расчет восходит к битве при Марафоне, от даты которой (490 г. до н. э.) до битвы при Игос Потоми проходит всего восемьдесят пять лет". (Ibid.) Мы также не должны оправдывать расчет Демосфена в шестьдесят пять лет, говоря, "что он заканчивается на поражении афинян в Сицилии" (p. 249).

Правда заключается в том, что во всех этих отрывках, кроме отрывка Демосфена, есть большая или меньшая хронологическая неточность, а во *всех*, даже не считая этих, - историческая неточность. Неправда, что афиняне ἤρξαν τῆς θαλάσσης-ἤρξαν τῶν Ἑλλήνων-προστάται ἦσαν τῶν Ἑλλήνων в течение семидесяти трех лет. Исторический язык Демосфена, Платона, Лисия, Исократа, Андокида, Ликурга требует тщательного изучения, прежде чем на него полагаться.

[594] Плутарх (Кимон, с. 8; Тесей, с. 36). ἐστὶ δὲ φύξιον οἰκέταις καὶ πᾶσι τοῖς ταπεινότεροις καὶ δεδιόσι κρείττονας, ὥς καὶ τοῦ Θησέως προστατικοῦ τινος καὶ βοηθητικοῦ γενομένου καὶ προσδεχομένου φιλανθρώπως τὰς τῶν ταπεινότερων δεήσεις.

[595] Thucyd. i, 98. В предыдущей главе уже говорилось, что Фемистокл, будучи беглецом, прошел близко к Наксосу во время его осады и подвергся большой опасности быть взятым.

[596] О битвах при Эвримедоне см. Thucyd. i, 100; Diodor. xi, 60-62; Plutarch, Kimon, 12, 13.

Рассказы о двух последних заимствованы в основном у Эфора и Каллистенеса, авторов следующего века, и у Фанодема, автора более позднего времени. Я заимствую их скупой и только в той части, которая касается краткого изложения Фукидида. Повествование Диодора чрезвычайно запутанно и едва ли поддается осмыслению.

Фанодем называет численность персидского флота в шестьсот кораблей, Эфор - в триста пятьдесят. Диодор, следуя за последним, называет триста сорок. Плутарх упоминает об ожидаемом подкреплении в виде восьмидесяти феникийских кораблей, что представляется мне весьма достоверным обстоятельством, объясняющим легкую морскую победу Кимона при Эвримедоне. Из Фукидида мы знаем, что побежденный флот при Эвримедоне состоял не более чем из двухсот кораблей; так я осмеливаюсь трактовать слова Фукидида, несмотря на авторитет д-ра Арнольда. Арнольда, -Καὶ εἶλον (Ἀθηναῖοι) τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφθειραν τὰς πάσας ἐς (τὰς) διακοσίας. По этому поводу д-р Арнольд замечает: "Всего до двухсот: то есть, общее число захваченных или уничтоженных кораблей было двести, а не то, что весь флот состоял не более чем из двухсот". Признавая правильность такого построения (в защиту которого можно привести viii, 21), мы можем отметить, что разбитый феникийский флот, согласно общепринятой античной практике, бежал на берег в поисках защиты от сопровождавших его сухопутных войск. Поэтому, когда этот сухопутный флот был разбит и рассеян, все корабли, естественно, попали во власть победителей; а если кому-то и удалось спастись, то только случайно. Более того, меньшее число в данном случае скорее соответствует действительности, поскольку мы должны предположить легкую морскую победу, чтобы оставить силы для напряженного сухопутного сражения в тот же день.

Примечательно, что в надписи на памятном приношении говорится только о ста захваченных финикийских кораблях с экипажами (Diodor. xi, 62). Остальные сто кораблей, вероятно, были уничтожены. Диодор представляет Кимона как захватившего триста сорок кораблей, хотя сам цитирует надпись, в которой упоминается только сто.

[597] О Тасосе см. Herodot. vi, 46-48; vii, 118. Положение Рагузы в Адриатике по отношению к деспотам Сербии и Боснии в XV и XVI веках было очень похоже на положение Афин и Тасоса по отношению к внутренним фракийским князьям. В "Истории Рагузы" Энгеля мы находим рассказ о больших прибылях, полученных этим городом благодаря контрактам на разработку золотых и

серебряных рудников, принадлежащих этим князьям (Engel, Geschichte des Freystaates Ragusa, sect. 36, p. 163. Wien, 1807).

[598] Thucyd. i, 100, 101; Plutarch, Kimon, c. 14; Diodor xi, 70.

[599] Thucyd. i, 101. Филипп Македонский в своем споре с афинянами по поводу владения Амфиполем более чем через столетие после этого периода утверждал, что его предок Александр первым овладел этим местом после изгнания персов из Фракии (см. Philippi Epistola ap. Demosthen. p. 164, R.) Если бы это утверждение было правдой, Эннеа Ходой находилась бы во владении македонян в это время, когда на нее впервые покусились афиняне: но заявление Фукидида показывает, что тогда это был эдонский городок.

[600] Плутарх, Кимон, с. 14. Галепс и Æsymê были среди фасийских поселений на материковой части Фракии (Thucyd. iv, 108).

[601] Thucyd. i, 101. οἱ δὲ ὑπέσχοντο μὲν κρύφα τῶν Ἀθηναίων καὶ ἔμελλον, διεκωλύθησαν δὲ ὑπὸ τοῦ γενομένου σεισμοῦ.

[602] Плутарх, Кимон, с. 14.

[603] Plutarch, Themistokl. c. 20.

[604] См. случай с Сикинном, человеком, через которого Фемистокл общался с Ксерксом перед битвой при Саламине и для которого он впоследствии добился приема в партию новоприбывших граждан в Феспии (Herodot. viii. 75).

[605] Τὰ τῶν Βοιωτῶν πάτρια-τὰ κοινὰ τῶν πάντων Βοιωτῶν πάτρια (Thucyd. iii, 61-65).

[606] Thucyd. iii, 62.

[607] См., среди многих других доказательств, замечательный случай с Олинфской конфедерацией (Ксенофонт, Hellen. v, 2, 16).

[608] Diodor. xi, 81; Justin, iii, 6.

[609] Diodor. xi. 54; Strabo, viii, p. 337.

[610] Strabo, viii, pp. 337, 348, 356.

[611] Thucyd. i, 101-128; Diodor. xi, 62.

[612] Herodot. ix. 64.

[613] Thucyd. i, 102; iii, 54; iv, 57.

[614] Thucyd. i, 102. τὴν μὲν ὑποψίαν οὐ δηλοῦντες, εἰπόντες δὲ ὅτι οὐδὲν προσδέονται αὐτῶν ἔτι.

Г-н Файнс Клинтон (Fast. Hellen. ann. 464-461 В. С.), следуя Плутарху, признает две лакедемонские просьбы к Афинам и две афинские экспедиции на помощь спартанцам, обе под началом Кимона; первая в 464 году до н. э., сразу после землетрясения и последующего восстания, - вторая в 461 году до н. э., после того как война продлилась некоторое время.

На мой взгляд, нет никаких оснований предполагать, что в Афины было направлено более одного обращения и одна экспедиция. Дублирование возникло благодаря Плутарху, который слишком сильно истолковал как историческую реальность комическое преувеличение Аристофана (Aristoph. Lysistrat. 1138; Plutarch, Kimon, 16). Героиня последнего, Лисистрата, желая заключить мир между лакедемонянами и афинянами и напоминая каждому об услугах, которые он получил

от другого, могла бы позволить себе сказать лакедемонянам: "Ваш посланник, Периклеидас, прибыл в Афины, бледный от ужаса, и поставил себя молящимся у алтаря, чтобы просить нашей помощи как вопроса жизни и смерти, в то время как Посейдон еще сотрясал землю, а мессенцы сильно давили на вас: тогда Кимон с четырьмя тысячами гоплитов пошел и добился вашего полного спасения". Все это очень красноречиво и убедительно, как часть аристофановской пьесы, но в ней нет никакой исторической правды, кроме факта подачи заявки и отправленной в результате этого экспедиции.

Мы знаем, что землетрясение произошло в то время, когда осада Тасоса еще продолжалась, потому что именно оно помешало лакедемонянам оказать помощь осажденным вторжением в Аттику. Но Кимон командовал при осаде Фасоса (Плутарх, Кимон, с. 14); следовательно, он не мог отправиться в качестве командира в Лаконию в то время, когда, как утверждается, была предпринята эта первая экспедиция.

Далее, Фукидид признает только одну экспедицию: так же, как и Диодор (xi, 64), хотя это имеет второстепенное значение. Простое молчание Фукидида в отношении событий периода, который он, по его словам, рассматривает лишь вкратце, не всегда является убедительным отрицательным аргументом. Но в данном случае его рассказ об экспедиции 461 года до н. э. с ее очень важными последствиями таков, что исключает предположение о том, что *он знал* о какой-то предыдущей экспедиции, двумя или тремя годами ранее. Если бы он знал о ней, то не смог бы написать тот рассказ, который сейчас приводится в его тексте. Он особо останавливается на затягивании войны и на неспособности лакедемонян атаковать стены, как на причинах, по которым они обратились к афинянам, а также к другим своим союзникам: он подразумевает, что их присутствие в Лаконии было новым и угрожающим инцидентом: Более того, рассказывая о том, как сильно афиняне были возмущены их резким и недоверчивым увольнением, он не мог не отметить в качестве обострения этого чувства, что всего за два или три года до этого они спасли Лакедемон от гибели. Добавим, что предположение о том, что Спарта, первая военная держава Греции, отличавшаяся неукоснительной дисциплиной, в один момент оказалась в состоянии такой полной беспомощности, что была обязана своей безопасностью иностранному вмешательству, крайне неправдоподобно само по себе: оно неприемлемо, разве что на основании очень веских доказательств.

По изложенным здесь причинам. Я отвергаю первую экспедицию в Лаконию, упомянутую Плутархом.

[615] Плутарх, Кимон, с. 16.

[616] Плутарх, Кимон, с. 16. Ὁ δ' Ἴων ἀπομνημονεύει καὶ τὸν λόγον, ὃ μάλιστα τοὺς Ἀθηναίους ἐκίνησε, παρακαλῶν μήτε τὴν Ἑλλάδα χωλὴν, μήτε τὴν πόλιν ἑτερόζυγα, περιῖδεῖν γεγεννημένην.

[617] См. Ксенофонт, Hellenic. vi, 3, - около 372 г. до н. э. - немного раньше битвы при Лейктре.

[618] Diodor. xi, 65; Strabo, viii, p. 372; Pausan. ii, 16, 17, 25. Диодор относит этот инцидент к 468 г. до н. э., но поскольку он, несомненно, произошел после землетрясения в Спарте, мы должны предположить, что это случилось около 463 г. до н. э. См. Mr. Fynes Clinton, Fasti Hellenici, Appendix, 8.

[619] Plutarch, Kimon, с. 17.

[620] Thucyd. i. 103.

[621] Plutarch, Periklēs, с. 8.

[622] Thucyd. i, 105; Lysias, Orat. Funebr. c. 10. Diodor. xi. 78.

[623] Thucyd. i, 109.

[624] Lysias, Orat. Funebr. c. 10. ἐνίκων μαχόμενοι ἅπασαν τὴν δύναμιν τὴν ἐκείνων τοῖς ἤδη ἀπειρηκόσι καὶ τοῖς οὕτω δυναμένοις, etc.

Случай, упоминаемый Фукидидом о коринфянах, что старики их собственного города были так возмущены против них по их возвращении, весьма характерен для греческих нравов, -κακιζόμενοι ὑπὸ τῶν ἐν τῇ πόλει πρεσβυτέρων и т. д.

[625] Thucyd. i, 106. πάθος μέγα τοῦτο Κορινθίοις ἐγένετο. Сравните Diodor. xi, 78, 79, - чья хронология, однако, очень ошибочна.

[626] Καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τό τε πρῶτον ἔασαντες αὐτοὺς τὴν πόλιν μετὰ τὰ Μηδικὰ κρατῦναι, καὶ ὕστερον τὰ μακρὰ στήσαι τεῖχῃ, - так говорили коринфяне спартанцам, обращаясь к Афинам, за некоторое время до Пелопоннесской войны (Thucyd. i, 69).

[627] Diodor. xii, 81; Justin, iii, 6. Τῆς μὲν τῶν Θηβαίων πόλεως μείζονα τὸν περίβολον κατεσκεύασαν, τὰς δ' ἐν Βοιωτίᾳ πόλεις ἠνάγκασαν ὑποτάττεσθαι τοῖς Θηβαίοις.

[628] Diodor. I. c. Вероятно, именно на внутренние дела Беотии, где-то около этого времени, полные внутренних разногласий, ссылается изречение и образ Перикла, который Аристотель отмечает в своей "Риторике". iii, 4, 2.

[629] Thucyd. i, 107.

[630] Плутарх, Кимон, с. 14; Периклес, с. 10. Плутарх представляет, что афиняне отозвали Кимона из страха перед лакедемонянами, которые только что победили их при Танагре, и с целью заключения мира. Он добавляет, что Кимон сразу же добился для них мира. Оба эти утверждения неверны. Чрезвычайные успехи в Беотии, последовавшие так быстро после поражения при Танагре, показывают, что афиняне не испытывали страха в тот момент, и что отзыв Кимона был вызван совсем другими чувствами. Более того, мир со Спартой был заключен лишь через несколько лет после этого.

[631] Плутарх, Фемистоклес, с. 10.

[632] Plutarch, Kimon, c. 17; Periklês, c. 10; Thucyd. viii, 97. Плутарх замечает по поводу этого примирения сторон после битвы при Танагре, упомянув, что Периклес сам предложил восстановить Кимона.

Οὕτω τότε πολιτικάι μὲν ἦσαν αἱ διαφοραὶ, μέτριοι δὲ οἱ θυμοὶ καὶ πρὸς τὸ κοινὸν εὐανάκλητοι σύμφερον, ἡ δὲ φιλοτιμία πάντων ἐπικρατοῦσα τῶν παθῶν τοῖς τῆς πατρίδος ὑπεχώρει καίροις.

Эти замечания очень похожи на замечания Фукидида, повествующего о памятных событиях 411 года до н. э., после низложения олигархии Четырехсот (Thucyd. viii, 97).

Καὶ οὐχ ἥκιστα δὴ τὸν πρῶτον χρόνον ἐπὶ γε ἐμοῦ Ἀθηναῖοι φαίνονται εὖ πολιτεύσαντες- μετρία γὰρ ἦ τε ἐς τοὺς ὀλίγους καὶ τοὺς πολλοὺς ξύγκρασις ἐγένετο, καὶ ἐκ πονηρῶν τῶν πραγμάτων γενομένων τοῦτο πρῶτον ἀνήνεγκε τὴν πόλιν. Я могу заметить, что пояснительное примечание д-ра Арнольда к этому отрывку менее поучительно, чем его примечания обычно, и даже включает, на мой взгляд, ошибочное предположение о смысле. Д-р Арнольд говорит: "Похоже, что конституция, установленная сейчас, была, по мнению Фукидида, лучшей из всех, которыми когда-либо пользовались Афины на его памяти; то есть лучшей со времен полного господства демократии, достигнутого при Периклесе. Но какой период времени подразумевается под словами τὸν πρῶτον

χρόνον, и когда и как произошла подразумеваемая перемена? Τὸν πρῶτον χρόνον вряд ли может относиться ко всему оставшемуся сроку войны, как если бы эта улучшенная конституция была сначала подорвана триумфом олигархии при Тридцати, а затем заменена восстановлением старой демократии после их свержения. Однако Ксенофонт не упоминает о промежуточных изменениях в правительстве между началом своей истории и окончанием войны" и т. д.

Теперь я не думаю, что доктор Арнольд правильно интерпретирует τὸν πρῶτον χρόνον. Эта фраза представляется мне эквивалентной τοῦτον τὸν χρόνον πρῶτον: слова τὸν πρῶτον χρόνον полностью применяют сравнение к периоду, *предшествующему* описываемому здесь событию, а не к периоду, *следующему* за ним. "И именно в этот период, по крайней мере в мое время, афиняне больше всего вели себя как хорошие граждане: ведь многие и немногие встречались друг с другом в духе умеренности, и это впервые вывело город из глубокого бедственного положения". Здесь не имеется в виду сравнение, как полагает д-р Арнольд, между первыми моментами после этого события и последующими изменениями: сравнение проводится между политическим нравом афинян в этот момент и их обычным нравом, насколько мог вспомнить Фукидид.

Далее, слова εἰς πολιτεύσαντες д-р Арнольд понимает в слишком специальном и ограниченном смысле - как обозначающие просто новую конституцию или позитивные органические постановления, которые афиняне теперь ввели. Но мне кажется, что эти слова имеют более широкий смысл: они означают общий нрав политических партий, как по отношению друг к другу, так и по отношению к содружеству: их склонность отказаться от антипатий, смириться с разногласиями и сердечно сотрудничать друг с другом против врага, приостанавливая те ἰδίᾳς φιλοτιμίας, ἰδίᾳς διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου προστασίας (ii, 65), которые были замечены как столь злонамеренные ранее. Конечно, любые конституционные меры, введенные в этот период, будут соответствовать преобладавшему тогда умеренному и гармоничному духу и, следовательно, составят часть того, что одобряет Фукидид: но его похвала не ограничивается только ими. Сравните фразу ii, 38. ἐλευθέρως δὲ τὰ τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν, etc.

[633] Thucyd. i, 108; Diodor. xi, 81, 82.

[634] Thucyd. i, 108-115; Diodor. xi, 84.

[635] Thucyd. i, 111; Diodor. xi, 85.

[636] Herodot. iii, 160.

[637] Thucyd. i, 104, 109, 110; Diodor. xi, 77; xii, 3. Рассказ Диодора в первом из этих двух отрывков, - что большая часть афинских войск получила возможность вернуться по выгодной капитуляции, предоставленной персидскими генералами, - противоречит полному разорению, о котором он сам заявляет в последних отрывках, а также Фукидид.

[638] Thucyd. i, 103; Diodor. xi, 84.

[639] Thucyd. i, 112.

[640] Theopompus, Fragm. 92, ed. Didot; Plutarch, Kimon, c. 18; Diodor. xi, 86.

Можно предположить, что это мир, который, как утверждают Эсхинс (De Fals. Legat. c. 54, p. 300) и Андокид или Псевдо-Андокид (De Pace, c. 1), был заключен Мильтиадом, сыном Кимона, прокшеном лакедемонян; предполагая, что Мильтиада, сына Кимона, они по забывчивости обозначают как Кимона, сына Мильтиада. Но отрывки этих ораторов содержат столько исторических и хронологических неточностей, что цитировать их небезопасно, а исправить их невозможно, разве что предположить. Мистер Файнс Клинтон (Fasti Hellen. Appendix, 8, p. 257)

указал на некоторые из этих неточностей; кроме того, есть и другие, не менее серьезные, особенно в оратории, приписываемой Андокиду. Примечательно, что оба они, кажется, признают только *две* длинные стены, северную и южную, тогда как во времена Фукидида существовало *три* длинные стены: две близкие и параллельные, соединяющие Афины с Пиреем, и третья, соединяющая их с Фалером. Эта последняя никогда не возобновлялась, после того как все они были частично разрушены во время катастрофического завершения Пелопоннесской войны; похоже, что она исчезла из памяти Эхина, который говорит о двух стенах, как они существовали в его время. Я согласен с различными критиками, которые объявляют ораторию, приписываемую Андокиду, поддельной.

[641] Плутарх, Периклес, с. 10, и Reipublic. Gerend. Præsep. p. 812.

Понимание этого между двумя соперниками настолько естественно, что нам нет нужды прибегать к предположению о тайном соглашении, заключенном между ними при посредничестве Эльпиники, сестры Кимона, о котором Плутарх читал у некоторых авторов. Чары и интриги Эльпиники, похоже, занимали видное место в воспоминаниях афинских биографов: одна сторона использовала их как средство для очернения Кимона, другая - для дискредитации Перикла.

[642] Thucyd. i, 112; Diodorus, xii, 13. Диодор упоминает имя полководца Анаксикрата. Далее он утверждает, что Кимон дожил не только до взятия Китиума и Маллуса, но и до этих двух побед. Но авторитет Фукидида, превосходящего Диодора по всем показателям, особенно высок в том, что касается смерти Кимона, с которым он был связан родственными узами.

[643] Herodot. vii, 151; Diodor. xii, 3, 4. Демосфен (De False Legat. с. 77, p. 428, R: cp. De Rhodior. Libert. с. 13, p. 199) говорит об этом мире как о τὴν ὑπὸ πάντων θρουλλουμένην εἰρήνεν. Сравните Lykurgus, cont. Leokrat. с. 17, p. 187; Isokratês, Panegy. с. 33, 34, p. 244; Areopagitic. с. 37, pp. 150, 229; Panathenaic, с. 20, p. 360.

Из-за вольного языка этих ораторов невозможно определить, каков был точный предел в отношении близости к побережью. Исократес достаточно неосторожен, чтобы говорить о реке Галис как о границе; Демосфен говорит о ней как о "дневном пути для лошади", что, вероятно, больше, чем правда.

Две границы, обозначенные морем, с другой стороны, ясны и естественны по отношению к Афинской империи: Кианские скалы на одном конце, Фасеклис или Челидонские острова - между этими двумя последними местами нет существенного расстояния - на другом.

Дальманн, в конце своей диссертации о реальности этого Кимонского мира, собирает различные отрывки авторов, где он упоминается: среди них есть несколько из ритора Аристеидеса (Forschungen pp. 140-148).

[644] Thucyd. ii, 14.

[645] Thucyd. viii, 5, 6, 56. Поскольку некоторые ученые критики, особенно Дальманн и Мансо (см. трактаты, цитируемые в последующем [примечании 647](#)), выдвигают весьма ошибочные утверждения, я привожу отрывок из Фукидида. Он говорит о зиме 412 г. до н. э., сразу после гибели афинской армии в Сиракузах и после того, как были предприняты удвоенные усилия - даже за несколько месяцев до этой гибели - для возбуждения активных враждебных действий против Афин со всех сторон (Thucyd. vii, 25): было видно, что появилась перспективная возможность нанести сильный удар по афинской державе. Сатрап Тиссаферн подстрекал хианцев и эритрейцев к восстанию, отправив вместе с ними в Спарту посланника с уговорами и обещаниями помощи, - ἐπὶ γὰρ καὶ ὁ Τισσαφέρνης τοὺς Πελοποννησίους καὶ ὑπὸ σπινθηρίῳ τροφῇν παρέξειν. Ὑπὸ βασιλείᾳ γὰρ νεωστὶ ἐτύχανε πεπραγμένος τοὺς ἐκ τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς φόρους, οὓς δι' Ἀθηναίους ἀπὸ τῶν

Ἑλληνίδων πόλεων οὐ δυνάμενος πράσσεισθαι ἐπωφείλησε. Τοὺς τε οὖν φόρους μᾶλλον ἐνόμιζε κομίσσθαι, κακῶσας τοὺς Ἀθηναίους, καὶ ἄμα βασιλεῖ συμμάχους Λακεδαιμονίους ποιήσιν, и т. д. В следующей главе Фукидид рассказывает, что сатрап Фарнабаз хотел заручиться помощью лакедемонян, как и Тиссаферн, для *своей* сатрапии, чтобы отделить греческие города от Афин и иметь возможность взимать с них дань. В Спарту отправляются два грека, посланные Фарнабазом, ὅπως ναῦς κομίσειαν ἐς τὸν Ἑλλήσποντον, καὶ αὐτὸς, εἰ δύναίτο ἄπερ ὁ Τισσαφέρνης προϋθυμεῖτο, τάς τε ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἀρχῇ πόλεις Ἀθηναίων ἀποστήσειε διὰ τοὺς φόρους, καὶ ἀφ' ἑαυτοῦ βασιλεῖ τὴν συμμαχίαν τῶν Λακεδαιμονίων ποιήσειε.

Эти отрывки, как ни странно, рассматриваются Мансо и Дальманом как свидетельство того, что греческие города на азиатском побережье, хотя и подчинялись Афинской империи, тем не менее, продолжали регулярно платить дань Сузам. На мой взгляд, эти отрывки опровергают именно это предположение: они показывают, что сатрапу было необходимо отделить эти города от Афинской империи, чтобы получить с них дань в Персию: Афинская империя, пока она существовала, не позволяла ему получать дань с подчиненных ей городов. Мансо и Дальман упускают из виду важное значение наречия времени νεωστὶ- "в последнее время". Этим словом Фукидид прямо намекает на то, что суд Суз *только недавно* потребовал от Тиссаферна и Фарнабаза дань с приморских греков в пределах их сатрапий, и подразумевает, что *до недавнего времени подобных требований к ним не предъявлялось*. Сузский двор, осведомленный, несомненно, греческими изгнанниками и агентами о затруднениях, в которые попали Афины, счел этот момент подходящим для требования дани; на которую, несомненно, он всегда считал себя вправе, хотя могущество Афин вынуждало его отказываться от нее. Соответственно, требование впервые было направлено Тиссаферну, и он *"стал должником за них"* перед судом (ἐπωφείλησε), пока не сможет их собрать: чего он не мог сделать сначала, даже тогда, когда Афины были в замешательстве, - и чего, *à fortiori*, он не мог сделать раньше, когда Афины были в полной власти.

Из этих отрывков мы узнаем два ценных факта. 1. Приморские азиатские города, входившие в Афинскую империю, не платили дани Сузам со дня полной организации Афинской конфедерации и до периода после поражения афинян в Сицилии. 2. Тем не менее, на протяжении всего этого периода эти города продолжали числиться в книгах персидского царя каждый за своим данником, - сузский двор ждал удобного момента, когда он сможет добиться исполнения своих требований за счет несчастья, постигшего Афины.

Такое состояние отношений между азиатскими греками и персидским двором при Афинской империи, подтвержденное Фукидидом, позволяет нам объяснить отрывок из Геродота, на котором также остановились Мансо и Дальман (стр. 94) с довольно очевидным правдоподобием, как доказывающий их точку зрения на это дело. Геродот, описывая перестройку и переучет территорий ионических городов сатрапом Артаферном (около 493 г. до н.э.), после подавления ионийской империи, пишет о том, что ионийские города были перестроены, а ионийские города - перестроены, после подавления восстания ионийцев), он сообщает, что оценил дань каждого из них по новому измерению и что эта оценка оставалась неизменной до его (Геродота) времени, - καὶ τὰς χώρας σφέων μετρήσας κατὰ παρασάγγας ... φόρους ἔταξε ἐκάστοισι, οἳ κατὰ χώραν διατελέουσι ἔχοντες ἐκ τούτου τοῦ χρόνου αἰεὶ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ, ὥς ἐτάχθησαν ἐξ Ἀρταφέρνηος - ἐτάχθησαν δὲ σχεδὸν κατὰ τὰ αὐτὰ τὰ καὶ πρότερον εἶχον (vi, 42). Дальман и Мансо утверждают, что Геродот здесь подтверждает, что дань ионических городов Персии выплачивалась постоянно и регулярно вплоть до его собственного времени. Но, на мой взгляд, это ошибка: Геродот говорит не об *уплате*, а об *обложении*, а это две совершенно разные вещи, как ясно намекает Фукидид в отрывке, который я цитировал выше. *Оценка* всех ионических городов в книгах персидского царя оставалась неизменной на протяжении всей Афинской империи; но *выплата* не была принудительной вплоть до 412 года до н. э., когда афиняне, как

предполагалось, были слишком слабы, чтобы помешать этому. Из отчета об общих персидских доходах по всем сатрапиям, который мы находим в третьей книге Геродота, становится ясно, что он имел доступ к официальным отчетам персидских финансов или, по крайней мере, к греческим секретарям, знавшим эти отчеты. Ему бы сказали, что эти оценки оставались неизменными со времен Артаферна и далее: были ли они *реализованы* или нет - это другой вопрос, на который "книги", вероятно, не ответили бы, и который он мог знать или не знать.

Приведенные выше отрывки из Фукидида мне кажутся положительным доказательством того, что греческие города на азиатском *побережье*, а не во внутренних районах, как мы можем видеть на примере Магнесии, отданной Фемистоклу, не платили дань Персии во время существования Афинской империи. Но если бы не было такого положительного доказательства, я все равно остался бы при том же мнении. Ведь если эти греки продолжали платить дань, то что означают фразы о том, что они "*восстали* из Персии", что они "*освободились* от царя", ("οἱ ἀποστάντες βασιλέως Ἕλληνες-οἱ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως-οἱ ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο, Thucyd. i, 18, 89, 95)?

Это то, что касается выплаты дани. Что касается другого пункта, - что между 477 и 412 гг. до н. э. персидские корабли не допускались к побережью Ионии, на которое, хотя и претендовал персидский царь, греки не признавали его принадлежащим, - то подтверждение этому можно найти в Thucyd. viii, 56: сравните Diodor. iv, 26.

[646] Herodot. vi, 151. Диодор также утверждает, что этот мир был заключен афинянином Каллиасом (xii, 4).

[647] В целом я делаю вывод в пользу этого договора как исторического факта, хотя и понимаю, что некоторые аргументы, приводимые против него, не лишены силы. Г-н Митфорд и д-р Тирлуолл (гл. xvii, с. 474), а также Мансо и Дальманн, не говоря уже о других, оспаривают реальность договора: а последний из упомянутых авторов, в частности, подробно рассмотрел дело и изложил все основания для возражений, выдвигая, среди некоторых, действительно серьезных, другие, которые кажутся мне слабыми и несостоятельными (Manso, Sparta, vol. iii, Beylage x, p. 471; Dahlmann, Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte, vol. i, Ueber den Kimonischen Frieden, pp. 1-148). Бёхх признает договор как исторический факт.

Если мы полностью отрицаем историческую реальность договора, мы должны принять какую-то гипотезу, подобную гипотезе Дальмана (стр. 40): "Отдельное упоминание и утверждение такого мира как официально заключенного, по-видимому, впервые возникло в афинской школе риториков вскоре после заключения Анталкидского мира и как ораторская антитеза в противовес этому миру".

К этому следует добавить предположение, что некие лица, должно быть, позаботились о том, чтобы этот сфабрикованный мир был выгравирован на колонне и помещен либо в Метрофоне, либо где-то еще в Афинах, среди записей об афинской славе. Ибо то, что он был выгравирован на колонне, несомненно (Theopompus ap. Harpokration. Ἀττικοῖς γράμμασι). Подозрение, начатое Теопомпом (и основанное на том, что мир был выгравирован не на древнем аттическом, а на ионическом письме - последний вид был узаконен в Афинах только после архонства Эвклида), что этот договор был последующей выдумкой, а не исторической реальностью, не очень-то весомо для меня. Если предположить, что мир был реальным, то он, естественно, был составлен и выгравирован в том виде, который обычно использовался в ионических городах Малой Азии, поскольку именно они были наиболее заинтересованы в нем: или он даже мог быть перегравирован, поскольку между заключением договора и тем временем, когда Теопомп увидел столб, должно было пройти почти столетие. Признаюсь, что гипотеза Дальмана кажется мне более невероятной, чем историческая реальность договора. Мне кажется более вероятным, что договор

существовал, и что ораторы говорили о нем преувеличенные и ложные вещи, - чем то, что они с самого начала сфабриковали договор с преднамеренной целью и с присовокуплением ложного имени посланника.

Дальманн справедливо и убедительно разоблачает - что, в общем-то, несложно - вольные, непоследовательные и тщеславные заявления ораторов об этом договоре. Хронологическая ошибка, когда утверждалось, что он был заключен вскоре после победы над Эвримедоном и, таким образом, был связан с именем Кимона, - одно из обстоятельств, которое наиболее сильно дискредитировало свидетелей: Но мы не должны забывать, что Эфор (если предположить, что Диодор в данном случае копирует Эфора, что весьма вероятно -xii, 3, 4) не впал в эту ошибку, а поместил договор на его правильное хронологическое место, после афинской экспедиции под командованием Кимона против Кипра и Египта в 450-449 гг. до н.э. Кимон умер до завершения великих результатов этой экспедиции, как мы знаем из Фукидида: по этому поводу Диодор высказывается двусмысленно, но скорее дает понять, что Кимон дожил до завершения всего, а затем умер от болезни.

Абсурдное преувеличение Исократеса о том, что договор обязывал персидских царей не заходить на запад от реки Халис, также подверглось очень правильному осуждению. Он делает это заявление в двух разных орациях (Areopagatic. p. 150; Panathenaic. p. 462).

Но хотя Дальманну удастся дискредитировать ораторов, он тщетно пытается показать, что договор сам по себе неправдоподобен или не согласуется с какими-либо известными историческими фактами. Этой части дела посвящена большая часть его диссертации, и, как мне кажется, весьма безуспешно. Тот факт, что персидские сатрапы в разные периоды после заключения договора оказывают помощь - негласно, но без особых усилий, чтобы скрыть это - восставшим афинским подданным, не доказывает, что договор не был заключен. Эти сатрапы, несомненно, были бы очень рады нарушить договор, если бы считали, что могут сделать это с выгодой для себя: если бы с Афинами случилось какое-нибудь несчастье от рук пелопоннесцев, - например, если бы афиняне имели неосторожность вывести из города все свои сухопутные войска, чтобы отразить вторжение пелопоннесцев из Аттики, и потерпели бы полное поражение, - персы, несомненно, немедленно попытались бы вернуть себе Ионию. Так лакедемоняне, в то время как они фактически находились в союзе с Афинами, прислушались к уговорам восставших тасийцев и тайно пообещали вторгнуться в Аттику, чтобы помочь их восстанию (Thucyd. i, 103). Поскольку договор соблюдается весьма несовершенно - или, скорее, потому, что стороны, не вступая в открытую войну, используют возможности для уклонения от него и посягают на его предписания, - мы не вправе отрицать, что он когда-либо был заключен (Dahlmann, p. 116).

Мне кажется, что возражения, выдвинутые Дальманом и другими против исторической реальности этого договора, в большинстве своем говорят лишь о преувеличенном значении, которое придавали ему последующие ораторы.

[648] Плутарх, Периклес, с. 21-28.

[649] Plutarch, Aristeidês. с. 25.

[650] Thucyd. i, 112; cp. Philochor. Fragm. 88, ed. Didot.

[651] Thucyd. i, 19. Λακεδαιμόνιοι, οὐχ ὑποτελεῖς ἔχοντες φόρου τοὺς συμμάχους, κατ' ὀλιγαρχίαν δὲ σφίσιν αὐτοῖς μόνον ἐπιτηδείως ὅπως πολιτεύσουσι θεραπεύοντες - то же, также i, 76-144.

[652] Aristotel. Politic. v, 2, 6. Καὶ ἐν Θήβαις μετὰ τὴν ἐν Οἰνοφύτοις μάχην, κακῶς πολιτευομένων, ἡ δημοκρατία διεφθάρη.

[653] Плутарх, Периклес, с. 18; также его сравнение между Периклесом и Фабием Максимом, с. 3.

Клейниас, отец знаменитого Алкивиада, был убит в этой битве: он служил за тридцать три года до этого в морском сражении при Артемисии: поэтому он не может быть причислен к молодым воинам, хотя и был человеком первого ранга (Плутарх, Алкивиад., с. 1).

[654] Thucyd. i, 113; Diodor. xii, 6. Платея, по-видимому, считалась совершенно отделенной от Беотии: она оставалась в такой же тесной связи с Афинами, как и раньше.

[655] Ксенофонт, Memorabil. iii, 5, 4.

[656] Thucyd. i, 114; v, 16, Plutarch, Periklès, с. 22.

[657] Thucyd. i, 114; Plutarch, Periklès, с. 23; Diodor. xii, 7.

[658] Thucyd. i, 114, 115; ii, 21; Diodor. xii, 5. Я несколько не сомневаюсь, что слово Achaia, использованное здесь, означает страну в северной части Пелопоннеса, обычно известную под этим названием. Подозрения Гёллера и других, что оно означает не эту территорию, а какой-то неизвестный город, кажутся мне совершенно необоснованными. Фукидид никогда не указывал точное время, когда афиняне приобрели Ахайю в качестве зависимого союзника, хотя он упоминает ахейцев (i, 111) в этом качестве. Это один из многих аргументов, показывающих, что мы должны быть осторожны, когда молчание Фукидида свидетельствует о реальности события, - в отношении этого периода между персидской и пелопоннесской войнами, когда все его резюме так кратко.

Что касается хронологии этих событий, г-н Файнс Клинтон замечает: "Бедствия в Беотии привели к восстанию Эвбеи и Мегары примерно через восемнадцать месяцев после этого, в Антестекрион 445 г. до н. э.: и пелопоннесскому вторжению в Аттику по истечении пятилетнего перемирия" (ad ann. 447 г. до н. э.).

Мистер Клинтон, как мне кажется, допускает более длительный интервал, чем это вероятно: Я склонен думать, что восстание Эвбеи и Мегары последовало за бедствиями в Беотии, несмотря на заявление архонтов, данное Диодором: οὐ πολλῶ ὄστερον, выражение Фукидида означает, вероятно, не более трех или четырех месяцев; и весь ряд событий был, очевидно, результатом одного импульса. Перемирие было заключено в начале 445 года до н. э., поэтому восстание Эвбеи и Мегары, а также вторжение Плейстоанакса в Аттику можно отнести к 446 году до н. э., а бедствия в Беотии - либо к началу 446 года до н. э., либо к концу 447 года до н. э.

Вряд ли можно с уверенностью предположить, что (как это делает мистер Клинтон, ad ann. 450, а также д-р Тирлуолл, Hist. Gr. ch. xvii, p. 478), что пятилетнее перемирие должно было фактически закончиться до того, как Плейстоанакс и лакедемоняне вторглись в Аттику: тридцатилетнее перемирие, заключенное после этого, не истекло полностью.

[659] См. K. F. Hermann, Griechische Staatsalterthümer, sects. 53-107, и его трактат De Jure et Auctoritate Magistratuum ap. Athen. p. 53 (Heidelb. 1829); также Rein, Römisches Privatrecht, pp. 26, 408, Leips. 1836. М. Лабуле также особенно настаивает на смешении административных и судебных функций у римлян (Essai sur les Loix Criminelles des Romains, pp. 23, 79, 107, etc.): и сравните м-ра Г. К. Льюиса, Essay on the Government of Dependencies, p. 42, с его цитатой из Hugo, Geschichte des Römischen Rechts, p. 42. Г-н Льюис высказал справедливые и ценные замечания о том, насколько хороша принятая классификация властей в качестве теории и насколько

разделение властей было или может быть осуществлено на практике: см. также Примечание Е в той же работе, с. 347.

Разделение административных и судебных функций, по-видимому, было неизвестно в ранних обществах. М. Мейер замечает по поводу судебных институтов современной Европы: "Anciennement les fonctions administratives et judiciaires n'étoient pas distinctes. В эпоху немецкой свободы и даже спустя долгое время после нее народные или местные плечи вершили правосудие и управляли национальными или местными интересами в одном и том же собрании: при федеральном режиме король или император в лице своего совета, своего суда, своего парламента, состоящего из высших церковных и лаистских баронов, осуществлял все права суверенитета и правосудия: в общине бай, мэр или другой назначенный принцем чиновник управлял общинными интересами и судил буржуа по представлению всей общины, корпораций, входящих в ее состав, или органов власти и советов, которые ее возглавляли: "никто еще не догадался, что решение по одному делу между частными лицами должно быть чуждым общему делу". "-Meyer, *Esprit des Institutions Judiciaires*, book v, chap. 11, vol. iii, p. 239; также chap. 18, p. 383.

[660] Случай такого низложения архонта по решению общественного собрания, еще до истечения года пребывания в должности, встречается у Демосфена, cont. Theokrin. с. 7: другой, о низложении стратига, в Demosthen. cont. Timoth. с. 3.

[661] *Æschinês* (cont. Ktesiphont, с. 9, p. 373) говорит о сенате Ареопага как о ὑπεύθυνος, и это, несомненно, понималось так: но трудно понять, как можно практически обеспечить подотчетность такого органа. Они могли быть ответственны только в том смысле, что, если было бы доказано, что кто-то из их числа получил взятку, он был бы наказан в индивидуальном порядке. Но в этом смысле и сами дикастерии были бы ответственны: хотя о них всегда утверждается, что они не несут ответственности.

[662] О процедуре арбитража в Афинах, а также о государственных и частных арбитрах см. поучительный трактат Худтвалкера "Об арбитрах и частных арбитрах в Афинах" (Hudtwalcker, *Ueber die öffentlichen und Privat-Schiedsrichter (Diaeteten) zu Athen*: Jena, 1812.

Каждый арбитр, по-видимому, заседал один, чтобы рассматривать и решать споры: он получал небольшое вознаграждение в размере одной драхмы от обеих сторон, а также дополнительную плату, если подавалось прошение об отсрочке (стр. 16). Стороны могли по взаимному согласию назначить любого гражданина арбитром: но существовало определенное число общественных арбитров, ежегодно избираемых или выбираемых по жребию из числа граждан, и истец мог обратиться к любому из них. Они подлежали наказанию по εὔθυναι в конце года пребывания в должности, если были обвинены и осуждены в коррупции или нечестном ведении дел.

Число этих общественных диэтетæ, или арбитров, было неизвестно на момент публикации книги Худтвалкера. Надпись, обнаруженная профессором Россом и опубликованная в его работе "*Über die Demen von Attika*", p. 22, содержит имена всех диэтетов за год правления архонта Антикlesa, 325 г. до н. э., с указанием названия племени, к которому каждый из них принадлежал.

Общее число составляет сто четыре человека: число в каждом племени неравное; наибольшее число - в Кекрописе, который предоставляет шестнадцать человек; наименьшее - в Пандионисе, который присылает только три человека. Должно быть, они либо избирались, либо выбирались по жребию из общего числа граждан, без привязки к племенам. Надпись записывает имена диэтетов на этот год до 325 г. до н. э., в связи с тем, что они были коронованы или получили благодарственный голос от народа. Существует также фрагмент подобной надписи за 337 год до н. э.

[663] Public Economy of the Athenians, book ii, chap. xiv, p. 227. Англ. перевод.

М. Воёckh должно означать, что все шесть тысяч, или почти все, были заняты каждый день. Мне кажется, что это предположение сильно преувеличивает как количество дней, так и число реально занятых людей. Для вывода из текста, однако, достаточно и гораздо меньшего числа.

См. более точное замечание Шеманна, *Antiquit. Juris Public. Græcor.*, sect. lxxi, p. 310.

[664] Aristotel. *Politic.* ii, 9, 3. Καὶ τὴν μὲν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλὴν Ἐφιάλτης ἐκόλουσε καὶ Περικλῆς- τὰ δὲ δικαστήρια μισθοφόρα κατέστησε Περικλῆς- καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον ἕκαστος τῶν δημαγωγῶν προαίρεσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπὸ συμπτώματος. Τῆς ναυαρχίας γὰρ ἐν τοῖς Μηδικοῖς ὁ δῆμος αἴτιος γενόμενος ἐφρονηματίσθη, καὶ δημαγωγοὺς ἔλαβε φαύλους, ἀντιπολιτευομένων τῶν ἐπεικῶν- ἐπεὶ Σόλων γ' ἔοικε τὴν ἀναγκαιοτάτην ἀποδιδόναι τῷ δήμῳ δύναμιν, τὸ τὰς ἀρχὰς αἰρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν- μηδὲ γὰρ τούτου κύριος ὢν ὁ δῆμος δοῦλος ἂν εἴη καὶ πολέμιος.

Слова τὰ δὲ δικαστήρια μισθοφόρα κατέστησε Περικλῆς обычно переводят так: "Периклес сначала дал жалованье дикастериям", при этом предполагается, что эти органы прежде судили безвозмездно. Но мне кажется, что эти слова следует перевести так: "Периклес впервые учредил платные дикастерии", то есть дикастерии, как и жалованье, были введены им.

Из всего этого отрывка очевидно, что Аристотель не считал, что дикастерии, как безвозмездные, так и платные, были учреждены Солоном, но были чужды целям этого законодателя и являлись нововведениями, исходящими от Перикла и Эфиальта, в то самое время, когда судебные функции сената Ареопага были урезаны.

[665] Deinarchus cont. Demosthen. Or. i, p. 91. φυλάττει τὰς ἀπορρήτους διαθήκας, ἐν αἷς τὰ τῆς πόλεως σωτήρια κεῖται, etc. Так и Æschinês называет этот сенат τὴν σκυθρωπὸν καὶ τῶν μεγίστων κυρίαν βουλὴν (cont. Ktesiphont. c. 9, p. 373: ср. также cont. Timarchum, c. 16, p. 41; Demosth. cont. Aristokrat. c. 65, p. 641). Плутарх, Солон, с. 19. τὴν ἄνω βουλὴν ἐπίσκοπον πάντων καὶ φύλακα τῶν νόμων и т. д.

Ἐδίκαζον οὖν οἱ Ἀρεοπαγῖται περὶ πάντων σχεδὸν τῶν σφαλμάτων καὶ παρανομιῶν, ὡς ἅπαντά φησιν Ἀνδροτίων ἐν πρώτῃ καὶ Φιλόχορος ἐν δευτέρᾳ καὶ τρίτῃ τῶν Ἀτθίδων (Philochorus, Fr. 17-58, ed. Didot, p. 19, ed. Siebelis).

См. об Ареопаге: Schömann, *Antiq. Jur. Att.* sect. lxvi.; K. F. Hermann, *Griech. Staatsalterthümer*, sect. 109.

[666] Aristotel. *Politic.* ii, 6, 18.

[667] На эти две противоречивые тенденции в Афинах, одна из которых непосредственно следует за другой, Аристотель особенно указывает в примечательном отрывке своей "Политики" (v, 3, 5).

Μεταβάλλουσι δὲ καὶ εἰς ὀλιγαρχίαν καὶ εἰς δῆμον καὶ εἰς πολιτείαν ἐκ τοῦ εὐδοκιμῆσαί τι ἢ αὐξηθῆναι ἢ ἀρχεῖον ἢ μόνιον τῆς πόλεως- οἷον, ἢ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλὴ εὐδοκιμήσασα ἐν τοῖς Μηδικοῖς ἔδοξε συντονωτέραν ποιῆσαι τὴν πολιτείαν. Καὶ πάλιν ὁ ναυτικὸς ὄχλος γενόμενος αἴτιος τῆς περὶ Σαλαμίνα νίκης καὶ διὰ ταύτης τῆς ἡγεμονίας διὰ τὴν κατὰ θάλατταν δύναμιν, τὴν δημοκρατίαν *ἰσχυροτέραν* ἐποίησεν.

Слово συντονωτέραν ("более строгий, более жесткий") противопоставляется в другом отрывке слову ἀνειμένους (iv, 3, 5).

[668] Plutarch. Reipub. Ger. Præcept. p. 805. Οὐκ ἄγνοῶ δὲ, ὅτι βουλὴν τινες ἐπαχθῆ καὶ ὀλιγαρχικὴν κολούσαντες, ὥσπερ Ἐφιάλτης Ἀθήνησι καὶ Φορμίων παρ' Ἡλείοις, δύναμιν ἅμα καὶ δόξαν ἔσχον.

Об олигархическом характере Ареопагитов см. Deinarchus cont. Demosthen. pp 46, 98.

[669] Плутарх, Кимон, с. 16; Фемистоклюс, с. 20.

[670] Плутарх, Периклес, с. 4-7 и др.

[671] Herodot. vi, 131.

[672] Плутарх, Reipub. Gerend. Præcept. p. 812; Periklês, с. 5, 6, 7.

[673] Plato, Phædrus, с. 54, p. 270; Plutarch, Periklês, с. 8; Xenoph. Memor. i, 2, 46.

[674] Плутарх, Периклес, с. 9, 16; Кимон, с. 10; Reipubl. Gerend. Præcept. p. 818.

[675] О личном общении между Периклесом и Протагором свидетельствует интересный фрагмент последнего, который мы находим у Плутарха, Consolat. ad Apollonium, с. 33, p. 119.

[676] Aristophan. Nubes, 972, 1000, seq. и Ranæ, 1071.

[677] Плутарх, Кимон, с. 10; Илиан, V. H. ii, 43; xi, 9.

[678] Плутарх, Периклес, с. 10: ср. Valer. Maxim. iii, 8, 4. Ἐφιάλτην μὲν οὖν, φοβερὸν ὄντα τοῖς ὀλιγαρχικοῖς καὶ περὶ τὰς εὐθύνας καὶ διώξεις τῶν τὸν δῆμον ἀδικούντων ἀπαραίτητον, ἐπιβουλεύσαντες οἱ ἐχθροὶ δι' Ἀριστοδίκου τοῦ Ταναγρικοῦ κρυφαίως ἀνείλον, и т. д.

[679] Плутарх, Кимон, с. 16.

[680] Плутарх, Кимон, с. 17. Οἱ δὲ πρὸς ὀργὴν ἀπελθόντες ἤδη τοῖς λακωνίζουσι φανερώς ἐχάλεπαινον, καὶ τὸν Κίμωνα μικρᾷς ἐπιλαθόμενοι προφάσεως ἐξωστράκισαν εἰς ἔτη δέκα.

Я привожу этот отрывок в качестве примера неточной манеры, в которой так часто описывается остракизм. Плутарх говорит: "Афиняне воспользовались небольшим предлогом, чтобы подвергнуть Кимона остракизму", но особенностью остракизма было то, что он не имел *предлога*: это был приговор, вынесенный без конкретной или установленной причины.

[681] Demosthen. cont. Euerg. et Mnesibul. с. 12.

[682] Harpokration-Ὁ κάτωθεν νόμος-Pollux, viii, 128.

[683] Arist. Polit. iv, 5, 6. ἔτι δ' οἱ ταῖς ἀρχαῖς ἐγκαλοῦντες τὸν δῆμόν φασι δεῖν κρίνειν- ὁ δὲ ἀσμένως δέχεται τὴν πρόκλησιν- ὥστε καταλύονται πᾶσαι αἱ ἀρχαί и т. д.; ср. vi, 1, 8.

Замечание Аристотеля не вполне справедливо по отношению к изменению, произведенному Периклесом, который передал власть, отнятую у магистратов, не народу, а некоторым специально учрежденным, хотя и многочисленным и популярным дикастериям, поклявшимся принимать решения в соответствии с известными и написанными законами. Отделение судебной компетенции от административной также не следует характеризовать как "растворение или уничтожение магистратской власти". Напротив, оно соответствует лучшим современным представлениям. Периклеса нельзя порицать за то, что он осуществил это разделение, как бы кто ни считал, что созданная им судебная власть была неприемлемой.

Платон, кажется, также считал, что административная власть существенно сопровождается судебной (Legg. vi, p. 767) - πάντα ἄρχοντα ἀναγκαῖον καὶ δικαστὴν εἶναι τίνων - мнение, без

сомнения, совершенно справедливое, до некоторого узкого предела: разделение между двумя видами власти нельзя сделать *абсолютно* полным.

[684] Demosthen. cont. Neær. p. 1372; cont. Aristokrat. p. 642.

Мейер (Meier, Attischer Prozess, p. 143) считает, что сенат Ареопага был также лишен права рассматривать дела об убийствах, как и других своих функций, и что оно было восстановлено только после изгнания Тридцати. Он полагает, что это доказывается отрывком из Лисия, который он приводит (De Cæde Eratosthenis, pp. 31-33).

М. Бёх и О. Мюллер придерживаются того же мнения, что и Мейер, и, похоже, на основании того же отрывка (см. диссертацию О. Мюллера об Эвменидах Эсхила, p. 113, англ. перевод). Но, во-первых, этому мнению противоречит прямое утверждение анонимного биографа Фукидида, который упоминает о суде над Пирилампом за убийство в Ареопаге; также противоречит, кажется, Ксенофонт (Memorab. iii, 5, 20); во-вторых, отрывок Лисия, как мне кажется, имеет другой смысл. Он говорит: ὃ καὶ πατριὸν ἐστὶ καὶ ἐφ' ὧν ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάζειν: теперь - даже если мы признаем правильным предположительное чтение ἐφ' ὧν вместо ἐφ' ὧν - все равно, это восстановление функций Ареопага, естественно, относится к восстановленной демократии после насильственного перерыва, вызванного олигархией Тридцати. Учитывая, сколько людей Тридцать привели к насильственной смерти, и полную подрывную деятельность всех законов, которые они ввели, кажется невозможным предположить, что Ареопаг мог продолжать проводить свои заседания и рассматривать обвинения в умышленном убийстве при их правлении. При возвращении демократии после изгнания Тридцати функции сената Ареопага также вернулись бы.

Если предположение выдающихся авторов, упомянутых выше, верно, - если правда, что Ареопаг был лишен не только надзорной функции в целом, но и возможности рассматривать дела об убийствах в течение пятидесяти пяти лет, прошедших между ходатайством Эфиальтеса и изгнанием Тридцати, - этот сенат должен был вообще не иметь никаких функций в течение этого долгого промежутка времени; он должен был быть практически несуществующим. Но за столь долгий период полного перерыва граждане потеряли бы к нему всякое уважение; он не смог бы сохранить такого влияния, каким, как мы знаем, он обладал непосредственно перед Тридцатью (Lysias c. Eratosth. c. 11, p. 126); и вряд ли бы он возродился после изгнания Тридцати. В то время как, сохранив в этот период свою юрисдикцию в делах об убийстве, помимо тех более широких привилегий, которые ранее делали ее несносной, древнее традиционное уважение к ней было сохранено, и она была возрождена после падения Тридцати как почтенная часть старой демократии; даже, очевидно, с некоторым расширением привилегий.

Выводы, которые О. Мюллер хочет сделать в отношении фактов этих времен из "Эвменид" Эсхила, кажутся мне недостаточно обоснованными. Чтобы поддержать свое мнение, что в силу предложения Эфиальтеса "Ареопаг почти полностью перестал быть высшим судебным органом" (sect. 36, p. 109), он вынужден изменить хронологию событий и утверждать, что предложение Эфиальтеса должно было быть осуществлено после представления Эвменид, хотя Диодор упоминает о нем в следующем году, но за год до этого, и ему нечего возразить. Все, что мы можем с уверенностью заключить из очень нечетких упоминаний в Эсхиле, это то, что он сам был полон почтения к Ареопагу, и что время было такое, когда партийное ожесточение было настолько велико, что делало нечто похожее на гражданскую войну (ἐμφύλιον Ἄρη, ст. 864) в пределах разумного предвидения. Возможно, он был против сокращения привилегий Ареопага Эфиальтесом: но даже в этом нет полной уверенности, поскольку он выдвигает его на первый план и специально в качестве трибунала по делам об убийствах, осуществляющего эту юрисдикцию в соответствии с внутренним предписанием и подтвержденного в ней самими

эвменидами. Если учесть, что именно такая юрисдикция была подтверждена и оставлена Эфиальтесом Ареопагу, то можно с полным основанием утверждать, что Эсхил, придавая торжественность и предсказывая вечность оставшейся привилегии, хотел примирить тех, кто возмущался недавними нововведениями, и смягчить вражду между двумя враждующими партиями.

Мнение Бозка, О. Мюллера и Майера относительно изъятия из сената Ареопага приговоров по делам об убийствах по предложению Эфиальтеса было обсуждено и, по моему мнению, опровергнуто Форххаммером в ценной диссертации "De Areopago non privato per Ephialten Homicidii Judiciis". Kiel, 1828.

[685] Это язык тех авторов, которых копировал Диодор (Diodor. xi, 77)-οὐ μὴν ἀθρόως γε διέφυγε τηλικούτοις ἀνομήμασιν ἐπιβαλόμενος (Ephialtês), ἀλλὰ τῆς νυκτὸς ἀναιρεθεὶς, ἄδηλον ἔσχε τὴν τοῦ βίου τελευτήν. Сравните Павсаний, i, 29, 15.

Плутарх (Periklês, с. 10) ссылается на Аристотеля, который упоминает об убийстве Эфиальтеса. Антифон, однако, утверждает, что убийца так и не был официально известен или осужден (De Cæde Hero. с. 68).

Враги Периклеса распространили сообщение, упомянутое Идоменеом, что именно он организовал убийство Эфиальтеса из ревности к превосходству последнего (Плутарх, Периклес, с. 10). Из этого сообщения можно сделать вывод о том, насколько велика была известность Эфиальтеса.

[686] Вмешательство Эльпиники, сестры Кимона, в достижение этого компромисса между ее братом и Периклесом достаточно вероятно (Плутарх, Периклес, с. 10, и Кимон, с. 14). Умная и увлекающаяся, она, похоже, играла активную роль в политических интригах того времени: но мы вовсе не обязаны верить скандалам, инсинуированным Евполисом и Стесимбротом.

[687] Мы слышим об этих номофилах в отдельном высказывании, приведенном у Филохора, у Фотия, Lexic. p. 674, Porson. Νομοφύλακες- ἑτεροὶ εἰσι τῶν θεσμοθετῶν, ὡς Φιλόχορος ἐν ζ'- οἱ μὲν γὰρ ἄρχοντες ἀνέβαινον εἰς Ἄρειον πάγον ἐστεφανώμενοι, οἱ δὲ νομοφύλακες χρύσια στρόφια ἄγοντες- καὶ ταῖς θεαῖς ἐνάντιον ἀρχόντων ἐκαθέζοντο- καὶ τὴν πομπὴν ἔπεμπον τῇ Παλλάδι- τὰς δὲ ἀρχὰς ἠνάγκαζον τοῖς νόμοις χρῆσθαι- καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τῇ βουλῇ μετὰ τῶν προέδρων ἐκάθηντο, κωλύοντες τὰ ἀσύμφορα τῇ πόλει πράττειν- ἔπτα δὲ ἦσαν- καὶ κατέστησαν, ὡς Φιλόχορος, ὅτε Ἐφιάλτης μόνη κατέλιπε τῇ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῇ τὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος.

Харпократион, Поллукс и Суидас дают практически одинаковые сведения об этих магистратах, хотя никто, кроме Фотия, не называет точной даты их назначения. Нет достаточных оснований для сомнений в точности этого утверждения, которые выражает М. Бёкх: см. Schömann, Antiq. Jur. Pub. Græc. sect. lxvi; и Цицерон, Legg. iii, 20.

[688] См. Ксенофонт, Hellenic. i, 7; Andokidês de Mysteriis, p. 40.

[689] Demosthen. cont. Timokrat. с. 20, pp. 725, 726. Ἄρ' οὖν τῷ δοκεῖ συμφέρειν τῇ πόλει τοιοῦτος νόμος, ὃς δικαστηρίου γνώσεως αὐτὸς κυριώτερος ἔσται, καὶ τὰς ὑπὸ τῶν ὁμωμοκότων γνώσεις τοῖς ἀνωμότοις προστάξει λύειν; Ἐνθυμεῖσθε, ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου καὶ τῆς καταγνώσεως οἷ διεπήδησεν (Timokratês) ἐπὶ τὸν δῆμον, ἐκκλέπτων τὸν ἡδίκηκότα! Сравните Demosthen. cont. Eubulid. с. 15.

О номотетах см. Schömann, De Comitibus, ch. vii, p. 248, seqq., и Platner, Prozess und Klagen bey den Attikern, Abschn. ii, 3, 3, p. 33, seqq.

Оба они утверждают, на мой взгляд, ошибочно, что номотеты - это учреждение Солона. Демосфенес, правда, приписывает его Солону (Schömann, p. 268): но это, на мой взгляд, не имеет никакого значения, когда я вижу, что все законы, которые он приводит для регулирования процедур номотетов, недвусмысленно свидетельствуют о времени гораздо более позднем. Шеманн признает это в некоторой степени и в отношении стиля этих законов: "Illorum quidem fragmentorum, quæ in Timokrateâ extant, *recentiorem Solonis ætate formam atque orationem apertum est.*" Но не только стиль доказывает, что они относятся к послесолоновскому периоду: это упоминание послесолоновских институтов, таких как десять пританий, на которые делился год, десять статуй эпонимов, - все это происходит от создания десяти племен Клейстенесом. О небрежном использовании ораторами имени Солона, когда они хотят произвести сильное впечатление на дикастов, я уже говорил.

[690] За лишением права публичного слова (παρρησία) следовало осуждение любого гражданина на наказание, называемое ἀτιμία, лишение прав, полное или частичное (Demosthen. cont. Neær. p. 1352, с. 9; cont. Meidiam, p. 545, с. 27). Сравните с олигархическими настроениями Ксенофонта, Republ. Athen. i, 9.

[691] См. Meier, Attisch. Prozess, p. 139. Андокидес упоминает о суде по обвинению γράφῃ παρὰ νόμων, возбужденном его отцом Леогором против сенатора по имени Спевсипп, на котором заседали шесть тысяч дикастов, то есть все тело гелиастов. Однако свободная речь, столь привычная для Андокидеса, делает это утверждение весьма неопределенным (Andokidês de Mysteriis, p. 3, § 29).

См. Matthiæ, De Judiciis Atheniensium, в его Miscellanea Philologica, vol. i, p. 252. Матфей ставит под сомнение чтение того отрывка из Демосфена (cont. Meideam, p. 585), где говорится о двухстах дикастах, заседающих в суде: он считает, что должно быть πεντακοσίους вместо διακοσίους, - но это изменение было бы поспешным.

[692] См. по этому вопросу Voëkh, Public Econ. of Athens, ch. xv, p. 233; K. F. Hermann, Griech. Staatsalt. § 134.

Доказательства, которые М. Бозх приводит, чтобы показать, во-первых, что первоначальная плата составляла один обол, - во-вторых, что Клеон первым ввел триобол, - в обоих случаях очень неубедительны.

Некоторые отрывки из Схолиаста, в которых говорится, что жалованье дикастов колебалось (οὐκ ἔσθηκεν-ἄλλοτε ἄλλως ἐδίδοτο), не так естественно указывают на повышение с одного оболы до трех, как на изменения взад-вперед в зависимости от обстоятельств. По-видимому, бывали случаи, когда казна была настолько бедна, что было сомнительно, можно ли платить дикастам: см. Lysias, cont. Epikrat. с. 1; cont. Nikomach. с. 22; и Aristophan. Equit. 1370. Таким образом, на размер оплаты иногда влияла эта причина.

[693] По этому поводу есть замечательный отрывок в трактате Ксенофонта, De Republic. Athen. iii, 6. Он говорит:...

Φέρε δὴ, ἀλλὰ φησί τις χρῆναι δικάζειν μὲν, ἐλάττους δὲ δικάζειν. Ἀνάγκη τοίνυν, ἐὰν μὲν πολλὰ (и Вайске, и Шнайдер подставляют здесь πολλὰ вместо ὀλίγα, что последнее не имеет смысла) ποιῶνται δικαστήρια, ὀλίγοι ἐν ἐκάστῳ ἔσονται τῷ δικαστηρίῳ- ὥστε καὶ διασκευάσασθαι ῥᾶδιον ἔσται πρὸς ὀλίγους δικαστὰς, καὶ συνδεκάσαι (так Шнайдер и Маттиэ, вместо συνδικάσαι) πολὺ ἥττον δικάως δικάζειν.

То, что в Афинах было много взяток, когда к отдельным людям можно было подойти и договориться с ними, весьма вероятно (см. Xenoph. de Repub. Ath. iii. 3): и мы вполне можем полагать, что были и особые случаи, когда деньги давали дикастам, некоторые из которых были наказаны смертью за такое коррупционное получение (Æschinês cont. Timarch. с. 17-22, pp. 12-15). Но приведенный выше отрывок из Ксенофонта, недоброжелательного свидетеля, показывает, что меры предосторожности, принятые для предотвращения коррупции в дикастериях, были хорошо продуманы и успешны, хотя иногда эти меры предосторожности могли ускользать.

[694] Ксенофонт, De Republ. Laced. с. 8, 2. Τεκμαίρομαι δὲ ταῦτα, ὅτι ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν οἱ δυνατώτεροι οὔτε βούλονται δοκεῖν τὰς ἀρχὰς φοβεῖσθαι, ἀλλὰ νομίζουσι τοῦτο ἀνελεύθερον εἶναι- ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ οἱ κράτιστοι καὶ ὑπέρχονται μάλιστα τὰς ἀρχὰς и др.

О насильственных действиях, совершаемых влиятельными людьми в Фивах, в результате которых стало почти невозможно добиться правосудия против них из-за страха быть преданными смерти, см. Дикеарх, Vit. Græc. Fragm. ed. Fabr. p. 143, и Полибий, xx, 4, 6; xxiii, 2.

[695] Ксенофонт, Memorab. iii, 5, 18. Μηδαμῶς, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Περικλείς, οὕτως ἤγουν ἀνηκέστῳ πονηρίᾳ νοσεῖν Ἀθηναίους- Οὐχ ὁρᾷς, ὥς εὐτακτοὶ μὲν εἰσὶν ἐν τοῖς ναυτικοῖς, εὐτάκτως δ' ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι πεῖθονται τοῖς ἐπιστάταις, οὐδένων δὲ καταδεέστερον ἐν τοῖς χοροῖς ὑπηρετοῦσι τοῖς διδασκάλοις; Τοῦτο γάρ τοι, ἔφη, καὶ θαυμαστόν ἐστι- τὸ τοὺς μὲν τοιούτους πειθαρχεῖν τοῖς ἐφεστῶσι, τοὺς δὲ ὀπλίτας, καὶ τοὺς ἵππεῖς, οἳ δοκοῦσι καλοκαγαθία προεκκρίσθαι τῶν πολιτῶν, ἀπειθεστάτους εἶναι πάντων.

[696] См. Ксенофонт, Memorab. i, 2, 12-25; Thucyd. vi, 15, и речь, которую он передает как сказанную Алкивиадом в собрании, vi, 17; Плутарх, Alkibiad. с. 7-8-16, и орацию Демосфена против Мейдиаса на всем протяжении: также Fragm. v. of the Πέλارχοι of Aristophanês, Meineke, ii, p. 1128.

[697] Сэр Томас Смит в своем "Трактате о Содружестве Англии" объясняет суд Звездной палаты как первоначально созданный для того, чтобы "разбираться с преступниками, слишком сильными для обычного правосудия". В обильных соединениях греческого языка есть одно слово, точно описывающее тот же класс преступников, - Ὑβριστόδικαι - название одной из утраченных комедий Евполиса: см. Meineke, Historia Critica Comicarum Græcorum, vol. i, p. 145.

Дин Такер в своем "Трактате о гражданском управлении" отмечает: "Со времен Генриха Третьего до Генриха Восьмого не было ни одной сессии парламента, на которой бы не принимались законы, направленные на сдерживание междоусобиц, грабежей и притеснений баронов и их иждивенцев, с одной стороны, и на умеривание и сдерживание излишеств и поборов королевских поставщиков, с другой; это были два главных зла, которые тогда ощущались. Что касается тирании древнего баронства, то даже оруженосцы, как и другие, не стыдились носить ливреи своих вождей и славиться всеми знаками отличия, благодаря которым они могли быть известны как задиры таких-то или таких-то великих людей и участвовать в их ссорах, справедливых или несправедливых, правильных или неправильных. Истории тех времен, а также уставы королевства сообщают нам, что они объединялись (или, как они это называли, *конфедеративовались*) в большие группы, шествуя верхом на ярмарках и рынках и облачаясь в доспехи, к великому ужасу мирных подданных; Более того, они сопровождали своих лордов в парламент, одетые в такое же военное платье, и даже осмеливались иногда представлять перед судьей присяжных и входить в суды правосудия во враждебном виде, - в то время как их руководители сидели с судьями на скамье подсудимых, запугивая свидетелей и влияя на присяжных взглядами,

кивками, знаками и сигналами." ("Трактат о гражданском правлении", с. 337, автор Джосайя Такер, доктор философии, Лондон, 1781 г.).

Вся глава (с. 301-355) содержит множество статуты и многое другое, иллюстрирующее запугивание, осуществляемое в те дни влиятельными людьми в процессе отправления правосудия.

Отрывок из "Фрагментов" Саллюста дает поразительную картину поведения влиятельных граждан во времена Римской республики. (Fragm. lib. i, p. 158, ed. Delph.).

"At discordia, et avaritia, et ambitio, et cætera secundis rebus oriri sueta mala, post Carthaginis excidium maximè aucta sunt. Nam injuriæ validiorum, et ob eas discessio plebis à Patribus, aliæque dissensiones domi fuere jam inde à principio: neque amplius, quam regibus exactis, dum metus à Tarquinio et bellum grave cum Etruriâ positum est, æquo et modesto jure agitatum: dein, servili imperio patres plebem exercere: de vitâ atque tergo, regio more consulere: agro pellere, et à cæteris expertibus, soli in imperio agere. Quibus servitiis, et maximè fœnoris onere, oppressa plebes, cum assiduis bellis tributum simul et militiam toleraret, armata Montem Sacrum et Aventinum insedit. Tumque tribunos plebis, et alia sibi jura paravit. Discordiarum et certaminis utrimque finis fuit secundum bellum Punicum."

Сравните описание состояния городов по всей Европе в XIII, XIV и XV веках в книге Хюльмана "Städte-Wesen des Mittelalters", особенно том iii, стр. 196-199 *и др.*

Памятный институт, распространившийся почти по всем итальянским городам в эти века, - назначать подестой, или верховным магистратом, человека, не принадлежащего к самому городу, который занимал этот пост в течение короткого времени, - был тем средством, к которому прибегали, чтобы избежать крайних извращений судебной и административной власти, возникавших в результате могущественных семейных связей. Ограничения, которые считались необходимыми для защиты от благосклонности или антипатии со стороны подесты, чрезвычайно необычны. (Hüllmann, vol. iii, pp. 252-261, *seqq.*)

"Действия патрицианских семей в этих городах (замечает Хюльман) в отношении долгов, которые они должны были выплачивать, были одним из худших из многих притеснений, которым подвергались от их рук торговые классы, одним из величайших злоупотреблений, которые они практиковали, пользуясь своим превосходным положением. Как часто они даже жестоко обращались со своими кредиторами, которые приходили требовать только то, что им причиталось!" (Städte-Wesen, vol. ii, p. 229.)

В "Истории Флоренции" Макиавель на протяжении всего времени иллюстрирует неизбывную привычку влиятельных семей ставить себя выше законов и судебной власти. Более того, он, кажется, считает это неисправимым хроническим недугом общества, вызывающим постоянные споры между влиятельными людьми и народом. "Народ (говорит он) хочет жить по законам; великие люди хотят отменить законы: поэтому невозможно, чтобы оба они шли в согласии". "Volendo il popolo vivere secondo le leggi, e i potenti comandare a quelle, non è possibile che capino insieme." (Machiavelli, Istorie Fiorentine, liv. ii, p. 79, ad ann. 1282.)

В первой книге интересной повести Манцони под названием "Обещания" (Promessi Sposi), которая сама по себе полна исторических сведений и с тех пор опубликована с иллюстративными примечаниями историком Канту, показано состояние судебного управления, очень похожее на описанное выше, в Милане в XVI и XVII веках: оно демонстрировалось неоднократно указами, все безрезультатными, чтобы поставить влиятельных людей под реальный контроль законов.

Поскольку в главных правительствах современной Европы люди, обладающие богатством и властью, сегодня полностью подчинены законам, современный читатель склонен полагать, что это естественное положение вещей. Поэтому не лишним будет привести несколько ссылок, которые можно бесконечно множить, напоминая ему о совершенно иных явлениях, которые история прошлого демонстрирует почти повсеместно.

[698] Число римских судей, занятых рассмотрением уголовных дел в соответствии с *quæstiones perpetuæ* в последние полтора века Республики, по-видимому, колебалось между ста, семьюдесятью пятью, семьюдесятью, пятьюдесятью шестью, пятьюдесятью одним, тридцатью двумя и т. д. (Laboulaye, *Essai sur les Loix Criminelles des Romains*, p. 336, Paris, 1845.)

Во времена Августа в Риме насчитывалось в общей сложности четыре тысячи судей, распределенных по четырем декуриям (Плиний, *H. N.* xxxiii, 1, 31).

Продажность, а также партийная коррупция этих римских судей, или присяжных, взятых из сенаторского и конного орденов, двух самых высоких и богатых орденов в государстве, была хорошо известна и вопиюща (Appian, *Bell. Civ.* i, 22, 35, 37; Laboulaye, *ibid.* pp. 217-227; Walter, *Geschichte des Römischen Rechts*, ch. xxviii, sect. 237, 238; Асконий в Цицероне. *Verrin.* pp. 141-145, ed. Orell.; и сам Цицерон, в замечательном письме к Аттику, *Ep. ad Attic.* i, 16).

[699] Многочисленные дикастерии, выбираемые по жребию, были созданы в более поздние времена на Родосе и в других греческих городах, хотя Родос не был демократически образован, и работали удовлетворительно. Саллюст говорит (в своем *Oratio ii. ad Cæsarem de Republicâ ordinandâ*, p. 561, ed. Cort.): "*Judices à paucis probari regnum est; ex pecuniâ legi, inhonestum. Quare omnes primæ classis judicare placet; sed numero plures quam judicant. Neque Rhodios, neque alias civitates unquam suorum judiciorum poenituit; ubi promiscuè dives et pauper, ut cuique sors tulit, de maximis rebus juxtà ac de minimis disceptat.*"

На необходимости многочисленной судебной власти в республике, где нет ни постоянной армии, ни профессионально сформированной официальной силы, как единственного средства обеспечения общественного правосудия в отношении могущественных преступников, настаивает Макиавель в *Discorsi sopra Tito Livio*, lib. i, c. 7.

"Potrebbe ancora allegare, a fortificazione della soprascritta conclusione, l'accidente seguito pur in Firenze contra Piero Soderini: il quale al tutto seguì per non essere in quella repubblica alcuno modo di accuse contro alla ambizione dei potenti cittadini: perchè lo accusare un potente a otto giudici in una repubblica, non basta: bisogna che i giudici siano assai, perchè pochi sempre fanno a modo de' pochi," etc.: ср. всю ту же главу.

[700] Aristophan. *Vesp.* 570; Ксенофонт, *Rep. Ath.* i, 18. Не следует думать, что все дикасты, которые пытались что-то сделать, были очень бедны: Демосфен не стал бы разговаривать с очень бедными людьми, как с "рабом, которого каждый из них мог бы оставить дома". (Demosthenês cont. Stephan. A. c. 26, p. 1127.)

Получение взяток дикастами при исполнении своих обязанностей, равно как и дача им денег каждым гражданином, считалось преступным по закону (Demosth. cont. Steph. B. c. 13, p. 1137). И кажется совершенно безопасным утверждать, что на практике дикасты никогда не подделывались заранее: если бы дело обстояло иначе, мы должны были бы видеть многочисленные упоминания об этом в многочисленных сохранившихся до нас вольных выступлениях, как и у римских ораторов: тогда как на самом деле таких упоминаний почти нет. Слово *δεκάζων* (в Isokratês de Pac. Or. viii, p. 169, sect. 63) относится не к получению

коррупционным путем вердиктов дикастов в дикастерии, а к получению таким путем голосов за должности в общественном собрании, где выборы происходили путем поднятия рук. Исократес говорит, что в его время это часто делалось, и, возможно, так оно и было: но в случае с дикастериями против этого были приняты гораздо более надежные меры.

Утверждение Аристотеля (из его Πολιτεῖαι, Fragm. xi, p. 69, ed. Neumann: ср. Нарпократия v. Δεκάζειν; Plutarch, Coriolan. c. 14; и Pollux, viii, 121) намекает, что Анит был первым, кто обучил искусству τοῦ δεκάζειν τὰ δικάσθηρια, незадолго до битвы при Игос Потамосе. Но кроме того, что сведения по этому вопросу до последней степени расплывчаты, можно отметить, что между поражением олигархии Четырехсот и битвой при Игосе Потамосе финансовое и политическое положение Афин было настолько затруднено, что можно сомневаться, могла ли она содержать платные дикастерии на обычных основаниях. Вся личная служба граждан и все общественные деньги должны были в то время быть задействованы для защиты от врага, не оставляя никаких излишков для других целей: их не хватало даже на постоянное жалование солдатам и морякам (ср. Thucyd. vi, 91; viii, 69, 71, 76, 86). Таким образом, если в это тяжелое время дикастерии созывались редко и без какой-либо уверенности в оплате, то могущественному обвиняемому было бы легче подтасовать их заранее, чем это было раньше или чем это стало потом, когда система действовала регулярно. Поэтому мы вряд ли можем с уверенностью отнести период, незадолго до битвы при Игос Потамосе, к периоду, предшествовавшему Сицилийской экспедиции, или к периоду, последовавшему за свержением Тридцати".

[701] Мистер Джардин в своем интересном и ценном издании "Уголовные процессы", том i, стр. 115, рассказав о суде над сэром Николасом Трокмортонем в 1553 году по обвинению в государственной измене и его оправдании, замечает: "В этом процессе есть одно обстоятельство, которое нельзя обойти вниманием. Оказывается, после окончания процесса присяжные должны были дать признательные показания, чтобы ответить за свой вердикт, после чего были заключены в тюрьму почти на восемь месяцев и оштрафованы на крупную сумму по приговору Звездной палаты. Такова была безопасность, которую предоставлял суд присяжных в те времена, и таким опасностям подвергались присяжные, которые осмеливались действовать в соответствии со своими соображениями в ходе государственных преследований! Но даже эти действия против присяжных, какими бы чудовищными они ни казались в наших усовершенствованных представлениях об отправлении правосудия, не должны рассматриваться как бесцеремонное применение незаконной власти в данном конкретном случае. Дело в том, что судьи Англии на протяжении столетий до этого пользовались подобной властью, хотя и не без некоторого ропота против нее; и только спустя более века после этого, в царствование Карла Второго, было вынесено торжественное решение против ее законности".

... "В царствование Якова Первого лорд-канцлер Эгертон вместе с двумя верховными судьями и главным бароном постановил, что если обвиняемый *признан виновным на суде*, то присяжные не должны подвергаться сомнению; но с другой стороны, если присяжные *оправдали* преступника или изменника против явных доказательств, то они могут быть обвинены в Звездной палате за их пристрастность в признании явного преступника невиновным. После отмены Звездной палаты в царствование Карла Второго было несколько случаев, когда было решено, что присяжные могут быть оштрафованы за вынесение вердиктов вопреки очевидным доказательствам и указаниям суда". Сравните заметки г-на Амоса о Фортезкью, De Laudibus Legum Angliæ, c. 27.

[702] Относительно французских присяжных М. Котту (*Réflexions sur la Justice Criminale*, p. 79) замечает: - "Le désir ardent" ("Пылкое желание присяжных").

"Страстное стремление к добру, которое испытывают присяжные заседатели, и нежелание отступить приводят их к пассивной покорности побуждениям, которые им дает председатель суда присяжных, и если этот судья может отступить от их мнения, то доверие к нему не теряет своей силы. Они считают, что это - та самая вуаль, которая должна направлять людей в окружающем их мраке, и, преисполненные глубокого уважения к его мнению, они не посещают манифестации, которые он устраивает, чтобы санкционировать их своим заявлением. Вместо двух судей, которых должен иметь обвиняемый, часто бывает только один, который является председателем суда".

Ансельм Фейербах (во второй части своего труда "О влиянии и влиянии судебной системы", где содержится его обзор французской судебной системы, "О судебной системе Франции", *Abt. iii*, Н. v, p. 477) подтверждает это утверждение, основываясь на большом наблюдении за французскими судами.

Привычка французских присяжных в очень многих сомнительных случаях выносить обвинительный вердикт большинством в семь голосов против пяти, когда закон возлагает фактическое осуждение на присутствующих в суде судей, предписывая им считать голоса вместе с голосами присяжных, является замечательным доказательством этого отвращения присяжных к ответственности за решение; см. Feuerbach, *ibid.* p. 481, *seqq.* Сравните также трактат того же автора, *Betrachtungen über das Geschwornen Gericht*. pp. 186-198.

[703] Я переписываю у выдающегося юриста Соединенных Штатов, г-на Ливингстона, автора Уголовного кодекса штата Луизиана (Предисловие, стр. 12-16), красноречивый панегирик суду присяжных. В нем содержится не больше тем, на которых обычно настаивают, но они выражены с особой теплотой и с тем большей полнотой, что жители Луизианы, для которых писал автор, не были знакомы с этим институтом и его работой. Читатель заметит, что почти все, что здесь говорится в пользу присяжных, могло бы быть высказано Периклесом с гораздо большей правдивостью и широтой применения, когда он добивался передачи судебной власти от отдельных магистратов к дикастериям.

"По нашей конституции (*т.е.* в Луизиане) право на суд присяжных гарантировано обвиняемому, но оно не закреплено в исключительном порядке. Однако это может быть сделано по закону, и в пользу этого права существует так много веских причин, что было сочтено целесообразным включить в кодексы точное заявление о том, что во всех уголовных делах суд присяжных является привилегией, от которой нельзя отказаться. Если бы это было оставлено полностью на усмотрение обвиняемого, желание умиловить судью, незнание его интересов или путаница, связанная с его положением, могли бы побудить его отказаться от преимущества суда своей страны, и таким образом постепенно приучить народ к зрелищу, которое он никогда не должен видеть, - один человек определяет факт, применяет закон и распоряжается по своему усмотрению жизнью, свободой и репутацией гражданина..... Сторонники нынешнего положения нашего закона говорят: "Если признать, что суд присяжных является преимуществом, то закон делает достаточно, когда предоставляет обвиняемому возможность воспользоваться его преимуществами; он сам лучше всех знает, будет ли он полезен для него; и было бы несправедливо указывать ему в столь важном выборе. Этот аргумент умозрителен, но не состоятелен. Есть причины, и некоторые из них уже были приведены, показывающие, что этот выбор не может быть свободным. Кроме того, необходимо учитывать еще один интерес, помимо интереса преступника. Если он виновен, государство заинтересовано в его осуждении: и независимо

от того, виновен он или невиновен, оно заинтересовано в том, чтобы этот факт был справедливо рассмотрен судьями, не подверженными влиянию и не имеющими ложных представлений о служебном долге. Оно заинтересовано в характере отправления правосудия и обязано выполнять первостепенный долг, чтобы сделать его свободным от подозрений. Поэтому неверно говорить, что законов достаточно, когда они предоставляют выбор между справедливым и беспристрастным судом и судом, который может вызвать самые серьезные возражения. Они должны сделать больше; они должны ограничить этот выбор, чтобы не позволить непродуманному человеку превратить их в орудия разрушения, хотя оно должно быть добровольным; или смерти, хотя эта смерть должна быть самоубийством.

"Еще одним преимуществом обязательного применения этого способа судебного разбирательства является то, что он распространяет наиболее ценную информацию среди всех категорий граждан; это школа, в которой каждый присяжный, который формируется, является отдельным классом, где практически преподаются веления законов и последствия неповиновения им. Частое выполнение этих важных функций, кроме того, дает чувство достоинства и самоуважения, не только присущее характеру свободного гражданина, но и повышающее его личное счастье. Ни партийный дух, ни интриги, ни власть не могут лишить его этой доли в отправлении правосудия, хотя они могут смирить гордыню любого другого поста и освободить любое другое место. Каждый раз, когда его призывают выступить в этом качестве, он должен чувствовать, *что, занимая самое скромное положение, он все же стоит на страже жизни, свободы и репутации своих сограждан от несправедливости и угнетения; и что если его простое понимание считается лучшим убежищем для невинности, то его неподкупная честность объявляется надежным залогом того, что вина не уйдет.* Государство, *самые малоизвестные граждане* которого возвышаются до выполнения этих величественных функций; которые попеременно выступают защитниками обиженных, устрашением виновных, бдительными стражами конституции; без согласия которых не может быть применено ни одно наказание, ни один позор; которые могут своим голосом остановить удар угнетения и указать руке правосудия, куда нанести удар, - такое государство никогда не опустится до рабства или легко подчинится угнетению. Коррупцированные правители могут извратить конституцию, честолюбивые демагоги могут нарушить ее предписания, иностранное влияние может контролировать ее деятельность; но пока народ пользуется судом присяжных, выбранных по жребию из своей среды, он не может перестать быть свободным. Информация, которую он распространяет, чувство достоинства и независимости, которое он внушает, мужество, которое он создает, всегда будут давать им энергию сопротивления, способную противостоять посягательствам, и обновляющий дух, который заставит произвол власти впасть в отчаяние. Враги свободы знают это: они знают, каким восхитительным средством она является для передачи заразы тех либеральных принципов, которые атакуют жизненные силы их власти, и поэтому они защищаются от ее внедрения с большей осторожностью, чем от язвенной болезни. В странах, где она уже существует, они коварно пытаются ввести новшества, поскольку не смеют открыто уничтожить ее: под благовидным предлогом улучшения вводятся изменения, несовместимые с духом института: *обычные граждане слишком плохо информированы, чтобы выполнять функции присяжных, - необходим отбор.* Этот выбор должен быть доверен представителю исполнительной власти, и он должен быть сделан среди наиболее выдающихся по образованию, богатству и респектабельности людей; таким образом, после нескольких успешных операций политической химии может быть получен блестящий результат, освобожденный, правда, от всех республиканских отбросов, но без какой-либо внутренней ценности, которая содержится в суровой, но негибкой целостности и неподкупной ценности исходного состава. Люди, назначаемые таким образом, не имеют

никакого сходства, кроме названия, с *крепкими, честными, неграмотными присяжными, которые получают свое достоинство только в результате выполнения своих обязанностей; а мгновенное выполнение их функций не дает времени для коррупции или влияния страха*. Подобные нововведения настолько изменяют институт, что в нем не остается ничего, что могло бы привязать к нему людей или пробудить их интерес, и им пренебрегают как бесполезным или отказываются от него как от вредной придумки".

В соответствии с этим искренним восхищением судом присяжных мистер Ливингстон в положениях своего кодекса существенно ограничивает вмешательство председательствующего судьи, тем самым возвращая присяжных к сходству с афинскими дикастами (стр. 85): "Я ограничиваю обвинение судьи мнением о законе и повторением доказательств *только по требованию любого из присяжных*. Практика повторения всех показаний по записям, всегда (в силу природы вещей) несовершенным, нередко неточным, а иногда и небрежно сделанным, имеет двойной недостаток: она делает присяжных, которые больше полагаются на записи судьи, чем на собственную память, невнимательными к доказательствам; и она дает им несовершенную копию того, что природа суда присяжных требует, чтобы они записали в своем собственном сознании. Вынужденные полагаться на самих себя, присяжные в силу необходимости обостряют свое внимание, и только когда они расходятся в своих воспоминаниях, им приходится прибегать к записям судьи". Далее мистер Ливингстон добавляет, что судьи, в силу своих старых привычек, приобретенных в качестве практикующих адвокатов, почти никогда не бывают нейтральными - они почти всегда принимают чью-то сторону, и, как правило, против заключенных на суде.

На тех же соображениях, которые мистер Ливингстон приводит в доказательство ценности суда присяжных, настаивает и мсье Чарльз Комт в своем переводе "Трактата о присяжных" сэра Ричарда Филлипса, дополненном множеством ценных рассуждений о различных формах, которые система присяжных приняла в Англии и Франции. (*Des Pouvoirs et des Obligations des Jurys, traduit de l'Anglois, par Charles Comte, 2d ed. Paris, 1828, с предварительными Considérations sur le Pouvoir Judiciaire, pp. 100, seqq.*).

Объем этой заметки не позволяет мне приводить дальнейшие хвалебные замечания сэра Ричарда Филлипса или месье Комте, но они, как и замечания месье Ливингстона, будут более применимы к афинским дикастериям, чем к присяжным Англии и Америки.

[704] Г-н Джардин (*Criminal Trials, Introduct. p. 8*) замечает, что "процессы над лицами, обвиненными в государственных преступлениях, в ранние периоды нашей истории не заслуживают названия судебных: они были просто насмешкой над правосудием" и т. д.

Что касается того, какими были английские присяжные, то любопытно ознакомиться со следующими замечаниями г-на Дейнса Баррингтона, *Observations on the Statutes, p. 409*. Отмечая статут Генриха Седьмого, 1494 г. н. э., он говорит

"Двадцать первая глава гласит: Что лжесвидетельство часто и обычно используется в городе Лондоне, среди тех людей, которые проходят и были вызваны в суд, соединенные между стороной и стороной".

"Это преступление было до этого статута обжаловано в преамбулах к нескольким законам, будучи всегда лжесвидетельством *присяжного*, который выносит вердикт, противоречащий его клятве, а не тем, о чем мы слишком часто слышим в настоящее время, в свидетелях, представленных на суде".

В "Пляске смерти", написанной первоначально по-французски Махарелем и переведенной Джоном Лидгейтом в это царствование с некоторыми дополнениями, чтобы приспособить ее к английскому характеру, упоминается присяжный, которого часто подкупали за вынесение ложного вердикта, что показывает, что это преступление было очень распространенным. Шериф, который созывал присяжных, также был большим соучастником этого преступления, вызывая тех, кто был наиболее пристрастен и предвзят. Кэрю в своем рассказе о Корнуолле сообщает нам, что обвинение *pro amicitia vicescomitis* было обычной статьей в адвокатском билле.

"Примечательно также, что в преамбуле этого и других статутах пристрастность и лжесвидетельство присяжных Лондонского города обжалуются в большей степени, чем в других частях Англии". Стоу сообщает нам, что в 1468 году многие присяжные этого города были наказаны тем, что им на голову прикрепляли бумаги, в которых говорилось, что они были подделаны сторонами иска. Он также жалуется, что это вопиющее преступление продолжалось и во времена королевы Елизаветы, когда он писал свой рассказ о Лондоне: а Фуллер в своих "Английских достойных" упоминает как пословицу, что лондонские присяжные половину вешают, а половину спасают. Графтон в своей "Хронике" также сообщает, что канцлеру лондонской епархии было предъявлено обвинение в убийстве, и епископ написал письмо кардиналу Вулси от имени своего служащего, чтобы прекратить судебное преследование, "поскольку лондонские присяжные были настолько предвзяты, что признали бы Авеля виновным в убийстве Каина".

"Наказание за ложный вердикт мелких присяжных - судебный приказ о привлечении к ответственности; кроме того, закон предписывает, чтобы половину большого жюри, когда суд ведется *на родном языке*, составляли чужестранцы, а не лондонцы".

А лондонских присяжных не бывает, их ведут

В свидетельствах, как по общей славе,

так и по настоящим показаниям".

(Ben Jonson's Magnetic Lady, Act. iii, Sc. 3.)

"Из 15 Генриха Шестого, с. 5, где также говорится о большом росте лжесвидетельств присяжных, причем в самых сильных выражениях, следует, что в каждом аттенте было тринадцать ответчиков: двенадцать присяжных, которые выносили вердикт, и истец или ответчик, который его получил и который, следовательно, должен был использовать коррупционные средства для его получения. По этой причине, если вердикт выносился в пользу короны, ни о каком аттенте не могло быть и речи, поскольку король не мог быть привлечен в качестве ответчика вместе с присяжными, которые вели судебное преследование".

Сравните также ту же работу, с. 394-457, и заметки г-на Амоса о Фортескью де Лаудиб. Leg. Angliæ, с. 27.

[705] Во Франции суд присяжных был впервые введен Учредительным собранием только в 1790 году, и то лишь в уголовном процессе: Следующие замечания о работе суда присяжных я переписываю из поучительной статьи в "Репертуаре юриспруденции" Мерлена, статья *Juré*. Хотя эта статья написана в духе, весьма благоприятном для присяжных, она отражает размышления наблюдательного юриста о нраве и компетентности присяжных, которых он видел в действии, и об их склонности выносить вердикт в соответствии с *чувствами*, которые внушало им рассматриваемое дело.

"Почему бы не сделать так, чтобы некое учреждение, которое защищало бы граждан от вымирания и предупреждения, забавлялось бы невинностью, могло бы выработать привычку судить о преступлениях... чтобы некое учреждение, которое давало бы право быть судьями одному обвиняемому, не зависящим от любого влияния, от своих пар, от своих эгоистов..... почему бы не сделать так, чтобы это учреждение, формы которого просты, трогательны, патриархальны, теория которого уплощает и увлекает за собой душу посредством иррезистентной седукии, было так часто замазано, испорчено невежеством и пустословием, проституировано, возможно, гнусной и разрушительной коррупцией?

"Отдайте справедливость ошибкам, тем более - притворству, присяжных: они троекратно оправдывают преступников, но ни разу не доказали, что они когда-нибудь выливали невинную глотку: и если кто-то может предположить, что они видели преступление в том месте, где оно не имело никакого видимого и неправдоподобного вида, то это будет не совесть, которую нужно обвинить: *ce seroit la fatalité malheureuse des circonstances qui auroient accompagné l'accusation, et qui auroit trompé de même les juges les plus pénétrants et les plus exercés à rechercher la vérité et à la démêler du mensonge.*

"Однако упреки, которые часто высказывают присяжные, - это упреки в том, что они смирились с *недобросовестным совершением преступления* или с тем, что они были не в состоянии вдохновить семьи обвиняемых, которые занимали определенное положение в обществе: в большинстве случаев они отбирают свои атрибуции, которые рождаются для оценки фактов и суждения, отличного от закона. *Я видел сто примеров этих узурпаций власти и этого деспотизма присяжных.* Часто бывает так, что они считают действие невинным, в то время как закон говорит, что имело место преступление, и в то же время они не могут удержаться от того, чтобы не воспользоваться правдой, чтобы попить и нарушать закон". ... "Возможно ли улучшить институт присяжных заседателей и предотвратить преступления, которые часто бывают столь скандальными? Задумайтесь. Начнем с того, что составим жюри из собственников, заинтересованных в том, чтобы наказывать за преступления, и сделаем их более редкими: но, прежде всего, мы должны привлечь ремесленников, мелких земледельцев, людей, у которых, несомненно, есть уверенность в том, что их склонность к преступлению является общей, но у которых слабо развито чувство собственного достоинства, и которые, имея дело с достоинствами, постоянно находятся под влиянием мнения своих коллег, которые имеют более высокий ранг: *ou qui, familiarisés seulement avec les idées relatives à leur profession, n'ont jamais eu, dans all le reste, que des idées d'emprunt ou d'inspiration.* Мы знаем, что в наше время именно эти люди, которые почти во всей Франции составляют большинство присяжных заседателей: Если вы встретите в окружении этих людей человека с более высоким статусом, с более высоким чувством собственного достоинства, с легкой речью, он увлечет своих коллег, он решится на де-libерацию: и если у этого человека будет ложное суждение или испорченное сердце, эта де-libерация будет, безусловно, плохой.

"Может ли он прибегнуть к напрасной беспечности богатых и обеспеченных собственников, бросить их дела, их семьи, их привычки, чтобы уехать в деревню и исполнять свои обязанности, которые, к примеру, вызывают у него сомнения и вызывают дознание, настолько сильное, что совесть становится еще более отвратительной? Почему бы и нет? Почему те же самые классы горожан, которые в течение шести или шести первых месяцев 1792 года проявляли столько усердия в осуществлении этих функций, в наши дни ушли? И, конечно же, если, для того, чтобы вы это поняли, закон будет способствовать двум великим проблемам, стоящим на повестке дня, если он будет направлен на то, чтобы компенсировать точность и наказывать нерадивость?" (Merlin, Répertoire de Jurisprudence, art. Jurés, p. 97.)

В этих отрывках заслуживает внимания то, что особо отмечается в отношении присяжных, как английских, так и французских, - их нежелание выносить обвинительные приговоры в отношении представленных им лиц. Характер же афинских дикастов, описанный г-ном Митфордом и многими другими авторами, прямо противоположен этому: крайняя суровость и жестокость, склонность осуждать всех обвиняемых, представленных им, на основании незначительных доказательств или вообще без них, - особенно богатых обвиняемых. Смею утверждать, что приписывать им такой нрав в целом не менее неправдоподобно, чем не подкрепленное никакими вескими доказательствами. В речах, дошедших до нас от обвиняемых, мы действительно находим жалобы на суровость дикастерий: но в тех речах, которые исходят от обвинителей, в изобилии встречаются жалобы на обратное, - на чрезмерную снисходительность со стороны дикастерий и, как следствие, безнаказанность преступников. Аристофан, на которого ориентируется большинство современных авторов, даже если они его не цитируют, при справедливом изучении не подтверждает нравов, которые мистер Митфорд приписывает дикастам; даже если мы признаем Аристофана верным и заслуживающим доверия свидетелем, чего не захочет делать ни один человек, знающий картину Сократеса. Аристофан использует все качества, которые могут вызвать смех у дикастов, и его изображение их в виде ос было хорошо рассчитано для этой цели, чтобы описать их кипящими от ярости, раздражения, нетерпения, чтобы найти кого-то, кого они могли бы осудить и наказать. Но даже он, когда переходит к описанию этих дикастов в действии, представляет их как подчиняющихся призывам к жалости, так и к гневу, - уступчивых и впечатлительных, когда к их чувствам обращаются с той или иной стороны, и неспособных, услышав оправдательный призыв обвиняемого, сохранить гнев, вызванный речью обвинителя. (См. Aristophan. Vesp. 574, 713, 727, 794.) Более того, если от "Веспей" перейти к "Нубам", где поэт нападает на софистов, а не на дикастов, нам говорят, что софисты могут вооружить любого человека заблуждениями и уловками, которые позволяют ему добиться оправдания от дикастов, каким бы ни было совершенное преступление.

Я считаю, что эта непредвзятость и способность воздействовать на чувства всех сторон с помощью искусства, красноречия, молитв, слез, упреков и т. д. и есть истинный характер афинских дикастов. И я также полагаю, что они, как правило, были более открыты для сочувствия, чем для любого другого чувства, - подобно тому, что выше сказано о французских присяжных: εὐκίνητος πρὸς ὀργήν (ὁ Ἀθηναίων δῆμος), εὐμετάθετος πρὸς ἔλεον, - это выражение Плутарха об афинском демосе не менее верно и в отношении дикастов: сравните также описание, данное Плинием (Н. Н. xxxv, 10) памятной картины афинского демоса, написанной художником Паррасием.

[706] То, что разница между дикастом и присяжным заседателем в этом отношении является лишь степенью, вряд ли нужно отмечать. М. Мерлен замечает: "Я, как и многие другие, не думаю, что для того, чтобы быть присяжным, достаточно обладать *обычным интеллектом и проницательностью*. Если обвиняемый участвует только в спорах с обвиняемыми, он не должен, без сомнения, обладать здравым смыслом, чтобы понять истину в заявлениях, сделанных с простотой и лишенных всякого обоснования: но при этом почти всегда помогает один или несколько защитников, которые своими придирками, смущают или отталкивают собеседников; а при помощи тонких, часто софистических, а иногда и красноречивых рассуждений, обволакивают истину нюансами и делают очевидность столь же проблематичной. Конечно, нужно больше, чем добрых намерений, нужно больше, чем здравого смысла, чтобы не поддаваться на эти ужасные упушения, чтобы гарантировать, что не возникнут проблемы с чувствительностью, и чтобы оставаться неизменным в русле истины, в окружении этих импульсов, переданных в одно и то же время в душу и сердце". (Merlin, Répertoire de Jurisprudence, art. Jurés, p. 98).

В Афинах не было профессиональных адвокатов: обвинитель и обвиняемый - или истец и ответчик, если дело было гражданским, - каждый являлся лично со своими свидетелями или иногда с показаниями, которые свидетели давали под присягой перед архонтом: каждый мог прийти с речью, подготовленной Антифоном (Thucyd. viii, 68) или другим ритором: каждый мог иметь одного или нескольких *ξυνήγορους*, чтобы говорить от его имени после себя, но, по-видимому, только в течение времени, отведенного ему клепсидрой. В гражданских делах ответчик должен был быть прекрасно знаком с делом истца, так как, кроме анакризиса, или предварительного рассмотрения дела перед архонтом, оно большей частью уже перед арбитром. В уголовном деле у обвиняемого был только анакризис, чтобы указать ему, в чем его обвиняют: но из подготовленных речей обвиняемых, которыми мы сейчас располагаем, следует, что этот анакризис должен был быть достаточно обильным, чтобы дать ему хорошее представление о том, что он должен был опровергнуть. Обвинителя приговаривали к штрафу в тысячу драхм, если он не получал по приговору пятую часть голосов участвующих дикастов.

Антифон не только составлял речи для обвинителей в дикастерии, но и вообще давал им ценные советы о том, как вести дело и т. д., хотя сам не выступал перед дикастами: так и Ктесиклес *λογόγραφος* (Demosthenês cont. Theokrin. с. 5) выступал в качестве общего советника, или адвоката.

[707] Аристотель в первой и второй главах своего "Трактата о риторике" жалуется, что учителя и писатели по риторике, предшествовавшие ему, почти все время говорили о различных средствах воздействия на чувства дикастов и о вопросах, "посторонних по отношению к настоящему вопросу, который дикасты должны были разбирать". (*περὶ τῶν ἕξω τοῦ πράγματος τὰ πλεῖστα πραγματούονται- διαβολὴ γὰρ καὶ ἔλεος καὶ ὀργή, οὐ περὶ τοῦ πράγματος ἐστὶν, ἀλλὰ πρὸς τὸν δικάστην*, etc., i, 1, 1: сравни, i, 2, 3, и iii, 1, 2).

Этого достаточно, чтобы показать, насколько значительной была апелляция к чувствам дикастов в действительности и на практике, даже если бы мы не знали об этом из самих ораций.

Об обычае обвиняемых приводить своих жен и детей к дикастам в качестве заступников за них, чтобы получить милость или оправдание, см. Аристофан. *Vesp.* 567-976; Andokidês de *Mysteriis* (ad finem), и Lysias, *Orat.* iv, de *Vulnere* (ad finem).

[708] Для человека, привыкшего к судебной системе современной Европы, осуществляемой на всех ее этапах с помощью профессиональных людей - судей, адвокатов, поверенных и т. д., - и рассматриваемой широкой публикой как дело, в котором ни один частный гражданин не может или не должен действовать самостоятельно, - ничто не является более примечательным при чтении аттических судебных ораций, в некоторой степени и римских, чем полное отсутствие этого профессионального чувства и демонстрация правосудия, как вызываемого, так и осуществляемого исключительно частными гражданами. Ближайшую аналогию этому, которую представляет современное правосудие, можно найти в Просительных судах и других судах для рассмотрения дел, связанных с небольшими суммами имущества, - слишком малыми, чтобы заслуживать внимания судей и адвокатов.

Эти суды, несмотря на их непосредственное и важное влияние на благосостояние и безопасность бедных слоев населения, не получили достаточного разъяснения. История Бирмингемского суда прощений, написанная мистером Уильямом Хаттоном, - недавно переизданная господами Чамберсами, - составляет исключение из этого замечания и полна поучительных сведений о привычках, поведении и страданиях бедняков. Кроме того, она представляет собой наиболее близкий подход к чувствам афинских дикастов и плеядианцев, хотя, конечно, со многими важными различиями. В течение многих лет мистер Хаттон

неустанно присутствовал на заседаниях в качестве комиссара и проявлял горячий интерес к благородной работе суда. Его замечания о положении, обязанностях и трудностях комиссаров, проиллюстрированные многочисленными подробно рассмотренными делами, чрезвычайно интересны и представляют собой мысли, которые, должно быть, часто приходили в голову умным дикастам в Афинах.

"Закон и справедливость (говорит он, с. 34) часто расходятся. Если комиссары не могут принять решение *против* закона, они могут принять решение *без* него. Их клятва обязывает их поступать по *доброй совести* (περὶ ὅτῳ οἷκ εἰσι νόμοι, γνῶμη τῇ δίκαιοτάτῃ, - такова была клятва афинского дикаста). Человеку нужна только информация, чтобы быть в состоянии принять решение".

Несколько слов из с. 36, об источниках ошибочных суждений. "Дезинформация - еще один источник зла: обе стороны в равной степени обманывают уполномоченных. Единственные люди, которые могут пролить свет на этот вопрос, не делают этого.

"Трудно не поддаться на уговоры первого оратора, если он обладает мягким характером и мастерски владеет своим рассказом; или не склониться в пользу немощи или младенчества. Тем, кто не может помочь себе сам, мы склонны помогать".

"Ничто так не растворяет, как слезы. Хотя они возникают от слабости, они являются мощными защитниками, которые мгновенно обезоруживают, особенно те, которые страдающий хочет скрыть. Они исходят из сердца и достигают его, если у судьи есть сердце, до которого можно дотянуться. Бедствие и жалость неразделимы.

"Наверное, никогда не было судьи, от семнадцати до семидесяти лет, который мог бы равнодушно смотреть на красавицу в беде; если он мог, то он не годится для того, чтобы быть судьей. Он должен быть чужд решениям, как чужд состраданию. Все эти вещи влияют на человека и искажают его суждения".

Это описание, данное совершенно честным и непрофессиональным судьей, его собственных чувств во время работы на скамье подсудимых. Его можно проиллюстрировать частыми фрагментами из аттических плейд, где они обращаются к описанным здесь чувствам в груди дикастов.

[709] Демосфенес (cont. Phormio. p. 913, с. 2) подчеркивает, что свидетели были гораздо более осторожны в даче ложных показаний перед многочисленной дикастерией, чем перед арбитром.

[710] Асконий рассказывает об уговорах и мольбах, обращенных к судьям в Риме, когда должен был быть вынесен приговор Скауру, которого защищал Цицерон (ad Ciceron. Orat. pro Scauro, p. 28, ed. Orelli): "Laudaverunt Scaurum consulares novem-Horum magna pars per tabellas laudaverunt, qui aberant: inter quos Pompeius quoque. Unus prætereà adolescens laudavit, frater ejus, Faustus Cornelius, Syllæ filius. Is in laudatione multa humiliter et cum lacrimis locutus non minus audientes permovit, quam Scaurus ipse permoverat. Ad genua judicium, cum sententiæ ferrentur, bifariam se diviserunt qui pro eo rogabant: ab uno latere Scaurus ipse et M. Glabrio, sororis filius, et Paulus, et P. Lentulus, et L. Æmilius Buca, et C. Memmius, supplicaverunt: ex alterâ parte Sylla Faustus, frater Scauri, et T. Annius Milo, et T. Peducæus, et C. Cato, et M. Octavius Lænas".

Сравните также Цицерон, Брут, с. 23, о защите Сергия Гальбы; Квинтилиан, I. O. ii, 15.

[711] Платон в своем "Трактате о законе" (vi, p. 768) принимает все отличительные принципы афинских дикастерий. Он особенно настаивает на том, что гражданин, не принимающий участия в исполнении этой функции, считает себя не имеющим никакого отношения или интереса к содружеству, - τὸ παράπαν τῆς πόλεως οὐ μέτοχος εἶναι.

[712] Aristot. ap. Cicero. Brut. c. 12. "Itaque cum sublati in Siciliâ tyrannis res privatæ longo intervallo judiciis repeterentur, tum primum quod esset acuta ea gens et controversa naturâ, artem et præcepta Sículos Coracem et Tisiam conscripsisse," etc. Сравните Diodor. xi, 87; Pausan. vi, 17, 8.

[713] Особенно Горгий: см. Aristotel. Rhetor. iii, 1, 26; Timæus, Fr.; Dionys. Halicarn. De Lysiâ Judicium, c. 3; также Foss, Dissertatio de Gorgiâ Leontino, p. 20 (Halle, 1828); и Westermann, Geschichte der Beredsamkeit in Griechenland und Rom., sects. 30, 31.

[714] Платон (Горгиас, с. 20-75; Протагор, с. 9). Лисия иногда называют софистом (Demosthen. cont. Neær. c. 7, p. 1351; Athenæ. xiii. p. 592). Нет достаточных оснований полагать вместе с Тейлором (Vit. Lysiæ, p. 56, ed. Dobson), что существовало два человека по имени Лисий, и что человек, названный здесь, отличается от автора речей, которые дошли до нас: см. Mr. Fynes Clinton, Fast. H. p. 360. Appendix, c. 20.

[715] См. первую книгу "Риторики" Аристотеля, упомянутую в предыдущем примечании, где приводятся его замечания о технических учителях риторики до его времени. Он замечает - и Платон до него (i, 1 и 2), - что их учение было по большей части узким и практическим, касаясь исключительно того, что требовалось для практики дикастерии (περὶ τοῦ δικάζεσθαι πάντες περὶ ὧνται τεχνολογεῖν): см. также примечательный отрывок в его "Трактате о софизме" (Treatise de Sophisticis Elenchis, c. 32, ad finem. И хотя сам он излагает гораздо более глубокую и всеобъемлющую теорию риторики и всего, что к ней относится, - в трактате, который редко когда был превзойден по силе философского анализа, - все же, когда он рекомендует свои рассуждения к вниманию, он апеллирует к огромной практической ценности риторического учения, позволяющего человеку "помочь самому себе" и сражаться в собственных битвах, в случае нужды - Ἀτοπὸν εἰ τῷ σώματι μὲν αἰσχρὸν μὴ δύνασθαι βοηθεῖν ἑαυτῷ, λόγῳ δὲ οὐκ αἰσχρὸν (i, 1, 3: ср. iii, 1, 2; Платон Горгий, с. 41-55; Протагор, с. 9; Phædrus, c. 43-50; Euthydem. c. 1-31 и Ксенофонт, Memorab. iii, 12, 2, 3).

См. также характер Проксена в Анабасисе Ксенофонта, ii, 6, 16; Плутарх, Vit. x, Orator. p. 307; Аристоф. Nubes, 1108; Ксенофонт, Memorab. i, 2, 48; Платон, Alkibiadês, i, c. 31, p. 119; и поразительный отрывок в "Жизни Катона Старшего" Плутарха, с. 1.

[716] Plutarch, Vit. x, Orator. p. 832; Quintilian, iii, 1, 10. Сравните Ван Спаан или Рюнкен, Dissertatio de Antiphonte Oratore Attico, pp. 8, 9, предисловие к изданию Добсона "Антифон и Андокидес". Считается, что Антифон был учителем историка Фукидида. Утверждение Плутарха, что отец Антифона также был софистом, вряд ли может быть правдой.

[717] Herodot. i, 29; iv, 95.

[718] Платон (Гиппиас Майор, с. 1, 2; Менон, p. 95; и Горгиас, с. 1, с примечанием Стальбаума); Дiodор. xii, 53; Павсаний. vi, 17, 8.

[719] Ксенофонт, Memorab. i, 2, 31. Учить или учиться искусству речи было обычным упреком, который вульгарные люди делали философам и ученым людям, - τὸ κοινῇ τοῖς φιλοσόφοις ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπιτιμώμενον (Xenoph. Memor. i, 2, 31). Сравните Æschinês cont. Тимар. о Демосфенесе, с. 25, 27, который иллюстрирует любопытный фрагмент Софокла, 865. Οἱ γὰρ γύνανδροι καὶ λέγειν ἡσκηκότες.

[720] Таков, вероятно, смысл того замечательного отрывка, в котором Фукидид описывает афинского ритора Антифора (viii, 68): Ἀντιφῶν, ἀνὴρ Ἀθηναίων ἀρετῇ τε οὐδενὸς ὕστερος, καὶ κράτιστος ἐνθυμηθῆναι γενόμενος καὶ ἃ ἂν γνοίη εἰπεῖν- καὶ ἐς μὲν δῆμον οὐ παριῶν οὐδ' ἐς ἄλλον ἀγῶνα ἐκούσιος οὐδένα, ἀλλ' ὑπόπτως τῷ πλήθει διὰ δόξαν δεινότητος διακείμενος, τοὺς μέντοι ἀγωνιζομένους καὶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ ἐν δήμῳ, πλεῖστα εἰς ἀνὴρ, ὅστις συμβουλεύσαιτό τι, δυνάμενος ὠφελεῖν. "Inde illa circa occultandam eloquentiam simulatio", - замечает Квинтилиан, Inst. Or. iv, 1, 8.

Сравните Платон (Протагор, с. 8; Фэдрус, с. 86), Исократес конт. Sophistas, Or. xiii, p. 295, где он жалуется на учителей, -οἵτινες ὑπέσχοντο, δικάζεσθαι διδάσκειν, ἐκλεξάμενοι τὸ δυσχερέστατον τῶν ὀνομάτων, ὃ τῶν φθονούντων ἔργον εἶη λέγειν, ἀλλ' οὐ τῶν προεστώτων τῆς τοιαύτης παιδείσεως, Demosthen. De Fals. Legat, с. 70, 71, pp. 417-420; и Æschin. cont. Ktesiphon. с. 9, p. 371, -κακοῦργον σοφιστὴν, οἰόμενον ῥήμασι τοὺς νόμους ἀναιρήσειν.

[721] Æschinês cont. Timarch. с. 34, p. 74. Ὑμεῖς μὲν, ὦ Ἀθηναῖοι, Σωκράτην μὲν τὸν σοφιστὴν ἀπεκτείνετε, ὅτι Κριτίαν ἐφάνη πεπαιδευκῶς, ἕνα τῶν τριάκοντα τῶν τὸν δῆμον καταλυσάντων.

Среди софистов, которых Исократес сурово критикует, он, очевидно, включает Платона, что видно из контраста между δόξα и ἐπιστήμη, который он особенно отмечает и который так ярко выражен в платоновских сочинениях (Isokratês cont. Sophistas, Or. xiii, p. 293; также p. 295). Мы знаем также, что Лисий называл *софистами* и Платона, и ученика Сократеса Эсхинеса (Aristeidês, Orat. Platonic. xlv, Ὑπὲρ τῶν τεττάρων, p. 407, vol. ii, ed. Dindorf). Аристеидес справедливо замечает, что имя софист было общим именем, включавшим всех философов, учителей и литераторов.

Общее название "*софисты*", по сути, включало в себя хороших, плохих и безразличных людей, как и "философов, политэкономов, метафизиков" и т. д. В будущем я воспользуюсь случаем, чтобы рассмотреть огульные порицания софистов как класса, которые большинство современных писателей негласно скопировали из полемики древних времен.

[722] Xenoph. Memor. i, 2, 31. λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν. Ксенофонт приписывает принятие этого закона личной ненависти Крития к Сократесу и связывает его с анекдотом, который выглядит крайне нелепо, если рассматривать его как предполагаемую причину этой ненависти, а также как следствие закона. Но очевидно, что закон имел гораздо более глубокий смысл и был направлен непосредственно против одной из выдающихся демократических привычек.

[723] Thucyd. viii, 67. Сравните любопытный отрывок, относящийся даже ко времени Демосфена, в речи этого оратора против Вæотум de Nomine, с. 5. καὶ εἰ μισθὸς ἐπορίσθη τοῖς δικαστηρίοις, εἰσῆγον ἂν με δῆλον ὅτι, etc.

Примечание переводчика

- Изображение обложки книги было создано транскриптором и является общественным достоянием.
- Сноски были перенумерованы и перенесены в конец книги.
- Пустые страницы пропущены.

- Очевидные типографские ошибки были беззвучно исправлены после сравнения с более поздним изданием этой работы. Греческий текст также исправлен после сверки с этим более поздним изданием и с Персеем, когда была найдена ссылка.
 - Оригинальная орфография, дефис и пунктуация сохранены, но варианты написания приведены в соответствие, если было обнаружено преобладающее употребление.
 - Невзирая на это, не было предпринято никаких попыток нормализовать имена собственные (*т. е.* *Ægæan* и *Ægean*, *Æschines* и *Æschinês*, *Alkibiades* и *Alkibiadês*, *Andokides* и *Andokidês*, *Aristeides* и *Aristeidês*, *Boedromion* и *Boëdromion*, *Chalkiækos* и *Chalkiækus*, *Deinomenes* и *Deinomenês*, *Deïphonus* и *Dêiphonus*, Демосфен и Демосфенес, Инарос и Инарос, Исократ и Исократес, Кефалления и Кефалкния, Мильтиад и Мильтиадес, Микенæ и Микенæ, Пегæ и Пегæ, Сест и Сест, Фукидид и Фукидид, Ксенофонт и Ксенофонт и др.). В начале первого тома этой работы автор установил некоторые правила транскрипции имен собственных, но ни он, ни его издатель не следуют им последовательно.
-